

18+

Людмила Улицкая Человек со связями



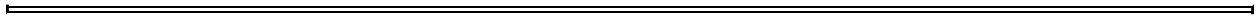
РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА ШУБИНОЙ

Annotation

Эта книга о нерасторжимости человеческих связей. О попытке сбежать от обыденности, неразрывном переплетении лжи, а точнее – выдумки, с реальной жизнью («Сквозная линия»); размышления о том, что же есть судьба, если она так круто меняется из-за незначительных на первый взгляд событий («Первые и последние»); долгое прощание с жизнью, в котором соединяются «тогда» и «сейчас», повседневная кутерьма и вечность, понимание, что всё заканчивается и ничего не проходит («Веселые похороны»)… «Литература – это художественное осмысление связей человека и мира. На рабочем уровне, так сказать. Именно этим делом и занимается писатель, даже в тех случаях, когда делает вид, что собирается просто развлечь почтеннейшую публику» (Л. Улицкая).

- [Людмила Улицкая](#)
 -
 - [Веселые похороны](#)
 - [Первые и последние](#)
 - [Второе лицо](#)
 - [Женщины русских селений](#)
 - [Цю-юрихь](#)
 - [Орловы-Соколовы](#)
 - [Зверь](#)
 - [Пиковая Дама](#)
 - [Голубчик](#)
 - [Сквозная линия](#)
 - [Диана](#)
 - [Брат Юрочка](#)
 - [Конец сюжета](#)
 - [Явление природы](#)
 - [Счастливый случай](#)
 - [Искусство жить](#)
 - [Человек со связями](#)
 - [Человек со связями](#)
 - [Неоязычество внутри](#)
 - [Грудь. Живот](#)

- [Быть никем](#)



Людмила Улицкая

Человек со связями (сборник)

© Улицкая Л. Е., 2016

© ООО «Издательство АСТ», 2016

* * *

Веселые похороны

повесть

1

Жара стояла страшная, влажность стопроцентная. Казалось, весь громадный город, с его нечеловеческими домами, чудесными парками, разноцветными людьми и собаками, подошел к границе фазового перехода и вот-вот полужидкие люди поплывут в бульонном воздухе.

Душ был всё время занят: ходили туда по очереди. Одежду давно уже не надевали, только Валентина не снимала лифчика, потому что если отпустить ее огромную грудь болтаться на свободе, то от жары под ней образовывались опрелости. В обычную погоду она лифчиков никогда не носила. Все были мокрыми, вода с тел не испарялась, полотенца не сохли, а волосы можно было высушить только феном.

Жалюзи были полуоткрыты, свет падал полосатыми прядями. Кондиционер не работал уже несколько лет.

Баб в комнате было пять. Валентина в красном бюстгальтере. Нинка в длинных волосах и золотом кресте, исхудавшая так, что Алик ей сказал:

– Нинка, ты стала как корзинка. Для змей.

Корзинка эта стояла тут же, в углу. Алик когда-то по молодости лет ездил в Индию за древней мудростью, но ничего не привез, кроме этой корзинки.

Еще была соседка Джойка, прибившаяся к дому дурная итальянка, нашедшая себе столь странное место для изучения русского языка. Она всё время на кого-нибудь обижалась, но, поскольку ее замысловатых обид никто не замечал, ей приходилось всех великодушно прощать.

Ирина Пирсон, в прошлом цирковая акробатка, а ныне дорогостоящий адвокат, сверкала художественно подбритым лбом и совершенно новой грудью, сделанной не знающими колебаний американскими хирургами ничуть не хуже старой, и ее дочка Майка, по прозвищу Тишорт, пятнадцатилетняя, неопределенно-толстенькая, в очках и единственная из всех прикрытая одеждой, сидела на корточках в углу. На ней были толстые бермуды и, соответственно, майка. На майке была нарисована электрическая лампочка и люминесцентная надпись на неизвестно каком

языке: “PIZДЕЦ!” Это Алик сделал ей ко дню рождения в прошлом году, когда его руки еще кое-как двигались...

Сам Алик лежал на широкой тахте, такой маленький и такой молодой, как будто сын самого себя. Но детей как раз у них с Нинкой не было. И ясно, что уже не будет. Потому что Алик умирал. Какой-то медленный паралич доедал последние остатки его мускулатуры. Руки и ноги его лежали смиренно и неодушевленно и даже на ощупь были не живыми и не мертвыми, а подозрительно промежуточными, как застывающий гипс. Самым живым в нем были волосы, рыжие, праздничные, густой щеткой вперед, да раскидистые усы, которые стали великоваты его исхудавшему лицу.

Вот уже две недели, как он был дома. Сказал врачам, что не хочет умирать в больнице. Были и еще причины, о которых они не знали и знать не должны были. Хотя даже врачи в этой скоростной, как забегаловка, больнице, которые в лицо больным заглянуть не успевали, а смотрели только в рот, в задницу или у кого там что болит, его полюбили.

А дома у них был проходной двор. Толпились с утра до ночи, и на ночь непременно кто-то оставался. Помещение здесь было для приемов отличное, а для нормальной жизни – невозможное: лофт, переоборудованный склад с отсеченным торцом, в который была загнана крошечная кухня, сортир с душем и узкая спальня с куском окна. И огромная, в два света, мастерская.

В углу, на ковре, ночевали поздние гости и случайные люди. Иногда человек пять. Собственно двери в квартиру не было, вход был прямо из грузового лифта, поднимавшего сюда, до въезда Алика, кипы табака, призрачно присутствовавшего здесь и по сей день. Въехал Алик давно, чуть ли не двадцать лет тому назад, подписал не глядя какой-то контракт, как потом оказалось, страшно выгодный. И по сей день Алик платил за квартиру сущую ерунду. Впрочем, платил не он. Денег у него давно никаких не было – и ерунды даже.

Щелкнул лифт. Вошел Фима Грубер, стаскивая с себя на ходу простецкую голубую рубашку. Внимания на него голые женщины не обратили, да и он глазом не повел. При нем был докторский саквояж, старинный, дедовский, привезенный из Харькова. Фима был врач в третьем колене, широко образованный и оригинальный, но дела его складывались не блестящим образом, здешних экзаменов он еще не сдал и работал временно, уже пятый год, чем-то вроде квалифицированного лаборанта в дорогой клинике. Он заезжал каждый день, как будто надеясь, что ему повезет и он окажется Алику чем-нибудь полезным. Он склонился

над Аликом:

– Как дела, старик?

– А-а, ты... Расписание привез?

– Какое расписание? – удивился Фима.

– На паром... – слабенько улыбнулся Алик.

“Дело к концу, – подумал Фима. – Сознание начинает мешаться”.

И он вышел в кухню, загромыхал в холодильнике примерзшими кассетами со льдом.

“Идиоты, какие же все идиоты. Ненавижу”, – подумала девочка.

Она недавно проходила греческую мифологию и единственная из всех догадалась, что Алик имеет в виду не South Ferry. Со злым и высокомерным лицом она подошла к окну, отогнула край жалюзи и стала смотреть вниз. Там всегда что-нибудь происходило.

Алик оказался первым взрослым, кого она удостоила общением. Как и многих американских детей, ее с малолетства таскали по психологам, и не без оснований. Она разговаривала только с детьми, с большой неохотой делала исключение для матери, остальные взрослые для нее просто не существовали. Учителя принимали ее работы в письменном виде, выполнены они были точно и лаконично. Ей ставили высшие баллы и пожимали плечами. Психологи и психоаналитики строили сложные и весьма фантастические гипотезы о природе ее странного поведения. Нестандартных детей они любили, это был их хлеб.

Познакомилась она с Аликом на вернисаже, куда мать притащила свою неуклюжую девочку. Они тогда только-только переехали из Калифорнии в Нью-Йорк, и потерявшая сразу всех друзей Тишорт согласилась пойти с матерью. С Аликом ее мать была знакома со времен ее цирковой юности, еще по Москве, но в Америке они много лет не виделись. Так долго, что Ирина совершенно перестала думать, что именно она ему скажет, когда они встретятся. В тот день, когда они встретились на вернисаже, он левой рукой взял ее за пиджачную пуговицу с толстым, как курица, орлом, резким поворотом оторвал ее, подбросил и поймал. Потом раскрыл ладонь и мельком взглянул на сияющего орла:

– Придется сказать тебе одну вещь.

Правая рука его висела вдоль тела как неживая.левой он прижал Ирину густо-русую голову, волосок к волоску причесанную, с черным шелковым бантом в натуральных жемчужинах по краю, и шепнул ей в ухо:

– Ирка, я скоро помру.

Казалось бы, ну и помри. Ты для меня уже давно умер... Но она ощутила прикосновение узкого и тонкого металлического лезвия

под ложечкой, и медленное его движение внутрь, и острую боль по всему разрезу до позвоночника. Рядом стояла дочка и смотрела во все глаза.

– Зайдем ко мне, – предложил Алик.

– Я с дочкой. Не знаю, захочет ли она. – Ирина посмотрела на Тишорт.

Девочка давно уже с ней никуда не ходила. Ирина еле уговорила ее пойти на эту выставку. Она спросила у дочери, совершенно уверенная, что та откажется:

– Хочешь, зайдем в ателье к моему знакомому художнику?

– К этому рыжему? Хочу.

И они зашли. Картины, хотя были явно недавние, очень напоминали прежние. А через несколько дней зашли еще раз, почти случайно – мимо проходили. Тогда Ирину вызвали на какое-то важное деловое свидание, и она оставила Тишорт в мастерской часа на три, а вернувшись, застала невероятную картину: они орали друг на друга, как две разгневанные птицы. Алик размахивал левой рукой, правая уже съежилась и почти не действовала, он приседал и немного подпрыгивал:

– Да неужели тебе в голову не приходило, что всё дело в асимметрии? Всё дело в этом! Симметрия – смерть! Полная остановка! Короткое замыкание!..

– Да не ори ты! – кричала покрасневшая всеми веснушками Тишорт, и акцент ее был сильнее обычного. – А если мне нравится? Просто нравится! Почему вы всегда-всегда правы?

Алик опустил руку:

– Ну, знаешь...

Ирка едва в обморок не упала у лифта. Алик, сам того не зная, в два счета разрушил ту странную форму аутизма, которым страдала ее девочка лет с пяти. Старое злое пламя вспыхнуло в ней, но сразу же и погасло: чем таскать дочку по психиатрам, не лучше ли предоставить ей возможность человеческого общения, которого ей так не хватало...

Снова щелкнул лифт. В дверном проеме Нинка увидела новую посетительницу и вылетела навстречу, натягивая черное кимоно.

Маленькая, редкой толщины тетка, заботливо поставив между колен раздутую хозяйственную сумку, с пыхтеньем усаживалась в низкое кресло. Была она вся малиновая, дымящаяся, и казалось, щеки ее отливали самоварным сиянием.

– Марья Игнатьевна! Я вас третий день жду!

Тетка села на самый край сиденья, растопырив розовые ноги в подследниках, которые на этом континенте не водились.

– А я, Ниночка, вас не забываю. Все время с Аликом работаю. Вчера с шести вечера его держала... – Она поднесла к Нинкиному лицу треугольные пальчики с дистрофичными зеленоватыми ногтями. – Веришь ли, такое напряжение, у самой-то давление стало, еле хожу... Жара эта проклятая еще... Вот, принесла последнее...

Она вынула из матерчатой сумки три темные бутылки с густой жижей.

– Вот. Натирку новую сделала и дыхалку. А эта – на ноги. Тряпочку намочишь и к стопочкам приложишь, а сверху мешочек цельнофановый, и завяжи. Часа на два. А что кожа сойдет, это ничего. Как снимешь, так и обмой сразу.

Нинка молитвенно смотрела на это чучело и на ее снадобье. Взяла бутылки. Одну, что поменьше, прижала к щеке – прохладная. Понесла в спальню. Опустила жалюзи и поставила бутылки на узкий подоконник. Там уже была целая батарея.

А Марья Игнатьевна взялась за чайник. Она была единственным человеком, который мог пить чай в такую жару, и не американский, ледяной, а русский, горячий, с сахаром и вареньем.

Пока Нинка, тряся своими длинными волосами, с которых вроде бы сошла позолота и обнажилось глубокое серебро, наматывала Алику на ноги компрессы, укрывала легкой простыней в псевдошотландскую, никакому клану не принадлежащую клетку, Мария Игнатьевна беседовала с Фимой. Он интересовался ее результатами. Она смотрела на него с великодушным презрением:

– Ефим Исакыч! Фимочка! Какие результаты! Землей же пахнет... Однако всё в Божьих руках, вот что я скажу. Уж я такого навидалась. Вот уходит, совсем уж уходит, ан нет, не отпускает его. В траве-то какая сила! Камень пробивает. Верхушечка-то... Вот я ее, верхушечку, и беру, и от корешка беру верхушечку... Другой раз, бывает, уж совсем к земле пригнулся, а смотришь – встает. В Бога надо верить, Фима. Без Бога и трава не растет!

– Это точно, – легко согласился Фима и потер левую щеку, покрытую воронкообразными следами юношеских гормональных боев.

Про положительный фототаксис растений, о котором смутно и таинственно вещала толстуха с мягким, как тряпочным лицом, он знал из курса ботаники за пятый класс, но поскольку он был все-таки специалистом, то знал также, что чертова Аликова болезнь никуда

не денется: последняя работающая мышца, диафрагмальная, уже отказывает и в ближайшие дни наступит смерть от удушья. Местная проблема, которая вставала в таких случаях, – когда отключить аппарат, – была решена Аликом заблаговременно: он ушел из больницы под самый конец и отказался, таким образом, от жалкого доведка искусственной жизни.

Фиму теперь удручала мысль, что, вероятно, именно ему придется в какой-то момент ввести Алику снотворное, которое снимет страдания удушья и своим побочным действием – угнетением дыхательного центра – убьет... Но делать было нечего – положить Алика в госпиталь по “скорой помощи”, как делали уже дважды, теперь вряд ли было возможно. А снова искать фальшивый документ хлопотно и опасно...

– Удачи вам, – мягко сказал Фима и, прихватив известный саквояж, ушел не прощаясь.

“Обиделся он, что ли?” – подумала Марья Игнатьевна.

Она в здешней жизни мало понимала. Приехала год назад из Белоруссии, по вызову больной родственницы, но пока оформляла документы, пока сюда добиралась, лечить уж было некого. Так и перемахнула она через океан со своей чудодейственной силой и контрабандной травкой понапрасну. То есть не совсем понапрасну, потому что и здесь нашлись любители ее искусства, и она занялась противозаконной нелегальной деятельностью, не боясь никаких неприятностей. Только всё удивлялась: что это у вас за порядки тут, я лечу, можно сказать, с того света вынимаю, чего мне бояться... Объяснить ей ни про лицензии, ни про налоги никто не мог. Нинка подцепила ее в маленькой православной церкви на Манхэттене и сразу же решила, что ей знахарку Бог послал для Алика. В последние годы, еще до Аликовой болезни, Нинка обратилась в православие, чем нанесла большой удар по мракобесию: любимое свое развлечение, карты Таро, сочла за грех и подарила Джойке.

Марья Игнатьевна поманила Нинку пальцем. Нинка метнулась на кухню, налила в стакан апельсинового сока, потом водки, бросила горсть круглых ледышек. Питье ее было давно на местный манер: слабое, сладковатое и беспрерывное. Она поболтала палочкой, глотнула. Марья Игнатьевна тоже поболтала – ложечкой в чашке с чаем – и положила ложку на стол.

– Вот слушай-ка, чего тебе скажу, – строго сказала она. – Крестить его надо. Всё. Иначе – ничего не поможет.

– Да не хочет он, не хочет, сколько раз я тебе говорила, Марья

Игнатьевна! – взвилась Нинка.

– А ты не ори, – нахмурилась Марья Игнатьевна безбровым лицом, – уезжаю я. Бумага эта самая у меня уж давно кончилась. – Она имела в виду давно просроченную визу, но ни одного иностранного слова запомнить не умела. – Кончилась бумага-то. Уезжаю. Мне уж и билет прокомпостировали. Если ты его не крестишь, я его брошу. А крестишь, Нин, я с ним работать буду, хоть оттуда, хоть как... А так не смогу... – И она театрально развела ручками.

– Ничего я не могу сделать. Не хочет он. Смеется. Пусть, говорит, твой Бог меня беспартийного примет, – опустила Нина свою слабую маленькую головку.

Марья Игнатьевна выпучилась:

– Нин, ты что? Вы здесь как в лесу живете. Да на что же Господу Богу партийные?

Нинка махнула рукой и допила свое пойло. Марья Игнатьевна налила еще чайку.

– Я о тебе жалею, деточка. У Бога обителей много. Я хороших людей разных видела, и евреев, и всяких. На всех наготовлено. Вот мой Константин убиенный – крещеный и ждет меня, где всем положено. Я, конечно, не святая, да и пожить-то мы с ним прожили всего два года, я вдовой в двадцать один год осталась. Было кой-чего, не скажу, грешна. Но другого мужа у меня не было. И он ждет меня там. Поняла, о чем я забочусь? А то порознь будете, там-то. Ты крести его хоть так, хоть втемную... – увещевала Марья Игнатьевна.

– Как – втемную? – переспросила Нина.

– Идем-ка отсюда, от народу, – зашипела со значением Марья Игнатьевна, и, хотя народ весь толпился возле Алика, а в кухоньке никого не было, она затолкала Нинку в уборную, села на унитаз, накрытый розовой крышкой, а Нинку усадила на пластиковый короб для грязного белья. Здесь, в самом неподходящем месте, Нинка и получила все необходимые наставления...

Вскоре пришла Фаина, крепкая, как щелкунчик, с деревянным лицом и проволоочной белесой соломой на голове. Она была из свеженьких, но быстро прижилась.

– Фотоаппарат купила, – с порога заявила она, входя к Алику и размахивая над его неподвижной головой новенькой коробочкой. – “Полароид”! С обратимой пленкой! Ну давайте же фотографироваться!

Для нее в этой стране было много такого, чего она еще

не попробовала, и она торопилась поскорее всего закупить, надкусить, оценить и иметь по любому поводу мнение.

Валентина помахала над Аликом простыней. Но ему, единственному из всех, не было жарко. Валентина сбросила простыню и, залезши за спину Алика, села, опершись об изголовье. Подтянула его повыше, прижала его темно-рыжую голову к самому солнечному сплетению, туда, где, по словам покойной бабушки, жила душа. И вдруг слезы брызнули от жалости к Алику, к его бедной голове, так беспомощно ткнувшейся ей под грудь. Как ребенок, который еще не держит головки. Никогда за время их долгого романа не испытывала она такого острого и живого чувства: держать его в руках, на руках, а еще лучше – спрятать его в самую глубину своего тела, укрыть от проклятой смерти, которая уже так явно коснулась его рук и ног.

– Девки, в кучу собирайтесь, петушок пропел давно! – крикнула она улыбчивыми губами, стерев ладонью пот со лба и слезы со щеки. На плечи Алику она вывесила свои знаменитые груди в красной упаковке, сбоку на кровать села Джойка, согнув Аликову ногу в колене и придерживая ее плечом. С другой стороны, для фотографической симметрии, присела Тишорт.

Файка долго крутила фотоаппарат, не могла найти видоискатель, а когда заглянула в него, то фыркнула:

– Ой, Алик, муде на первом плане. Прикройте.

На самом деле на первом плане были трубочки мочеиспускателя.

– Ну вот еще, такую красоту прикрывать, – возразила Валентина, и Алик двинул уголком рта.

– Мало проку от этой красоты, – заметил он.

– Файка, погоди, – попросила Валентина и, подсунув под Аликову спину две большие русские подушки из Нинкиного генеральского приданого, прошла прямо по кровати к изножью и отклеила от нежного места розовый пластырь, на котором крепилась вся амуниция.

– Пусть отдохнет немножко, на воле побеждает...

Алик любил всякие шутки и второсортным тоже улыбался. Делала всё Валентина быстро, опытной рукой. Бывают такие женщины, у которых руки всё наперед знают, их и учить ничему не надо, медсестры от рождения.

Тишорт не выдержала и вышла из комнаты. Хотя она еще в прошлом году всё испробовала сначала с Джеффри Лещинским, а потом с Томом Кейном и пришла к выводу, что никакой секс ей даром не нужен, почему-то от манипуляции с катетером ее дернуло. Как она его рукой взяла... Чего

они все к нему так липнут...

Душ был как раз свободен. Она стянула шорты. Через ткань ощутила прямоугольную коробочку. Свернула всё аккуратно, чтобы не выпало. Инструкцию она помнила наизусть. Сегодняшнюю ночь она провела возле Алика. Не всю, несколько часов. Нинка вырубилась и спала в мастерской, а Алик не спал. Он попросил ее, и она всё сделала, как он хотел, и теперь эта коробочка была доказательством того, что именно она и есть его самый близкий человек.

Вода была не холодная, трубы сильно прогревались в такую жару. Все полотенца мокрые. Она обтерлась кое-как, нацепила на влажное тело одежду и выскользнула из квартиры: ей не хотелось с ними фотографироваться, вот что она поняла.

Она вышла к Гудзону, потом свернула в сторону парома и всё думала о единственном нормальном взрослом человеке, который как будто назло ей собирается умирать, чтобы опять оставить ее одну со всеми этими многочисленными идиотами – русскими, еврейскими, американскими, – окружающими ее с самого рождения...

3

Со зрением у Алика что-то происходило: оно и угасало и обострялось одновременно. Всё слегка укрупнилось и изменило плотность. Лица подруг вдруг стали жидковаты и предметы слегка текучи, но струение это было скорее приятным, к тому же оно по-новому выявило связи между предметами. Угол комнаты был взрезан одинокой старой лыжей, грязные белые стены бодро разбегались от нее в разные стороны. Это движение стен сдерживала женская фигура, сидящая на полу по-турецки и касающаяся затылком зыбкой стены. Самая прочная часть всей картины и была как раз эта точка соприкосновения женской головы и стены.

Кто-то подобрал снизу жалюзи, свет упал на темную жижу в бутылках, и она засветилась зеленым и темно-золотым. Жидкость стояла на разных уровнях, и в этом бутылочном ксилофоне он узнал вдруг свою юношескую мечту. В те годы он написал множество натюрмортов с бутылками. Тысячи бутылок. Может быть, даже больше, чем выпил... Нет, выпил все-таки больше. Он улыбнулся и закрыл глаза.

Но бутылки никуда не делись: побледневшими зыбкими столбиками они стояли в изнанке век. Он понимал, что это важно. Мысль ползла медленно и огромно, как рыхлая туча. Эти бутылки, бутылочные ритмы.

И ведь музыка звучала... Скрябинская светомузыка, как оказалось при рассмотрении, была полным фуфлом – механистично и убого. Он тогда стал изучать оптику и акустику. И этим ключом тоже ничего не открывалось. Натюрморты его были не то чтобы плохие, но совершенно необязательные. К тому же он и Моранди тогда не знал.

Потом все эти натюрморты как ветром разнесло, ничего не осталось. Где-нибудь в Питере, может, сохранились у тогдашних друзей или у Казанцевых в Москве... Господи, как же тогда пили. И бутылки собирали. Обыкновенные сдавали на обмен, а заграничные или старинные, цветного стекла, сохраняли.

И те, что стояли тогда на краю крыши, на ее жестяном отвороте, были темного стекла, из-под чешского пива. Кто поставил, так потом и не вспомнили. Из казанцевской кухни была дверка низкая в мезонин, а из мезонина – окно на крышу. Из этого окна и выпорхнула на крышу Ирка. Ничего особенного в этом не было: по этой крыше без конца бегали, и плясали, и загорали на ней. Она сползла на задку вниз по скату, а когда встала, на белых джинсах отчетливо были видны два темных пятна во все ягодичи. Она стояла на самом краю крыши, чудесная легконогая девчонка. Бог послал их друг другу для первой любви, и они всё делали по-честному, без халтуры, до звона в небе.

Когда строгий дед, потомственный циркач, выгнал Ирку из труппы за то, что она прогуляла репетицию, сорвавшись с Аликом в Питер на два дня, они тут, в мезонине у Казанцевых, и поселились и жили к тому времени уже три месяца, изнемогая под бременем всё растущего чувства... А в тот день пришел в гости знаменитый молодежный писатель, взрослый, с двумя бутылками водки. Он был симпатичный. И Ирка дернула плечом чуть не так, и посмотрела вкось, и что-то сказала немного более низким, чем обычно, голосом, и Алик шепнул ей:

– Зачем ты кокетничаешь? Это пошло. Если он тебе нравится, дай.

Он ей и вправду понравился.

– Нет, не в том смысле. А если в том, то совсем немножко, – говорила она потом Алику.

Но в ту минуту от злости и от жестокой справедливости его слов она выскочила в окошко и съехала на заднице к краю крыши, а потом встала во весь рост рядом с бутылками и присела на корточки – еще никто не смотрел в ее сторону, кроме Алика, – обхватила пальцами горлышки крайних бутылок и сделала на них стойку. Острые носки ее туфель замерли на фоне лилового неба. Те, кто сидел лицом к окну, увидели стоящую на руках Ирку и замолчали.

Писатель, ничего не заметивший, рассказывал байку об украденной генеральской шинели и сам себе похохатывал.

Алик сделал шаг к окну... А Ирка уже шла на руках по бутылкам. Она обнимала горлышко бутылки двумя руками, потом отрывала одну руку, нащупывала следующую бутылку и, ухватившись за нее, переносила на нее тяжесть своего напряженного тела... Писатель еще немного побасил и осекся. Почувствовал: что-то происходит за спиной. Он оглянулся и дрогнул начинающими полнеть щеками – он не переносил высоты. Дом-то был ерундовый, полуторазтажный, высотой метров в пять. Но физиология куда как сильней арифметики.

Руки у Алика стали мокрыми, по спине струйкой тек пот. Нелька Казанцева, хозяйка дома, тоже баба шальная, загрохотав вниз по деревянной лестнице, бросилась на улицу.

Медленно, царапая носками туфель затвердевшее от страха небо, Ирка добралась до последней бутылки, ловко поджала ноги, села на крышу и соскользнула вниз по хлипкой водосточной трубе. Нелька уже стояла внизу и кричала:

– Беги! Беги скорей!

Она видела выражение лица Алика, и реакция у нее оказалась самая быстрая. Ирка метнулась в сторону Кропоткинской, но было уже поздно. Алик схватил ее за волосы и врезал оплеуху...

Еще два года они промаялись, всё не могли расстаться, но на этой оплеухе кончилось всё самое лучшее. А потом расстались, не сумевши ни простить, ни разлюбить. Гордость была дьявольская – в тот вечер она таки ушла с писателем. Но Алик тогда и бровью не повел.

Ирка первой подвела черту: нанялась в труппу воздушных гимнастов, в чужую, в конкурентную, дед ее проклял, и она уехала на большие гастроли на всё лето, с шапито. Алик же сделал тогда первую эмиграционную пробу – переехал в Питер...

Алик открыл глаза. Он еще чувствовал жар, идущий от нагретой крыши ветхого особняка в Афанасьевском, и мышцы еще как будто отзывались на бурный пробег по деревянной лестнице казанцевского дома, и это воспоминание во сне оказалось богаче самой памяти, потому что он успел разглядеть такие детали, которые вроде бы давно растворились: треснутую чашку с портретом Карла Маркса, из которой пил хозяин дома, потерянное вскоре кольцо с мертвой зеленой бирюзой в эмалевом темно-синем касте на Иркиной руке, белую породистую прядь в темной голове десятилетнего казанцевского сына...

Солнце уже шло на закат, в Нью-Джерси, свет косил из окна прямо на Алика, и он жмурился. Джойка сидела на постели возле него, читала по его просьбе “Божественную комедию” по-итальянски и довольно коряво пересказывала каждую терцину по-английски. Алик не открыл ей, что довольно прилично знает итальянский: жил когда-то почти год в Риме, и этот веселый чокающий язык без труда отпечатался в нем, как след руки в глине. Но теперь ничего не значили его дарования – ни хваткая память, ни тонкий музыкальный слух, ни талант художника. Всё это он уносил с собой, даже дурацкое умение петь тирольские песни и первоклассно играть на бильярде...

Валентина массировала его пустую ногу, и ей казалось, что в мышцах немного прибавляется жизни.

Пока он был в сонном забытии, приехал Аркаша Либин с новым кондиционером и относительно новой подружкой Наташей. Либин был любителем некрасивых женщин, и притом совершенно определенного типа: субтильных, с большими лбами и маленькими ротиками.

– Либин стремится к совершенству, – еще недавно шутил Алик. – Наташке в рот чайная ложка еле пролезает, а следующую он будет кормить одними макаронами.

Либин был намерен сегодня снять сломанный кондиционер и установить новый и собирался сделать это в одиночку, хотя даже специалисты работали обыкновенно в паре.

Обещающая успех русская самоуверенность. Он переставил бутылки с подоконника на пол, снял жалюзи, и в ту же секунду, как будто сквозь образовавшуюся дыру, с улицы хлынула ненавистная Алику латиноамериканская музыка. Уже вторую неделю весь квартал донимали шестеро южноамериканских индейцев, облюбовавших себе угол прямо под их окнами.

– Нельзя ли их как-нибудь заткнуть? – тихо спросил Алик.

– Проще тебя заткнуть, – отозвалась Валентина и нацепила на Алика наушники.

Джойка в обиженном недоумении посмотрела на Валентину. На этот раз она обиделась еще и за Данте.

Валентина поставила ему джаплиновский регтайм. Слушать эту музыку он научил ее во времена тайных встреч и ночных блужданий по городу.

– Спасибо, зайка, – дрогнул веками Алик.

Всех их он звал зайками и кисками. Большинство их приехали с двадцатью килограммами груза и двадцатью английскими словами

в придачу и совершили ради этого перемещения сотни крупных и мелких разрывов: с родителями, профессией, улицей и двором, воздухом и водой и, наконец, что осознавалось медленнее всего, – с родной речью, которая с годами становилась всё более инструментальной и утилитарной. Новый, американский язык, приходящий постепенно, тоже был утилитарным и примитивным, и они изъяснялись на возникшем в их среде жаргоне, умышленно усеченном и смешном. В это эмигрантское наречие легко входили обрезки русского, английского, идиш, самое изысканное чернословие и легкая интонация еврейского анекдота.

– Боже ж мой, – ёрничала Валентина, – это же гребаный кошмар, а не музыка! Уже закрой свою форточку, ингеле, я тебе умоляю. Что они себе думают, чем пойти покушать и выпить и иметь полный фан и хороший муд? Они делают такой гевалт, что мы имеем от них один хедик.

Обиженная Джойка, оставив на кровати красный томик флорентийского эмигранта, ушла к себе, в соседний подъезд. Мелкоротая Наташа варила на кухне кофе. Валентина, переложив Алика на бок, терла ему спину. Прележней пока не было. Мочеприемник больше не надевали – кожа сгорала от пластырей. Подмокших простыней накопилась куча, Файка собрала их и пошла в прачечную, на уголок. Нинка дремала в кресле, в мастерской, не выпуская из рук стакана.

Либин безуспешно возился с кондиционером. Не хватало крепежной планки, и он родным российским способом пытался из двух неподходящих длинных сделать одну короткую, не прибегая к помощи инструментов, которые он забыл дома.

Долго отступавшее солнце закатилось наконец, как полтинник, за диван, и в пять минут наступила ночь. Все разошлись, и впервые за последнюю неделю Нинка осталась с мужем наедине. Каждый раз, когда она подходила к нему, она заново ужасалась. Несколько часов сна, усиленного алкоголем, давали душе отдых: во сне она полно и с наслаждением забывала об этой редкой и особенной болезни, которая напала на Алика и скручивала его со страшной силой, а просыпаясь, каждый раз надеялась, что всё это наваждение ушло, и Алик, выйдя ей навстречу, скажет свое обычное: “Зайка, а что это ты тут делаешь?”

Но ничего такого не происходило.

Она вошла к нему, прилегла рядом, покрыв волосами его угловатое

плечо. Похоже, он спал. Дыхание было трудным. Она прислушалась. Не открывая глаз, он сказал:

– Когда эта проклятая жара кончится?

Она встрепенулась, метнулась в угол, куда Либин составил полное собрание сочинений Марьи Игнатьевны в семи бутылках. Вытащила самую маленькую из бутылочек, свинтила с нее пробку и сунула Алику под нос. Запахло нашатырем.

– Легче? Легче, да? – затребовала Нинка немедленного ответа.

– Вроде легче, – согласился он.

Она снова легла с ним рядом, повернула его голову к себе и зашептала в ухо:

– Алик, прошу тебя, сделай это для меня.

– Что? – Он не понимал или делал вид, что не понимает.

– Крестись, и всё будет хорошо, и лечение поможет. – Она взяла в обе руки его расслабленную кисть и слабо поцеловала веснушчатую руку. – И страшно не будет.

– Да мне и не страшно, детка.

– Так я приведу священника, да? – обрадовалась она.

Алик собрал свой плывущий взгляд и сказал неожиданно серьезно:

– Нин, у меня нет никаких возражений против твоего Христа. Он мне даже нравится, хотя с чувством юмора у него было не всё в порядке. Дело, понимаешь, в том, что я и сам умный еврей. А в крещении какая-то глупость, театр. А я театра не люблю. Я люблю кино. Отстань от меня, киска.

Нинка сцепила свои худущие пальцы и затрясла ими:

– Ну хотя бы поговори с ним. Он придет, и вы поговорите.

– Кто придет? – переспросил Алик.

– Да священник. Он очень, очень хороший. Ну прошу тебя... – Она гладила его по шее острым языком, потом провела по ключице, по прилипшему к костям соску тем приглашающим интимным жестом, который был принят между ними. Она его соблазняла в крещение – как в любовную игру.

Он слабо улыбнулся:

– Валяй. Веди своего попа. Только с условием: раббая тоже приведешь.

Нинка обмерла:

– Ты шутишь?

– Почему же? Если ты хочешь от меня такого серьезного шага, я вправе иметь двустороннюю консультацию... – Он всегда умел из любой ситуации извлекать максимум удовольствия.

“Поддался, поддался, – ликовала Нинка. – Теперь крещу”.

Со священником, отцом Виктором, давно было договорено. Он был настоятель маленькой православной церкви, человек образованный, потомок эмигрантов первой волны, с крученой биографией и простой верой. Характера он был общительного, по натуре смешлив, охотно ходил в гости к прихожанам, любил и выпить.

Откуда берутся раввины, Нинка понятия не имела. Круг их друзей был вовсе не связан с еврейской общиной, и следовало поднапрячься, чтобы обеспечить Алика раввином, если уж это необходимое условие.

Часа два Нина возилась с травяными примочками, снова ставила компрессы на ступни, растирала грудь пахучей резкой настойкой и в три ночи сообразила, что Ира Пирсон недавно, смеясь, говорила, что из всех здешних евреев она одна-единственная русская, умеющая приготовить рыбу-фиш, потому что была замужем за настоящим евреем с субботой, кошером и всем, что полагается.

Вспомнив, Нинка немедленно набрала ее номер, и та обмерла, услышав среди ночи Нинкин голос.

“Всё”, – решила она.

– Ир, слушай, у тебя был муж еврей религиозный? – услышала она в трубке дикий вопрос.

“Напилась”, – подумала Ира. – Да.

– А ты не могла бы его разыскать? Алик раббая хочет.

“Нет, просто совсем сошла с ума”, – решила Ира и сказала осторожно:

– Давай завтра об этом поговорим. Сейчас три часа ночи, я в такое время всё равно никому позвонить не могу.

– Ты имей в виду, это очень срочно, – совершенно ясным голосом сказала Нинка.

– Я завтра вечером заеду, о’кей?

Ирина испытывала к Нине глубокий интерес. Возможно, это и была настоящая причина, почему она тогда, полтора года назад, согласилась зайти к нему в мастерскую: посмотреть, что же это за чудо в перьях, которому достался Алик.

Алик был кумиром женщин едва ли не от рождения, любимцем всех нянек и воспитательниц еще с ясельного возраста. В школьные годы его приглашали на дни рождения все одноклассницы и влюблялись в него вместе со своими бабушками и их собачками. В годы отрочества, когда охватывает дикое беспокойство, что уже пора начинать взрослую жизнь, а она всё никак не задается, и умненькие мальчики и девочки кидаются

в дурацкие приключения, Алик был просто незаменим: принимал дружеские исповеди, умел и насмешить, и высмеять, а главное, редкостное, что от него шло, – совершенная уверенность, что жизнь начинается со следующего понедельника, а вчерашний день вполне можно и вычеркнуть, особенно если он был не вполне удачен. Позднее перед его обаянием не устояла даже инспекторша курса в театрально-художественном училище по прозвищу Змеиный Яд: четыре раза его выгоняли и три, хлопотами влюбленной инспекторши, восстанавливали.

При первом знакомстве Нина произвела на Ирину впечатление надменно-капризной дуры: потрепанная красавица сидела на грязном белом ковре и попросила ее не беспокоить – она складывала гигантский пазл. При ближайшем рассмотрении Ирина сочла ее просто слабоумной, к тому же психически неуравновешенной: вялость у нее сменялась истериками, припадками веселья – меланхолией.

Впрочем, понять, почему он женился, еще можно было, но вот как он терпит столько лет ее доходящую до слабоумия глупость, патологическую лень и неряшливость... Она испытывала не запоздалую ревность, а глубокое недоумение. Ирина никогда не сталкивалась с тем женским типом, к которому принадлежала Нина: именно своей безграничной беспомощностью она возбуждала в окружающих, особенно в мужчинах, чувство повышенной ответственности.

У Нины, кроме того, была еще одна особенность: каждую свою прихоть, каприз или выдумку она доводила до предела. Например, она никогда не брала в руки денег. Поэтому Алик, уезжая, скажем, на неделю в Вашингтон, знал, что Нина не выйдет в магазин и предпочтет голодную смерть прикосновению к “гадким бумажкам”. И он всегда забивал ей перед отъездом холодильник.

В России Нина никогда не готовила, так как боялась огня. Она увлекалась тогда астрологией и где-то вычитала, что ей, рожденной под знаком Весов, грозит опасность от огня. С тех пор она уже больше не подходила к плите, объясняя это космической несовместимостью знака воздуха и стихии огня. Здесь, в ателье, где вместо газовой плиты стояла электрическая и живой огонь она видела разве только на кончике спички, ее отвращение к стряпне не прошло, и Алик легко и с успехом справлялся с кухней.

Кроме денег и огня была еще одна вещь, уже вполне неосязаемая, – безумный, до столбняка, страх перед принятием решения. Чем незначительней был предмет выбора, тем больше она мучилась. Ирина однажды, получив кучу бесплатных билетов от своей клиентки-певицы,

по просьбе Тишорт пригласила Алика с Нинкой в театр. Они заехали за ними и оказались свидетельницами того, как Нинка до изнеможения перемеряла свои маленькие узкие платица и нарядные туфли, а потом бросилась в постель и сказала, что она никуда не пойдет. И плакала в подушку, пока Алик, избегая смотреть в сторону невольных свидетельниц, не положил рядом с Нинкой какого-то платья наугад и не сказал ей:

– Вот это. К опере бархат – всё равно что сосиски к пиву.

Тишорт, кажется, получила от этого представления больше удовольствия, чем от посредственной оперы.

Ирина хорошо знала цену прихоти и капризу: этим была полна ее юность. Но в отличие от Нины у нее за спиной было цирковое училище. Умение ходить по проволоке очень полезно для эмигранта. Может быть, именно благодаря этому умению она и оказалась самой удачливой из всех... Ступни режет, сердце почти останавливается, пот заливает глаза, а скулы сведены безразмерной оскальной улыбкой, подбородок победоносно вздернут, и кончик носа туда же, к звездам, – всё легко и просто, просто и легко... И зубами, когтями, недосыпая восемь лет ровно по два часа каждый день, вырываешь дорогостоящую американскую профессию... И решения приходится принимать по десять раз на дню, и давно взято за правило – не расстраиваться, если сегодняшнее решение оказалось не самым удачным.

“Прошлое окончательно и неотменимо, но власти над будущим не имеет”, – говорила она в таких случаях. И вдруг оказалось, что ее неотменимое прошлое имеет какую-то власть над ней.

Ни о будущей смерти, ни о прежней жизни никаких разговоров Ирина с Аликом не вела. То, о чем она и мечтать не могла, произошло: Тишорт общалась с Аликом и со всеми его друзьями так легко и свободно, что никому из них и в голову не приходило, какое сложное психическое расстройство перенесла девочка. Но теперь Ирина вряд ли могла объяснить себе самой, что заставляет ее проводить в шумном беспорядочном Аликовом логове каждую свободную минуту вот уже второй год.

Английская золотая рыбка, больше похожая на загорелого тунца, чем на нежную вуалехвостку, доктор Харрис, с которым Ирина тайно женихалась уже четыре года, приехавши на пять дней в Нью-Йорк, едва смог ее изловить и улетел обиженным, в полной уверенности, что она собирается его бросить... А это совершенно не входило в ее планы. Он был известным специалистом по авторским правам, занимал такое положение, что и познакомиться с ним для нее было почти невозможно. Чистый

случай: хозяин конторы взял ее с собой на переговоры в качестве помощника, а потом был прием, на котором женщин почти не было, и она сияла на фоне черных смокингов как белая голубка среди старых воронов. Через два месяца, когда она уже и думать забыла об этой поездке в Англию, пришло приглашение на конференцию молодых юристов. Хозяин конторы долго не мог опомниться от изумления, но всё же не заподозрил Харриса в интересе к своей миниатюрной помощнице. Отпустил Ирину на три дня в Европу. И теперь всё шло к тому, что Харрис женится...

И здесь не какая-нибудь любовь-морковь, а дело серьезное.

Каждая женщина, которой исполнилось сорок, мечтает о Харрисе. А Ирине как раз исполнилось.

В общем, получилось глупо...

Вечером Ирина приехала к Нинке для разговора. Но в спальне топталась опять знахарка, заскочившая на пять минут перед отъездом, Нинка вокруг нее бегала. В мастерской, как обычно, сидел народ.

Ирина была голодная, открыла холодильник. Там было плоховато. В бумажном пакете из русского магазина лежал дорогостоящий черный хлеб, подсыхал сыр. Ирина сделала себе бутерброд. Выпила Нинкиной смеси – в этом доме все почему-то начинали пить “отвертку” – апельсиновый сок с водкой... Наконец выползла Нинка.

– Так зачем тебе понадобился Готлиб?

– Какой Готлиб? – удивилась Нинка.

– О господи, да ты же ночью звонила...

– А, он Готлиб. Я и не знала, что он Готлиб... Алик сказал, чтобы привезли раббай, – невинно сказала Нинка, а Ирина вдруг почувствовала прилив раздражения: чего она возится с этой идиоткой. Но она профессионально сдержала раздражение и мягко спросила:

– Да зачем ему раббай? Ты ничего не путаешь?

Нинка просияла:

– Да ты же ничего не знаешь! Алик согласился креститься.

Ирина от ярости зашлась:

– Нин, если креститься, то, наверное, священник нужен, а?

– Само собой! – кивнула Нинка. – Само собой – священник. Это я уже договорилась. Но Алик попросил... он хочет еще и с раббаем поговорить.

– Он хочет креститься? – удивилась Ирина, уловив наконец самое существенное.

Нина опустила узкое личико в костлявые, переставшие быть красивыми руки.

– Фима говорит, что очень плохо. Все говорят, что плохо. А Марья Игнатьевна говорит, что последняя надежда – креститься. Я не хочу, чтобы он уходил в никуда. Я хочу, чтобы его Бог принял. Ты не представляешь себе, какая это тьма... Это нельзя себе представить...

Нинка кое-что знала про тьму, у нее были три суицидальные попытки: одна в ранней юности, вторая после отъезда Алика из России и третья уже здесь, после рождения мертвого ребенка...

– Надо скорее, скорее. – Нинка вылила остатки сока в стакан. – Ириша, купи мне, пожалуйста, сока. А водки не надо, водку вчера Славик принес. Пусть твой Готлиб нам раббая приволочет...

Ирина взяла сумку, опустила руку в металлический судок, стоявший на холодильнике, – туда складывали счета. Там было пусто: кто-то уже оплатил.

5

О себе она говорила: я ставила на всех лошадок, в том числе и на еврейскую. Еврейской лошадкой был огромный чернобородый Лева Готлиб, которому удалось засунуть русскую Ирку в иудаизм, да не как-нибудь, а по полной программе, с субботними свечами, миквой и головным убором, который был ей, кстати, очень к лицу. Маленькая Тишорт была отправлена тогда в религиозную школу для девочек, которую, между прочим, до сего дня добром вспоминала.

Ирка проеврействовала два полных года. Учила иврит: способностями она была никак не обижена, всё ей давалось легко. Ходила в синагогу и наслаждалась семейной жизнью. В одно прекрасное утро она проснулась и поняла, что ей смертельно скучно. Она собрала попавшиеся под руку вещи и немедленно съехала, оставив Лева записку ровно в два слова: “Я уезжаю”. Позднее, когда Лева разыскал ее у старых друзей и пытался восстановить семью, она отвечала только одно: надоело, Лева, надоело. Это был последний ее каприз, а может, эмоциональный бунт – больше она не позволяла себе таких экстравагантных поступков.

Переехала в Калифорнию. Как она жила эти годы, нью-йоркским друзьям было неизвестно. Некоторые считали, что у нее был какой-то запасец. Другие подозревали, что ее содержит любовник. Толком никто ничего не знал: днем она носила английского стиля костюмы из льна и шелка, а по вечерам, нацепив перья и блески, выступала со своим акробатическим номером в специальном месте для богатых идиотов.

Цирковое училище было не фунт изюму – настоящая профессия, не какой-нибудь PhD. Благодаря этой профессии по ночам она крутила ногами, а днем ворочала мозгами в юридической школе. В конце концов она ее окончила, пройдя положенный курс наук и научившись за эти годы вставать в половине седьмого, вместо сорокаминутной утренней ванны принимать трехминутный душ и не поднимать телефонной трубки прежде, чем автоответчик объявит ей, кто именно звонит; она получила место помощника юриста в солидной конторе.

Жила она в Лос-Анджелесе, с эмигрантами почти не общалась, говорила с легким английским акцентом, которому надо было еще научиться. Это было даже шикарно. Люди понимающие знают, что избавиться от акцента труднее, чем его изменить. Свою незамысловатую русскую фамилию она поменяла предусмотрительно, еще при получении первых американских документов.

Со времен ее шоу-карьеры у нее остались кое-какие артистические связи, и она привела с собой клиентуру. Не бог весть какую, но хозяин это оценил. Со временем он дал ей возможность вести дела самостоятельно. Она выиграла для него несколько незначительных дел. Для американского молодого человека такая карьера могла бы считаться неплохой. Для сорокалетней циркачки из России она была блестящей.

Бывшему мужу Леве развод тоже пошел на пользу. Он женился на правильной еврейской девушке из Могилева, не имевшей за спиной ни опыта цирковой акробатки, ни какого бы то ни было вообще. Большая, толстая и широкозадая, она родила ему за семь лет пятерых детишек, и это полностью примирило Леву с потерей Ирки. Рассудительная жена уверенно говорила подружкам:

– Вы же понимаете, всем нашим мужчинам по вкусу шиксы, но это до тех пор, пока они не имеют настоящую еврейскую жену.

Эта великая мудрость была последним пределом ее возможностей, но Лева не стал бы этого оспаривать.

Ирина довольно быстро разыскала по справочнику Леву, а когда попросила его о срочной встрече, он был сильно смущен. Два часа, покуда она добиралась к нему в Бронкс, он корчился от предчувствия большой неприятности или по меньшей мере неловкости, которые она с собой привезет.

Контора его была довольно замурзанная, но дело, которое здесь варилось, было придумано когда-то Ирккой. Ее практический ум в сочетании с небрежной незаинтересованностью принес в свое время Леве удачу. Именно Ирка в самом начале их недолгого брака уговорила его

вложить все имеющиеся у него деньги, с трудом сбитые пять тысяч, в рискованную и блестяще себя оправдавшую затею по производству кошерной косметики. В то время Ирина еще находилась в состоянии недолгого романа с иудаизмом, правда весьма смягченным и реформированным, но не забывшим о драматических отношениях молока и мяса, в особенности того, которое при жизни хрюкало.

Левушкина косметика еще только-только находила своих потребителей, когда Ирина, покрытая трэфными бликами общеамериканской косметики, его покинула. Лева, вступив в новую полосу своей жизни, вскоре поменял ориентацию, изменив реформаторам с ортодоксами. Там был свой политический резон. Ему пришлось отказаться от производства грубых красок, оскверняющих благородные лица еврейских женщин, и он продал эту часть дела двоюродному брату, оставив за собой производство кошерного шампуня и мыла, а также научился производить кошерный аспирин и другие медикаменты. Вероятно, на свете существовало довольно много людей, которым эта идея не казалась сплошным надувательством.

Лева встретил Ирину на пороге своего кабинета. Оба сильно изменились, но изменения эти были обусловлены скорее не течением лет, а новым характером жизни. Лева располнел и стал как будто меньше ростом за счет ширины спины и раздавшихся щек, да и лицо утратило белорозовый оттенок, напоминавший о молодом царе Давиде, и приобрело какой-то сумрачный цвет. Ирина же, ходившая в годы их брака в трикотажных майках с дыркой на плече и в длинных индийских юбках, метущих пол, поразила его журнальной безукоризненностью, жестким изяществом бровей и носа, твердостью подбородка и мягкостью губ.

“Жемчужина, настоящая жемчужина”, – подумал Лева и, подумавши, сказал это вслух.

Ирина засмеялась прежним легким смехом:

– Я рада, Левушка, что тебе нравлюсь. Ты очень изменился, но, знаешь, неплохо, такой солидный капитальный господин.

– И пятеро детей, Ирочка, пятеро. – И он вытащил из стола маленький альбомчик с фотографиями. – А как Маечка? – вдогонку спросил он.

– Нормально, взрослая девица.

Она внимательно рассмотрела альбом, кивнула и положила его на стол.

– Дело у меня вот какое. Старый приятель, еврей, дружок мой еще по Москве, тяжело болен. Умирает. Он хочет поговорить с раббаем. Можешь это устроить?

– И это вся твоя проблема? – Лева испытал огромное облегчение, потому что все-таки подозревал, что Ирина хочет предъявить ему какие-то имущественные претензии, связанные с теми пятью тысячами, потому что тогда они были в браке... Он был человек порядочный, но обременен семьей и ненавидел непредвиденные расходы. – Если тебе надо, я приведу хоть десять. – Он смутился, потому что сказал глупость, но Ирина не поняла или не обратила внимания.

– Но это надо срочно, очень срочно, он совсем плох, – попросила она. Лева обещал позвонить сегодня же вечером.

Он действительно позвонил вечером и сказал, что может привести замечательного раббая, израильского, читающего сейчас какой-то мудреный курс в Нью-Йоркском университете. И уже договорился, что приведет его к больному сразу после конца субботы.

Весьма примечательно, но никогда ничего не забывавшая Ирина начисто забыла, что еврейская суббота кончается в субботу вечером, и объявила Нине, что раббай придет в воскресенье утром.

Священник, отец Виктор, обещал прийти в субботу после всенощной. Нинка придавала большое значение тому, что священник появится первым.

6

Фима пришел к Берману очень поздно, без звонка, такая бесцеремонность была между ними принята. Их связывали давние отношения, отчасти и родственные. Родство было дальним, трудновычисляемым, по деду, но на самом деле это не имело значения. Важным было другое: оба они были врачи в том смысле, в каком люди урождаются блондинами, или певцами, или трусами, то есть по волеизъявлению природы. Чутье к человеческому телу, слух к движению крови, особое устройство мышления.

– Системное, – определял его Берман.

Оба они чуяли, какие качества характера в сочетании с определенным типом обмена тянут за собой гипертонию, где ожидать язвы, астмы, рака... Прежде чем начинать медицинский осмотр, они примечали, что кожа суха, белок мутноват, в углах рта – точечные воспаления...

Впрочем, в последние годы они мало кого осматривали, разве что знакомые просили.

В отличие от Фимы, Берман, переехав в Америку, сдал все экзамены за два месяца, подтвердил свой российский диплом и поставил

одновременно местный рекорд: никому еще не удавалось так быстро справиться с полным курсом медицинской науки. Сразу же он получил работу в одной из городских больниц. Здесь и познакомился на практике с американской медициной, отдавая ей по семьдесят часов в неделю, и она показалась ему столь же малоудовлетворительной, что и российская, но по другим причинам. Тогда он и нашел для себя область, в которой мог держаться подальше от американских врачей. Он их мало уважал.

Область эта была новая, только обозначившаяся.

“В России такого лет двадцать не будет, а может, никогда”, – с огорчением думал он.

Называлась эта область радиомедицина. Это было диагностическое направление, сочетающее введение в организм радиоизотопов и последующее компьютерное обследование.

Как говорил сам Берман, последние остатки мозгов ушли у него на освоение этого современного компьютера, последние остатки энергии – на добывание денег для его покупки и открытие собственной диагностической лаборатории, и последние остатки жизни он собирался потратить на выплату гигантских долгов, которые образовались в результате всех его усилий...

Дело его тем не менее шло хорошо, раскручивалось и набирало обороты, а все доходы шли пока на покрытие кредитов и выплату процентов, которые росли в этой стране быстро и незаметно, как плесень на сырой стене.

Долгов у Бермана было больше четырехсот тысяч, а у Фимы – четырехста долларов, то есть, по американской логике, один процветал, второй же находился в самом жалком положении. Жили они в одинаково паршивых квартирах, ели одну и ту же дешевую еду. Разница только в том и заключалась, что Берман купил себе три приличных “докторских” костюма, а Фима обходился бедняцкой одеждой.

– Как живет вся Америка, так живем и мы, – усмехался Берман и фамильярно шлепал Фиму по плечу.

Оба прекрасно понимали, что если уж Берману под его голову, образование или авантюрный проект дают такие кредиты, значит, всего этого он стоит. И потому он мог бы уже сегодня переехать в хороший Ист-Сайд, если б не был скуповат и не осторожничал.

Фима ежился. Зависть не зависть, но нечто болезненное шевелилось в душе. Надо отдать Берману должное: открывая лабораторию, он предложил Фиме пойти к нему техником, однако для этого надо было закончить какие-то специальные курсы, а Фима всё еще мусолил

английские учебники, делал вид перед самим собой, что в будущем году уж точно он мобилизуется и сдаст наконец проклятые экзамены... словом, от Фиминого предложения он отказался. Принять – означало бы полную и окончательную капитуляцию.

Когда-то в России они были на равных, два молодых талантливых врача, знающих себе цену. Здесь, благодаря к делу не идущей способности к лопотанию на этом собачьем языке, Берман так далеко ушел, что Фиме никогда уже не дотянуться. Но в данном случае, с Аликом, они по-прежнему были на равных – два врача возле одного больного.

Теперешняя встреча представляла, собственно говоря, консилиум. Фима был первым врачом, к которому обратился Алик, когда правая рука стала ему изменять. Два года тому назад.

“Ерунда, профессиональное переутомление, может, тендовагинит”, – поставил Фима первый диагноз, но быстро спохватился. Левая рука тоже начала сдавать. Если бы процесс не шел так стремительно, можно было бы говорить о рассеянном склерозе. Нужно было большое хорошее обследование.

Провел первое обследование Берман. Бесплатно, конечно, еще и сам изотопы оплатил. Компьютер ничего не показал.

– Американская штука, – ухмыльнулся Берман, – не хочет бесплатно работать... Пока ты с виду здоров, покупай страховку, старик. Она начинает действовать через полгода, но я тебе гарантирую, что такие вещи сами собой не проходят, – вынес свое заключение Берман.

Но денег на страховку не было, к тому же Алик никогда не думал о том, что будет через полгода. По этой же причине, а также из отвращения к очередям, чиновникам и казенным бумажкам, оставшегося у него с советских времен, у него никогда не было американских пособий. Среди иммигрантов было немало людей, которые чуть ли не соревновались в ловкости по выдавливанию разного рода подачек и льгот – от продовольственных карточек до бесплатных квартир, Алик же ухитрился прожить почти два десятилетия беззаботной птичкой, работая легко и потаенно: у многих создавалось впечатление, что живет он нашармачка, на авось. Особое раздражение он вызывал как раз не у честных работяг, а именно у принципиальных бездельников и отъявленных ловчил.

Словом, не было у него никогда никакой страховки, как и постоянной работы, и рассчитывать на это не приходилось: меньше, чем когда-либо, был он теперь способен высидеть многодневные очереди в бесконечных коридорах и получить необходимые бумаги.

К счастью, американская система медицинского обслуживания,

компьютеризованная и продуманная, оставляла некоторые щелки, в которые можно было всунуться.

Первые анализы были сделаны по чужим документам. Кровь молчала.

Первую госпитализацию организовали на улице: вызвали “скорую помощь” и разыграли небольшой спектакль. Хозяин кафе напротив дома вызвал машину, сказавши, что человек упал без сознания возле его двери. Человек этот лег на три сдвинутых стула, свесил рыжий хвост и, подмигивая приятелю-хозяину, минут пять ждал машины. Его забрали, провели обследование, дали medicaid на время пребывания в больнице.

Лечили его невропатологи, ставили капельницы, вводили положенные лекарства. Всё было довольно уныло, и Алики из больницы сбежал. Фима устроил ему скандал: что бы там ни было, назначения были хорошие, лечение симптоматическое, но другого и быть не может, когда диагноз не поставлен. Фима настаивал, чтобы он лег снова, и единственный способ снова туда попасть – сделать “мастырку”. Фима быстренько организовал ему небольшой свищ на ключице, и Алики предъявил его как осложнение после неудачного лечения. Городская больница хоть и не частное учреждение, но тоже исков не любила, и его опять госпитализировали...

Так всё тянулось. Алики ложился, снова выходил. Не ясно было, помогает ли лечение, – кто ж знал, что было бы без него. Но правая уже висела плетью, левой он с трудом подносил ложку ко рту. Изменилась походка. Уставал. Спотыкался. Потом упал первый раз. И всё это происходило с ужасающей скоростью. К весне следующего года он еле передвигался.

Вторая госпитализация была гораздо более сложным делом. Алики привезли к Берману в лабораторию, Берман сам вызвал “скорую”, сказал, что у него тяжелый больной на приеме. “Скорая” потребовала письменного свидетельства, что больной не умрет в дороге. Берман, который знал все здешние бюрократические уловки, письмо это уже заготовил. Он поехал с Аликом вместе, и, на счастье, главный человек, медсестра, оказалась знакомая Берману старая ирландка, хмурая, резкая и совершенный ангел, – она дала направление в китайскую больницу, которая считалась лучшей из всех государственных. Это была удача, и первую неделю Алики оживился, ему, кроме обычного лечения, делали иглоукалывания, прижигания, и даже казалось, что чувствительность рук восстанавливается...

Теперь Фима и Берман сидели на убогой кухне, среди грязных чашек и жизнерадостных тараканов. Они уже перестали строить предположения: боковой амниотрофический склероз, вирусное стволное поражение,

таинственная онкология...

Берман был довольно красив, хотя было в нем нечто от большой обезьяны: вислые сильные плечи, короткая неповоротливая шея, длинные руки, даже рот был туговато натянут на крупные зубы. Фима был весь корявый, из рытого лица смотрели на Бермана с ожиданием ясные глаза...

– Ничего, Фима. Ничего в таких случаях не делают. Кислородная подушка.

– Удушье может очень медленно развиваться. Очень мучительно, – поморщился Фима.

– Сделай морфин или что там есть...

– Ладно, всё ясно, – пробурчал Фима.

Он все-таки надеялся, что умный Берман знает что-то, чего он забыл. Но такого знания вообще не существовало.

7

Отец Виктор пришел около девяти. В сандалиях на босу ногу, в мешковатой рубаше, заправленной в короткие светлые брюки. В руках у него был чемоданчик-дипломат и целлофановый пакет, чем-то плотно набитый. Бейсбольную кепочку с невинными зелеными буквами N и Y он снял при входе и держал на сгибе локтя. Поздоровался с улыбкой, сморщившей его короткий нос.

Общество по случаю субботы было многолюдным: Валентина, Джойка с сереньким Достоевским под мышкой, Ирина, Тишорт, Файка, Либин с подружкой, все обычные посетители, а сверх того приехавшие из Вашингтона сестры Бегинские, американский художник Руди, приятель Алика по каким-то совместным акциям, никому не известная гостья из Москвы, представившаяся так невнятно, что ее имени никто не запомнил, Шмуль из Одессы и собака Киплинг, которую оставила на несколько дней старая знакомая.

Алика вытащили из спальни и посадили в кресло, обложив со всех сторон подушками. Это было всегдашнее его место, и все медленно вращались по квартире, немного выпивая и шумно разговаривая. На столе стояли случайные приношения: таял огромный ореховый торт и плавилось мороженое. Было больше похоже на вернисаж, чем на покои умирающего.

Отец Виктор как будто растерялся на мгновение. Но Нина быстро подхватила его под оттопыренный локоток, на котором всё лежала кепочка, и усадила возле стола.

– Сэр-цээ, тэ-бэ так хочется покоя... – пел Шмуть сладким голосом, отчасти заглушая парагвайские дудки и барабанчики, без устали наяривающие внизу, под окнами.

Файка тискала длинную вялую куклу, изображающую Алика. Эту пророческую куклу когда-то подарила ему на день рождения приятельница Анька Крон, проживающая ныне в государстве Израиль. Алик подавал за куклу реплики:

– Ой, не жмите мене так горячо! Ой, Фая, скажите мне, только честно, как перед Богом: вы кушали чеснок?

Священник улыбнулся, взял у Файки из рук куклу, потряс ее розовую руку и сказал:

– Таки приятно с вами познакомиться.

Все засмеялись, он бросил куклу на колени к Фаине.

Нинка кивнула – Шмуть тут же замолк, Либин легко вынул Алика из кресла и отнес, как ребенка, в спальню.

Приезжая москвичка дернулась: смотреть на это было тяжело. Вообще, пока Алик лежал или сидел, всё было довольно обыкновенно: больной человек в кругу друзей, – но вот переход его из одного положения в другое сразу напоминал о том, что происходит что-то ужасное. Живые, ясные глаза и мертвое тело... А в начале весны он еще сам перебирался из спальни в мастерскую...

Алика уложили в спальне, отец Виктор зашел туда. Нинка, немного потоптавшись в дверях, выскользнула из спальни и села на пол снаружи, прислонившись спиной к двери. Вид у нее был стерегущий и отрешенный. Она была вполпьяна, но держалась.

“Как глупо и нелепо, – думал Алик. – Симпатичный, кажется, человек, напрасно я поддался...”

Отец Виктор сел на скамеечку возле постели, совсем близко к Алику.

– У меня есть некоторые профессиональные трудности, – начал он неожиданно. – Видите ли, большинство людей, с которыми я общаюсь, мои прихожане, они совершенно уверены в том, что я способен разрешить все их проблемы, и если я этого не делаю, то исключительно из педагогических соображений. А это совершенно не так. – Он улыбнулся редкозубой улыбкой, и Алик понял, что и священник понимает всю глупую неловкость положения, и испытал некоторое облегчение...

Болезнь не мучила Алика болями. Он страдал от всё усиливающейся одышки и нестерпимого чувства растворения себя. Вместе с весом тела, живым мясом мышц, уходила реальность жизни, и потому ему так приятны

были полуобнаженные женщины, облеплявшие его с утра до ночи. Алик давно не видел вокруг себя новых людей, и это новое лицо, с нечисто выбритой с одной стороны щекой – бородка у него была маленькая, на западный манер, – с крапчатыми буро-зелеными глазами, отпечатывалось крупно, с фотографическими подробностями.

– Нина очень хотела, чтобы я с вами поговорил, – продолжал священник. – Она думает, что я могу крестить вас, то есть уговорить принять крещение. И я не могу отказать ей в ее просьбе.

Парагвайская музыка за окном подвывала, потрескивала, выпускала дух и снова оживала. Алик поморщился.

– Да я неверующий, отец Виктор, – грустно сказал Алик.

– Что вы! Что вы! – замахал рукой священник. – Неверующих практически не бывает. Это какой-то психологический шаблон, который вы, скорее всего, из России вывезли. Уверю вас, неверующих не бывает. Особенно среди творческих людей. Содержание веры разное, и чем выше интеллект, тем сложнее форма веры. К тому же есть род интеллектуального целомудрия, которое не допускает прямых обсуждений, грубых высказываний. Всегда под рукой вульгарнейшие образцы религиозного примитива. А это трудно вынести...

– Это я очень хорошо понимаю, у меня своя жена в доме, – отозвался Алик.

Поп этот был ему мил своей честной серьезностью.

“И он совсем не глуп”, – удивился Алик.

Нинкины восторженные междометия по адресу святого и мудрого священника давно вызывали у него раздражение, и теперь это раздражение прошло.

– А у Нины, – отец Виктор махнул рукой в сторону двери, – да вообще у большинства женщин всё идет не через голову, а через сердце. То есть через любовь. Они изумительные существа, дивные, изумительные...

– А вы женолюб, отец Виктор, как и я, – подколот его Алик.

Но тот как будто не понял.

– Да, ужасный женолюб, мне почти все женщины нравятся, – признался священник. – Моя жена мне постоянно говорила, что, если бы не мой сан, я был бы донжуан.

“Какие же бывают простецы”, – подумал Алик.

А священник развивал тему дальше:

– Они удивительные. Они всем готовы пожертвовать ради любви. И содержанием их жизни часто бывает любовь к мужчине, да... Такая

происходит подмена. Но иногда, очень редко, я встречал несколько необыкновенно высоких случаев: собственническая, алчная любовь преобразуется, и они через бытовое, через низменное, приходят к самой Божественной Любви... Не перестаю поражаться. Вот и Нина ваша, я думаю, из той же породы. Я сюда вошел и сразу отметил: сколько прекрасных женщин вокруг вас, такие хорошие лица... Не оставляют вас ваши подруги... Все они мироносицы, если их поскрести...

Он был не стар, несколько за пятьдесят, но в речи по-старомодному возвышен.

“Конечно, из первой эмиграции”, – догадался Алику.

Движения священника были немного растерянными и неточными. Алику и это понравилось.

– Жалко, что мы не познакомились раньше, – сказал Алику.

– Да-да, жарко, – невпопад отозвался священник, не съехавший еще с женской темы, так его вдохновившей. – Это ведь, знаете, диссертацию написать можно – о различии в качестве веры у мужчин и женщин...

– Какая-нибудь феминистка, наверное, уже написала... Попросите, пожалуйста, отец Виктор, пусть Нина принесет нам “Маргариту”. Вы любите текилу? – спросил Алику.

– Да, кажется, – неуверенно ответил священник.

Встал, приоткрыл дверь. За дверью всё еще сидела Нинка с горючим вопросом в глазах.

– Алику просит “Маргариту”, – сказал он Нине, и она не сразу поняла. – Две “Маргариты”.

Через несколько минут Нина принесла два широких бокала и вышла, с недоумением глядя через плечо.

– Ну что же, выпьем за женщин? – с обычным добродушным ехидством предложил Алику. – Вам придется меня поить.

– Да-да, с удовольствием. – Отец Виктор стал неловко совать в рот Алику соломинку.

Он в жизни много разного повидал, но такого еще с ним не бывало. Умиравших он исповедовал, причащал, случалось, крестил, но текилой никогда не поил.

Бокал свой отец Виктор поставил на пол и продолжал говорить:

– Мужское содержание веры – брань. Помните ночную борьбу ангела с Иаковом? Война за самого себя, подъем на следующий уровень. В этом смысле я эволюционист. Спасение – слишком утилитарная идея, не правда ли?

Алику показалось, что священник слегка окосел. Ему не было видно,

что тот и не пригубил. Но сам Алик почувствовал теплоту в желудке, это было приятно – ведь ощущений вообще становилось всё меньше и меньше.

– Я думаю, что преподобный Серафим Саровский именно эту борьбу за веру и называл “стяжанием Духа Святого”. Да... – Он замолк и грустно задумался.

Он твердо знал, что нет у него того духовного призвания, какое было у деда...

Индийская музыка, утомившись сама от себя, смолкла. Шум теперь из окна шел хороший, человеческий.

“Как же я стал слаб”, – думал Алик.

Чем-то пронял его этот простодушный и храбрый человек. Почему он производит впечатление храброго – об этом надо подумать... Может быть, потому что не боится показаться смешным...

– Нинка уж очень просит меня креститься. Плачет. Она придает этому большое значение. А по мне – пустая формальность.

– Ну что вы, что вы! Для меня ее мотивы очень убедительны. Но мне-то просто, – он смущенно развел руками, как будто ему было неловко за свои привилегии, – я-то наверняка знаю, что между нами есть Третий. – И он еще глубже смутился и заерзал на скамеечке.

Смертельная тоска напала на Алика. Не чувствовал он никакого третьего. И вообще третий – персонаж из анекдота. И большая мука вдруг оказалась в том, что дурища его Нинка это чувствовала и простодушный поп чувствовал, а он, Алик, не чувствовал. И отсутствие этого самого присутствия он переживал с такой остротой, с какой и присутствие переживать, кто знает, возможно ли...

– Но я готов в конце концов это для нее сделать. – И Алик закрыл глаза от смертельной усталости.

Отец Виктор обтер запотевшую ножку бокала о свои брюки и поставил его на столик.

– Не знаю, право, не знаю, отказать вам не могу, вы тяжело больны. Но здесь что-то не так. Позвольте мне подумать... Знаете, давайте помолимся вместе. Как можем.

Он раскрыл свой чемоданчик, вынул из него облачение, надел поверх гражданской одежды подрясник, епитрахиль, медленно повязал поручи. Поцеловав, надел на себя тяжелый иерейский крест, благословение покойного деда.

Алик лежал с закрытыми глазами и не видел, как изменился отец Виктор, переодевшись, как постройнел и постарел. А священник обернулся

к маленькой Владимирской Божьей Матери, плохой печати и линялого цвета, пришпиленной к стене, опустил свой круглый лысеющий лоб и завопил про себя: “Господи, помоги мне, помоги!”

В такие минуты он всегда чувствовал себя маленьким мальчиком на футбольном поле позади приюта для русских детей под Парижем, который держали его бабушка с дедушкой во время войны и где он провел всё детство. Он как будто снова стоял на футбольном поле, внутри клетки драных веревчатых ворот, куда приткнули его, самого младшего, за нехваткой настоящего вратаря, и он, весь одеревенев, ждет великого позора, заранее зная, что не сможет удержать ни одного мяча...

8

Огромный Лева Готлиб с гуталиновой бородой почтительно вывел из лифта худого складного человека, тоже бородатого и высокого, похожего на Левино изображение, извлеченное из кривого зеркала: всё то же, но в четыре раза уже... Ирина от смеху чуть не подавилась, но мгновенно с собой справилась. Лева сразу же нашел ее в многолюдстве и попер на нее с супружеской интонацией:

– Я же сказал, что позвоню после конца субботы, а у тебя автоответчик. Хорошо еще, что я заранее записал этот адрес...

Ирина шлепнула ладонью по лбу:

– Ё-мое! Я же забыла, что это вечером. Я решила, что завтра утром!

Лева только руками развел, но тут же вспомнил о раввине, который стоял рядом – с лицом одновременно строгим и любопытствующим. По-русски он не знал ни слова.

Тишорт стояла у стола, держа бумажную тарелку с огромным куском торта, и пристально смотрела на Готлиба. Лева ринулся на нее, как вепрь, обхватил за голову:

– Ой, мышонок! Мышонок мой!

Он поцеловал ее в маковку – выросшую девочку, которая долго прожила в его доме и он сажал ее на горшок, водил в садик и называл дочкой.

“Бессовестный, до чего же бессовестный, – думала Майка, напряженно удерживая голову в его каменных ручищах. – Я так по нему скучала тогда, а теперь плевать. Сволочи, умственно отсталые, все до единого!” Она вильнула немного своей гордой головой, и Лева чутко выпустил ее из пальцев.

Раввин был правильный, в потертом черном костюме какого-то вечно старомодного покроя, в шелковой водевильной шляпе, на которую полагалось бы садиться всем вновь прибывшим. Из-под кривых полей свисали от виска отпущенные на волю несжатые полоски, самодовольно-пышные и не желающие лежать винтом. Он улыбнулся в черно-белую маскарадную бороду и произнес: “Good evening”.

– Реб Менаше, – представил Лева раввина. – Из Израиля.

Именно в эту минуту открылась дверь из спальни и к гостям шагнул вспотевший, розовый, со звездчатыми, яркими глазами отец Виктор в подряснике. Нина кинулась к нему:

– Ну что?

– За мной дело не станет, Нина. Я приеду... Давайте так: почитайте ему Евангелие.

– Да читал он, читал. Я думала, прямо сейчас, – огорчилась Нинка. Она привыкла, чтобы все ее желания быстро выполнялись.

– Сейчас он просит еще одну “Маргариту”, – смущенно улыбнулся отец Виктор.

Увидев священника, Лева крепко вцепился в Ирину руку повыше запястья:

– Как это понять? Это что, шутки у тебя такие?

Ирина узнала его яростный взгляд и мгновением раньше самого Левы почувствовала его вспыхнувшее желание. Она отчетливо вспомнила, что самая лучшая любовь с ним получалась, если раззадорить его сперва мелкой ссорой или обидой.

– Да никакие не шутки, Левочка. – Она миролюбиво смотрела ему в глаза, сдерживая улыбку и хулиганское желание немедленно положить руку ему на гульфик.

Ненавидя себя за постыдную страсть, краснея лицом и разворачиваясь к ней боком, он всё больше распалялся:

– Сколько раз я себе говорил: нельзя с тобой связываться! Всегда получается цирк какой-то! – шипел он сквозь дрожащую от злости бороду.

Это была неправда. Дело было только в том, что она страшно уязвила его своим уходом, и он сильно докучал с супружескими обязанностями своей вечно усталой жене, понапрасну надеясь выколотить из нее Ирину музыку, которой в жене, сколько ее ни тряс, не бывало.

– Не баба, а крапивная лихорадка, – фыркнул Лева.

Реб Менаше вопросительно смотрел на Леву. Он не знал русского, не знал и русской эмиграции, хотя евреев из России было теперь в Израиле полно, но не в Цфате, где он жил. Там иммигранты почти не селились.

Он был сабра, и родным языком его был иврит. Читал он по-арамейски, по-арабски и по-испански, изучал иудео-исламскую культуру времен халифата. По-английски говорил свободно, но с сильным акцентом. Теперь он вслушивался в звуки их мягкой речи, и они казались ему чрезвычайно приятными.

Мужественная Нинка предстала перед двумя бородатыми, схватила раввина за обе руки и, встряхивая своими светящимися волосами, сказала ему по-русски:

– Спасибо, что вы пришли. Мой муж очень хочет с вами поговорить.

Лева перевел на иврит. Раввин кивнул бородой и ответил Леве, указывая глазами на отца Виктора, снимающего подрясник:

– Меня удивляет, какие в Америке проворные священники. Не успел еврей пригласить раввина, а он уже здесь.

Отец Виктор издали улыбнулся коллеге недружественной религии – его доброжелательность была неразборчивой и совершенно беспринципной. К тому же в молодости он прожил больше года в Палестине и понимал язык настолько, чтобы подать уместную реплику:

– Я тоже из числа приглашенных.

Реб Менаше и бровью не повел – не понял или не расслышал.

Валентина тем временем сунула в руки отцу Виктору бокал с мутным желтым напитком, и он осторожно хлебнул.

Реб Менаше привычно отводил глаза от голых рук и ног, мужских и женских, как делал это и у себя в Цфате, когда гогочущие иностранные туристы высыпали из экскурсионных автобусов на камни его святого города, гнездилище высокого духа мистиков и каббалистов. Двадцать лет тому назад он отвернулся от всего этого и никогда об этом не пожалел. Жена его Геула, носившая теперь десятого ребенка, никогда перед ним не обнажалась так бесстыдно, как любая из здесь присутствующих женщин.

“Барух ата Адонаи...” – привычно начал он про себя благословение, смысл которого сводился к благодарности Всевышнему, создавшему его евреем.

– Может быть, вы сначала закусите? – предложила Нина.

Лева произвел руками жест, обозначающий одновременно испуг, благодарность и отказ.

Алик лежал с закрытыми глазами. На матовом черном фоне, на изнанке век извивались яркие желто-зеленые нити, образуя ритмичные орнаменты, подвижные и осмысленные, но Алик, пристально изучивший

в свое время древнюю азбуку ковров, всё никак не мог уловить основных элементов, из которых складывался этот подвижный узор.

– Алик, к тебе пришли. – Нина подняла его голову, провела влажным полотенцем по шее, протерла грудь. Потом стянула с него оранжевую простыню, помахала над его плоским голым телом, и реб Менаше еще раз удивился всеобщему американскому бесстыдству.

Похоже, они вообще не понимают, что такое нагота. И он по привычке устремился мыслью к первоисточнику, где впервые было произнесено это слово.

“Оба были наги и не стыдились”. Вторая глава Берешит. Где же находятся эти дети? Отчего они не стыдятся? Они не выглядели порочными. Скорее они казались невинными... Или мы разучились читать Книгу... Или Книга написана для других людей, способных ее иначе читать?

Нина приподняла колени Алика и соединила их, но ноги неловко завалились.

– Оставь, оставь, – всё еще не открывая глаз и досматривая последний виток орнамента, сказал Алик.

Нина подсунула подушки под его колени.

– Спасибо, Ниночка, спасибо, – отозвался он и открыл глаза.

Высокий худой человек в черном, склонив голову набок, так что поле черной блестящей шляпы едва не касалось левого плеча, стоял перед ним с выжидательным видом.

– Do you speak English, don't you?

– I do, – улыбнулся Алик и подмигнул Нине.

Она вышла, следом за ней вышел и Лева.

Раввин сел на скамеечку, еще хранящую тепло священнических ягодиц, поместил с некоторым колебанием свою пыльную шляпу на край Аликовой постели. Он сложился пополам, борода его лежала на острых коленях. Огромные ступни в потертых туфлях на резиночках, без шнурков, стояли носок к носку, пятками врозь. Он был серьезен и сосредоточен, пружинистый купол черных с проседью волос покрывала на макушке маленькая черная кипа, пришпиленная “невидимкой”.

– Дело в том, раббай, что я умираю, – сказал Алик.

Раввин покашлял и пошевелил длинными сцепленными пальцами. У него не было специального интереса к смерти.

– Понимаете, моя жена христианка и хочет, чтобы я крестился. Принял христианство, – пояснил Алик и замолчал. Говорить ему было всё труднее. И вообще он уже не был рад всей этой затее.

Раввин тоже молчал, поглаживая собственные пальцы, а после паузы спросил:

– И как эта глупость пришла вам в голову? – Он не вполне уместно употребил английское выражение, обозначающее глупость иного рода, но уточнил свою мысль, добавив: – Абсурд.

– Абсурд для эллинов. А разве для иудеев не соблазн? – Изящество и быстрота реакции не покидали Алика, несмотря на тупое одеревенение, которое он уже почти перестал ощущать телом, но чувствовал в последние дни лицом.

– А почему вы думаете, что раввин должен знать тексты вашего апостола? – блеснул светлыми и радостными глазами Менаше.

– А разве может быть что-нибудь такое, чего не знает раввин? – отбил Алик.

И они задавали друг другу вопросы, не получая ответов, как в еврейском анекдоте, но понимали друг друга гораздо лучше, чем, в сущности, должны были бы. У них не было ничего общего ни в воспитании, ни в жизненном опыте. Они ели разную пищу, говорили на разных языках, читали разные книги. Оба они были образованными людьми, но сферы их общих знаний почти не пересекались. Алик ничего не знал ни о каламе – мусульманском спекулятивном богословии, которым скрупулезно занимался реб Менаше уже двадцать лет, ни о Саадии Гаоне, труды которого без усталости комментировал реб Менаше все эти годы, а реб Менаше слыхом не слыхивал ни о Малевиче, ни о де Кирико...

– А что, кроме раввина уже не с кем и посоветоваться? – с горделивой и юмористической скромностью спросил реб Менаше.

– А почему еврей перед смертью не может посоветоваться именно с раввином?

В этом шутливом разговоре всё было глубже поверхности, и оба понимали это и, задавая дурацкие вопросы, подбирались к тому важному, что происходит в общении между людьми, – к прикосновению, оставляющему нестираемый след.

– Жалко жену. Плачет. Что мне делать, раббай? – вздохнул Алик.

Раввин убрал улыбку, пришла его минута.

– Айлик! – Он потер переносицу, пошевелил огромными туфлями. – Айлик! Я почти безвыездно живу в Израиле. Я первый раз приехал в Америку. Я здесь три месяца. Я потрясен. Я занимаюсь философией. Еврейской философией, и это совсем особое дело. У еврея всегда в основе лежит Тора. Если он не изучает Тору, он не еврей. У нас в древности было такое понятие – “плененные дети”. Если еврейские дети попали в плен

и были лишены Торы, еврейского образа жизни, воспитания и образования, то они не виноваты в этом несчастье. Они даже могут этого не осознавать. Но еврейский мир обязан брать на себя заботу об этих сиротах, даже если они в преклонных годах.

Здесь, в Америке, я увидел целый мир, который весь состоит из “плененных детей”. Целые миллионы евреев в плену у язычников. История евреев не знала таких времен никогда. Всегда были отступники и насильно крещенные, и “плененные дети” были не только во времена Вавилона. Но сейчас, в двадцатом веке, “плененных детей” стало больше, чем настоящих евреев. Это процесс. А если это процесс, то в нем есть воля Всевышнего... И об этом я думаю всё это время. И буду еще долго думать.

А вы говорите – крещение! То есть из категории “плененных детей” перейти в категорию отступников? С другой стороны, вас и отступником назвать нельзя, потому что, строго говоря, вы и не являетесь евреем. И второе хуже первого, вот что бы я сказал... Но скажу еще, опять с другой стороны: в сущности, у меня никогда не было выбора...

“Как интересно, и у этого тоже не было выбора... Отчего же у меня было выборов – хоть жопой ешь”, – подумал Алик.

– Я родился евреем, – Менаше тряхнул своими пышными пейсами, – я был им от самого начала и буду до конца. Мне нетрудно. У вас есть выбор. Вы можете быть никем, что в моем понимании значит быть язычником, а могли бы стать евреем, к чему у вас есть большое основание – кровь. А можете стать христианином, то есть, по моему разумению, подобрать кусок, упавший с еврейского стола. И даже не буду говорить, хорош этот кусок или плох, скажу только, что приправа, которую история приложила к этому куску, была очень сомнительной... Но уж если говорить вполне откровенно – не есть ли христианская идея жертвоприношения Христа, понимаемого как ипостась Всевышнего, самой большой победой язычников?

Он пожевал красную губу, еще раз внимательно посмотрел на Алика и закончил:

– По моему мнению, пусть вы лучше останетесь “плененным”... Уверяю вас, есть вещи, которые решают мужья, а не жены. Ничего другого не могу вам сказать...

Реб Менаше встал с неудобной скамеечки и вдруг почувствовал головокружение. Он склонился над Аликом со всей высоты своего роста и стал прощаться:

– Вы устали, я вижу. Вы отдохайте...

И он забормотал какие-то слова, которых Алик уже не разобрал.

Они были на другом языке.

– Реб Менаше, подождите, я бы хотел с вами выпить на прощанье, – остановил его Алик.

Либин и Руди вынесли Алика в мастерскую и усадили, вернее сказать, поместили его в кресло.

“Расслабленный, – подумал отец Виктор. – Как близко чудо. Завопить. Разобрать кровлю. Господи, почему у нас не получается?”

Особенно печально было оттого, что он знал, почему...

Лева хотел немедленно увести раввина. Но подошла Нинка, предложила стакан.

Лева решительно отказался, но раввин что-то сказал ему, и Лева спросил у Нины:

– А есть у вас водка и бумажные стаканчики?

– Есть, – удивилась Нина.

– Налейте в бумажные, – попросил он.

С улицы несло музыкой, как несет помойкой. К тому же была жара. Эта не спадающая и ночью нью-йоркская жара усиливала к вечеру возбуждение, и многие мучились бессонницей в эту погоду, особенно новые люди, несущие в своих телах привычку к другому температурному режиму. К раввину это тоже относилось: хотя он и привык к жаре и отлично ее переносил, но в Израиле, по крайней мере там, где он жил последние годы, дневная жара сменялась ночной прохладой и люди успевали за ночь отдохнуть от дневного солнечного гнета.

Нинка принесла два бумажных стаканчика и передала их бородастым.

– Сейчас я отвезу вас в университет, – сказал Лева раввину.

– Я не тороплюсь, – ответил он, вспомнив о душной комнатке в общежитии и о многочасовом ожидании зыбкого сна.

Алик был распластан в кресле, а вокруг него орали, смеялись и выпивали его друзья, все как будто сами по себе, но все были обращены к нему, и он это чувствовал. Он наслаждался обыденностью жизни, и, ловец, гоняющийся всю жизнь за миражами формы и цвета, он знал сейчас, что не было у него в жизни ничего лучше этих бессмысленных застолий, когда пришедшие к нему в дом люди объединялись вином, весельем и добрым отношением в этой самой мастерской, где и стола-то настоящего не было – клали ободранную столешницу на козлы...

Лева с раввином сидели в шатких креслах. В те годы, когда Алик здесь обживался, помойки в округе были отменными: кресла, стулья, диванчик – всё было оттуда. Напротив Левы и Менаше висела большая Аликова

картина. Это была горница Тайной Вечери, с тройным окном и столом, покрытым белой скатертью. Никого не было вокруг стола, зато на столе – двенадцать крупных гранатов, подробно написанных, шершавых, с тонкими переливами лилового, багрового, розового, с гипертрофированными зубчатыми коронами, живыми вмятинами, отражающими их внутреннее перегородчатое устройство, полное зерен. В тройном окне лежала Святая Земля. Такая, какой она была сегодня, а не в воображении Леонардо да Винчи.

Не любитель и не знаток живописи, раввин уставился на картину. Сначала он увидел гранатовые яблоки. Это был давний спор, какой именно плод соблазнил Хаву. Яблоко, гранат или персик. Помещение, изображенное на картине, он тоже знал. Эта так называемая Горница была расположена как раз над гробом Давидовым, в Старом Городе.

“Все-таки в нем говорит чисто еврейское целомудрие, – решил он, глядя на картину. – Людей он заменил гранатами. Вот в чем фокус. Бедняга...” – с грустью подумал он.

Он был настоящий израильтянин, родился на второй день после провозглашения государства. Дед был сионист, организатор одной из первых сельскохозяйственных колоний, отец жил Хаганой, и сам он успел и повоевать, и землю покопать. Родился он под стенами Старого Города, у мельницы Монтефиори, и первый вид из окна, который он помнит, был вид на Сионские Ворота.

Ему было двадцать лет, когда он впервые, вслед за танками, вошел внутрь этих стен. Еще пахло огнем и железом. Он облазил весь Старый Город, исследовал всю путаницу арабских улиц, все крыши христианского и армянского кварталов. Христианские святыни Иерусалима казались ему сомнительными, как и большая часть иудейских. Горница Тайной Вечери вызывала особое недоверие: не могла быть назначена эта тайная пасхальная встреча над костями Великого Царя. Впрочем, гробница Давида тоже не вызывала доверия... Весь этот изумительный мир из слабого белого камня, зыбкого света и горячего воздуха, который он так любил, был полон исторических и археологических несуразностей, в отличие от мира книжной премудрости, организованного с кристаллической точностью, без зазоров и приблизительностей, с разумным восхождением снизу вверх и парадоксальными, большой красоты логическими петлями...

Что значит для него эта земля, он понял впервые, покинув Израиль. Менаше был тогда молод, окончил университет, и его направили в Германию изучать философию. После года пристальных и вполне

успешных занятий он полностью утратил интерес к европейской философии, оторванной от той жизненной основы, которую он признавал исключительно за Торой. Так окончился недолгий срок его академического образования, и на половине третьего десятилетия своей жизни он встал на традиционный путь иудейской науки, которая и была, собственно говоря, богословием.

Тогда же он и женился на молчаливой девушке, обрившей могучие рыжие кудри накануне свадьбы. С тех пор он наслаждался гармонией, рождавшейся из сочетания выверенного до часовой точности во всех деталях быта и огромной интеллектуальной нагрузки учителя и ученика одновременно.

Мир его совершенно изменился: информация, получаемая большинством людей через радио, телевидение, светскую печать, полностью ушла от него, а взамен этого он получил пищу “Шулхан Арух” – стола, накрытого для желающих получить еврейское духовное наследие, да детский многоголосый писк.

Через пять лет вышла его первая книга, исследовавшая стилистические различия между комментариями Саадии к Даниилу и к Хроникам, а еще через два года он переселился в Цфат.

Мир его был библейски прост и талмудически сложен, но все грани совпадали, а ежедневная работа со средневековыми текстами придавала текущему времени оттенок вечного. Внизу, под горой, синел Киннерет, и именно здесь он обрел глубокое чувство благодарности Всевышнему – христианин, несомненно, назвал бы его фарисейским – за выпавшую ему счастливую долю служения и познания, за святость его земли, которая многим представляется всего лишь грязным и провинциальным восточным государством, а для него была несомненным средоточием мира, по отношению к которой все прочие государства с их историями и культурами читались только как комментарий...

Через толпу гостей к нему пробирался снявший подрясник священник.

– Мне сказали, что вы приехали сюда из Израиля с курсом лекций по иудаике? – спросил он на школьном английском языке.

Менаше встал. Он никогда еще не общался со священниками.

– Да, я преподаю сейчас в еврейском университете. Курс лекций по иудео-исламской культуре.

– Там бывают замечательные лекции. Я как-то читал книгу, курс лекций по библейской археологии, изданную этим университетом, – радостно заулыбался священник. – А ваша иудео-исламская тема

в контексте современного мира читается, вероятно, очень хитрым перевертышем?

– Перевертышем? – не сразу понял реб Менаше. – Нет-нет, меня не интересуют политические параллели, я занимаюсь философией, – заволновался раввин.

Алик подозвал к себе Валентину:

– Валентина, ты присмотри за ними, чтоб трезвыми не остались.

Валентина, розовая и толстая, принесла, прижимая к груди, три бумажных стаканчика и поставила их передлевой.

Выпили дружно, на троих, и через минуту их головы сблизились, они кивали бородами, качали головами и жестикулировали, а Алик, страшно довольный, указывая на них глазами, сказал Либину:

– По-моему, я сегодня очень удачно выступил в роли Саладина...

Валентина поискала глазами Либина и кивнула в сторону кухни. Через минуту она теснила его в угол:

– Я не могу ее просить, спроси ты...

– Ну да, ты не можешь, а я могу... – обиделся Либин.

– Ладно тебе. Надо срочно хотя бы за один месяц заплатить...

– Так недавно же собирали...

– Ну да, недавно, месяц назад, – пожала плечами Валентина, – мне что, больше всех нужно? Телефон я в прошлом месяце оплатила, одни междугородние, Нинка много разговаривает, как напьется...

– Она же недавно давала... – заметил Либин.

– Ну хорошо, спроси у кого-нибудь еще. Может, у Файки?

Либин засмеялся: Файка была в долгах как в шелках, и не было здесь ни одного человека, которому она не была должна хоть десятку. Либину ничего не оставалось, как идти к Ирине.

С деньгами было не то что плохо – катастрофа. Алик в последние годы перед болезнью плохо продавался, а теперь, когда он и работать перестал, и бегать по галерейщикам не мог, доход был просто нулевой, а вернее сказать, ниже нуля. Долги росли. И те, которые необходимо было отдавать, вроде счетов за квартиру и телефон, и те, медицинские, которые не будут отданы никогда.

Была еще одна неприятнейшая история, которая тянулась уже несколько лет: два галерейщика из Вашингтона, делавшие Алику выставку, не отдавали двенадцать живописных работ. Алик был отчасти сам в этом виноват. Если бы он приехал в день закрытия выставки, как было уговорено, и сам всё забрал, этого не случилось бы. Но поскольку он,

празднуя заранее продажу трех работ с этой выставки – о чем ему сообщили галерейщики, – одолжил денег и поехал с Нинкой на Ямайку, то и не попал к закрытию. Когда вернулся, тоже не сразу собрался. Однако чек за проданные работы почему-то не пришел, и он позвонил в Вашингтон узнать, в чем дело. Ему сказали, что работы вернулись и вообще – где он пропадает, им пришлось сдать его работы на хранение, так как в галерее нет места. Это было чистое вранье.

Алик попросил Ирину помочь. Выяснилось еще одно обстоятельство: Алик, подписывая контракт, оставил у галерейщиков копию, и теперь они, пользуясь его оплошностью, вели себя очень нахально, и Ирина почти ничего в этой ситуации не могла сделать. Единственный ее козырь – каталог галереи с объявлением о выставке и репродукция в нем одной из картин. Как раз той, которую они объявляли проданной. Ирина завела против них дело, а пока эта история тянулась, крикнув, выложила Алику чек на пять тысяч своих денег. Сказала, что выбила. Она и впрямь не оставляла надежды получить эти деньги.

Было это в начале прошлой зимы. Когда она принесла чек, Алик страшно обрадовался:

– Нет слов. Просто нет слов. Сейчас уплатим ренту и купим наконец Нинке шубу.

Ирина взвилась – не на шубу она давала свои кровные. Но делать было нечего, половина денег ушла на шубу: такие уж были привычки у Алика с Нинкой. Дешевки они не любили.

“Чертова богема, – негодовала Ирина, – видно, они здесь говна мало похлебали...”

Выдохнув из себя горячий воздух, решила, что помогать будет, но небольшими суммами, по мере минутной необходимости. В конце концов, она одинокая баба с ребенком. И не такая уж богатая, как они думают. Не говоря о том, как трудно эти денежки выгрызать...

Когда Либин к ней подошел, она уже доставала чековую книжку. Маленькие суммы росли, как маленькие детки, – совершенно незаметно...

Бородатые мужи вышли на улицу. Готлиб совсем не ощущал себя пьяным, но начисто забыл, где поставил машину. Там, где он ожидал ее увидеть, стоял чужой длиннозадый “понтиак”.

– Утащили, утащили! – по-детски, совершенно беззлобно засмеялся

отец Виктор.

– Да здесь можно ставить, почему это утащили? – рассердился Готлиб. – Вы постойте здесь, я за углом посмотрю.

Раввин не проявлял никакого интереса к тому, на какой машине его отвезут, – ему гораздо интереснее было то, что говорил этот смешной человек в кепочке.

– Так вот, я, с вашего позволения, продолжу, – торопился отец Виктор поделиться своими мыслями с исключительным собеседником. – Первый эксперимент, можно сказать, прошел удачно. Диаспора оказалась исключительно полезна для всего мира. Конечно, вы собрали свой остаток у себя там. Но сколько евреев растворилось, ассимилировалось, сколько их в науке и в культуре во всех странах. Я ведь в некотором смысле юдофил. Впрочем, каждый нормальный христианин почитает избранный народ. И понимаете, это чрезвычайно важно, что евреи вливают свою драгоценную кровь во все культуры, во все народы, и по этому образцу происходит что? Мировой процесс! И русские вышли из своего гетто, и китайцы. Обратите внимание: эти молодые американские китайцы – среди них лучшие математики и музыканты великолепные... Идем дальше – смешанные браки! Вы понимаете, что я имею в виду? Идет созидание нового народа!

Раввин, кажется, прекрасно понимал, что имеет в виду оппонент, но совершенно не одобрял его идей и мелко жевал губами.

“Три стаканчика или четыре стаканчика”, – пытался он припомнить. Но сколько бы ни было, явно много...

– Вот они, новые времена: ни иудея, ни эллина, и в самом прямом, в самом прямом смысле тоже... – радовался священник.

Раввин остановился, пригрозил ему пальцем:

– Вот-вот, для вас самое главное – чтоб ни иудея...

Подъехал Готлиб, открыл дверцу, усадил своего раввина и в высшей степени невежливо оставил на улице одинокого отца Виктора в сильном огорчении:

– Ишь как выкрутил, да я же совсем этого в виду не имел...

Гости не то чтобы разошлись, а скорее рассосались. Кто-то остался ночевать на коврике. Тут же, на коврике, спала и Нинка. Эта ночь была Валентинина. Алик сразу после ухода гостей уснул, и Валентина

притулилась у него в ногах. Она могла бы и поспать, но сон, как назло, не шел. Она давно уже заметила, что алкоголь стал действовать в последнее время странным образом: вышибал сон.

Валентина прилетела в Америку в ноябре восемьдесят первого. Ей было двадцать восемь лет, росту в ней было 165, весу 85 килограммов. Тогда она еще на фунты не мерилась. На ней была черная гуцульская куртка ручного тканья, с шерстяной вышивкой. В матерчатом клетчатом чемодане лежала незащищенная диссертация, которая никогда ей не пригодилась, полный комплект праздничной одежды вологодской крестьянки конца девятнадцатого века и три антоновских яблока, запрещенных к ввозу. Их мощный запах пробивал хилый чемодан. Яблоки предназначались имеющемуся у нее мужу-американцу, который ее почему-то не встретил.

Неделю назад, взяв билет в Нью-Йорк, она позвонила ему и сообщила, что приезжает. Он как будто обрадовался и обещал встретить. Брак их был фиктивным, но друзья они были настоящие. Микки прожил в России год, собирая материалы по советскому кино тридцатых годов и неврастенически переживая тяжелый роман с маленьким чудовищем, которое его унижало, обирало и подвергало мукам ревности.

С Валентиной он познакомился на модной филологической школе. Она приютила его у себя, отпоила валерьянкой, накормила пельменями и в конце концов приняла сокрушительную исповедь гомосексуалиста, подавленного необоримостью собственной природы. Высокорослый и чахлый Микки плакал и изливал на Валентину свое горе, одновременно делая психоаналитический самокомментарий. Валентина долго и сочувственно дивилась прихотливости природы и, найдя небольшую паузу в двухчасовом монологе, задала прямой вопрос:

– А что, с женщинами ты никогда?..

Оказалось, что и здесь было непросто, какая-то семнадцатилетняя кузина, гостившая полтора месяца у них дома, затерзала его, тогда четырнадцатилетнего, своими ласками и уехала обратно в свой Коннектикут, оставив его в состоянии изнурительной девственности и несмываемой греховности.

История выглядела слишком уж литературной, и к концу этого пространного и эмоционального рассказа, изобилующего крупноплановыми деталями, усталая Валентина уложила обе его тонкие ладони на плотные финики своих незаурядных сосков и без особого труда совершила над ним насилие, приведшее его, впрочем, к полному удовлетворению.

Это событие так и осталось единичным в Миккиной биографии, но отношения их с того времени приобрели оттенок необыкновенной дружеской близости.

Валентина переживала в ту пору свой собственный крах: ошеломляюще подлую измену любимого человека. Он был известным диссидентом, успел даже посидеть, ходил в героях и слыл безукоризненно честным и мужественным. Но, видимо, шов у него проходил как раз между верхней и нижней половиной: верх был высококачественный, а низ сильно подпорченный. До баб он был жаден, неразборчив и умел всеми ими хорошо попользоваться. Отъезд его был оплакан многими красотками-подругами самой антисоветской ориентации, и парочка-тройка внебрачных детей обречена была держаться всю жизнь красивой легенды об отце-молодце.

В результате он уехал из России героем, женившись на красавице итальянке, к тому же и богатой, а Валентина осталась с гэбэшным хвостом и незащищенной диссертацией.

Вот тут-то великодушный Микки и предложил ей фиктивный брак, который они и заключили. Они поженились и, чтобы соблюсти некоторый декорум, устроили даже свадьбу в Калуге, у Валентиновой мамы, которая со дня свадьбы примирилась с дочерью, хотя жених ей и не понравился, назвала его “глистопером”. Однако обаяние американского паспорта подействовало даже на нее. В типографии, где она всю жизнь проработала уборщицей, никто еще своих дочерей в Америку не выдавал.

Прождав мужа два часа в аэропорту Кеннеди, Валентина позвонила ему домой, но никто не ответил. Тогда она решила ехать по тому адресу, который он дал ей еще в России. Адрес, предъявленный ею нескольким доброжелательным американцам, оказался не нью-йоркским, а пригородным. Английский язык Валентина знала через пень-колоду, она была слависткой. С горем пополам разобравшись, она поехала по указанному адресу.

Чувство полной нереальности происходящего освобождало ее от обычных человеческих тревог. Будущее, каким бы оно ни было, всё равно казалось ей лучше прошлого – позади всё было слишком уж погано. С этими легкими мыслями она села в автобус. Денег с нее почему-то не взяли, а она не сразу поняла, что в этой ситуации обозначает слово “free”. А когда поняла, что проезд бесплатный, обрадовалась. При ней было пятьдесят долларов, и она понимала, что этого в любом случае должно хватить, чтобы добраться до безответственного мужа.

На закате дня, после многих маленьких приключений и огромных дорожных впечатлений, она вышла в Территаун, вдохнула вечерний воздух и села на желтую лавочку на перроне. Она не спала более полутора суток, всё вокруг как будто слегка двигалось, и голова кружилась от полной неопределенности и невесомости.

Посидев минут десять, она подхватила свой чемоданишко и вышла на небольшую площадь, всю заставленную машинами. Она спросила у молодого человека, который возился с замком автомобиля, как найти нужную ей улицу, и он, ничего не говоря, распахнул вторую дверку и довез ее до красивого двухэтажного дома, расположенного на горке, в кайме выхоленных кустов. Начинало смеркаться. Она остановилась перед легкими воротцами из несерьезных белых планок.

Рейчел, мать Микки, с утра была озабочена чудесным сном, приснившимся ей под утро: как будто она нашла в белой беседке, которой на самом деле не было в их саду, милую пухленькую девочку и эта девочка с ней говорила о чем-то важном и очень приятном, хотя она была совсем крошка и в жизни такие маленькие дети еще не разговаривают. Но что именно она говорила, Рейчел не могла вспомнить.

Днем, когда она прилегла отдохнуть, она пыталась вызвать в памяти эту сквозную беседку, эту пухлую девочку, чтобы та снова ей приснилась и сказала бы то важное, чего недоговорила в предутреннее время. Но девочка больше не появилась, да и вообще ждать было нечего, днем Рейчел сны не снились.

Теперь она шла к воротцам, немного вперевалку, простолицая еврейка с круглыми, в кольцах давней бессонницы глазами, и рассматривала стоящую за воротами женщину с чемоданчиком.

– Добрый день! Могу ли я видеть Микки? – спросила женщина.

– Микки? – удивилась Рейчел. – Он здесь не живет. Он живет в Нью-Йорке. Но вчера он уехал в Калифорнию...

Валентина поставила чемодан на землю:

– Как странно. Он обещал меня встретить, но не встретил.

– А! Это Микки! – махнула рукой Рейчел. – Откуда вы?

– Из Москвы.

Валентина стояла на фоне белых ворот, и Рейчел вдруг догадалась, что эта белая беседка во сне была не беседка, а эти самые ворота, и пухленькая девочка – эта самая женщина, тоже пухленькая...

– Бог мой! А мои родители из Варшавы! – радостно воскликнула она, как будто Варшава и Москва были соседними улицами. – Заходите, заходите!

Через несколько минут Валентина сидела за низким столиком в гостиной, глядя в окно на убегающий вниз сад, все деревья которого повернулись к ней лицом и смотрели из сгущающейся темноты в ярко освещенное окно.

На столе стояли две тонкие матовые чашки, такие легкие, как будто они были сделаны из бумаги, и грубый терракотовый чайник. Печенье напоминало водоросли, а орехи были трехгранными, с тонкой скорлупой и розоватого цвета. Сама Рейчел, сложив руки на животе совершенно тем же деревенским жестом, как делала это мать Валентины, с доброжелательным интересом смотрела на Валентину, склонив набок голову в шелковой зеленой чалме. Оказалось, что русская знает польский, и они заговорили по-польски, что доставляло Рейчел особое удовольствие.

– Вы приехали в гости или на работу? – задала Рейчел важнейший вопрос.

– Я приехала навсегда. Микки обещал меня встретить и помочь с работой, – вздохнула она.

– Вы познакомились с ним, когда он работал в Москве? – перекинув головку на другое плечо – такая у нее была смешная манера: склонять голову к плечу, – спросила Рейчел.

Валентина задумалась на мгновение, она так устала, что вести светскую беседу по-польски, да еще чуть привирая там и здесь, у нее не было сил:

– Честно говоря, мы с Микки поженились...

Кровь бросилась Рейчел в лицо. Она выскочила из гостиной, и по всему дому разлетелся ее звонкий голос:

– Дэвид! Дэвид! Иди сюда скорее!

Дэвид, ее муж, такой же высокий и хрупкий, как Микки, в красной домашней куртке и в ермолке, стоял на верху лестницы. В руках он держал толстенную авторучку.

В чем дело? – говорил он всем своим видом, но молча.

Они были прекрасной парой, родители Микки. Каждый из них нашел в другом то, чего не имел в себе, и восхищался найденным. Подойдя к шестидесяти и поднявшись к возможным границам супружеской и человеческой близости, готовясь к длинной счастливой старости, оба они несколько лет тому назад с пронзительным ужасом обнаружили, что их единственный сын отказался от законов своего пола и уклонился в такую языческую мерзость, которую Рейчел не могла даже назвать словом.

– Мы были счастливы, слишком счастливы, – бормотала она бессонными ночами в своей огромной торжественной постели, в которой

они с тех пор, как совершили свое ужасное открытие, ни разу больше не прикоснулись друг к другу. – Господи, верни его к обычным людям!

И она, еврейская девочка, спасенная от огня и газа монахинями, почти три года оккупации укрывавшими ее в монастыре, шла на самое крайнее, обращаясь к Матери того Бога, в которого она не должна была верить, но верила:

– Матка Боска, сделай это, верни его...

Популярная просветительская литература, доходчиво объясняющая, что с сыном ее ничего особенного не происходит, всё в порядке и гуманное общество оставляет за ним полное и священное право распоряжаться своими причиндалами как ему заблагорассудится, не утешала ее старомодной души.

Теперь ее муж спускался к ней по лестнице и, глядя в ее розовое, счастливое лицо, гадал, что за радость у нее приключилась.

Радость – увы! фиктивная – сидела в гостиной и таращила сами собой закрывающиеся глаза... Так начиналась Валентина Америка...

Алик зашевелился, Валентина легко вскочила:

– Что, Алик?

– Пить.

Валентина поднесла к его рту чашку, он пригубил, закашлялся.

Валентина теребила его, постукивала по спине. Приподняла – ну совершенно как та кукла, которую сделала Анька Крон:

– Сейчас, сейчас, трубочку возьмем...

Он снова набрал в рот воды и снова закашлялся. Такое бывало и раньше. Валентина снова его потрясла, постучала по спине. Снова дала трубочку. Он опять начал кашлять, и кашлял на этот раз долго, всё никак не мог раздышаться. Тогда Валентина смочила водой кусочек салфетки и положила ему в рот. Губы были сухие, в мелкую трещинку.

– Я помажу тебе губы? – спросила она.

– Ни в коем случае. Я ненавижу жир на губах. Дай палец.

Она положила палец ему между сухих губ – он тронул палец языком, провел по нему. Это было единственное прикосновение, которое у него еще оставалось. Похоже, это была последняя ночь их любви. Оба они об этом подумали. Он сказал очень тихо:

– Умру прелюбодеем...

Валентина жила тогда трудно, как никогда. С работы она обычно ехала

прямо на курсы. Но в тот день пришлось заехать домой, так как позвонила хозяйка и попросила срочно завезти ключи: что-то случилось с замком, но Валентина не поняла, что именно. Она отдала ключ хозяйке, но и этим ключом входная дверь не открывалась. Оставив хозяйку наедине со сломанным замком, Валентина, прежде чем ехать на курсы, зашла в еврейскую закусочную за углом – к Капу. Цены здесь были умеренными, а сэндвичи, с копченой говядиной и индюшатиной, превосходными. Дюжие продавцы, которым бы ворожать бетонными чушками, артистически сложили огромными ножами пахучее мясо и переговаривались на местном наречии. Народу было довольно много, у прилавка стояло несколько человек. Тот, что стоял перед Валентиной, к ней спиной, с рыжим хвостом, подхваченным резиночкой, по-приятельски обратился к продавцу:

– Послушай, Миша, я хожу сюда десять лет. И ты, Арон, тоже. Вы стали за это время в два раза толще, а сэндвичи стали вдвое худей. Почему так, а?

Мельтеша голыми руками, продавец подмигнул Валентине:

– Он мне делает намеки, ты понимаешь, да?

Человек обернулся к Валентине – лицо его было смеющимся, в веснушках, весело топорщились рыжие усы:

– Он считает, что это намек. А это не намек, а загадка жизни.

Продавец Миша нацепил на вилку один огурчик, потом второй и уложил их рядом с пышным сэндвичем на картонной тарелке:

– На тебе экстраогурчик, Алик. – И обратился к Валентине: – Он говорит, что он художник, но я-то знаю, что он из ОБХСС. Они меня и здесь достают. Пастрами?

Валентина кивнула, нож замельтешил в руках Миши. Рыжий сел за ближайший стол, там как раз освободилось еще одно место, и, взяв из рук Валентины тарелку и поставив на свой столик, отодвинул ногой стул.

Валентина молча села.

– Из Москвы?

Она кивнула.

– Давно?

– Полтора месяца.

– Ага, и вид еще не обстрелянный. – Взгляд его был прямым и доброжелательным. – А чего делаешь?

– Бебиситтер, курсы.

– Молодец! – похвалил он. – Быстро сориентировалась.

Валентина разложила сэндвич на две половинки.

– Ты что! Ты что! Кто ж так ест! Американцы тебя не поймут. Это святое: разевай рот пошире и смотри, чтоб кетчуп не капал. – Он ловко обкусил выпирающую начинку сэндвича. – Жизнь здесь простая, законов всего несколько, но их надо знать.

– Какие законы? – спросила Валентина, послушно сложив вместе две разобранные было половинки.

– Вот этот, считай, первый. А второй – улыбайся! – И он улыбнулся с набитым ртом.

– А третий какой?

– Как тебя зовут?

– Валентина.

– Мм, – промычал он, – Валечка...

– Валентина, – поправила она. “Валечку” она ненавидела с детства.

– Валентина, вообще-то мы с тобой не очень хорошо знакомы, но так и быть – открою. Второй закон Ньютона здесь формулируется так: улыбайся, но жопу не подставляй...

Валентина засмеялась, кетчуп потек на ее шарф.

– А все-таки – третий.

Алик стер кетчуп:

– Сначала надо первые два выучить... Эти сэндвичи лучшие в Америке. Best in America... Это точно. Этой харчевне почти сто лет. Сюда приходили Эдгар По, О’Генри и Джек Лондон, брали здесь сэндвичи по гривеннику. Писателей этих, между прочим, американцы совершенно не знают. Ну, может, Эдгара По в школе проходят. Если бы здешний хозяин читал хоть одного из них, он непременно повесил бы портрет. Это наша американская беда: с сэндвичами всё в порядке, а культурки не хватает. Хотя почти наверняка у первого Каца, я имею в виду не Адама, а здешнего хозяина, внук окончил Гарвард, а правнук учился в Сорбонне и, наверное, участвовал в студенческой революции шестьдесят восьмого...

Валентина постеснялась спросить, какую такую революцию он имеет в виду, но Алик, отложив сэндвич, продолжал:

– Огурцы бочковые. Больше таких нигде не найдешь. Они сами солят. Честно говоря, я люблю, чтоб были клеклые и посопливей. Но это тоже неплохо. По крайней мере без уксуса... Вообще этот город потрясающий. В нем есть всё. Он город городов. Вавилонская башня. Но стоит, и еще как стоит! – Он как будто не с ней говорил, а спорил с кем-то отсутствующим.

– Но он такой грязный и мрачный, и так много черных, – мягко сказала Валентина.

– Ты приехала из России, и Америка тебе грязная? Ничего себе! Да черные – черные лучшее украшение Нью-Йорка! Ты что, не любишь музыку? А что такое Америка без музыки? А это черная, черная музыка! – Он возмутился и обиделся: – И вообще, ты в этом пока ничего не понимаешь и лучше молчи.

Они закончили с едой и вышли из заведения.

У дверей Алик спросил ее:

– Ты куда?

– На Вашингтон-сквер. У меня там курсы.

– Английский берешь?

– Advanced, – кивнула она.

– Я тебя провожу. Я там живу недалеко. А если подняться к Астор-плаза, а потом свернуть туда, – он махнул рукой, – там есть такое гнездышко американских панков, чудо, все в черной коже, в диком металле. С английскими ничего общего не имеют. И музыка у них – нечто особенное. А ближе к площади – старый украинский район, не так уж интересно. О, там есть потрясающий ирландский паб, самый настоящий. Туда даже женщин не пускают... Хотя, кажется, уже пускают, но уборной женской нет, только писсуары... Не город, а большой уличный театр. Я уж сколько лет оторваться не могу...

Они шли по Бауэри. Он остановил ее около мрачного унылого дома, каких в этом районе большинство.

– Смотри. Это CBGB – самое главное музыкальное место в мире. Через сто лет музыковеды будут хранить куски известки от этих стен в золотых коробочках. Здесь идет рождение новой культуры – я серьезно говорю. И Knitting Factory – то же самое. Здесь играют гении. Каждый вечер – гении.

Из обшарпанной двери выскочил черный щуплый мальчик в розово-белом пальто. Алик поздоровался с ним.

– Я же говорил! Это Буби, флейтист. Каждый вечер играет с Господом Богом. Я только что купил билет на его концерт. Специально приезжал. Жена моя со мной не ходит, она эту музыку не любит. Хочешь, возьму тебя с собой?

– Я могу только в воскресенье, – ответила Валентина. – Все остальные дни я с восьми до одиннадцати.

– Круто забираешь, – усмехнулся Алик.

– Ну, так получилось. Я к девяти на работе, в шесть кончаю. В семь курсы – через день, а через день с хозяйской внучкой сижу. В одиннадцать освобождаюсь, в двенадцать сплю. А в три просыпаюсь – и всё. У меня

такая американская бессонница, черт ее знает. В три часа я как неваляшка. Пробовала позже лечь, но всё равно – в три сна нет.

– Да, концертов в такое время не бывает, но есть много мест, где жизнь идет до утра. Не всё ли равно, когда начинать, можно и в три...

К этому времени Нинка была уже настоящим алкоголиком, и нужно ей было немного – за день она выпивала, по русскому счету, полбутылки водки, разбавляя ее американским соком, и к часу ночи спала мертвецким сном. Алик переносил ее из кресла в спальню, засыпал с ней рядом на несколько часов. Он сам был из породы людей мало спящих, как Наполеон.

Роман Алика с Валентиной протекал с трех до восьми. Он начался не сразу, а довольно постепенно. Прошло не менее двух месяцев, прежде чем он впервые вошел в ее низкий подвал, бейсмент по-американски, который она нанимала с легкой руки Рейчел у ее приятельницы.

В неделю раза два Алик подходил в четвертом часу к Валентинину подвалу и, склонившись, свистел в слабо светящееся окно. Через десять минут Валентина выскакивала – бодрая, розовая, в черной гуцульской курточке, и они шли в одно из тех ночных мест, которые обычно неизвестны эмигрантам.

Однажды, в одну из самых холодных ночей января, когда снег выпал и держался чуть ли не целую неделю, они попали на Рыбный рынок. Буквально в двух шагах от Уолл-стрит закипала на несколько часов невероятная жизнь. К причалу подходили суда действительно со всего мира, и рыбаки втаскивали свой живой или, как в тот раз, подмерзший товар на тележках, на спинах, в корзинах. В стенах открывались вдруг широкие двери, и складские помещения принимали всю эту морскую роскошь.

Два рослых человека несли на плечах длинное бревно – это был серебристый, успевший покрыться тонкой пленкой льда тунец. Обычные, простые, как дворняги, рыбешки тоже попадались, но глаз на них не смотрел, потому что в огромном изобилии громоздились на прилавках невиданные морские чудовища, с ужасными буркалами, клешнями, присосками, состоящие, казалось, из одних пастей, и необозримое количество ракушек самого фантастического вида, внутри которых укрывался маленький кусочек жидкого мяса, и змеистые существа с такими милыми мордочками, что невольно на ум приходили русалки, и нечто промежуточное, про что невозможно было сказать, животное оно или растение, и самые настоящие водоросли, лианами и пластами. И вся эта тварь при белом свете фонарей переливалась синим, красным, зеленым

и розовым, и некоторые еще шевелились, а другие уже заоченели.

В проходах стояло несколько железных бочек, в них что-то жгли, и время от времени замерзшие люди подходили туда погреться. И люди были так же диковинны, как и товар, который они привезли: норвежцы с русыми заиндевевшими бородами, усатые китайцы и островитяне с лицами экзотическими и древними.

А между ними толкались покупатели-оптовики со всего Нью-Йорка и из Нью-Джерси, привлеченные хорошими ценами, владельцы и повара лучших ресторанов – за самым свежим товаром.

– Слушай, это просто как в сказке! – восхищалась Валентина, а Алик радовался, что нашел человека, который так же от этого балдеет, как и он сам.

– А я тебе что говорил! – И потащил ее в забегаловку выпить виски, потому что в такой мороз нельзя было не выпить. Там, в забегаловке, с ним, конечно же, поздоровался хозяин. – Мой приятель. Вон, посмотри, – и он ткнул пальцем в стену, а там, посреди гравюр с изображениями яхт и кораблей, рядом с фотографиями незнакомых Валентине людей, висела небольшая картина, на которой были нарисованы две незначительные рыбки, одна красноватая, с колючим растопыренным плавником, а вторая серенькая, вроде селёдки. – За эту картинку Роберт обещался меня поить всю жизнь бесплатно.

И действительно, лысоватый краснорожий хозяин уже тащил им два виски. Наро́ду здесь было множество: моряки, грузчики, торговый люд.

Место это было мужским, ни одной бабы видно не было, и мужики сосредоточенно выпивали, ели здешний рыбный суп, какую-то незначительную еду. Сюда приходили не поесть, а выпить и передохнуть. А в такую погоду, конечно, и погреться. Мороз все-таки был для здешних людей непривычным, да они и не понимали, как настоящие северяне понимают, что никакого тепла не будет, если надеть меховую куртку на тонкую рубашку, в резиновые сапоги затолкать две пары синтетических носков и на башку нацепить бейсбольную кепочку...

– Ну скорей, скорей, а то ты самого интересного не увидишь, – заторопил вдруг Валентину Алик.

Они вышли на улицу. За те полчаса, что они провели в забегаловке, всё изменилось – и менялось на глазах со скоростью мультипликационного фильма. Прилавки очищались и куда-то исчезали, двери складских помещений закрывались и превращались в сплошные стены, исчезли бочки с веселым огнем, и со стороны причала шла гвардия высоких ребят со шлангами, и они смывали весь рыбный сор, что оставался на земле,

и через пятнадцать минут Алик с Валентиной стояли чуть ли не единственные на всем этом мысу, на самой южной точке Манхэттена, а весь ночной спектакль казался сном или миражем.

– Ну вот, а теперь пойдём и ещё раз выпьем, – повел её Алик в заведение, в котором тоже уже никого не было, и столы сверкали чистым блеском, и даже полы заканчивал протирать молодой парень, который тоже кивнул Алику, – хозяйский сын. – И это тоже ещё не всё. Сейчас увидишь последний акт. Минут через пятнадцать...

А через пятнадцать минут ближнее метро вдруг выплюнуло толпу элегантных мужчин и причесанных женщин, носивших на себе лучшую обувь, прекрасные деловые костюмы и духи этого сезона.

– Мать честная, они что, на прием? – изумилась Валентина.

– Это служащие с Уолл-стрит. Многие из них живут в Хобокене, тоже очень занятое место, я тебе покажу как-нибудь. Это народ не самый богатый, от шестидесяти до ста тысяч в год. Клерки. Белые воротнички. Самая рабская порода...

И они пошли к метро, потому что Валентине пора было ехать на работу. Она оглянулась – на месте Рыбного рынка остался только легкий запах рыбы – да и то надо было принюхиваться...

Кроме Рыбного рынка были ещё Мясной и Цветочный – там можно было заблудиться между кадками с деревьями. Этот Цветочный открывался по ночам, но днем тоже торговали.

А возле Мясного они однажды встретили рыжевато-го человека со знакомым лицом. Алик перекинулся с ним парой слов, и они прошли дальше.

– Кто это?

– Не узнала? Бродский. Он живет неподалеку.

– Живой Бродский? – изумилась Валентина.

Он действительно был вполне живой.

А ещё был ночной танцевальный клуб, куда ходила совсем особая публика: пожилые богатые дамы, ветхие господа, нафталиновые любители танго, фокстрота, вальса-бостона...

А иногда они просто гуляли, а потом однажды случайно поцеловались, и тогда они уже почти перестали гулять. Алик свистел с улицы, Валентина отворяла...

Потом Валентина переехала в квартиру к Микки, потому что Микки переселился на несколько лет в Калифорнию, преподавал там в знаменитой киношколе и личная жизнь его протекала хорошо, хотя Рейчел не переставала горевать, что вместо Валентины, милой толстой Валентины

с большими грудями, которыми можно было бы выкормить сколько угодно детишек, у Микки в подружках маленький испанский профессор, большой специалист по Гарсиа Лорке.

Нью-йоркская квартира Микки была в Даунтауне, Алик приходил и туда, всё в то же заветное время между тремя и восемью.

Был период, когда Валентина отказала ему в ночных визитах. Она в ту пору как раз переехала в Квинс, потому что ее взяли на работу в тамошний колледж преподавателем русского языка. В Квинсе у нее был другой мужчина, из России, но никто его не видел, известно было, что работает он водителем грузовика.

Сколько длился водитель в ее жизни, трудно сказать, но, когда она получила, пройдя огромный конкурс, совсем настоящую американскую работу в одном из нью-йоркских университетов, водителя уже не было.

Снова был Алик, и Валентине стало ясно, что теперь уж это окончательно, что никто ни от кого никуда не денется: ни она от Алика, ни Алик от Нинки...

11

Московская инженерша, приведенная в дом, осталась ночевать на коврике и немедленно присохла к дому. Утром, в самое безлюдное время, когда народ, который работал, разбежался по своим конторам, а который сидел на пособии, еще глаз не разлепил, когда сама Нинка еще не стряхнула с себя своего апельсинового сна, эта невзрачная, с первого раза не запоминающаяся женщина перемыла вчерашние чашки и стаканы, а потом заглянула к Алику. Он уже проснулся.

– Я Люда из Москвы, – повторила она на всякий случай, потому что, хоть ее вчера с Аликом и познакомили, она давным-давно привыкла, что с первого раза ее никто не запоминает.

– Давно? – живо заинтересовался Алик.

– Шесть дней. А кажется, что давно. Умыться? – Она спросила так легко, как будто это и было ее главное занятие: поутру умывать больных. И тут же принесла мокрое полотенце, протерла лицо, шею, руки.

– Чего в Москве нового? – механически спросил Алик.

– Да всё то же... По радио трескотня, магазины пустые... Чего там нового... Позавтракать? – предложила Люда.

– Ну, давай попробуем.

С едой обстояло плохо. Последние две недели он ел одно детское

питание, да и эту фруктовую ерунду с трудом глотал.

– Ну, я пюре картофельное сделаю. – И она уже была на кухне, тихонько там позвякивала.

Пюре она сделала жиденьким, и оно как-то хорошо проскочило. Вообще сегодня с утра Алик чувствовал себя получше: не так мутился свет и зрение было обыкновенным, без фокусов.

Люда перетряхивала Аликовы подушки и с грустью думала, что за судьба такая ей досталась – всех хоронить. В свои сорок пять она похоронила мать, отца, двух бабушек, деда, первого мужа и вот только что – близкую подругу. Всех кормила, умывала, а потом и обмывала. “Но этот вроде уж совсем не мой, а вот привело...”

У нее была куча дел, длинейший список покупок, визитов к незнакомым людям, которые хотели ее порасспросить о своих московских родственниках и порассказать о своей жизни, но она уже чувствовала, что влипла, не может оторваться от этого нелепого дома, от человека, которого она вот-вот полюбит, и снова ей придется надирать свое сердце на том же самом месте...

Зазвонил телефон, кто-то крикнул в трубку:

– Включите CNN! В Москве переворот!

– В Москве переворот, – упавшим голосом повторила Люда. – Вот тебе и новости.

В телевизоре замелькали обрывчатые куски хроники. Какое-то ГКЧП, не лица, а обмылки, косноязычные, с подлостью, заметной на лице, как плохие вставные зубы...

– Да откуда же такие рожи берутся? – удивился Алик.

– А здешние что, лучше? – с неожиданным патриотизмом воскликнула Люда.

– Все-таки лучше. – Алик подумал немного. – Конечно, лучше. Тоже воры, но застенчивые. А эти уж больно бесстыжие.

Понять, что там происходит на самом деле, было совершенно невозможно.

У Горбачева оказалось “состояние здоровья”.

– Наверное, они его уже убили...

Телефон звонил беспрерывно. Событие такого рода удержать в себе было невозможно.

Люда развернула телевизор, чтобы Алику было удобнее.

Билет у нее был на шестое сентября. Надо скорей менять и возвращаться... А с другой стороны, чего возвращаться, когда сын здесь... Муж пусть лучше сюда выбирается... А здесь чего делать,

без языка, без ничего... Дома книги, друзья, милых шесть соток... Всё неслось одной смутной тучей...

– Я же говорил: до подписания договора должно что-то произойти, – удовлетворенно сказал Алик.

– Какого еще договора?.. – удивилась Люда. Она не следила за политическими новостями, ей давно всё это опротивело...

– Люд, разбуди Нинку, – попросил Алик.

Но Нинка уже и сама приползла.

– Попомните мое слово: вот теперь всё и решится... – пророчествовал Алик.

– Что решится? – Нинка была рассеянна и еще не вовсе проснулась. Все события за пределами этой квартиры были от нее одинаково далеко.

К вечеру опять набилось множество народу. Телевизор вынесли из спальни и поставили на стол, народ отхлынул от Алика и сгрудился у телевизора. Происходило что-то совершенно непонятное: какой-то марионеточный дергунчик, завхоз из бани, усач с собачьей мордой, полубесы-полулюди, фантазмагория сна из “Евгения Онегина”. И – танки. В город входили войска. По улицам медленно ползли огромные танки, и было непонятно, кто против кого воюет.

Люда, зажав виски, стонала:

– Что теперь будет? Что будет?

Сын ее, молоденький программист, сорвался пораньше с работы, сидел с ней рядом и немного ее стеснялся:

– Что будет? Военная диктатура будет.

Пытались прозвониться в Москву, но линия была занята. Вероятно, в эти минуты десятки тысяч человек набирали московские номера.

– Смотрите, смотрите, танки мимо нашего дома идут!

Танки шли по Садовому кольцу.

– Да чего ты так убиваешься, сын твой здесь, останешься, и всё, – пыталась успокоить Люду Файка.

– А отец, наверное, давно на пенсии, – невпопад сказала Нина.

Один только Алик знал, что сказала она впопад: отец у Нины был пламенный гэбэшник в большом чине, отказался от нее, когда она уехала, и даже матери запретил переписку...

– О, сучья власть, пропади она пропадом. И вся водка кончилась... – Либин вскочил и пошел к лифту.

Джойка, которая довольно хорошо читала по-русски, но понимала русскую речь значительно хуже, в эти часы своими ушами прозрела:

каждое слово, сказанное диктором, понимала с лёту. Она принадлежала к странной породе людей, влюбившихся в чужую землю, ни разу ее не видевши, по одним только старомодным книжкам, да к тому же в плохих переводах. Но она хоть понимала по какому-то неожиданному вдохновению дикторский текст, а Руди только пялил глаза, ерзал и время от времени тянул Джойку за локоть и требовал перевода.

Происходящее в Москве было до такой степени непонятным, что перевод, похоже, требовался всем.

Про Алика на некоторое время забыли, и он закрыл глаза. То, что происходило на экране, он воспринимал сейчас как мелькание пятен. К вечеру устал, но сознание оставалось ясным.

Тишорт села к нему на ручку кресла, погладила плечо.

– Там теперь будет война? – спросила тихо.

– Война? Не думаю... Несчастливая страна...

Тишорт недовольно наморщила лоб:

– Ну, это я уже слышала. Бедная, богатая, развитая, отсталая – это я понимаю. А как это – несчастная страна? Не понимаю.

– Тишорт, а ты умница. – Алик посмотрел на нее с удивлением и с удовольствием.

И Тишорт это поняла.

Все сидящие здесь люди, родившиеся в России, различные по дарованию, по образованию, просто по человеческим качествам, сходились в одной точке: все они так или иначе покинули Россию. Большинство эмигрировало на законных основаниях, некоторые были невозвращенцами, наиболее дерзкие бежали через границы. Но именно этот совершённый поступок роднил их. Как бы ни разнились их взгляды, как бы ни складывалась в эмиграции жизнь, в этом поступке содержалось неотменимо общее: пересеченная граница, пересеченная, запнувшаяся линия жизни, обрыв старых корней и выращивание новых, на другой земле, с иным составом, цветом и запахом.

Теперь, по прошествии лет, сами тела их поменяли состав: вода Нового Света, его новенькие молекулы составляли их кровь и мышцы, заменили всё старое, тамошнее. Их реакции, поведение и образ мыслей постепенно меняли форму. Но при этом все они одинаково нуждались в одном – в доказательстве правильности того поступка. И чем сложнее и непреодолимей оказывались трудности американской жизни, тем нужнее были доказательства правильности того шага. Все эти годы для большинства из них вести из Москвы о всё нарастающей нелепости, бездарности и преступности тамошней жизни были, осознанно

или бессознательно, желанным подтверждением правильности их жизненного выбора. Но никто не мог предположить, что всё происходящее теперь в этой далекой, бывшей, вычеркнутой из жизни стране – пропади она пропадом! – будет так больно отзываться... Оказалось, что страна эта сидит в печенках, в душе, и, что бы они о ней ни думали, а думали они разное, связь с ней оказалась нерасторжимой. Какая-то химическая реакция в крови – тошно, кисло, страшно...

Казалось, что она давно уже существует только в виде снов. Всем снился один и тот же сон, но в разных вариантах. Алик в свое время коллекционировал эти сны и даже собрал тетрадочку, которую назвал “Сонник эмигранта”. Структура этого сна была такая: я попадаю домой, в Россию, и там оказываюсь в запертом помещении, или в помещении без дверей, или в контейнере для мусора, или возникают иные обстоятельства, которые не дают мне возможности вернуться в Америку, – например, потеря документов, заключение в тюрьму; а одному еврею даже явилась покойная мама и связала его веревкой...

Самому Алику этот сон явился в забавной разновидности: как будто он приехал в Москву, а там всё светло и прекрасно и старые друзья празднуют его приезд в какой-то многокомнатной квартире, страшно знакомой и запущенной, вокруг толчея и дружеская свалка, а потом все едут провожать его в Шереметьево, и это уже совсем не похоже на душераздирающие проводы прошлых лет, когда всё навсегда и насмерть. И вот уже надо идти на посадку, но тут вдруг появляется Саша Ноликов, старый приятель, сует ему в руку несколько собачьих поводков, на которых волнуются и пританцовывают милые небольшие дворняги, пестренькие, с лаячьей кровью и загнутыми крендельком хвостами, – и исчезает. Все друзья куда-то подевались, и Алик стоит с этими собаками, и нет никого, кому бы он мог передать эту сворку, и уже объявляют, что регистрация на Нью-Йорк заканчивается. Какой-то служащий авиакомпании подходит к нему и сообщает, что самолет уже в воздухе... И он остается с этими собаками в Москве, почему-то известно, что навсегда. Беспокоит только одно: как Нинка будет платить за ателье в Манхэттене. И тут же, во сне, запахло лифтом, лофтом, не выветриваемым грубым табаком...

– Скажи, Алик, а там вы плохо жили? – Тишорт снова теребила его плечо.

– Дурочка... Отлично мы жили... Да мне всюду отлично...

Это точно. В Манхэттене он жил, как на Трубной, как на Лиговке,

как по любому из своих долговременных или трехдневных адресов. Он быстро обживал новые места, узнавая их закоулки, подворотни, опасные и прекрасные ракурсы, как тело новой любовницы.

В годы юности всё вертелось с большой скоростью, но, при его повышенном внимании к миру и памяти, ничего не забывалось: он мог бы восстановить рисунок обоев всех комнат, где жил, лица продавщиц в ближайших булочных, узор лепнины на фасаде дома напротив, профиль щуки, пойманной на удочку в Плещеевом озере в шестьдесят девятом году, и лирообразную сосну с одним сбитым рогом, возвышающуюся посреди пионерского лагеря в Верее...

И словно в благодарность за память и внимание мир был благосклонен к нему. Он приезжал в распухший от дождей Кейп-Код, и вылезало дрожащее солнышко; он проходил мимо яблони, и выжидавшее этого момента яблоко падало к его ногам просто так, в подарок. Это качество распространялось даже на мир техники: когда он набирал номер, линия всегда была свободна. Здесь, правда, был маленький фокус. Когда, зная эту его способность, его просили набрать какой-нибудь номер, он иногда часами отказывался, а потом вдруг, улучив момент, мгновенно пробивался...

Америка явственно отвечала приязнью на его восхищение. А у Алика просто дух захватывало от новизны этого Нового Света. Он казался Алику новеньким в буквальном смысле этого слова. Старые, в три обхвата, деревья были выстроены из молодой и крепкой ткани. Здесь всё было плотнее, крепче и грубее. Алик, человек третьего, российского, мира, в тридцатилетнем возрасте прикоснулся и к Америке, и к Европе. Сначала Вена и Рим, все итальянские сладости, от которых почти год он не мог оторваться... Только уехав в Америку и прожив в ней первые годы безвыездно, он понял американскую зависть к старой Европе с ее прозрачной изношенностью, культурной утонченностью и даже исчерпанностью, равно как и высокомерное, но в глубине тоже завистливое отношение Европы к широкоплечей и элементарной Америке.

Алик, с рыжей щеточкой усов, с подвязанными в ту пору у шеи длинным жестким хвостом волосами, стоял между ними как третейский судья – и не могло быть лучшего судьи. Он не отличался беспристрастностью, напротив, он был невероятно и любовно пристрастен. Он обожал хайвеи Америки и разноцветную, самую красивую, как он полагал, в мире толпу – толпу нью-йоркской подземки, американскую уличную еду и уличную музыку. Но он наслаждался маленькими круглыми фонтанчиками на круглых площадях Эксан-Прованса, отмечающего собой

нежный переход между Францией и Италией, любил романскую архитектуру и всегда, когда ему попадались ее останки, радовался встрече, обожал изрезанные, как кленовые и березовые листья, берега греческих островов и средневековую Германию, каждую минуту обещавшую открыть себя в Марбурге или в Нюрнберге, но не исполнившую обещания, зато всё, что не было найдено на улицах, обнаружилось в потрясающих немецких музеях, и немецкое искусство совершенно перешибло итальянское Возрождение. И пиво немецкое было отличное.

Он никогда не чувствовал необходимости принимать чью-то сторону, он стоял на своей собственной стороне, и это место позволяло ему любить всех равно.

Он бормотал девочке что-то куцее и, как ему самому казалось, незначительное об Америке и Европе, огорчился, что поглупел и не может сказать убедительно и связно. Она слушала его со вниманием, а потом спросила:

– А ты любишь Россию?

– Конечно, люблю.

– А почему? – всё приставала к нему Тишорт.

– По кочану, – грубо отрезал он.

Тишорт разозлилась. Она так и не научилась принимать в расчет его болезнь.

– И ты, и ты как все! Объясни – почему? Все говорят, что там очень плохо жили.

Алик честно задумался: вопрос оказался действительно не прост.

– Открыть секрет?

Тишорт кивнула.

– Подставь поближе ухо.

Она прислонила ухо к самым его губам, едва его не завалив.

– Никто в этом ни хрена не понимает, а самые умные только прикидываются, что понимают.

– При – что?

– Делают вид.

– И ты? И ты тоже? – как будто обрадовалась Тишорт.

– Я прикидываюсь лучше всех.

Вид у обоих был исключительно довольный. Ирина с ревнивым интересом смотрела в их сторону.

Хозяин дома был большая гнида. Алик как кость в горле торчал у него уже почти двадцать лет, и ничего с этим нельзя было поделать. Первый жилец, попавший сюда, как только дом перешел в руки этого хозяина и склады только-только освобождались, Алик платил ему за квартиру деньги, которые теперь были просто смешными. Тот старый контракт изменить было невозможно.

Район Челси, когда-то фабричный, запущенный, столь точно описанный любимым Аликом О'Генри, стал за эти годы почти фешенебельным. Рядом был Гринвич-Вилледж с богемной жизнью, музыкальными клубами и наркотическими забавами, и дух ночного веселья распространялся от него, захватывая близлежащие кварталы.

За последние двадцать лет здесь всё взлетело в цене, квартиры чуть не в десять раз, а Алик всё платил четыре сотни, да еще и постоянно задерживал.

Хозяин дома жил в богатом пригороде, всем ведал “суперинтендант” – поместь управдома с дворником. Это была должность наемная. Здешний “супер” Клод работал в доме почти с самого заселения, он был человек совсем особенный – полуфранцуз с каким-то заковыристым прошлым. Из его обрывчатых рассказов то всплывал Тринидад с океанской яхтой, то выскакивала Северная Африка с опасными охотами. Похоже было на вранье, но одновременно с этим складывалось впечатление, что подлинная его жизнь содержит кое-что не менее интересное. И Алик допридумал ему биографию, уверял всех, что тот великий карточный шулер, попался, сидел в турецкой тюрьме и бежал на воздушном шаре...

Дважды, в самые трудные времена, Клод, не лишенный художественных интересов и филантропических замашек, выручал Алика, покупал его работы. Не так уж много на свете домоуправов, покупающих живопись. Кроме всего прочего, Клод любил Нинку. Он приходил иногда к ней поболтать, она варила ему кофе, когда-то даже раскладывала легкое дурацкое гаданье “на даму”... Не знающая ни слова по-английски, Нинка, приехав в Америку, принялась за французский. В этом был какой-то особенный, только ей свойственный идиотизм. Может быть, именно поэтому Клод ее так полюбил. Сам он тоже был человек со странностями, единственный из всех, он даже предпочитал Нинку Алику.

Клод, проходя обыкновенно в первой половине дня, видел, что в хаотической и бесформенной Нинкиной жизни присутствовал

элемент строгого режима. Она вставала обыкновенно около часу и подавала слабый голос; Алик варил ей кофе и нес в спальню вместе со стаканом холодной воды. Обычно это было самое рабочее время, и в эти часы он с ней даже не разговаривал. Она медленно приходила в себя, долго принимала ванну, мазала лицо и тело разными кремами, присланными из Москвы подругой – местных она не признавала, – и бесконечно водила щеткой по знаменитым волосам. В молодости она несколько лет проработала в московском Доме моделей и всё никак не могла забыть этого великого в жизни времени.

Надев черное кимоно, она снова забивалась в спальню с каким-нибудь восхитительно дурацким занятием: пасьянсом или складыванием огромных пазлов. Вот тут обыкновенно и приходил Клод. Она принимала гостя в кухне и пила свои наперсточные чашечки одну за другой. В это время дня она есть еще не могла и пить тоже. Она была действительно слабенькая – даже курить начинала ближе к вечеру, собравшись с силами, уже после первой еды и первого алкоголя.

Алик заканчивал часам к семи. Если водились деньги, шли обедать в один из маленьких ресторанов Гринвич-Вилледжа. Первые американские годы были у Алика поудачней, тогда еще не так много русских художников понаехало, он был даже в небольшой моде.

Нинка в начале американской жизни предпочитала всё восточное, это был самый пик ее увлечения, и они шли к китайцам или к японцам. Алик, конечно, знал самых настоящих.

Нинка к выходу усердно готовилась, одевалась, красилась. Брала с собой кошку Катю, привезенную из Москвы со всеми положенными справками, бледно-серую, с желтыми глазами. Катя тоже была сумасшедшая – какую нормальную кошку можно заставить часами лежать на плече, свесив расслабленно лапы?

Если к вечеру приходили друзья, заказывали пиццу внизу или китайскую еду из Чайнатауна, из любимого ресторана, где их знали. Хозяин всегда присылал для Нинки какой-нибудь маленький подарочек. Кто-нибудь приносил пиво или водку – большого пьянства тогда не было.

– Здесь климат такой, – говорил Алик, – здесь пьянства нет, есть алкоголизм.

Это была правда. На третьем году своего пребывания в Америке Нинка стала настоящим алкоголиком, правда малопьющим. Но красота ее от этого делалась всё пронзительней...

Хозяин приехал накануне навести порядок в делах. Расчихвостил Клода за мусорный штраф и потребовал немедленного выселения Алика:

неуплата за три месяца была достаточным основанием. Клод пытался даже защитить старых жильцов, говорил об ужасной болезни и, вероятно, скором конце.

– Я хочу сам посмотреть, – настаивал хозяин, и Клоду ничего не оставалось, как подняться на пятый этаж.

Шел одиннадцатый час, жизнь была в самом разгаре, когда они вышли из лифта. На грузного старика с розовым замшевым лицом никто внимания не обратил. Никакого ожидаемого буйного веселья и особого русского пьянства не происходило. Возле телевизора сидела большая компания. Хозяин огляделся. Он давным-давно сюда не заглядывал. Помещение прекрасное, немного отремонтировать – и можно взять тридцать пять сотен, а то и сорок.

– Он хороший художник, этот парень. – Клод указал глазами на работы, прислоненные к стене. Алик прежде не любил развешивать своих работ, ему мешали старые картины.

Хозяин взглянул мельком. У него был приятель, который держал в двадцатых годах здесь, в Челси, дешевенькую гостиницу, почти ночлежку, пускал всякий сброд, нищих художников, безработных актеров, продержался кое-как во времена Великой депрессии. Иногда брал у своих жильцов вместо денег их мазню, исключительно по доброте душевной, вешал в холле. А потом прошли годы – и оказалось, что у него собралась коллекция, которая стоила десяти гостиниц... Но это было давно, времена были другие, а теперь слишком уж много художников развелось. “Нет-нет, никаких этих картин”, – решил хозяин.

Нинка, увидев Клода, пошла к нему своей шаткой изящной походкой, готовя по дороге французскую фразу, но сказать не успела, потому что Клод первым ей сказал:

– Наш хозяин зашел по делу.

Нинка проявила неожиданную сметливость, заулыбалась, что-то прощепетала неопределенное и рванулась к Либину. Обхватила его за голову и горячо зашептала в ухо:

– Вон там у двери хозяин, его “супер” привел. Ты сделай так, чтобы они к Алику не цеплялись. Умоляю.

Либин быстро смекнул, в чем дело, вышел к ним с придурковатой радостной улыбкой:

– Видите ли, в Москве политический переворот, мы несколько обеспокоены.

Звучало это так, как будто он премьер-министр соседнего государства. При этом он напирал на них животом и теснил к лифту. Они поддавались.

Уже возле самой двери, перестав улыбаться, сказал четко и отдельно:

– Я брат Алика. Прошу прощения за задержку, счета я вчера оплатил и гарантирую, что больше таких задержек не будет...

“Сейчас этот чертов ирландец развопится”, – подумал Клод, но хозяин, ни слова не говоря, нажал лифтовую кнопку.

Двое суток телевизор не выключали. Двое суток не смолкал телефон и беспрерывно хлопала дверь. Алик лежал плоский и резиновый, как пустая грелка, но был оживлен и уверял, что ему много лучше.

Как античная драма, действие шло уже три дня, и за это время прошлое, от которого они более или менее основательно отгородились, снова вошло в их жизнь, и они ужасались, плакали, искали знакомые лица в огромной толпе возле Белого дома и дождались-таки минуты, когда Людочкин сын вдруг завопил:

– Папа, смотрите, папа!

На экране был бородатый человек в очках, всем, казалось, знакомый, он шел прямо на камеру, слегка наклонив голову.

Люда обхватила горло руками:

– Ой, Костя! Я так и знала, что он там!

К этому времени уже было ясно, что переворот не удался.

– Мы выиграли, – сказал Алик.

Откуда взялось это “мы”, совершенно непонятно. Но это было то самое “мы”, которому удивлялся отец Виктор в Париже, в самом начале войны. Дед его, белый офицер, принявший сан уже в эмиграции, ощутил тогда острую связь с Россией, устоявшееся за годы эмиграции “они” вдруг сменилось у него на это самое “мы”, и в сорок седьмом он едва не уехал в Россию себе на погибель...

Либин был с Аликом совершенно не согласен, но сегодня не собирался спорить, только пробормотал:

– Ну, вот это как раз совершенно неизвестно, кто в действительности выиграл...

Все радовались, что не началась гражданская война, что танки вышли из города.

Непрерывно шла хроника: на Лубянке свалили Дзержинского и показали опустевший цоколь, лучший из всех памятников советской власти – пустой пьедестал. Партия – из гранита, мрамора, стали, как она

сама себя расписывала, – сыпалась как труха, исчезала как наваждение.

Хоронили троих погибших – три случайные песчинки были выбраны из толпы небесной рукой: ребята с хорошими лицами – русский, украинец, еврей. Над двумя машут кадилом, третий покрыт талесом. Таких похорон еще не было в этой стране... И тысячи, тысячи людей...

Казалось, всё гнилое, больное, подлое, что так долго копилось, разом обломилось, обрушилось и, как выплеснутые помои, как куча выброшенного смрадного хлама, уплывает по реке...

И здешние, бывшие русские, в полном единодушии радовались, и всеобщая радость по этому поводу выражалась не в том, что пили больше обычного, а в том, что запели старые советские песни. Лучше всех пела Валентина:

Всё стало вокруг голубым и зеленым...

Над каждым окошком поют соловьи...

В этом квартале, в этой квартире не было ничего голубого и зеленого, и все они прекрасно знали, что все цвета в их новой стране имеют другие оттенки, иную степень напряженности, но каждый вспоминал цвета своего собственного детства: Валентина – Институтскую улицу в Калуге, текущую к мыльно-голубой Оке между двух рядов бледных лип, Алик – голубое и зеленое Подмосковье, доверчивый и ласково-неуверенный цвет первой листвы и нежного, в длинных переливах, неба, а Файка – Марьину Рощу с хромыми палисадниками и грубыми, топорно сделанными золотыми шарами на фоне едко-зеленого забора...

Снизу, правда, тянуло прежней музыкой, и не обычной южноамериканской сальсой, а чем-то диким, бессмысленным, с постукиванием и подвыванием. Алик, более всех чувствительный к музыке, взмолился:

– Либин, Христа ради, пойдй заткни их как-нибудь.

Либин, прихватив Наташу, исчез.

В телевизоре шли толпы, толпы. В комнате тоже было много народу, и даже казалось, что они как-то связаны. Временами Алик замечал, что среди привычных лиц вдруг промелькивало незнакомое. Он увидел какого-то маленького седого старичка с кожаным ремешком на лбу, в странной белой одежде, но как-то не в фокусе.

– Нин, а кто этот старичок? – спросил он.

Нинка встревожилась – неужели он заметил хозяина?

– Я про того маленького, с белой бородкой...

Нинка огляделась – никакого старичка не было.

Невыносимая музыка вдруг куда-то исчезла. Зато появились чьи-то дети, в большом количестве. Странные малосимпатичные дети с немного зверушечьими личиками. И несмотря на поздний вечер, было очень жарко. Подошла Валентина:

– Ну что?

– Спой что-нибудь прохладное.

Валентина села рядом с Аликом, обхватила его высохшую ногу и запела тихо и очень внятно:

Ой, мороз, мороз, не морозь меня,
Не морозь меня, моего коня...

Голос у Валентины был действительно прохладным, и от него расходились по воздуху тонкие морщины, как после игрушечного кораблика, пущенного на воду.

Алик увидел себя втиснутым в толстую коричневую шубу, в тесной цигейковой шапке поверх белого платка, на шубе ремень с любимой пряжкой, а сам он сидит в салазках с гнутой спинкой, впереди его идут мамины войлочные ботинки и бьется подол синего пальто о серый войлок. Рот у него туго завязан шерстяным шарфом, а в том месте, где губы, шарф мокрый и теплый, но надо сильно дышать, очень сильно, потому что, как только перестаешь дышать, ледяная корочка запечатывает эту теплую лунку и шарф сразу же промерзает и колет...

Дети, которых делалось всё больше и больше, они тоже как будто в шубах, в пушистых заснеженных шубах...

Хлопнула дверь – из лифта вывалился Либин с шестью парагвайцами. Все парагвайцы были почти одинаковые, мелкорослые, в черных брюках и белых рубашках, с маленькими барабанчиками, трещотками и колотушками. Они шли, погромыхивая своей музыкой.

– Нин, ну а эти откуда взялись? – неуверенно спросил Алик.

– Либин привел.

Либин был пьян вдребезги. Он подошел к Алику:

– Алик! Отличные ребята оказались. Я поставил им выпить. Думаю, они же не могут играть, когда руки стаканом заняты. И точно. Отличные ребята, только по-английски не говорят. Один немного спикает. А другие даже по-испански не очень умеют. У них язык гуарани или что-то похожее.

Мы выпили чуток, я говорю: у меня друг болен. А они говорят: у нас есть такая музыка специальная, для тех, кто болен. А? Занятные ребята такие...

Занятные ребята тем временем выстроились гуськом, друг другу в затылок. Первый, со шрамом через кирпично-смуглое лицо, ударил в барабанчик, и они двинулись по кругу, коротконогие, чуть приседая на каждом шагу, ритмично покачиваясь и издавая какие-то криковдохи.

Девицы, изнемогшие за последнюю неделю от их музыки, зашлись от немого смеха.

Но здесь, в помещении, эта музыка звучала совсем по-другому. Она была до жути серьезная, имела отношение не к уличному искусству, а к другим, несоизмеримо более важным вещам. В ней присутствовал стук сердца, дыхание легких, движение воды и даже ворчащие звуки пищеварения. А сами музыкальные инструменты – Боже правый! – были черепами и малыми косточками, и скелетики висели на самих музыкантах, как праздничные украшения... Наконец музыка замерла, но не успел народ загудеть, вклинившись в эту паузу, как они развернулись в другую сторону и опять двинулись гуськом по кругу, и пошла другая музыка – древняя, жуткая...

– Пляска смерти, – догадался Алик.

Теперь, когда ему открылся смысл этой музыки как буквальный рассказ об умирании тела, он понял также, что их движение противусолонь было прологом к какой-то следующей теме. Та монотонная и заунывная музыка, которая так раздражала его всё последнее время, оказалась внятной, как азбука. Но она оборвалась, чего-то недосказав.

Гости всё прибывали. Алик разглядел в толпе своего школьного учителя физики, Николая Васильевича, по прозвищу Галоша, и вяло удивился: неужели он эмигрировал на старости лет?.. Сколько же ему теперь?.. Колька Зайцев, одноклассник, попавший под трамвай, худенький, в лыжной курточке с карманами, подбрасывал ногой тряпичный мячик, как мило, что он приволок его с собой... Двоюродная сестра Муся, умершая девочкой от лейкоза, прошла через комнату с тазом в руках, только не девочкой, а уже вполне взрослой девушкой. Всё это было ничуть не странно, а в порядке вещей. И даже было такое чувство, что какие-то давние ошибки и неправильности исправлены...

Фима подошел и потрогал холодную руку:

– Алик, может, тебе хватит гулять?

– Хватит, – согласился Алик.

Фима поднял его легчайшее тело и отнес в спальню. Губы Алика были синими, ногти на руках – голубыми, и только волосы горели неизменной

темной медью.

“Гипоксия”, – отметил автоматически Фима.

Нина тащила с подоконника бутыл с травяным настоем...

Главный из парагвайцев, их толмач, подошел к Валентине и попросил разрешения потрогать ее волосы. Одну руку он запустил в свои грубые угольно-блестящие патлы, а пальцами другой прошелся по Валентиным, выкрашенным разноцветными прядями, и засмеялся – чем-то его порадовала ее пестрая голова. Две недели тому назад они приехали в Нью-Йорк из большой деревни, затерявшейся в тропическом лесу, и не все диковинки здешнего мира успели потрогать руками. У нее же возникло странное ощущение, будто на нее надели тибетейку. Впрочем, в этом не было ничего неприятного и через несколько минут прошло.

Алик ловил воздух. Он знал, что надо дышать получше, иначе теплая лунка в шарфе затянется. Он делал судорожные вдохи, которых получалось больше, чем выдохов.

– Устал...

Фима сжал его запястье, сухое, как ветка мертвого дерева. Умирала диафрагмальная мышца, умирали легкие, умирало сердце. Фима раскрыл саквояж и задумался.

Можно ввести камфару, подогнать истощенное сердце, пустить его галопом. Надолго ли хватит?.. Можно наркотик. Приятное забвение, из которого он скорее всего не вернется. А если оставить всё так, как есть... сутки, двое... Никто не знает, сколько часов это может продолжаться...

Эта страна ненавидела страдание. Она отвергала его онтологически, допуская лишь как частный случай, требующий немедленного искоренения. Отрицающая страдание молодая нация разработала целые школы – философские, психологические и медицинские, – занятые единственной задачей: любой ценой избавить человека от страдания. Идея эта с трудом ложилась на российские мозги Фимы. Земля, вырастившая его, любила и ценила страдание, даже сделала его своей пищей; на страданиях росли, выросли, умнели... Да и еврейская Фиминая кровь, тысячелетиями перегоняемая через фильтр страдания, как будто несла в себе какое-то жизненно важное вещество, которое в отсутствие страдания разрушалось. Люди такой породы, избавляясь от страдания, теряют и почву под ногами...

Но к Алику всё это не имело отношения. Фима не хотел, чтобы его друг так жестоко страдал последние часы жизни...

– Ниночка, а теперь мы вызовем амбуланс, – сказал Фима гораздо более решительно, чем оно было у него в душе...

Машина приехала через пятнадцать минут. Здоровенный черный парень баскетбольного роста с выдвинутой челюстью и щуплый интеллигент в очках. Врачом оказался негр, а тот, второй, – беглый поляк или чех, как решил Фима, и тоже не дотянувшийся до американского диплома. Сходство непрощеное и неприятное. Фима отошел к окну.

Негр откинул простыню. Провел рукой перед глазами Алика. Алик никак не отреагировал. Врач сжал запястье, утонувшее в его громадной руке, как карандаш. Фраза, которую он произнес, была длинной и совершенно непонятной. Фима скорее догадался, что тот говорит об искусственных легких и о госпитализации. Но даже не понял, предлагает он его забрать в госпиталь или, наоборот, отказывается.

Но Нинка качала головой, трясла волосами и говорила по-русски, что никуда Алика не отдаст. Врач внимательно смотрел на ее отощавшую красоту, потом прикрыл большие веки в огромных ресницах и сказал:

– Я понял, мэм.

После чего он набрал в большой шприц жидкость из трех ампул и вкатил Алику между кожей и костью, в почти отсутствующее бедро.

Очкарик кончил свою писанину, свел страдальчески лохматые брови на долгоносом лице и сказал врачу с акцентом, даже Фиме показавшимся чудовищным:

– Женщина в плохом состоянии, введите ей транквилизатор, что ли, принимая во внимание...

Врач стащил с рук перчатки, бросил в кейс и, не глядя в сторону советчика, буркнул что-то презрительное. Фиму просто передернуло: как он его...

“Чего я здесь сижу как мудак: ничего не высижу. Надо возвращаться”, – впервые за все эти пропащие годы подумал Фима. И вдруг испугался: а смогу ли я, в самом деле, снова стать врачом? А смог бы я сдать все эти поганые экзамены по-русски? Да, впрочем, кто в Харькове с него спросит, там-то диплом годится...

После ухода бессмысленной медицины Нина вдруг страшно засуетилась. Опять начала носиться с бутылками. Села у ног Алика, налила себе в ладонь жидкость и стала растирать Алику ноги, от кончиков пальцев

вверх, к голени, потом к бедру.

– Они ничего, ничего не понимают. Никто ничего не понимает, Алик. Они просто ни во что не верят. А я верю. Я верю. Господи, я верю же. – Она лила горсть за горстью, пятна расплывались на простыне, брызги летели в разные стороны, она яростно терла ноги, потом грудь. – Алик, Алик, ну сделай же что-нибудь, ну скажи что-нибудь. Ночь проклятая... Завтра будет лучше, правда...

Но Алик ничего не отвечал, только дышал судорожно, напряженно.

– Нинок, ты приляг, а? А я его сам помассирую. Хорошо? – предложил Фима, и она неожиданно легко согласилась. – Там Джойка сторожит. Она хотела сегодня подежурить. Может, ты там, на коврике? А она здесь посидит.

– Пусть катится. Не нужен никто. – Она легла лицом вниз, в ногах у Алика, поперек широченной тахты, где он совсем уже терялся, и всё продолжала говорить: – Мы поедем на Джамайку или во Флориду. Возьмем напрокат машину большую и всех возьмем с собой: и Вальку, и Либина, всех-всех, кого захотим. И в Диснейленд по дороге заедем. Правда, Алик? Отлично будет. Будем в мотелях останавливаться, как тогда. Они ни черта не понимают, эти врачи. Мы тебя травой поднимем, еще не таких поднимали... еще не таких лечили...

– Тебе поспать бы надо, Нин.

Она кивнула:

– Попить принеси.

Фима пошел навести ей ее пойла. Гости разошлись.

В мастерской, в уголке, сжалась Джойка с сереньким Достоевским, всё ждала, не позовут ли ее дежурить. Укрывшись с головой, спал кто-то из оставшихся гостей. Люда, домывая стаканы, спросила у Фимы:

– Что?

– Агония, – сказал Фима только одно слово.

Он отнес Нине ее питье. Она выпила, свернулась в ногах у Алика, потом стала что-то неразборчиво бормотать и вскоре уснула. Она, кажется, еще не понимала, что происходит.

Завтра, то есть уже сегодня, у Фимы был рабочий день, послезавтра он мог бы взять отгул, третьего дня, наверное, уже не понадобится. Он сел на тахту, раскинув шишковатые колени, поросшие ковровыми волосами, корявый неудачник, зануда. Он ничего сейчас не мог делать, кроме как сидеть, грустно потягивая водку с соком, смачивать Алику губы – глотать он уже совсем не мог – и ожидать того, что должно произойти.

Ближе к утру пальцы у Алика стали мелко подрагивать, и Фима решил, что пора поднимать Нинку. Он погладил ее по голове – она возвращалась откуда-то издалека и, как всегда, долго соображала, куда же ее вынесло. Когда глаза ее осветились пониманием, Фима сказал ей:

– Нинок, вставай!

Она склонилась над мужем и заново удивилась перемене, которая произошла с ним за недолгое время, что она спала. У него сделалось лицо четырнадцатилетнего мальчика – детское, спокойное, светлое. Но дыхание было почти неслышимо.

– Алик. – Она тронула руками его голову, шею. – Ну, Алик...

Отзывчивость его была всегда просто сверхъестественной. Он отзывался на ее зов мгновенно и с любого расстояния. Он звонил ей по телефону из другого города именно в ту минуту, когда она его мысленно об этом просила, когда он бывал ей нужен. Но теперь он был безответен – как никогда.

– Фима, что это? Что с ним?

Фима обнял ее за тощие плечи:

– Умирает.

И она поняла, что это правда.

Ее прозрачные глаза ожили, она вся подобралась и неожиданно твердо сказала Фиме:

– Выйди и пока сюда не заходи.

Фима, ни слова не говоря, вышел.

15

Люда нерешительно ткнулась в спальню.

– Все выйдите, все, все! – Нинкин жест был величественный и даже театральный.

Джойка, сидевшая в уголке, уперев подбородок в колени, изумилась:

– Нина, я пришла за ним сидеть.

– Я говорю – все убирайтесь!

Джойка вспыхнула, затряслась, подскочила к лифту. Люда растерянно стояла посреди мастерской... Натянув одеяло на голову, похрапывал уснувший гость. А Нинка метнулась в кухню, вытащила из каких-то глубин белую фаянсовую супницу.

На мгновение предстал тот чудесный день, когда они приехали в Вашингтон, переночевали у Славки Крейна, веселого басиста,

переквалифицировавшегося в грустного программиста, как позавтракали в маленьком ресторанчике в Александрии, возле скверика. Пенсионеры играли на улице чудовищно плохую, но совершенно бесплатную музыку, а потом Крейн повез их на барахолку. День был такой веселый, что решили купить что-нибудь прекрасное, но за полтинник. Денег, правда, было очень мало. И тут к ним пристал седой красивый негр с изуродованной рукой, и они купили у него английскую супницу времен Бостонского чаепития, а потом весь день таскали с собой эту большую и неудобную вещь, которая никак не влезала в сумку, а Крейн со своей машиной поехал кого-то встречать или провожать.

“Так вот зачем мы ее тогда купили”, – догадалась Нинка, наливая в нее воду.

Она вся распрямилась, ростом стала еще выше, торжественно пронесла супницу в спальню, держа ее высоко, на уровне лица, и прижимаясь к бортику губами.

“Совсем, совсем сумасшедшая, что с ней будет”, – сморщился Фима.

Она уже забыла, что всех выгнала.

Супницу она осторожно поставила на красную табуретку. Вытащила из комода три свечи, зажгла их, оплавив снизу и прилепила к фаянсовому бортику. Всё получалось у нее с первого раза, без труда, нужные вещи как будто выходили ей навстречу.

Она сняла со стены бумажную иконку и улыбнулась, вспомнив, какой странный человек оставил ее здесь. Тогда у них в доме жил один из многочисленных бездомных эмигрантов. Нинка была равнодушна к постояльцам и обычно почти их не замечала, а как раз того просила поскорее выставить, но Алик говорил:

– Нинка, молчи. Мы слишком хорошо живем.

А тот парень был чокнутый, не мылся, носил что-то вроде вериг на теле, Америку ненавидел и говорил, что ни за что бы сюда не поехал, но у него было видение, что Христос сейчас в Америке и он должен Его разыскать. И он искал, гоняя по Центральному парку с утра до вечера. А потом его кто-то надоумил, и он отправился в Калифорнию, к другому такому же, но к американцу – не то Серафим, не то Севастьян, – тоже, говорят, был сумасшедший, еще и монах...

Иконку Нина поставила, уперев ее в суповую миску, и задумалась на мгновенье. Какая-то мысль ее тревожила... об имени... Имя у него было совершенно невозможное – в честь покойного деда родители записали его Абрамом. А звали всегда Аликом и, пока родители не разошлись, всегда спорили, кому это пришло в голову – назвать ребенка столь нелепо

и провокационно. Так или иначе, даже не все близкие друзья знали его настоящее имя, тем более что, получая американские документы, он записался Аликом...

Человек, которому носить вообще какое бы то ни было имя оставалось совсем недолго, изредка судорожно всхрипывал.

Нинка кинулась искать церковный календарь, сунула наугад руку в книжную полку и за кривой стопкой кое-как лежащих книг сразу же нашла старый календарь. Под двадцать пятым августа стояло: мчч. Фотия и Аникиты, Памфила и Капитона; сщмч. Александра... Опять всё было правильно. Имя годилось. Всё шло ей навстречу. Она улыбалась.

– Алик, – позвала она мужа. – Не сердись и не обижайся: я тебя крещу.

Она сняла с длинной шеи золотой крест – бабушки, терской казачки. Ей про всё объяснила Марья Игнатьевна: любой христианин может крестить, если человек умирает. Хоть крестом золотым, хоть спичками, крестиком связанными. Хоть водой, хоть песком. Теперь только надо было сказать простые слова, которые она помнила. Она перекрестилась, опустила крест в воду и хриплым голосом произнесла:

– Во имя Отца и Сына и Святого Духа...

Она начертила крест в воде, окунула в супницу руку, набрала в горсть воды и, стряхнув ее на голову мужу, закончила:

– ...крещается раб Божий Алик.

Она даже не заметила, что такое подходящее имя – Александр – вылетело у нее из головы в решающую минуту.

Дальше она не знала, что ей делать. С крестом в руке она села возле Алика, провела пальцами, размазывая крещальную воду по лицу, по груди. Одна из свечей прогнулась и, пренебрегая законом физики, упала не наружу, а внутрь ставшего священным сосуда. Зашипела и погасла. Потом Нина надела свой крест ему на шею.

– Алик, Алик, – позвала она его.

Он не отозвался, только вздохнул с горловым храпом и снова затих.

– Фима! – крикнула она. Фима вошел.

– Ты посмотри, что я сделала, – я его крестила.

Фима повел себя профессионально:

– Ну, крестила и крестила. Хуже не будет.

Оживление и чудесное чувство уверенности, что всё она делает правильно, вдруг покинуло Нину. Она отодвинула табурет в угол, легла рядом с Аликом и понесла какую-то околесицу, в которую Фима не вслушивался.

Приоткрылась дверь, вошел Киплинг – тихая собака, которая третьи

сутки лежала у двери и ждала свою хозяйку. Киплинг положил голову на тахту.

“Надо его вывести”, – сообразил Фима. Было уже пора собираться на работу. Джойка, обидевшись, ушла. Уехала среди ночи и Люда. Фима разбудил спящего – им оказался Шмуль, а не Либин, как Фима предполагал, и это было очень кстати, потому что Шмулю торопиться было некуда, он всю свою американскую жизнь, лет десять, сидел на пособии. Фима растолкал его, дал на крайний случай инструкцию и свой рабочий телефон. Теперь оставалось вывести Киплинга – он стоял смирно возле двери и помахивал хвостом – и ехать на работу.

Следующий после крещения день Нинка не выходила из спальни, лежала обхватив Алика за ноги и никого туда не пускала.

– Тише, тише, он спит, – говорила она каждому, кто приоткрывал дверь.

Он был в забытии, только изредка похрипывал. При этом всё, что говорили вокруг, он слышал, но как будто из страшной дали. Временами ему даже хотелось сказать им, что всё в порядке, но шарф был повязан туго, и распустить его он не мог.

Одновременно он был сильно поглощен новыми ощущениями. Он чувствовал себя легким, туманным и вполне подвижным. Он двигался внутри какого-то черно-белого фильма, только черное не было вполне черным, а белое – белым. Скорее всё состояло из оттенков серого, как если бы пленка была старой и заезженной. Ничего неприятного в этом не было.

В движении, по которому он так стосковался за последние месяцы, было блаженство, сравнимое разве что с наркотическим. Тени, мелькавшие на обочине размытой дороги, были смутно-знакомыми. Некоторые напоминали древесные силуэты, другие были человекоподобны. И снова появился школьный учитель Николай Васильевич Галоша, и Алик с удовольствием отметил про себя, что это явление Николая Васильевича, математика, человека трезвого и строгого разума, и было как раз доказательством полной реальности происходящего и избавило от тонкого беспокойства: не сон ли это, не бред ли какой-нибудь... Николай Васильевич его явно узнал, сделал приветственный жест, и Алик понял, что тот к нему направляется.

Нина опять стала звенеть бутылочками, но звон был скорее приятный, музыкальный. Наливая в горсти остатки травяного настоя, она шептала что-то невнятное, но всё это ему не мешало, совершенно не мешало. Галоша к тому времени был уже совсем рядом, и Алик увидел, что тот по-прежнему беззвучно пошлепывает губами, как это делал в школе, и эту его привычку Алик позабыл, но теперь с умилением вспомнил. Это тоже было очень убедительно: нет, не сон, всё так оно и есть...

В середине дня пришел мастер по установке кондиционеров, индифферентный мулат в золотых цепочках, с молоденьким чахлым помощником, – кто-то из друзей оплатил вызов. Нинка впустила их в комнату, и они быстро наладили кондиционер, ни разу не взглянув в сторону умирающего. Жара в комнате довольно быстро сменилась пыльной прохладой. Потом пришла Валентина – Нинка ее не впустила, и она осталась сидеть в мастерской вместе с вернувшейся Джойкой.

На грязном белом ковре в углу, засунув под голову свернутое одеяло, уютно устроилась Тишорт и читала по-английски книгу, которую мечтала прочесть в оригинале. Это была “Великая Книга Освобождения”. Со вчерашнего дня она всё думала о том, какая жалость, что она не мужчина и не может уйти в тибетский монастырь. А с утра спросила у матери, нельзя ли ей сделать такую операцию, чтобы грудь в два раза уменьшить... Как будто это могло ее приблизить к прекрасному уделу тибетского монаха...

Подушки были засунуты за спину Алику, он почти сидел на кровати. Нина смачивала ему потемневшие и высохшие губы, пыталась вдуть воду через соломинку, но она сразу же вытекала.

– Алик, Алик. – Она звала его, трогала, гладила. Припала губами к подвздошной ямке, прошла языком вниз, к пупку, по той еле заметной линии, что делит человека надвое. Запах тела показался чужим, вкус кожи – горьким. В этой горечи она мариновала его два месяца не переставая.

Она замерла лицом в рыжих завитках коротких волос и подумала: а волосы совершенно не меняются...

Наконец она перестала его тормозить и затихла, и тогда Алик сказал вдруг очень внятно:

– Нина, я совершенно выздоровел...

Когда Фима в восьмом часу приехал с работы, в спальне он застал престранное зрелище: голая Нинка, подложив под себя черное кимоно, сидела лицом к Алику, натирала свои чудесные руки травяной гущей и приговаривала:

– Ты видишь, как она помогает, такая хорошая травка...

Она подняла на Фиму сияющие глаза и сказала торжественно и полусонно:

– Алик мне сказал, что он выздоровел...

“Умер”, – догадался Фима. Он коснулся Аликовой руки – она была пуста, барабанная музыка ушла из нее.

Фима вышел из спальни в мастерскую, налил себе полстакана дешевой водки из большой бутылки с ручкой, выпил, прошелся несколько раз из конца в конец мастерской. Народу было еще не так много, собирались попозже. Никто на него не смотрел, все были заняты: Валентина с Либиным играла в Аликовы нарды, Джойка раскладывала карты Таро, которым научила ее Нинка, – пыталась внести ясность в свою и без того ясную одинокую жизнь. Файка ела яичницу с майонезом. Она всё ела с майонезом. Московская Люда давно уже перемыла всю посуду и сидела теперь рядом с сыном около телевизора в ожидании свежих новостей из Москвы.

– Алеша, выключи телевизор. Алик умер, – тихо сказал Фима. Так тихо, что его не слышали. – Ребята, Алик умер, – повторил он так же тихо.

Хлопнул лифт, вошла Ирина.

– Алик умер, – сказал он ей, и тут наконец все слышали.

– Уже? – вырвалось у Валентины с такой тоской, как будто он обещал ей жить вечно и нарушил планы своей несвоевременной смертью.

– Oh shit! – воскликнула Тишорт и, отшвырнув книжку, бросилась к лифту, едва не сбив мать с ног.

Ирина стояла возле двери, потирая ушибленное плечо. “Может, в Россию съездить на недельку, найду Казанцевых, Гисю... – Гися была Аликова старшая сестра. – Она, наверное, совсем старуха, Алика старше была на четырнадцать лет. Она меня любила...”

Джойка отложила карты и заплакала.

Все стали почему-то одеваться. Валентина нырнула головой в длинную индийскую юбку. Люда надела босоножки. Хотели пойти в спальню, но Фима остановил:

– Погодите, Нинка еще не знает. Надо ей сказать.

– Ты скажи, – попросил Либин.

Он с Фимой уже три года не разговаривал, но тут и сам не заметил, как попросил.

Фима приоткрыл дверь спальни: там было всё то же. Лежал Алик, покрытый до подбородка оранжевой простыней, на полу сидела Нинка,

натирая свои узкие ступни с длинными пальцами, и приговаривала:

– Это хорошая травка, Алик, в ней ужасная сила...

Еще там был Киплинг. Он положил передние лапы на тахту, на них свою умную и печальную морду.

“Какая глупость про собак, что они боятся покойников”, – подумал Фима.

Он приподнял Нинку, поднял с полу ее промокшее кимоно и накинул ей на плечи.

Она была послушна.

– Он умер, – в который уже раз выговорил Фима, и ему показалось, что он уже привык к новому положению мира, в котором Алика больше нет.

Нинка посмотрела на него внимательными прозрачными глазами и улыбнулась. Лицо у нее было усталое и немного хитрое.

– Алик выздоровел, знаешь...

Он вывел ее из спальни. Валентина уже тащила ей ее питье. Нинка выпила, улыбнулась светской, ни к кому не обращенной улыбкой:

– Алик выздоровел, знаете? Он сам мне сказал...

Джойка издала звук, похожий на смех, и выскочила в кухню, зажимая рот. Снизу звонили в домофон. Нина сидела в кресле со светлым и растерянным лицом и гоняла палочкой лед в стакане.

Чисто Офелия. А защита – как у хорошего боксера: ничего не хочет знать. Всё правильно, никогда он не мог ее оставить, она живет вне реальности, а он всегда ее безумие собой прикрывал. “Есть, есть логика в этом безумии”. Делать Ирине здесь больше было нечего, захотелось скорее уйти.

Она спустилась вниз. Тишорт не ждала ее около подъезда. Дочку свою она упустила. Ирина пересекла медленный машинный поток и зашла в кафе.

Догадливый черный бармен спросил утвердительно:

– Виски?

И тут же поставил стакан.

“А, конечно же, Аликов приятель”, – сообразила Ирина и, указав пальцем в сторону противоположного дома, сказала:

– Алик умер.

Тот мгновенно понял, о ком идет речь. Он воздел лепные руки в серебряных кольцах и браслетах, так что они звякнули, сморщил темное ямайское лицо и сказал на языке Библии:

– Господи, почему ты забираешь у нас самое лучшее?

Потом плеснул себе из толстой бутылки, быстро выпил и сказал Ирине:
– Слушай, девочка, а как там Нина? Я хочу дать ей денег.
Ее давно уже никто не называл девочкой.

И вдруг Ирину прожгло: он как будто никуда и не уезжал! Устроил ту Россию вокруг себя. Да и России той давно уже нет. И даже неизвестно, была ли... Беспечный, безответственный. Здесь так не живут. Так нигде не живут! Откуда, черт возьми, это обаяние, даже девочку мою зацепил? Ничего такого особенного ни для кого он не делал, почему это все для него расшибаются в лепешку... Нет, не понимаю. Не могу понять...

Ирина подошла к автомату в глубине кафе, сунула карточку, набрала длинный номер. Дома у Харриса стоял автоответчик, в конторе подошла старая обезьяна секретарша, сказала, что он сейчас занят.

– Соедините срочно, – попросила Ирина и назвалась.

Харрис тотчас же снял трубку.

– Я освободилась и могу приехать на weekend.

– Позвони, когда тебя встречать. – Голос его звучал суховато, но Ирина всё равно знала, что он обрадовался.

Красноватое сухое лицо, чистые усы, опрятная зеркальная лысина... Диван, стакан, лимон... одиннадцать минут любви, можно проверять по часам, – и чувство полнейшей защищенности, когда устраиваешь голову на обросшей кудлатой шерстью широкой груди... Это всё очень серьезно, и это надо довести до конца...

Прошлое было, конечно, неотменимо. Да и чего в нем было отменять...

Она отработала последнее представление в Бостоне и, не заходя в гостиницу, поехала в аэропорт. Купила билет и через два часа была в Нью-Йорке. Год был семьдесят пятый. В кармане оставалось после покупки билета четыреста тридцать долларов, которые она привезла из России в кармане брюк. Правильно сделала – деньги на руки трупке так и не дали, обещали выдать в последний день, на покупки, но ждать уже было невозможно.

Она сидела в самолете, поглядывала на часы и понимала, что скандал начнется завтра утром, а не сегодня вечером. Сегодня потное руководство будет бегать по паршивой гостиничке, ломиться во все номера

и допрашивать, когда последний раз видели Ирку. Какие будут анафемы, начальник отдела кадров полетит с работы, это уж конечно... Отец на пенсии, наверняка чем-нибудь торгует, он выкрутится. А мама, умница, только обрадуется, маме позвоню завтра. Скажу, что всё у меня получилось отлично, нечего за меня беспокоиться...

В Нью-Йорке позвонила Перейре, цирковому менеджеру, который обещал помочь. Его не было дома. Как потом выяснилось, не было и в городе. Он просто забыл предупредить Ирину о своем отъезде. Второй, случайный телефон, который был у нее, – Рея, клоуна, с которым она познакомилась за три года до того на цирковом фестивале в Праге. Он был дома. Она с трудом объяснила ему, кто она такая. Вне всякого сомнения, он ее не вспомнил, но приехать разрешил.

Ее первая ночь в Нью-Йорке прошла как в бреду. Рей жил в крохотной квартирке в Вилледже со своим другом. Тот и открыл дверь, стройный молодой человек в женском купальнике. Они оказались замечательные ребята и здорово ей помогли. Потом Рей признался, что совершенно ее не помнил и вообще не уверен, что был когда-либо в Праге.

Поскольку Бутан – имя это, фамилия или прозвище сожителя Рея, Ирина так и не узнала – жил в Америке нелегально уже пять лет, ее безумный шаг не показался им таким уж безумным. Сами они сидели в это время без денег и без ангажемента и размышляли, как бы им заплатить за квартиру. На следующее утро они оплатили счет Иркиными деньгами и отправились на заработки. Заработки имели место в Центральном парке, и, как они сказали, Ирка принесла удачу.

Первые несколько дней она корячилась на коврик со своими акробатическими штучками, а потом сшила пять тряпичных кукол, надела их на руки, на ноги и на голову, и заработки их совсем уж устроились. Ирка скромно спала на трех диванных подушках в смежной комнате, ни в чем не ограничивая их сексуальной свободы. Через некоторое время Бутан стал к ней слегка приставать, а Рей начал по этому поводу нервничать. Идея их тройственного союза, таким образом, висела на волоске. Ирка еще выходила с ними на работу, но уже понимала, что надо срочно искать другой способ существования. Вообще они были славные ребята, и она как-то совершенно успокоилась насчет своей резкой линьки: оказалось, таких, как она, пол-Америки.

В один из августовских дней она отыграла свой номер возле входа в маленький зоопарк в Центральном парке и обнаружила себя в объятиях Алика, который двадцать минут внимательно наблюдал за веселой работой ее мускулистых рук и ног.

Еще через двадцать минут она вошла в тот самый лофт, в те времена еще не перегороженный. Алик к тому времени прожил уже два года в Америке, много работал и прилично продавался. Он был весел, независим, эмиграция его складывалась удачно. Он смотрел на Ирку, сделанную из маленького юркого животного, но с человеческим и дерзким лицом, и понимал, что она и есть то, чего ему не хватает.

С тех пор как они расстались, прошло семь лет. Теперь казалось, что это совершенно выброшенные годы, и они старались поскорее наверстать упущенные слова, жесты, движения. Им не хватало двадцати четырех часов в сутки. Всё было стеклянным и прозрачным. Земли под ногами не было.

Однажды ночью, возвращаясь домой, они нашли выброшенный из богатого дома огромный белый ковер и с трудом приволокли его в мастерскую. Теперь Ирка сидела на этом ковре, в естественной для нее позе лотоса, и держала перед собой учебник английской грамматики. Это была Аликова идея, что начинать надо именно с грамматики. Она ее долбила. А он возился со своими гранатами. Весь дом был ими завален: розовыми, багровыми, ссохшимися, бурыми, разломленными и подгнившими – и просто их сухими трупами, из которых был выжат жгучий сок.

Гранаты на его картинах того времени присутствовали в одиночку, парами, небольшими группами, совершали обмены и перекидки. И можно было предположить, что, производя эти несложные манипуляции, он вдруг откроет новое, никому не известное число в пределах всем известного числового ряда, например между семью и восемью...

Восемьдесят восемь дней прожила Ирка в этой мастерской. Они ели, разговаривали, обнимались, принимали теплый душ – потому что тогда тоже была жара и трубы прогревались, – и всё было счастье, вернее сказать, только начало счастья, потому что и представить себе было невозможно, чтобы всё это кончилось. Джаплиновские композиции рассыпались по ночам.

В жестких Иркиных губах проступала расплывчатая нежность: она уже знала, что беременна, и всё тело ее с головы до ног испытывало физиологическое счастье. Алик об этом еще не знал.

Он и без этого известия не особенно хорошо представлял себе, что ему делать. В то время он как раз ждал приезда Нинки, с которой развелся перед отъездом, и тогда ему самому не было ясно, развелся он с ней в шутку или всерьез. Отец ее никогда в жизни не дал бы ей разрешения на выезд, Алик же твердо решил уезжать. После его отъезда Нинка начала

загибаться от своего тихого безумия, пыталась покончить с собой – это был уже второй суицид, лежала в психушке, звонила, звонила... Теперь же нашли наконец подставного американца, он на Нинке женился, и Нинка оформляла выезд на постоянное жительство к фиктивному мужу. Такие бумаги требовали иногда нескольких лет беготни.

Алик полоснул ножом по длинной розовой дыне, она распалась надвое – зазвонил телефон. Счастливая Нинка сообщила, что получила разрешение и уже заказала билет.

– Ну вот, а теперь я не знаю, как из этого выбираться, – положив трубку, объявил Алик.

Для Ирки вся эта история была совершеннейшей новостью.

– Без меня она не выживет, очень уж она слабенькая...

Он хорошо помнил, что Ирка сильная, умеет ходить на руках по самому краю крыши, не боится ни начальств, ни властей... Поэтому он предполагал снять ей жилье у каких-то своих знакомых на Стейтен-Айленд и постепенно разобраться с глупой и безвыходной ситуацией, в которую попал. Про Иркину гордость, которая за эти годы не стала меньше, он забыл. За неделю до приезда Нинки, когда со знакомыми было уже обо всем договорено, Ирка ушла из Аликова дома, и как ей казалось, навсегда...

Ирина вышла из кафе и остановилась, не зная, куда себя девать. Вероятно, надо ехать домой – Тишорт скорее всего уже дома. К Аликову подъезду подкатил микроавтобус с кондиционером на крыше, встал прямо под табличкой “No standing any time” и выпустил из себя двух человек в униформе. Третий, с чемоданчиком, похожий на облысевшего Чарли Чаплина, семенил за ними.

“Труповозка, – догадалась Ирина. – Домой. Скорей домой”.

Фима встретил служащих похоронки. Надо было развести мизансцену, он кивнул Валентине:

– Подержи ее здесь.

Но Нинка никуда и не рвалась. Она сидела в белом драном кресле и загадочно бормотала что-то, поминая травку, Божью волю и Аликов характер...

В спальне закрылись два добрых молодца и их дробненький начальник. Жалко, что Алик уже не мог улыбнуться этому комическому

трио.

Пока Фима договаривался с ними о подробностях церемонии – Чарли Чаплин был вроде администратора среди них, – добрые молодцы вынули из чемоданчика огромный черный мешок из толстого пластика, похожий на те мусорные, которыми по вечерам забиты улицы, и ловким трехтактным движением сунули Алика в пакет, как покупку в магазине.

– Стоп, стоп, – остановил ребят Фима. – Минутку подождите. Чтоб жена не видела...

Он вышел в мастерскую, вытащил покорную Нинку из кресла и унес на кухню. Там он легонько прижал ее к себе и, коснувшись небритой щекой ее длинной, покрытой тончайшими, как будто иглой наведенными, морщинами шеи, спросил:

– Ну, зайка, скажи, чего хочешь? Хочешь, за травкой сбегаю?

– Нет, курить я не хочу. Я бы еще выпила...

Он сжал ее запястье, подержал полминуты.

– Давай я тебе укольчик сделаю, а? Хороший укольчик. – Он прикидывал, какой бы коктейль ей сейчас запузырить, чтобы отключить на время.

Пока он стоял, загораживая широкой спиной дверь кухни, мимо нее похоронщики вынесли этот черный мешок – как выносят старую вещь, сломанную и ненужную.

Когда работяги открыли сзади люк багажника и сунули в него черный мешок, Ирина уже шла по направлению к метро.

Потом Фима сделал Нинке укол, она заснула, проспала до следующего утра на той самой оранжевой простыне, с которой унесли ее мужа. Странно, но она даже не задала вопроса, где он. Она только время от времени, пока не уснула, нежно улыбалась и говорила:

– Вы меня никогда не слушаете, я же говорила – он выздоровеет...

Народ шел и шел. Многие не знали о его смерти, забегали просто так. Знакомых у него было очень много и помимо тех, кто составлял русско-еврейскую колонию этого огромного города. Пришел какой-то итальянский певец, с которым Алик подружился когда-то в Риме. Пришел хозяин кафе и действительно принес чек. Либин по старой российской традиции собирал деньги. Пришли какие-то люди из Москвы, один с письмом для Алика, другой назвался его старым другом. Заходили какие-то уличные, никому не известные. Звонил телефон то из Парижа, то из Ярославля.

Отец Виктор, когда узнал о предсмертном крещении Алика, охнул, всплеснул руками, замотал головой, а потом сказал:

– На всё воля Божья...

Да и что мог сказать еще честный православный человек...

Утром, накануне похорон, он заехал за Ниной на своей древней машине, привез ее в пустой храм – службы в этот день не было – и совершил заочное отпевание почти заочно крещенного человека. Он пропел низким полновзвучным голосом лучшие из всех слов, которые были придуманы для этого случая. Нина сияла радостью и ангельской красотой, а Валентина, стоявшая позади нее со свечой, в снопе пыльного света, шедшего с потолочного окна, отпустила самой себе грех своей любви к чужому мужу.

Когда умолкли в пустом пыльном воздухе последние отголоски поющего голоса, Валентина взяла из рук отца Виктора квадратный сверток с землей, белую ленту с молитвой и маленькую бумажную иконку. В гроб положить.

Потом Валентина подхватила шаткую Нинку под руку и усадила в такси. Входя в желтую потрепанную тачку, Нинка склонила маленькую голову и двинула плечами так, как будто ехала в “роллс-ройсе” на прием в Букингемский дворец.

“Вот бедная птичка осталась на мою голову, – вздохнула Валентина. – Господи боже мой, неужели я ее столько лет ненавидела?..”

Содержатели похоронного дела Робинсы, в прошлом веке Рабиновичи, расшатали всем известную еврейскую нескгибаемость до такой гуманной и коммерчески оправданной веротерпимости, что за последние пятьдесят лет превратились из “Еврейского погребального общества” просто в “Погребальный дом” с четырьмя отдельными залами, где происходили церемонии всех религиозных конфессий с самыми разнообразными причудами. Как раз на прошлой неделе мистеру Робинсу пришлось в одном из залов монтировать киноэкран, чтобы в присутствии не погребенного покойника, в соответствии с его завещанием, продемонстрировать родственникам и друзьям непосредственно перед похоронами трехчасовой кинофильм о его концертной деятельности. Он был чечеточник.

Сценарий Аликовых похорон был относительно скромным: никакой религиозной процедуры не заказали, отказались от надгробной плиты – а у Робинса была порядочная гранитная мастерская, – но оплатили место в еврейской, наиболее дорогой, части кладбища. Место, правда, было

паршивое – возле самой стены и без прохода.

Церемония была назначена на три часа, и без десяти три холл перед залом был полон. Нынешний Робинс, четвертый владделец безотказного, не знающего экономического спада дела, красивый старик с левантийской внешностью, был в недоумении. Он полагал, что по характеру участников церемонии может сказать о своем клиенте всё. В этой психологической игре он видел одну из самых привлекательных сторон своей профессии. На этот раз он не только не смог сразу определить имущественного ценза клиента, но даже усомнился в его национальности, на которую, казалось бы, недвусмысленно указывало желание родственников похоронить его в еврейской части кладбища.

В толпе были негры, что крайне редко наблюдалось на еврейских похоронах. Правда, судя по одежде, это были люди артистического мира. Лицо одного старика показалось Робинсу знакомым: это был знаменитый саксофонист, фамилию которого он не мог вспомнить, но видел его то ли на обложках журналов, то ли по телевидению. Присутствовало также несколько южноамериканских индейцев. Среди белых гостей тоже была полная разногласица: солидные еврейские пары, несколько великолепных англосаксов, видимо, богатые галерейщики, а также русские разных сортов – от вполне приличных до шаромыжников, к тому же подвыпивших. Робинс был американцем четвертого поколения, выходцем из России, но вместе с русским языком давно утратил романтическую привязанность к опасной стране и ее шальному народу.

“Странный клиент, – думал он. – Вероятно, музыкант”.

Он даже сделал крюк через служебное помещение, чтобы взглянуть на нестандартного покойника...

Ровно в три вошла Нинка. Все вдохнули – и выдохнули. Из-под черной шелковой шляпы, из-под широкой вуали падали на две стороны ее знаменитые волосы – золото с серебром. Поверх короткого черного платья было накинуто прозрачное туалевое пальто до пят, тоже черное, а туфли были на тот момент старомодными – на высокой платформе, с огромными гранеными каблуками.

Галерейщики застонали, и один шепнул на ухо другому:

– Лиф Вортса, лучшая идея в истории костюма всех времен и народов. Бесподобно. У Алика сногшибательный вкус. Если бы он занимался костюмом, мы бы имели не довольно ординарную живопись, а гениального модельера.

– Изумительная модель, – оценил второй. – Я ее еще три года назад заметил.

– Старая, – с сожалением отозвался первый.

Фима, в голубой рубашке с симметричными пятнами пота под мышками, в сандалиях на босу ногу, вел Нину, испытывая противоречивые чувства острой жалости к бедняжке и глубокого отвращения к роли, которую он вынужден был играть, совершенно не имея склонности к самодеятельному театру. К тому же он в эти два дня успел нахлебаться говна по самые уши, пока добывал деньги на похороны.

Нина шла как “черная невеста”, как сати – индийская вдова, восходящая на погребальный костер. Со дня смерти Алика она помнила только две вещи: что он выздоровел и что его больше нет. Эти вещи не совместились бы в обычном человеческом сознании. Но в ее маленькой головке, празднично посаженной на длинной шее, что-то сместилось давным-давно, как от легкого поворота перестраивается узор в окошечке калейдоскопа, и всё улеглось новым порядком, нисколько не мешая одно другому, в успокоительной отдельности.

Слова “смерть”, “умер”, “похороны” постоянно эти дни звучали вокруг нее, но не проникали сквозь невидимый заслон, им просто не было места в том узоре, который сложился теперь в ее сознании.

Зачем-то ее привели сюда. Это было связано с Аликом. Алик любил, чтобы она была красиво одета. Она тщательно готовилась и продумывала свой наряд для него...

Она прошла через толпу людей, никого не узнавая. Левой рукой она прижимала к груди черную лакированную сумочку в виде трехслойного бублика, а в правой держала толстые стебли лилий, которые волочились своими бело-зелеными надменными головками за подолом ее прозрачного пальто.

Толпа перед ней расступалась, расступились и двери зала как раз в тот момент, когда она к ним подошла. Не замедлив шага, она вошла в зал. За ней расширяющимся треугольником следовали люди. Очень много людей с цветами, гораздо больше, чем обычно вмещал этот зал.

В торце стоял катафалк, а на нем большая белая коробка, по форме напоминающая футляр от одеколona. В коробке лежала прекрасно раскрашенная кукла в виде рыжеволосого подростка с маленьким лицом и маленькими усиками.

Господин с внешностью телевизионного диктора в годах уже было раскрыл рот, но Нинка прошла сквозь него. И хотя господин был явно недоволен, что экстравагантная вдова так бесцеремонно его отодвинула, он посторонился.

Она подняла вуаль, склонилась, пристально вглядываясь в этот плохой

скульптурный портрет из странного неузнаваемого материала, и улыбнулась маленькой понимающей улыбкой.

“Вместо Алика”, – догадалась она.

Когда она подняла голову, то стоящие рядом галерейщики увидели, что от прямого пробора вниз по лицу идет черная тонко наведенная полоска, спускается на шею и исчезает в глубоком вырезе платья.

– Ну, класс, – одобрительно шепнул один галерейщик другому.

– Дамы и господа! – торжественно произнес официальный господин...

Это был точный и дословный перевод той кладбищенской галиматши, которую обыкновенно произносит над фиктивной печью крематория толстая дама в провинциальном костюме из черного кримплена по другую сторону океана...

Гроб полагалось везти на катафалке, и делали это служители. Но участок находился в такой густонаселенной части кладбища, что пронести туда гроб можно было только на руках, да и то наступая на чужие могилы. Метрах в тридцати от места тропка резко оборвалась, оставив только проход в стопу шириной. Мужчины прошли вперед, выстроились цепочкой до вырытой заранее могилы, и белый челнок поплыл, передаваемый с рук на руки, до места своей последней стоянки. Он опасно и весело покачивался над головами. Августовское сильное солнце пригнало вдруг ветерок с океана. Нинка стояла на постаменте чужого памятника, рядом со свежей ямой, земля из которой была аккуратно сложена в жгуче-розовые корзины, а ветер тянул назад черную туаль ее наряда, и линяло-драгоценные волосы шевелились на ветру, как парус.

Ирина стояла в самой гуще толпы. С Аликом она попрощалась давным-давно. Теперь у нее была другая забота: она создавала отца своему ребенку. Собственно, ничего особенного ей и не пришлось делать, они сами нашли друг друга. Ей только пришлось вложить в это предприятие довольно много денег – невозвратных. Вот и эта могила, в нее тоже немало вложено: у девочки был любимый отец и будет его могила. Ирина усмехнулась: всё простила, но ничего не забыла... Я рожала свою дочку в больнице для бедных, а ты в это время миловался с Нинкой и, может, с этой второй телкой, Валентиной... Стоит на полшага сзади, но рядом, место свое знает... Интересно, она хитрая сволочь или просто баба хорошая?.. Какая я стала злая... Алик, Алик, всё могло быть по-другому. А не смогло... И хорошо!

В этой отдаленной части кладбища, у самой ограды, могильные плиты устремились вверх. Вокруг каждой, лежащей горизонтально, вздымалось несколько родственных, стоящих будто на одной ноге. Квадратные

угловатые надписи, сохранившие в своей графике память о глиняной дощечке и тростниковой палочке, мешались с английскими, с нелепо готическим акцентом, выдававшим место рождения и в камне воплощенные вкусы давно ушедших людей.

Закрытый гроб стоял на соседней могиле, и подоспевший Робинс, почтивший своим присутствием необычного клиента, скомандовал дирижерским движением – опускать. Валентина что-то сказала Нинке, и та раскрыла свою круглую сумочку и вытащила из нее пакетик с землей. Она сыпала ее щепотками, как солят суп, и шевелила губами. Двое рабочих ждали наготове с лопатами.

– Погодите, погодите! – раздался вдруг вопль с главной дорожки.

За спинами людей шло какое-то неясное движение, толкотня, трудное и неловкое протискивание. Наконец, растолкав всех, появился пылающий Лева Готлиб. За ним следовало еще некоторое количество бородатых евреев, общим числом десять. Эта команда немного опоздала. Они вылезли из автобуса и заблудились, поскольку у каждого было свое собственное суждение о том, где должна находиться контора. Теперь, натягивая на ходу молитвенные покрывала и тфиллин, расталкивая мужчин и наступая на ноги женщинам, они возглашали первые слова:

– Да возвеличится и освятится Великое Имя Его в мире, который Он вновь создаст, когда Он воскресит мертвых и призовет их к вечной жизни...

Они запели и запричитали высокими печальными голосами, но едва ли кто, кроме Робинса, понимал смысл этих древних восклицаний...

– Откуда взялись эти древнеевреи? – спросила Валентина у Либина.

– Ты что, не видишь: Готлиб привел...

Они так и не узнали, что это реб Менаше позаботился о бедном “плененном ребенке”...

У Валентины возникло подозрение, что евреи слишком уж декоративные, не актеры ли из какого-нибудь маленького театра с Брайтон-Бич.

“Надо у Алика спросить...” – и в ту же секунду поняла, что есть множество, великое множество вещей, спросить о которых ей теперь будет не у кого...

Они прочли поминальные молитвы, это было недолго. Потом передние стали отступать от могилы, задние просачивались вперед, гора цветов росла, была уже Нинке по пояс, а она всё укладывала каждый цветок отдельно, гладила, устраивала не то странный домик, не то мавзолей и улыбалась так, что теперь уже многие заметили, что она похожа на престарелую Офелию.

Потом все попятились прочь, и теперь евреи, стянув с себя белые покрывала и обнажив обуглившиеся на солнце черные костюмы, оказались в числе последних, но Нинка дождалась их и просила приехать в дом на поминки. Самый старый из них, лысый, с приклеенной пластырем прямо к голой голове кипе, подняв две сухие ручки на уровень лица и растопырив желтые пальцы, горестно сказал:

– Деточка! Когда евреи имеют покойника, они делают шиву – садятся наземь и имеют пост... Хотя выпить рюмку водки очень хорошо...

В дымящихся черных костюмах они влезли в микроавтобус, на котором синими буквами по белому было написано “Temple Zion”...

Тишорт и Джойка на похороны не поехали. Они остались дома. Тишорт занялась развеской. Вытащила старые картины, разгребла двухлетнюю пыль, соображала, как повесить. Разом, как глаза у котенка на седьмой день, у нее открылось зрение, она начала видеть Аликовы картины: какую – куда – эту – рядом – ту – выше – ту – убрать совсем... Ничего не надо было решать, надо было только смотреть, а они сами выстраивались по-умному и красиво...

“Пойду искусствоведение изучать”, – решила она немедленно, забыв, что на прошлой неделе уже посвятила себя Тибету.

Ей больше нравились картины среднего и маленького размера, но просилась в торец большая, и она позвала на подмогу Джойку с Людой, и они повесили трехметровое полотно, которое лет пять стояло лицом к стене. Там было очень, слишком уж много всего нарисовано: какой-то осенний праздник, с виноградом, грушами и гранатами, пляшущими женщинами и детьми, кувшины с вином, дальние горы и человек, входящий под навес...

Люда резала сыр и колбасу, крошила салаты, Джойка медлительно и сонно разносила по всем углам разовую посуду и русско-еврейскую якобы домашнюю еду, купленную в эмигрантском магазине: селедка, пирожки, студень, салат, называемый русскими “оливье”, а другими народами “русским”...

Приехали все сразу, большой толпой. Грузовой лифт поднял их снизу в три приема. Человек пятьдесят сели за общий стол, составленный из досок и всякого хлама, остальные, взявши рюмки и тарелки, как на американском пати, бродили из угла в угол. Удивительно,

как при таком скоплении народа может возникнуть чувство пустоты.

Вашингтонские галерейщики тоже приехали. Они ходили по мастерской, как по выставочному залу, и разглядывали работы. Вид у них был недовольный, и минут через десять, когда народ еще и пить не начал, они поцеловали Нинке руку и исчезли.

Ирина смотрела на них без всякого удовольствия – ей еще предстояло с ними потягаться. Как бы там ни было, а денег-то Алику они не отдали и работ не вернули...

Файка оказалась тем знатоком обрядов, который всегда обнаруживается на свадьбе и на похоронах. Она налила рюмку водки, покрыла ее куском черного хлеба и поставила на тарелку:

– Алику.

Так было надо.

Застольно и подготовительно гудели – без громких разговоров, без всплесков отдельных голосов. Монотонное бормотание да звяканье стекла. Разливали водку.

В дверях стояла Тишорт, бледная, с опухшим ртом и розовыми ноздрями, в черной майке с желто-оранжевой надписью. В кармане, в потной руке, она давно уже держала эту пластмассовую коробочку, и теперь настало время, когда она должна была ее предъявить.

Нина сидела на подлокотнике белого кресла, а в кресле никого не было. Фима встал с поднятой рюмкой и собрался говорить.

– Послушайте все! – крикнула Тишорт.

Ирина замерла – чего угодно она могла ожидать от своей странной девочки, но только не публичного выступления.

– Послушайте! Алик просил вам вот что передать!

Все обернулись в ее сторону – она багровела на глазах, как индикаторная бумага при химической реакции, но тут же села на корточки и вставила кассету в магнитофон, который, как обычно, стоял на полу. И почти сразу же, почти без паузы, раздался ясный и довольно высокий голос Алика:

– Ребятки! Девчушки! Зайки мои!

Нинка вцепилась руками в подлокотник. Аликов голос продолжал:

– Я здесь, ребятки, с вами! Наливаем! Выпиваем и закусываем! Как всегда! Как обычно!

Каким простым и механическим способом он разрушил в одно мгновение вековую стену, бросил легкий камушек с того берега, покрытого неразстворимым туманом, непринужденно вышел на мгновение из-под власти неодолимого закона, не прибегая ни к насильственным

приемам магии, ни к помощи некромантов и медиумов, шатких столиков и вертявых блюдец... Просто протянул руку тем, кого любил...

– И прошу вас, пожалуйста, без всяких мудовых рыданий! Всё отлично! Своим чередом! О'кей? Да?

...Громко всхлипнула Джойка. Окаменела, слегка выпучив глаза, Нина. Женщины, пренебрегая Аликовой просьбой, дружно заплакали. И те из мужчин, кто мог себе это позволить, тоже. Достал из кармана клетчатую тряпочку, прикидывающуюся носовым платком, Фима.

Алик как будто их видел:

– Ну что вы такие прихуевшие, ребятки? Выпьем за меня! Ниночка, за меня! Поехали! Тишорт, детка, выруби на минутку магнитофон.

Потекла пауза. Тишорт нажала на кнопку не сразу, а лишь после того, как раздался снова голос Алика:

– Выпили?..

Она отмотала назад.

Выпили стоя и не чокаясь. Великая пустота, которая возникает после смерти, была заполнена обманным путем. Но – удивительное дело! – она была все-таки заполнена.

Ирина стояла прислонившись к дверному косяку. Она свое раньше отплакала. Но всё равно зацепило – чего же в нем было такого особенного? Он всех любил? Да в чем она, любовь эта, заключалась? Художник хороший? А что это сегодня значит? Не покупают – значит, плохой... Художник по жизни. Художественно жил... А я зачем таскаю свои кирпичи, зачем беру препятствия, зарабатываю кучу денег? Как это нехудожественно... Оттого, дружочек, что тебя со мной не было? А где ты был?

– Выпили? – снова раздался голос Алика. – Я очень прошу, чтобы все как следует напились. Главное, не сидите с плачевными мордами. Лучше потанцуйте. Да, вот что я хотел сказать: Либин и Фима! Если вы сегодня не помиритесь, то будете засранцы. Нас так мало, всего ничего. Выпейте, пожалуйста, в мою честь и кончайте дурацкие разборки!

Либин и Фима через стол смотрели друг на друга, бывшие друзья, мальчики с одного двора, и улыбались запоздалой ругани Алика. Они уже примирились в эти горячие месяцы. В общих многолюдных волнениях этих дней, с танками, стрельбой, московской революцией, в репликах, ни к кому не обращенных, но падающих в нужном направлении, давняя обида развеялась.

– Не чокаются, не чокаются! – заверещала Файка.

– Погоди, из бумаги перелью.

Стаканы грубо и глухо стукнулись.

– Будь здоров, Шершавый!

– И ты будь здоров, Лифчик.

Был действительно некий лифчик, белый, на крупных костяных пуговицах, с растянутыми резинками и проволочными, обвязанными толстой ниткой чулочными застёжками. В Харькове, после войны, в позапрошлой жизни...

– Ребята, я не могу вам сказать спасибо, потому что таких спасибо не бывает. Я вас всех обожаю. Особенно вас, девчушки. Я даже благодарен этой проклятой болячке. Если бы не она, я бы не знал, какие вы... Глупость сказал. Всегда знал. Я хочу выпить за вас. Ниночка, держись! За тебя, Тишорт! За тебя, Валентина! Джойка, за тебя! Пирожковой привет, я ее люблю безумно! Файка, спасибо, зайка! Отличные фотки сделала! Нелечка, Люда, Наташка, все-все, за вас! Мужики, за вас! За ваше здоровье! Да, еще хотел сказать: я хочу, чтобы было весело. Всё. Пиздец.

Пленка крутилась с легким шорохом, на ней уже не было никаких слов, но можно было расслышать хрипловатые вздохи. Никто не пил. Все молча стояли с рюмками и слушали редкие судорожные воздушные всхлипы, да индейская музыка неравномерно прорывалась в эту пустую пленку с улицы через открытое окно. Все слушали напряженно, как будто можно было там выслушать еще что-то важное, и оказалось, что действительно это не всё раздался щелчок лифта, хлопнула дверь.

– Тишка, выключи магнитофон, – сказал Аликов голос, обыденный и усталый и без всякого пафоса. Тогда раздался щелчок, и всё смолкло.

Сначала веселья не получалось. Было как-то слишком тихо. Алик сделал, как обычно, нечто необычное: три дня тому назад был живой, потом стал мертвый, а теперь занял какое-то третье, странное, положение, и оттого все были в смущении и в печали, хотя алкоголем никак не пренебрегали.

К столу подходили, отходили, таскали из угла в угол тарелки и стаканы, перемещались, склеивались в группки и опять перемещались. Свет не видывал такой пестрой компании: пришли Аликовы друзья-музыканты и еще какие-то отдельные люди, которых раньше никто в глаза не видел, и непонятно было, где он их подцепил и как они узнали о его смерти. Парагвайцы держались слитной фалангой, и только их предводитель выделялся темно-розовым шрамом и общей окаменелостью красивого лица. Колумбийский профессор оживленно общался с водителем мусоровоза. Берману приглянулась Джойка, но он по занятости два года

не прикасался к женщине и не был уверен, что джинна следует выпускать из бутылки... А знай он про нее то, что было известно Алику, он бы к ней и близко не подошел: она была девственница и к тому же происходила из древнейшей римской семьи, упоминавшейся Тацитом...

Нина попросила достать с антресоли серую коробку. В ней было трогательное богатство, переправленное в свое время в Америку через дипломатических знакомых, – первый джаз, совершивший путешествие за железный занавес и обратно. Среди тяжелых черных блинов попадались самодельные, “на костях”. Там же лежали и коричневые ленты первых магнитофонных записей...

Один Алик умел танцевать танго по-настоящему, со всеми сложными па, резкими замираниями и глубокими запрокидываниями, которые в пятидесятые годы логично перешли к рок-н-роллу...

Сегодня его замещал на этом месте Либин. Они двигались с Нинкой рывками, с резкими поворотами, но Либину не хватало артистической томности, без которой танго лишено своего главного аромата... Черный саксофонист облюбовал беленькую Файку, и она очень нервничала, поскольку, с одной стороны, подобно большинству российских эмигрантов, была расисткой, с другой стороны, перед ней был несомненно американский продукт, которого она еще не пробовала...

В доме раскачивалось веселье. Те, кого это оскорбляло, ушли. Ушел и Берман с Джойкой. Каждый из них принял свое решение, но не был уверен, получится ли. Джойку колотило от страха, и больше всего она боялась, что с ней случится истерика. Но всё произошло так прекрасно и красиво, что к утру они оба точно знали, что не напрасно так долго жили в одиночестве.

В начале одиннадцатого часа пришел хозяин в сопровождении смущенного Клода. Он сам сообщил хозяину, что жилец умер, и тот, переждав несколько дней, выбрал-таки подходящий момент, чтобы оповестить Нинку об освобождении помещения с первого числа.

Когда хозяин подошел к ней, чтобы собственноручно вручить извещение, она, перепутав его с кем-то, поцеловала его и сказала по-русски, чтоб он взял стакан.

Деловую бумажку она рассеянно уронила на стол, и она тут же соскользнула на пол. Нинка и не подумала ее поднять. Хозяин пожал плечами и удалился, глубоко возмущенный. Клоду так и не удалось убедить его, что он присутствовал на традиционных русских поминках...

Кто-то поставил старую магнитофонную запись. Это был московский шлягер конца пятидесятых, домашняя смешная переделка:

Москва, Калуга, Лос-Анжелос
Объединились в один колхоз...
О Сан-Луи, сто второй этаж,
Там русский Ваня лабает джаз...

Какая же это была древняя и милая музыка, все ей улыбались, и американцы, и русские, но русским она дороже стоила, эта музыка, – за нее когда-то песочили на собраниях, выгоняли из школ и институтов. Файка пыталась своему кавалеру это объяснить, но никаких слов на это не хватало. Да и как это объяснить, когда всё грустно-грустно, а вдруг такая сладкая радость немножко проливается или, наоборот, такое веселье, полная радость тела, а откуда ни возмись такая печальная нота, и сердце зажимает... Вот за то и гоняли...

Люда, настолько прижившаяся за эти дни в доме, что, выпив, позабыла, где она находится, всё порывалась сбегать к соседке Томочке, излить ей душу, и никак не могла взять в толк, что Среднетишинский переулок – не за углом.

– Мам, ну до чего ж ты смешная пьяная, никогда не видел. Тебе идет, – тянул ее сын от двери.

Тишорт подошла к Ирине и тронула ее за плечо:

– Пошли, мам. Хватит.

Вид у нее был строгий.

Поджарая и легкая Ирина шла рядом со своей недопеченной рыхлой дочкой и чувствовала, что между ними что-то происходит – и произошло уже: ушло напряжение последних лет, когда она постоянно чувствовала хмурое недовольство дочери и ее неприязнь.

– Мам, а кто это Пирожкова?

Так получилось, что она впервые слышала эту фамилию. Ирина не сразу ответила, хотя и давно готовилась:

– Я Пирожкова. У нас был роман в ранней юности. В твоём примерно возрасте. Потом рассорились, а много лет спустя снова встретились. Получилось ненадолго. А на память об этой встрече Пирожкова оставила себе ребеночка.

– Молодец, Пирожкова, – одобрила Тишорт. – А он знал?

– Тогда – нет. А потом, может, догадался.

– Хороши родители, – хмыкнула Тишорт.

– Не нравятся? – резко остановилась Ирина.

Она давно была уязвлена тем, что не нравится дочери.

– Нет, нравятся. Все другие еще хуже. Он знал, конечно. – Голос у Тишорт был взрослый и усталый.

– Ты думаешь, знал? – встрепенулась Ирина.

– Я не думаю, я знаю, – твердым голосом сказала Тишорт. – Ужасно, что его больше нет.

Негромкое жужжание русско-английского разговора прервалось резким и высоким взвизгом. Сбросив с ног черные китайские тапочки, Валентина щегольским движением, каким удалой гитарист ударяет по струнам, рванула верхнюю пуговку желтой рубахи, так что все остальные посыпались на пол мелким дождичком, и вышла, крепко шлепая толстыми роговыми пятками и блестя лаковым матрешечьим лицом.

Ах – тю, ах – тю!

У тебя в дегтю,

У меня в тесте,

Слепимся вместе! Ай-яй-яй-яй-яй! –

испустила Валентина высокий переливчатый и длинный вопль.

Шлепнув себя по бедрам, она ловко заколотила ногами по грязному полу.

Мотавшаяся все студенческие годы по северным экспедициям, собиравшая осколки живой русской речи в Полесье, под Архангельском, в верховьях Волги, когда-то она изучала фольклорные непристойности, как другие ученые – строение клеточного ядра или движение перелетных птиц. Она помнила частушки тысячами, вместе с диалектами и интонациями, во всех многочисленных вариантах, и стоило ей только разрешить себе открыть рот, как они слетали с языка, живые и неповрежденные, как будто только вчера с деревенской вечерки...

Ух-тюх-тюх-тюх!

Разгорелся мой утюг... –

рассыпала она вокруг себя мелкие угольки, а темные пятки ее выделявали такую резвую дробь, как будто она затаптывала эти горячие угольки, вывалившиеся из печки.

Парагвайцы просто зашлись от счастья, особенно их главарь.

– Что это? – спросил саксофонист у Файки, но она таких слов не знала и потому ответила приблизительно:

– Это русский кантри...

Нинка, еще до начала Валентинино фолклорного хита, с прямой спиной и запрокинутой головой, как через сцену, прошла к себе в спальню. Здесь, в полутьме, она присела на край тахты и, услышав звяканье стекла, поняла, что она здесь не одна. В углу, на корточках, спиной к ней, сидел Алик. Он передвигал оставленные там бутылки, что-то искал.

Нина не удивилась, но и не двинулась с места.

– Что ты там ищешь, Алик?

– Да маленькая такая бутылъ стояла, темного стекла, – с легким раздражением ответил он.

– Там и стоит, – отозвалась Нина.

– А, вот она, – обрадовался Алик и поднялся, прижимая к старой красной рубашке темную бутылъ.

Нинка хотела его предупредить, чтоб он был аккуратнее, от этих травяных растворов остаются отвратительные бурые пятна, но не успела. Он шел мимо нее, и она заметила, что он действительно совершенно выздоровел, поправился и походка его прежняя, легкая и чуть разболтанная в коленях. И еще. Проходя мимо, он легко погладил ее по волосам, и не кое-как, а своим собственным давним жестом: разведя пальцы гребенкой, он запустил их Нинке в волосы, у самых корней, и прошелся ото лба к затылку. И еще она увидела, что ее крестик висит у него на груди, и поняла, что всё у нее получилось.

“Надо будет обязательно потом сказать Валентине”, – подумала она и, коснувшись головой подушки, мгновенно уснула...

Но Валентину она всё равно в это время не нашла бы – она была далеко. В ванной комнате, в душевом отсеке, коротконогий жилистый индеец коротким массивным орудием наносил ей удар за ударом. Она видела его черные волосы, распустившиеся вдоль втянутых щек, розовую полосу новой кожи, натянутой на шрам. На лодыжках и на запястьях она ощущала железный охват, но при этом вся была на весу, без упора, и двигалась сильными рывками вверх и вперед. Происходящее несколько не напоминало ничего, что она испытывала в жизни, и это было потрясающе.

Телефонный звонок разбудил Ирину среди ночи.

“Наверное, Нинка пьяная звонит”, – подумала она и потянула к себе трубку.

Мельком взглянула на часы – начало второго.

Однако звонила вовсе не Нинка – звонил один из галерейщиков, тот, который вел бумажные дела.

– У нас возникло срочное дело относительно вашего клиента, – начал он с ходу. – Мы хотели бы приобрести все оставшиеся в его мастерской работы, но не затягивая.

Ирина держала паузу – она этому была обучена.

– Ну и, разумеется, мы хотели бы, чтобы вы отозвали иск. Сейчас все наши отношения будут пересмотрены... Раз, два, три, четыре, пять – получай!

– Ну, во-первых, что касается иска, это отдельное дело, и мы ни при каких обстоятельствах не будем их объединять в одно. А относительно работ моего клиента – это мы сможем обсудить с вами в конце будущей недели, после моего возвращения из Лондона. Я еду как раз по поводу этих работ, – с большим профессиональным удовольствием соврала она.

Сна уже не было ни в одном глазу. Она встала, вышла в гостиную. Из-под двери Тишорт выбивалась махровая полоска света. Она постучала.

Тишорт в длинной ночной рубашке – в такую-то жару – приподнялась на локте, убрав книгу.

– Ну что?

– Похоже, он все-таки был хороший художник. Эти бандиты звонили, хотят купить все оставшиеся после Алика работы.

– Да ты что? – обрадовалась Тишорт.

– Да. Я, может, еще для тебя наследство выколочу. Вот так.

– Ты смеешься, какое наследство? А Нинка? С ней что мы будем делать?

– Ну, Нинка меня не интересует. А за этими деньгами еще придется ой как побегать. – Вид у Ирины был очень усталый, и Тишорт подумала, что мама стареет и ночью, без краски, совсем не красавица, а так себе...

– Знаешь что, давай в Россию съездим. – Тишорт отодвинулась, освобождая Ирине место.

Долгие годы Тишорт не могла засыпать одна, и Ирина неслась с другого конца города, чтобы это несчастное молчаливое существо уткнулось в ее плечо и заснуло...

Ирина легла, устраивая свои тощие косточки поудобнее.

– Я уже и сама об этом думала. Поедем, обязательно поедем, только вот немного устаканится.

– У – что? Как ты сказала?

– Устаканится, ну, придет в порядок, что ли...

– Нет, Алик говорил, что если там придет в порядок, то это будет другая страна.

– А вот об этом не беспокойся: чего-чего, а порядка там никогда не будет...

Ирина погладила рыжую голову дочери, и та не дернулась, не фыркнула.

“Ну что ж, – решила Ирина, – будем считать, что всё кончилось”.

Нью-Йорк – Москва – Мон-Нуар.

1992–1997

Первые и последние *рассказы*

Второе лицо

Пирожковая тарелочка, верхняя в стопе, соскользнула и, чмокнув о спинку стула, мягко упала на ковер двумя почти равными половинками. Машура огорченно охнула. Евгений Николаевич, стоявший в дверях столовой, хмыкнул не без злорадства. Сервиз был гарднеровский, в псевдокитайском стиле, подписной, но Евгений Николаевич давно уже не жалел своего имущества, а разбитая тарелочка даже утверждала правоту его давней мысли: наследники его были в высшей степени никчемными. Даже Машура, внучка его покойной жены Эммы Григорьевны, самая симпатичная из всех, выросшая на его глазах из толстоморденького младенца в красивую девуцу, была бестолкова. Прямых наследников, собственно говоря, не было – все второго, третьего порядка, седьмая вода на киселе. И все – ждали...

Стол-сороконожку Евгений Николаевич раздвинул сам, закрепил медные крючки. Женщины – и Машура, и домработница Екатерина Алексеевна, и Леночка, приехавшая из Петербурга полуродственница, часто навещавшая его после смерти Эммы, – со столом справиться не умели. Эмма из всех женщин его жизни единственная была и с головой, и с руками. Она и стол могла раздвинуть без мужской помощи, и хрусталь мыла так, как ни одна кухарка не умела... А про прием гостей, организацию любого дела – и говорить нечего. Равной ей не было...

Машура накрыла холеную столешницу простеганной фланелью, потом пленкой, а поверх положила парадную скатерть – всё, как делала ее покойная бабушка. Только посуда у Эммы никогда не билась. Машура нервничала. Евгений Николаевич знал почему. Нитка жемчуга была тому причиной. Бабушкин жемчуг – на Ленкиной высокой шее...

Евгений Николаевич вздохнул – жена умерла пять лет тому назад, жестоко нарушив его жизненные планы. Ей и шестидесяти еще не было, выглядела великолепно. Элизабет Тейлор, на треть уменьшенная. Евгений Николаевич крупных женщин не любил. Сам был не особо рослым и ценил соразмерность. На что ему дылда? Прекраснейшая женщина была Эмма Григорьевна, ни в чем мужа не обманула, кроме одного: ушла раньше его. А ведь на шестнадцать лет была моложе.

Семидесятилетие свое он справлял в “Праге”. Заказала Эмма банкетный зал на пятьдесят человек. Он этого и не касался, ей всё можно было доверить. Стол, сервировка – отменные, без малейшего промаха.

Справа от него сидела она, жена, в вечернем платье цвета перванш, с гладкой, под орех крашенной головкой, а слева Галя, секретарша, в красном, золотоволосая. Две королевы, ничего не скажешь. И обеих он пощипывал в подстолье, под жесткой скатертью, то за ягодицу, то за ляжку, и обе сидели довольные, важные. И выдрал он их обеих в тот же вечер – заранее запланировал и меры некоторые принял. Галочку – в буфетной, при содействии знакомого официанта Алексея Васильевича, на ключик их запершего на десять минут. А Эммочку дома, по-супружески...

Восьмидесятилетие же было обставлено по-домашнему, стол накрыт на шестнадцать персон – пара нужных людей и родственники. Третьего порядка, усмехался про себя Евгений Николаевич. Он любил раз в год собирать этих племянниц, племянников, внучатых всяких. Эммочкиной родни десяток набиралось. Овощи и фрукты. Один был даже сухофрукт, вернее сказать, орешек – Женя-Арахис, подруга покойной жены, учительница музыки с растопыренными пальцами. Хитрая, как муха. После Эммочкиной смерти он подарил ей кольцо с большим желтым бриллиантом с тремя угольками и трещиной, даже не помнил, как оно в дом попало. В память о подруге. И подарок этот сбил ее с толку: прежде она мечтала выдать замуж свою престарелую дочь, а теперь забрала себе в голову пристроиться на Эммочкино место. Пятый год ходит в гости с арахисовым тортиком и прозрачными намеками. А Евгений Николаевич, смеху ради, делает вид, что вот-вот догадается и предложение ей сделает... Старая дура трепетала, кокетничала, делала многозначительные паузы, а он, провожая ее, подавал ей в прихожей Эммочкино пальто, которое она всё донашивала, а перед самой дверью слегка прижимал к себе ее узкую, покосившуюся в басовую сторону клавиатуры спину. Так что уходила она каждый раз обнадеженная. Она тоже была в числе приглашенных. Вынужденно. Потому что зови не зови, всё равно притащится.

Аппетит к жизни у Евгения Николаевича, всегда преотличнейший, с годами не выветривался, только вкус поменялся. Его теперь тянуло на миниатюру. Даже в пище. Теперь вместо обыкновенной яичницы, которую, невзирая на холестериную панику, по-прежнему съедал за завтраком, жарил себе два перепелиных яйца и пристрастился к еде, ранее неведомой – ко всякому младенческому овощу, к моркови, горошку, фасоли, но всё “бэби”, самое что ни на есть “бэби”. Даже капусту ел игрушечную – брюссельскую. Врачи предостерегали от молодого мяса, советовали зрелое, а он выбирал телятину, ягненка, поросенка молочного. Это была его собственная теория, по крайней мере, та часть теории, которой он охотно делился с окружающими: на старости лет полезно всё

юное, растущее. Тот патриарх, что согревал свое старое тело о молодую плоть, – не дурак же он был.

От маленьких радостей надо получать большое удовольствие – учил он своих племянников, и чувствовал он себя прекрасно. Даже сердечная болезнь, найденная у него вскоре после войны, мало его беспокоила. Теперь сердечные болезни были у всех кругом, сердца оперировали, меняли сосуды, вставляли стимуляторы, и он полагал, что всё это у него в запасе: дед прожил до ста лет, и отец тоже был отменного здоровья, но погиб от пули...

В отличие от пожилых людей, вечно сетующих на ухудшение времен, он острейшим образом ощущал именно улучшение времени, с особой чуткостью гедониста улавливал общее умножение всяческих удовольствий и радостей, которые мог себе позволить человек на исходе двадцатого века, – таких удобств, комфорта и роскоши, о которых прежде нельзя было и помыслить. И услуг самых фантастических...

Вот, например, друг его Иван (по паспорту Абдурахман) Мурадович – не то парс, не то перс, похож на индуса, родом откуда-то из Средней Азии. Хирургическая его специализация была самая интимная, по мужской части, и слава его в медицинских кругах большая, но приглушенная – никто из его пациентов не трубил особенно о лечении. Евгений Николаевич, как человек дерзкий, испробовал на себе все методики: лет двадцать тому назад сделал ему Иван Мурадович некоторую полезную машинку. Уникальную. Она очень способствовала. Потом, следуя времени, сделал небольшую операцию – опять угодил. И, конечно, препараты. Была одна такая инъекция: вколол один кубик мутной жидкости – и два часа скачешь как тридцатилетний. Словом, все новые технологии опробовал на себе Евгений Николаевич. Последнее, недавнее вмешательство было совсем радикальное, только-только разработанное. Операция нешуточная, в два приема делали. Тонкая механика. На прошлой неделе у него была инструкторша из лаборатории Ивана Мурадовича, и всё сработало замечательно. Но теперь – другое дело: пригласив питерскую Леночку, он собирался сегодня же применить впервые новинку сексуальной науки без инструкторши, на живом материале.

Лицом Ленка была не ахти, но шея – как у хорошей лошади, длинная, с изгибом, за то и жемчуг получила. И вся фигура отменная, гитара семиструнная: задница как самовар, выпуклая, талия осиная, груди же основательные, в разные стороны торчат двумя кулками... Сам же Евгений Николаевич был в молодые годы красавец – с актером Кадочниковым одно лицо. Теперь-то не помнит никто, а раньше девки

на улице за ним бегали, автографы просили. Он давал: “Кадочников” – писал большими твердыми буквами на чем попало. И приключения даже случались на этой почве...

В числе приглашенных неродственников был еще Валера, Валерий Михайлович, молодой друг хозяина дома. Молодость его друзей исчислялась в шкале относительной, Валерию Михайловичу было за сорок. Был он отчасти друг, отчасти воспитанник, а отчасти и пожизненный должник. За длинную жизнь Евгения Николаевича накопилось у него много и должников, и недоброжелателей, и врагов, и завистников. Профессия у него была такая – прокурор. Смолodu он был человеком свиты, но мелким, в самом хвосте. Как окончил свое юридическое образование в конце сорок первого года, так и направили его в соответствующие органы. Работал в министерстве, но недолго, перевели в СМЕРШ, опять на должность незначительную, скорее писчую. Первый сильный карьерный шаг произошел, когда его привлекли к участию в Нюрнбергском процессе как самого малого чиновника, и тогда открылась перед ним великая перспектива, почти уму не внятная, ошеломляющая. Другой бы попался на этом. Но не Евгений Николаевич. Он крепко задумался – и остановился. Не то что его личный опыт, а как будто каждая клетка мозга и крови вопила – остановись! И он отступил на шаг, пропустил впереди себя одного умницу, потому что вроде как обнаружилась сердечная болезнь – кстати. И стал он вторым лицом. Как мудро это было! Все первые лица, все до единого, сгорели синим пламенем, кто на чем, по большей части и ни на чем, а он, со своей второй ролью, отсиделся, и пронесло.

– Всё чудом, чудом всё, – рассказывал Евгений Николаевич другу Валере об увлекательнейших событиях его молодости. – Не раз, не два, и не сосчитаю, сколько – проснись среди ночи, и вдруг как огнем озарит: или в больницу залечь, или сделать опережающее движение, или даже – демобилизоваться. И такое было...

В юриспруденции Валерий ничего не понимал, зато в антикварном деле имел чутье необыкновенное. Помог ему Евгений Николаевич, молодому дураку, из одного дела выпутаться. Валерий со своей стороны немало консультировал старшего товарища в тонких и интересных предприятиях, которые и составляли главный интерес жизни бывшего прокурора. Это собирательство, случайно начавшееся у Евгения Николаевича в давние военные, а особенно в послевоенные времена, сделалось с годами настоящей профессией, прокурорская же работа превратилась в почтенную завесу, но не вполне декоративную: чем далее, тем более вкладывал прокурор неконвертируемых советских денег

в конвертируемые ценности.

Место Евгения Николаевича было во главе стола, а за остальными пятнадцатью кувертами, в павловских полукреслах и на гостинном диване со скалочками, сидели, своими неразумными задницами не ощущая художества безукоризненной мебели, безмозглые претенденты на его имущество – видимое и невидимое, то есть то, которое укрыто было в двух тайных стенных сейфах, движимое, которое они начнут делить еще до похорон, и недвижимое, то есть эту самую квартиру и дачу не ахти какую, но на гектарном генеральском участке в двадцати километрах от Москвы, на берегу реки... Наследники, ни в чем ни уха ни рыла... Ненавидел же он их всех! Но не так просто, не каждого в отдельности – Машуру так даже и любил, и внучатого племянничка, Сашу Козлова, по прозвищу Серенький Козлик, жалел, всю жизнь ему помогал, образование дал. Но ведь убогий человек, ни в чем понятия не имеет. Ветеринар! Собачьим приютом заведует! Всю жизнь по соседям и по знакомым кости собирает! Раз в неделю приезжает к Евгению Николаевичу за мясными обедками – Екатерина Алексеевна в пакет собирает. Вот и теперь сидит за столом и, наверное, прикидывает, сколько обедков своим собачкам унесет... Покойной сестры две пожилые дочери, одна в розовом, другая в голубом, – дуры комолые, одна в хозмаге всю жизнь проработала, по три рубля крала, вторая, смешно сказать, воспитательницей в детском саду тридцать лет работает... И своих четверых девок наплодила, одна другой уродливей, но похожие, различить нельзя... Наследницы!

Но своих детей не было... Пораньше бы свела его жизнь с Иваном Мурадовичем, сделал бы он ему плевую операцию в молодые еще годы, и рожали бы от него бабы...

А из всех чужих детей любил он одну – Люську, Эммочкину дочь. Но она, стерва, с характером, уехала в Израиль – скандально, против семьи пошла. Евгению Николаевичу тогда работу пришлось менять из-за этого шального отъезда. Впрочем, к лучшему повернулось... А часики анкерные, английской работы, мастера Грэхама, Люська всё же взяла, вывезла, квартиру купила в Тель-Авиве, а сколько еще от тех часов осталось – этого Евгений Николаевич не знал. По аукционам последнего времени цена тем грэхамовским часикам от трехсот тысяч начинается... Тогда же Евгений Николаевич понял, что есть большое достоинство в миниатюрных предметах – с точки зрения вывоза. Если с его коллекцией толково распорядиться – не один миллион потянет... А Люська ухаживать за матерью не приехала, как Эммочка ее звала. На похороны зато

приехала – наследство получать! Наследница! Вот уж кто ничего не получит, так это Люська... Сколько раз потом пыталась подмылиться, и сама, и через Машуру. Нет так нет. Машка, девочка маленькая, за бабушкой ухаживала, она больше заслужила... Но тоже – вспомнить противно – лучшее Эммино кольцо через две недели в метро потеряла, вместе с перчаткой...

Грызла его мысль о завещании. Очень грызла. И так прикидывал, и эдак. Одно время завещания писал – то на Машуру, то, обозлившись на нее, на Валеру, то на всех делил, то одному кому-нибудь всё отписывал.

Да и законы-то – что не так, в казну пойдет. И этот вариант Евгений Николаевич тоже рассматривал: висит, скажем, неплохой Поленов или любимый сине-розовый Кустодиев, а под ним надпись: “Дар Русскому музею от Е. Н. Кирикова”. Нет, не греет...

Так и получается, что помирать ему невозможно из-за нерешенности этого вопроса, следовательно, главное дело – здоровье поддерживать, куда решение не явится. Да, собственно, торопиться было некуда. Жаловаться – не на что. Если какие неполадки возникали в механизме, он, как хороший хозяин, тут же устранял. Урология и всё, что около лежит, – Иван Мурадович обслуживает наилучшим образом. В позапрошлом году прооперировал косточку на ноге. До того – зубы металлокерамические, самые лучшие поставил. Даже слишком хорошие, могли бы чуток пожелтее, понатуральнее быть. Массажист Саша ходит три раза в неделю, уже лет двадцать. Наверное, уже две машины на его деньги купил... Не жалко. Ничего не жалко. Эммочкина наука – она его научила денег на себя не жалеть. Тратить. До нее он только одно знал – котлы. Часы-часики, тикалки наручные, каминные, каретные, кабинетные... Эммочка глаза открыла, всему научила... Глаз! Вкус! Чутье! Всё, что в доме есть, – посуда, серебро, мебель, картины – высшей пробы. А наследников толковых – нету, хотя народу – полный стол! И всем хочется. Даже Екатерина Алексеевна, служащая, и та претендует на строчку в завещании... Но она хоть в чем-то разбирается: холодные закуски всегда прекрасно стряпает, и пироги дрожжевые ей удаются, но горячее – хоть тресни! – всегда пересушивает... Впрочем, гурманов среди них нет, народ непривередливый, мало кто и заметит, если поросенок будет суховат, – ишь, как по буфету ударяют. Только Иван Мурадович, восточный человек, понимает, что на тарелке лежит. Ест он аристократически отстраненно, с выражением лица благосклонно-безразличным, и рука его того же оттенка, что слоновая кость черенка рыбной серебряной вилки... Впрочем, он и одними голыми пальцами, без вилки и ножа, тоже ел таким образом,

что в голову приходила мысль об игре на музыкальном инструменте или о тех интимных операциях, которыми он двадцать лет занимался... Лицо у Ивана Мурадовича было лишено выражения, и уж, во всяком случае, никакого отношения к пище – восторженного, оценивающего или жадного – на нем не написано. Угощение, собственно говоря, было для мусульманина либо бесспорно несъедобным – вроде студня и поросенка, либо подозрительно, например, пирожки с мясом и салат неизвестно с чем. И ел Иван Мурадович очень с большим выбором и умеренно – белую рыбу, свежие огурцы, баклажаны, зелень... Думал же он вовсе не о еде, а о старшем сыне Абдулле, заканчивающем в Лондоне коммерческую школу, о том, что собирался лететь к нему в эту субботу, но в пятницу предстояла операция над увядшим членом одного богатого человека. И, пожалуй, улететь ему не удастся... Он презирал своих пациентов, теряющих мужскую силу к пятидесяти. Дед его женился последний раз в семьдесят восемь, и молодая родила ему еще троих детей, и последний был его отцом. И ни о каком медицинском подспорье и не думали эти азиатские старики, сухие, белобородые, с нестареющими своими кинжалами... Размышлял Иван Мурадович о преимуществе мусульманского мира, о могучей витальной силе, давно иссякшей у европейцев... А вот женщины русские были привлекательны, очень привлекательны... Поглядывал на Машуру, с ее ангельски-кошачьим личиком, на еще одну, в розовом, увядшую, длиннолицую, но чем-то привлекательную... И он медленно орудовал рыбным ножом...

Машура, Эммочкиного воспитания, тоже умела есть, а муж ее Антон – вахлак. Рубает, как матрос. Если Машка с ним разведется, я ее сюда пропишу. Иначе – нет. По теперешним законам, муж имеет право на ее собственность, если она получена в то время, когда они состояли в браке. А может, Ленку питерскую пропишу. Скажу – как родственницу, если разведешься. Нет, это как раз будет глупость. Она-то с радостью разведется. Еще и притащится сюда со своей дочкой. Скучная материя... Собственно говоря, завещание-то давно уже было написано. Только оно перестало Евгения Николаевича удовлетворять. И зачем он голову ломает, в каких долях этим придуркам добро разделить? Машура вон за полчаса разгрохала тарелку и два бокала, причем один совсем хороший, старого русского стекла... Ну зачем ей посуда?

Гости кушали и славил хозяина – за ум, талант, умение жить, желали многих лет жизни, а хозяин ругал себя, что устроил это скучное празднование вместо того, чтобы взять путевку в Карловы Вары и отметить свое восьмидесятилетие там, в компании какой-нибудь молодой бабешки,

или Ленку питерскую с собой взять, или еще одну, Ирину Ивановну, агентшу из турбюро, она ему намекнула, что поехала бы с ним... Да мало ли...

Разошлись в первом часу. Екатерина Алексеевна была отпущена после подачи горячего, Машура сносила чайную посуду на кухню, а Евгений Николаевич из кабинета ожидал стеклянного звона, но, видно, она на сегодня программу свою уже выполнила. Ленка мыла посуду, опоясавшись длинным полотенцем. Евгений Николаевич испытывал некоторое нетерпение – хотелось испробовать новинку. И радовался своему нетерпению, как свидетельству не совсем еще умершей эмоциональной жизни.

Машура наконец ушла, поцеловав деда на пороге. Он подмигнул ей. Обычно она пихала его мелким кулачком в живот – такая игра сохранилась между ними с детства. Но на этот раз Машура не ответила. Обиделась, дура, что я жемчуга Ленке подарил. А может, докумекала чего?

“Да всё равно хорошая девочка, – решил Евгений Николаевич и поцеловал в стриженный мужским ежиком затылок. – Подарю ей на Новый год жука с изумрудом. – И тут же передумал: – Лучше денег подарю, долларов триста. На что ей жук от Фаберже? Потеряет...”

Ленка тоже была хорошая девочка, но в другом роде. Привычки Евгения Николаевича давно ей были известны, и вела она себя скромненько, делала вид, что только для того и приехала, чтобы помочь двоюродному дядюшке посуду после гостей помыть. Ей было тридцать четыре года, и началась эта история двенадцать лет тому назад, при жизни Эммы Григорьевны... Как-то раз она остановилась у них на правах дальней родственницы, приехавшей в Москву на экскурсию, и тогда случайно произошло неожиданное сближение. Эмма Григорьевна отлучилась тогда на Новый Арбат к косметичке. И дядя зашел к ней в гостевую комнату, и она даже не сразу и поняла, чего он хочет, и когда собралась зарыдать от молниеносной неожиданности и неправдоподобной ловкости, с которой овладел ею пожилой родственник, он сказал ей строго, как начальник:

– А ну перестань. Быстро скажи, чего ты хочешь? Шубу хочешь? Ну, чего хочешь, говори...

И она согласилась на шубу... Дядюшка был щедр, подарил ей на свадьбу тысячу рублей, когда дочка родилась, опять же денег прислал. Всякий раз, когда Лена приезжала в Москву, покупал ей такие подарки, что она в собственных глазах вырастала. Два кольца у нее было – всем подругам говорила, что наследственные. Мужу, Сережке, сказала – от бабушки наследство. Одно, правда, продать пришлось, когда муж чуть

в тюрьму не сел. Откупились теми деньгами. На этот раз была у Лены особая миссия: она собиралась у Евгения Николаевича денег на квартиру просить. У нее квартира была хоть и двухкомнатная, но всего двадцать четыре метра, не повернешься. Хотела просить в долг, но планировала – без отдачи. Десять тысяч долларов собиралась просить на доплату – соседи продавали трехкомнатную. Это надо было воздуху набрать, чтобы такое выговорить. Но Сережка очень напирал – попроси у дядьки, он тебе не откажет... Был Сережа молодой, на четыре года жены моложе, и не подозревал он восьмидесятилетнего старика, которого, кстати, в глаза не видел, в сексуальной прыти.

А Лена не успела и рук вытереть, как Евгений Николаевич обхватил ее самоварную задницу... Они не часто виделись, давние любовники. От силы два раза в год. И играли всё в одну и ту же игру – как будто происходит с Ленкой случайность, нечто – ах! первый раз! И она, юная, потрясенная, шарахается, не очень упорно защищая свою девичью честь. Она давно знала о технических ухищрениях дядюшки и относилась к этому с уважением – так-то, по-простому, любой дурак может. Если быть честной, ей нравился Евгений Николаевич – запах его дорогих одеколонов, чистота, красота и богатство его дома, и подарки его нравились. И как он обставлял всякий раз как будто случайную любовь. С мужем Сережей всё было куда как менее интересно. А в этот раз Евгений Николаевич был вообще – прима, и Ленка догадалась, что подшили ему какую-то штуковину, которая была, по всему виду, безотказная.

Евгений Николаевич оценил новинку не так однозначно, как партнерша, – сам процесс шел отлично, но завершающая фаза смазанная – вроде как электрический утюг выключили, он и остывает. За долгие годы общения со специалистами, да и по складу характера он не искал ничего таинственного в этом обыкновенном и приятном деле, заботился о качественных показателях, но собирался назавтра доложить Ивану Мурадовичу о своих ощущениях и наблюдениях. В общем, оргазму не хватало остроты...

Уезжала Ленка дневным поездом, он ее слегка мариновал с подарком. Конвертик он ей приготовил, но не отдавал... Позавтракали, сыграли партию в шахматы – это было странное ее достоинство, очень прилично для дамы играла в шахматы. Она слегка нервничала, пора уже было рот раскрыть и денег попросить, но всё не могла себя перемочь. Евгений Николаевич выиграл малоинтересную партию, сложил фигуры в ячейки, белой кожей подбитые, и велел Ленке принести ему из кабинета деревянную шкатулочку, которая стоит на письменном столе. Лена

принесла. Он велел раскрыть. Там лежал конверт. Он велел раскрыть – потому что ему хотелось получить еще немного удовольствия, видя, как вспыхивает она едва ли не до слез, стесняется, прикладывает руки к щекам, ахает и целует его в чисто выбритый жидковатый подбородок. Она всё это и проделала, как он ожидал. Это был отличный спектакль на двоих, отменно сыгранный и обоим участникам доставляющий неизменное удовольствие при минимуме неожиданности.

Но на этот раз ждала Евгения Николаевича неожиданность: Леночка пересчитала деньги – тысяча долларов там была, ни много ни мало, – положила их в конверт, помолчала, опутив густоволосую, со старомодным, как любил Евгений Николаевич, пучком голову, и, глядя в стол, тихо и деловито попросила Евгения Николаевича одолжить ей еще десять тысяч на расширение площади квартиры...

Евгений Николаевич глазом не моргнул, постучал чистыми пальцами по шахматному ящичку и сказал деловито:

– Этот вопрос мы сейчас решать не будем. Отложим на время...

Лене очень хотелось спросить, на какое время, но она всей душой понимала, что вопрос этот будет неправильным, и промолчала.

Перед дорогой попили чаю, Лена съела пирожное из вчерашних оставшихся, Евгений Николаевич пирожного не стал. Потом к условленному времени приехал шофер Костя и отвез Леночку на Ленинградский вокзал.

Евгений Николаевич позвонил Ивану Мурадовичу, отчитался о вчерашнем мероприятии. Тот назначил ему на вторник – чтобы пришел в лабораторию кое-какие анализы сдать. Потом Костя вернулся и отвез его к одному коллекционеру, Илье Израилевичу, – тот был, как и Евгений Николаевич, не маньяк какой-то одной идеи, а тоже собирал из разных областей: и гравюры у него были, и книги, и карты. Отдельным предметом собирательства были старинные приборы – всяческие астролябии, подозрные трубы и телескопы. Не брезговал он и музыкальными шкатулками. И теперь к нему попала преотличная, судя по описанию, музыкальная шкатулка восемнадцатого века с часами, а на часах имеется вроде бы знак немецкого часовщика Петера Кицинга. И Илья Израилевич просил приятеля взглянуть на эту марку, точно ли Кицинг. А Евгению Николаевичу это тоже было небезынтересно – по старой и первой своей привязанности... И он отложил неприятные размышления о завещании на другой день, решивши в этот вечер насладиться профессиональным общением, а может, и кой-какой негоциацией. Илья Израилевич славился по Москве способностью всех перепить, а также необыкновенной

азартностью: если ему чего приглянется, он всех конкурентов ценой перешибал, иногда и весьма несуразно. А у Евгения Николаевича было одно русское бумажное издание весьма редкое, как раз того рода, который Илья Израилевич особенно ценил.

До позднего вечера просидел Евгений Николаевич у приятеля. Начал с дружеского подношения – маленькую книжечку Лисицкого, дореволюционную, из первых, тираж 200 экземпляров. Илья Израилевич даже забеспокоился несколько – подарок был превышающий незначительный повод встречи... Выпивали. Илья Израилевич показывал свои диковинки. Евгений Николаевич долго рассматривал шкатулку. Она не очень ему показалась. Громоздкая, грубоватая. Механика, правда, безукоризненная, и часовая, и собственно музыкальная часть. Подтвердил ее происхождение. Этот Илья Израилевич начинал от мастеровых, был механик отменный и собственноручно всю эту механику отладил, на ход поставил. Евгений Николаевич, может, более всего это и ценил – сам он имел глаз, понимание, а вот руками никогда ни к чему не прикасался, кроме авторучки. Дом Ильи Израилевича был шумный, время от времени в комнату врывается какая-нибудь растрепанная девица, одна из его многочисленных дочерей и племянниц, или младенец. Он всем давал – кому денег, кому телефонный номер из записной книжки, мальчонке лет шести вынул из ящика стола большой красно-синий карандаш советских времен... Евгений Николаевич оглядывал стеллажи, шкафы и завалы книг на всех стульях, расставленные на столах приборы и инструменты и размышлял о том, какая же судьба ожидает коллекцию Ильи Израилевича... Лохматые девки эти передерутся, всё пойдет по рукам: и футуристы, и коллекция двадцатых годов. А ведь как хорошо, когда всё можно передать в хорошие руки, и в одни.

В ту ночь Евгений Николаевич плохо спал, и сон снился какой-то дрянной – с покойной женой ссорился из-за каких-то билетов. Только не удалось вспомнить, то ли он хотел ехать, а она возражала, то ли, наоборот, она требовала немедленно уезжать, а он никуда не хотел. А потом набежала стая разнокалиберных собак, великое множество, и всё, включая Эмму, исчезло. Он проснулся, потом снова заснул, встал позже обыкновенного, долго лежал в постели, вяло обдумывал события двух минувших дней. Ленке решил денег на квартиру не давать, Машку – не прописывать. А всех прочих своих наследников поочередно пригласить на собеседование, посмотреть, кто чем дышит, а там уж и определить, кто наиболее достойный. В списке родственников значилось двенадцать человек.

Главная же забота Евгения Николаевича была коллекция, потому что наличных денег было у него немного, он дома больше трех тысяч не держал, настоящих же денег стоила коллекция, причем самая ценная часть ее была еще в шестидесятом году замурована в сейфе, в стене спальни, и сделано всё было так, что ничем не простучишь. И три ремонта с тех пор прошли по стенам, никаких следов... Открыть мог только тот, кому Евгений Николаевич сам покажет. Ключи от сейфа он давно уже передал Валерию Михайловичу, но не показал, где сейф. Никому не показал. А надо бы...

Это растянувшееся на три месяца мероприятие доставило Евгению Николаевичу, против ожидания, огромное удовольствие, начиная с первого визита, когда он пригласил своих племянниц – розовую и голубую – прийти не вместе, а по отдельности. Как он понял, поссорились они по этой причине сразу же, как только начали обсуждение, кто же из них идет второй. Почему-то каждой из сестер хотелось пропустить другую впереди себя... Кажется, это была их первая ссора за всю жизнь. Но ставка оказалась слишком высока: ясно было, что речь шла о большом наследстве – одна из сестер была многодетная, считала, что и наследство от дядюшки справедливо делить не на них двоих, а на шесть частей, учитывая ее дочерей. Бездетная же уверена была, что по справедливости – на двоих, поскольку не должна она страдать от своей бездетности – она и так всю жизнь своим племянницам помогала и подарками, и деньгами.

Евгений Николаевич дал им время немного поспорить, а потом пригласил бездетную, в розовом. И она пришла, полная обиды на сестру, на магазинное начальство, на общую несправедливость жизни. Евгений Николаевич слушал ее внимательно, он делал это профессионально, и вопросы задавал короткие, точные. И, как ей показалось, очень сочувственные. Во всяком случае, ушла она в состоянии удовлетворения, и особенно удачно удалось ей вернуть уже в дверях, как беспокоится она за своих племянниц, потому что одна только девочка толковая, учится, а другие три шальные, беспутные, и прока от них ждать не приходится – стакана воды не подадут. Не то что она, их тетушка, которая, если что надо, в любой момент тут как тут, и поможет, и присмотрит по-родственному...

В голубом пришла через неделю. Она молчала, на дядюшкины вопросы отвечала скупой, на жизнь не жаловалась. Говорила – всё хорошо, девочки хорошие, и кто учится – хорошо учится, а кто работает – хорошо работает. А под конец разрыдалась, потому что ее чуткой душе открылось, что сестра дорогая обошла ее на кривой козе, и ничего она от дядюшки

не получит, а всё сестре достанется. И тогда Евгений Николаевич утешил ее, по голове погладил, вытер платком, как она сама вытирала своим воспитанникам, ее обидные слезы и плакать не велел. И даже спросил, какие у нее нужды особые. И она, всё горше плача, от сердца поведала ему, как трудно растить без мужа, и как горько ей было брошенной, в тридцать лет с четырьмя одной оставаться, и спасибо ему, что он, дядя родной, ей вроде как алименты давал за исчезнувшего мужа, пока девочки в школу ходили... И тогда он подарил ей сто долларов, и велел идти и не плакать, а старшую, которая бухгалтерские курсы закончила, обещал на хорошую работу пристроить, если она, конечно, не полная дура – как ты, Валентина, всю жизнь была... И ушла Валентина, в голубом, обнадеженная. Наследство девчачье, казалось, она отбила...

Двоюродному брату Славе велел приходиться без жены для семейного разговора. Но жена его одного не пустила. Евгений Николаевич озлился, но виду не подал. Напоил чаем, поговорил о погоде. Жена Славина и так и сая, всё пыталась навести его на то, зачем он их пригласил: про трудности жизни, про одинокую старость, и кто ему помогает, и хорошо ли обслуживают... А Евгений Николаевич – всё о погоде. Слава-то знал его отлично, всю жизнь побаивался, сидел молча и даже немного радовался такому повороту событий: говорил он Райке, чтоб дома сидела, а она потащилась. Пусть теперь знает, как себя вести надо. До пятидесяти лет дожила, ума не нажила. Одна жадность глупая. Но всё ж таки ему ее жалко было, когда она расплакалась прямо на лестнице у Евгения Николаевича, сдержаться не смогла... Уж так ей хотелось дачу Евгения Николаевича заполучить. Родни-то у него настоящей всё равно нет. Кто ему Машка-то? Никто! Покойной жены внучка от другого мужа! А Славин отец Владимир – брат родной Евгению Кирикову... Может, прав был Слава, лучше бы дома ей остаться. Потому она и плакала, что сама всё испортила. Слава же, черт ехидный, фальшиво ее утешал, а сам радовался – не нужна ему была ни дача, ни машина, вообще ничего – он любил только телевизор смотреть, на диване лежа, придурок, ей-богу... И она спустила на него собак, как положено, высказала ему всё о его ничтожности. А он, человек мягкий, вдруг – и как на него наехало! – отвесил ей затрещину. Первый раз в жизни. Она взвыла и ревела до самого дома...

Брат Эммы Григорьевны был, конечно, ни при чем. Однако, когда Эмма умерла пять лет тому назад, он из своей Германии вроде бы как приноживался, не светит ли ему. Эмма еще во время болезни разделила семейные фотографии на две пачки, несмотря на слабость и сильные боли, которые ее последние месяцы донимали, оформила в два альбома, один –

Люське с Машкой, второй – брату. Он его и получил. Смотреть же на этого Семена-писателя было Евгению Николаевичу неприятно. Он был очень похож лицом на Эмму – брови, глаза, даже улыбка уголками рта вверх... И он – жив, а ее нет. Евгений Николаевич был тогда вне себя – никак не мог с Эммочкиной смертью смириться – он ее выбрал из многих женщин, только одну такую за всю жизнь и встретил, с которой и жить – радоваться, и стареть, и болеть... И ведь как умна была – свободу давала, не ревновала по мелочевке. И вот теперь этот Семен Григорьевич приехал в Москву публиковать свои никчемные книги, сидит здесь уже три месяца, а что ему? Немецкая пенсия идет. И притащился к Евгению Николаевичу на восьмидесятилетие, и по телефону звонит. И вообще хочет общаться изо всех сил. Может, и ему чего-то надо? Позвал его Евгений Николаевич просто так, прощупать... Разговор же получился интереснейший. Оказывается, на дармовых немецких хлебах стал писатель исследовать проблему еврейского имущества, прихваченного фашистами. Заодно всплывали всякие интересные истории и не фашистские, а советские. И на десятой минуте разговора догадался Евгений Николаевич, что этот самый брат имеет к нему интерес возвышенный – хотел про Нюрнбергский процесс порасспросить...

Евгений Николаевич рукой махнул:

– Да какое там мое участие, мальчишкой на побегушках... Вышинскому стакан чаю подносил...

Разбежался! Нашел информатора. И сам грамотный: захочу, сам такое напишу, что вы все закачаетесь. Только не буду этого делать. А тебе, брат Семен Григорьевич, фотографию дарю: узнаешь? Точно! Геринг на первом плане, а позади него кто? Не узнаешь? Я, само собой! Правильно!

Однако приятно – еврейские проблемы его волнуют, а наследство – нет. Бывают же такие идейные евреи. Эммочка попрактичней была! А вот Люська много не получит. Не заслужила.

Потом приехала двоюродная сестра из Киева. Он ей позвонил – она сразу и прикатила. Хотя, между прочим, с днем рождения не поздравила. Ну ладно. Приехала с дочкой. Оказалось, процветают! У дочки муж коммерсант, торгует компьютерами. Там, на Украине, у них своя проблема – русских не любят. Но дочка за хохлом, поставляет он компьютеры по всем их правительственным организациям, торгует направо-налево, то в Англию, то еще куда-то разъезжает. Сначала обе они по привычке всё пыль в глаза пускали, это в первый день. Но, видимо, ночью они между собой переговорили, оценили Евгения Николаевича одинокое положение, которое он им обрисовал скудными словами, также

и очевидное его богатство – отдельное впечатление произвели замки на дверях. Сестра воров боялась, и замки у нее в Киеве были оборудованы наилучшие. У кузена Евгения были куда как позатейливей. Словом, на другой день разговор уже пошел другой – бабы больше не хвастали. Напротив, все сочувствовали Евгению Николаевичу. Сестра пригласила его на лето приехать к ним на дачу – зять два года тому назад купил дом в Ялте, вилла настоящая! Живи там хоть всё лето. Море рядом. Прислуга круглый год. Пара семейная, потомки петербургских аристократов, с революции застряли в Ялте. Третье поколение уже – забавные такие. Салфетки к завтраку она сворачивает то домиком, то птичкой. Бабушка ее научила. Словом, Женя, как надумаешь, приезжай, всегда рады. И муж мой – влезает племянница – с такими связями, что если что надо, вопросов нет. И врачи самые лучшие у нас, в Киеве, и питание самое натуральное... Всегда рады...

Отвез их шофер Костя в аэропорт. С тех пор сестра звонит каждую неделю по сю пору, о здоровье осведомляется. Мебель ей, видите ли, понравилась. Похвалила.

Дольше всех не шел Саша Козлик – три раза откладывал. Звонил, извинялся. Наконец пришел. Лет ему около сорока. Тощий, курносый, жидкие волосенки. Под глазами – круги, в глазах – страсть... Страсть редкая – собачья.

А ведь алкаш, догадался про него проницательный Евгений Николаевич. И ошибся. Во всяком случае, если и был он алкаш, то завязавший. От водки-коньяка отказался, пил чай. Выпил чашек шесть, крепкого, с сахаром. Но при этом едва-едва один бутерброд дожевал, без всякого интереса ел. Говорил же – не остановишь. Про собак. Про дикие, нечеловеческие страдания бездомных, брошенных и одичавших животных, про раны, нанесенные им жестокими людьми, и что самое страшное – детьми. Говорил о трагической бессловесности всего тварного мира, о пропасти непонимания между людьми и животными.

Евгений Николаевич сделал не одну попытку перевести стрелку на его личную жизнь, на какую-нибудь тему, к собакам отношения не имеющую. Но из этого ничего не вышло.

Он говорил о своих псинах, шавках, о дворнягах и породистых, шариках, джеках, альмах... О собачьем бешенстве и авитаминозе, о течках и гонах, об истории собачьего племени, о древнейших охотничьих собаках и о древних декоративных. Но главное, что его мучило, что составляло смысл, цель и призвание его жизни, было создание приюта для бездомных собак. Он давно уже обивал пороги всех столичных организаций,

в подробностях рассказал Евгению Николаевичу о всех письмах во все инстанции, которые написал за свою жизнь. Евгению Николаевичу давно уже стало ясно, что имеет дело с безопасным сумасшедшим. Он слушал его почти два часа. Речь Козлика была вполне связной, и логика в ней присутствовала, только весь он, вместе со своими собаками, как будто с луны свалился. Наконец он достал распадающийся надвое бумажник, вынул из него любительскую фотографию и предъявил Евгению Николаевичу:

– Топа, моя первая собака, девятнадцать лет со мной прожила. Умнейшее существо, благороднейшее... От диабета умерла.

Мутная собачья морда с острыми ушами улыбалась с потерянной фотографии.

“Хватит, пожалуй”, – решил Евгений Николаевич и закончил визит элегантнейшим способом:

– Саша, там Екатерина Алексеевна полную сумку продуктов собрала для твоих питомцев.

Козлик с голодным блеском в глазах схватил два больших пакета, поблагодарил и умчался, оставив после себя крепкий псиный дух...

Убирая чашки в буфет волнистой березы, Евгений Николаевич улыбался и качал головой: наследнички ему попались, хоть не помирай... Впрочем, помирать он и не собирался.

Машура приходила к нему по меньшей мере раз в неделю. С ней приятно было поболтать о том о сем. Иногда она могла и какое-нибудь хозяйственное поручение выполнить. Но обыкновенно Евгений Николаевич ее не загружал, предпочитал наемный труд – была Екатерина Алексеевна, вполне еще крепкая старуха, шофер Костя, да и Валерий Михайлович, преданнейший друг и ассистент, всегда готов был удружить.

Машура занималась журналистикой, второй год как закончила университет и страшно была увлечена всем на свете – то писала про какого-то шамана, то ехала в полуживой научный городок военного направления и делала репортаж о великом прошлом и скорбном настоящем его жителей, а то вдруг ее послали в командировку на остров Бали от какой-то туристической фирмы, чтоб она написала, как там славно отдыхать... И Машура рассказывала обо всем деду, а он слушал ее с удовольствием и понимал, что права она была, добиваясь этой никчемной профессии, а он, Евгений Николаевич, был не прав, заявляя, что глупей занятия не придумать. Дело оказалось как раз по ней. Хорошая, очень хорошая девчонка. Сильно не нравилось ему в Машке сейчас только одно – муж ее Антон, из-за которого отношения их разлаживались. Евгению

Николаевичу картина ясна была с первой минуты его жениховства: бочком, бочком – и прямо к кормушке, сиротка провинциальная, всё из Машки тянет, а она, дуручка, не понимает. И Антон этот вологодский отравлял Евгению Николаевичу жизнь – потому что, пока она за ним замужем, не мог он на нее оставлять наследство. Не хотел. И всё...

И разговор с приемной своей внучкой повел Евгений Николаевич очень жесткий, так и сказал начистоту: старое свое завещание отменяю – пока ты с Антоном не разведешься, ни на что не рассчитывай.

И тут Евгений Николаевич получил от Машки такой отлуп, какого в жизни не имел, – маленькая эта жучка посмотрела на него Эммочкиными серо-зелеными глазами, подняла левую бровь, как бабушка, бывало, делала, и сказала ему спокойненько:

– Дед, а не сошел ли ты с ума? Уж не думаешь ли ты, что я из-за твоего старого дивана разведусь с любимым человеком? Из-за ложечек серебряных? Да?

И она захохотала звонко и совершенно естественно, и это было так оскорбительно, так обидно Евгению Николаевичу – никто так его не унижал. Он сдержался, пожал плечами:

– Тебе решать.

Она вскочила, подергала его за уши, ткнула кулачком в живот, но теперь у него не было охоты к шуткам.

– Ты подумай, как бы тебе не прогадать, – хмуро пригрозил он ей и сразу же почувствовал, что не то сказал.

– Ага, ночей спать не буду, буду взвешивать, как бы не прогадать, – фыркнула засранка.

В результате не спал теперь он, Евгений Николаевич. Бессонница пошла на пользу – в ночной душной тишине он принял не одно решение, а несколько. Первое – с завещанием нашел остроумное решение. Потом – с дачей: перестроить. А может, снести старую целиком и отстроить заново, по всем теперешним правилам, в три уровня, с сауной, гаражом. Участок – гектар, можно и пруд вырыть. И жить круглый год на даче. Квартиру – продать. Она вообще устарела. Сталинский дом, высотка, по прежним меркам превосходный, по теперешним – говно. Окна маленькие, все на площадь, шум и вонь с утра до ночи, лифты допотопные, подземного гаража нет... Всё. Избавляться. Был бы помоложе, можно бы отделку современную сделать и сдавать. Да на что они нужны, эти две тысячи? Если уж квартиру в городе иметь, то небольшую, элитную, в центре. Коллекцию часов – продать! Через Сотбис или через Кристи, это надо обдумать. Деньги – в хороший банк. Поручить продажу Валерию Михайловичу –

на процент. И что там Машка про Бали писала? Да, попробовать всё по-новому. Зимой, в слякоть, в грязь, в московскую темень, – на Бали, к чертовой матери, мало ли островов Канарских и прочих, гостиниц пятизвездочных, молоденьких блядей? Десять лет у меня в запасе есть... Дед Кириков до девяноста пяти дотянул. Или до девяноста восьми? А завещание – напишу. И Машуре предъявлю, чтоб знала. Таким путем...

И сон у Евгения Николаевича наладился. И настроение поднялось. И кроме всего прочего, произошло одно незначительное, но забавнейшее событие – прогуливаясь в послеобеденный час по улице Чехова, Евгений Николаевич наступил на потерянный женский шарфик и поднял его, чтобы повесить на ближайшую ручку двери. Подняв, почувствовал рукой что-то мелко-острое – оказалась прицепившаяся к шарфику серьга. Да не просто так – трехкаратный сапфир-кабошон с бриллиантовым глазком сверху... Смешно, ей-богу. Теперь, когда Евгений Николаевич решил закончить со своим собирательством, коллекцию продать и забыть, – такой маленький соблазн, детский какой-то. Сначала подумал – закажу Машуре кольцо сапфировое. И тут же плюнул в сердцах...

Дело задуманное было грандиозным. Первое – описать коллекции. Те двенадцать драгоценнейших номеров, что в сейфе, шли отдельным списком. Остальное сделали вместе с Валерием. Дальше пошла работа с нотариусом. Сделали доверенность на Валерия, с правом передоверия. Вся схема была Евгению Николаевичу давно известная, он ею не раз пользовался – переправлял часики, продавал через доверенных лиц. Но здесь суммы были слишком велики. Были у него и свои механизмы контроля, такие ребятки, что босыми по снегу не ходили. Обутые-переобутые... И сами кого хошь обуят. Валера был надежнейший, но, помимо того, у Евгения Николаевича лет двадцать были на руках еще и бумаги кое-какие на Валерия Михайловича. В сейфе лежали, там же, где припрятанные часы. Прокурор все-таки.

Два месяца полных ушло на бумажные дела. Пришлось подключать еще одного банковского мальчику – он удивил Евгения Николаевича своим юным видом. Оказался толковым и давал гарантии. Когда завещание было составлено, накануне прихода нотариуса Евгений Николаевич вызвал Машуру. Прежде чем показать ей новое завещание, сказал:

– До завтра еще можно переписать. Я ставлю вопрос так: разведись. Мне надо, чтобы ты была разведена на момент получения недвижимости, когда я помру. Ты понимаешь? А спать спи с кем хочешь, хоть с бывшим мужем. Это меня не касается.

– Дед, я как раз хотела тебе сказать, что беременна. Так что о разводе

речи быть не может. И не подумаю... – И отодвинула бумагу, не читая.

– Ну и чудно, – улыбнулся Евгений Николаевич. – Получишь от меня красивую чашечку.

– Супрематическую, хорошо?

– Договорились, – кивнул Евгений Николаевич.

И у Люськи такой же непреклонный характер. И похожи на Эмму, и совсем другие, черт их подери. Но будет по-моему, решил Евгений Николаевич.

Получилось, однако, по-третьему: и не так, и не так. Прошла ровно неделя после разговора с Машурой, и всё, что наметил, исполнил Евгений Николаевич с полной точностью: завещание заверил, опись передал Валере и накануне своего последнего дня передал ему ключ от замурованного сейфа, а точную инструкцию, где стену разбирать, передал в другие руки, банковскому мальчику. Знал Евгений Николаевич, как дела делаются.

Неранним утром, уже после рынка, пришла Екатерина Алексеевна с продуктовой сумочкой, долго звонила в дверь, но Евгений Николаевич не открыл. Она ждала час у двери, потом поехала в полном недоумении домой, оттуда звонила до самого вечера, но и к телефону он не подходил. Около девяти вечера позвонила Маше, сказала, что тревожится, не случилось ли чего. Маша была раздражена, разговаривала с Екатериной Алексеевной почти грубо, сказала, что сегодня ей ехать не с руки, а поедет завтра утром. Однако устыдилась и поехала. У нее у единственной были ключи от квартиры. Она приехала в половине одиннадцатого, позвонила в дверь, ожидая, что дед откроет как ни в чем не бывало, и опять она будет в дураках: притащилась усталая слушать его шантажные глупости. Но никто ей не открыл, и она двумя хитроумными ключами попыталась открыть дверь, но дверь изнутри оказалась заблокирована. Вызвала Валерия Михайловича. Тот сразу же побежал за милицией. Приехали два милиционера, взломали дверь. Вошли – и обнаружили Евгения Николаевича в спальне, сидящим возле бюро и всей грудью навалившимся на откинутую доску. Рядом стакан с водой и гора таблеток, из которых, видно, он ничего не успел выпить.

Маша сразу поняла, что он мертв. Голова лежала боком, и красивое его лицо имело желтовато-белый оттенок старого мрамора. На губах засохла сухая пена, похожая на мыльную... Составили протокол. Понаехало каких-то людей. Маша позвонила Антону, чтобы он приехал. Ее второй месяц беспрестанно тошнило, и ей очень хотелось, чтобы всё поскорее кончилось и она могла бы уйти домой и лечь спать. Милиционер спросил документы, и Машины тоже. Всё у деда было на местах, всё в порядке. Она достала

свидетельство о смерти бабушки, и копию их брачного свидетельства, и копию метрики Люськи, и копию метрики своей собственной – всё было на известном месте, в известной папке. Один из милиционеров спросил, откуда она знает, где что лежит.

– Да я в этом доме родилась. Три года назад, когда замуж вышла, дед мне однокомнатную купил... А так я здесь всегда и жила... И прописана здесь была...

Только к утру приехала машина и забрала деда. В бумаге врачи написали – остановка сердца.

Потом началась суета – звонили родственники, приезжали. Полный дом народу. Денег в бюро было три тысячи. Маша думала, что Валерий Михайлович возьмет на себя все хлопоты по похоронам, но он как-то скромно стоял сбоку, инициативы не проявлял. Тогда Антон, Машин муж, взял эти три тысячи и стал всем распоряжаться. Валерий Михайлович только советовал, что всё должно быть самым лучшим. А и так всё было самое лучшее: Эмма Григорьевна похоронена на Ваганьковском, участок просторный, на две могилы. Поминки заказали в “Праге” – Евгений Николаевич “Прагу” любил с давних времен. Он там всех знал, и его все знали. Потому что начальство-то менялось, а старые клиенты оставались. Отпевали в Ваганьковской церкви, но Машура внутрь не заходила, ее как раз тошнило сильнее обычного. Слушала она с улицы стройное пение – Валерий Михайлович велел певчих каких-то особых оплатить.

В том же самом Ореховом зале, где справляли когда-то семидесятилетие, теперь собрались на поминки. Народу было человек шестьдесят, не одни только родственники. Стол был накрыт богато и старомодно – с блинами, киселем, кутьей и всеми православными примочками, в которых Валерий Михайлович оказался большим знатоком.

Трех тысяч почему-то не хватило, и Валерий Михайлович сам вызвался доложить сколько надо. И доложил. Машура порадовалась за него: он всегда казался ей каким-то скользким и подозрительным. Но, видно, прав был дед, что так его к себе приблизил – вел он себя в высшей степени достойно. Довольно рано закончилось поминание, и Валерий Михайлович пригласил всех родственников зайти на минуту на квартиру к Евгению Николаевичу. И пошли, ни о чем не спрашивая. Ясное дело, речь шла о завещании.

Маша открыла, вошла первая. Зеркало у двери завешено было белой простыней, и от этого прихожая как ослепла. Все утыкались глазами в эту неприятную белизну и отводили глаза. Родственников оказалась толпа: друг на друга не смотрели, а как-то в сторону – кто в окно, кто в стену. Розово-

голубые сестры и вовсе повернулись друг к другу спиной. Каждая чувствовала себя немного предательницей, потому что каждая была уверена, что раздел долей произойдет именно в ее пользу. Вокруг многодетной частоколом стояли четыре хмурые девицы. Присутствовал и брат двоюродный с женой, и шурин, и все племянники. Лена питерская приехала с мужем – десять тысяч под охраной домой везти. А Саша Козлов поехал прямо с кладбища по своим собачьим делам: какая-то знатная сука разродиться без него не могла, ему предстояло кесарево сечение производить. Потому его и на поминках не было.

Валерий Михайлович вынул из бюро бумаги и огласил. Завещание было коротким, как кинжальный удар. Всё свое имущество, движимое и недвижимое, он завещал своему племяннику Козлову Александру Ивановичу целево – на организацию и содержание собачьего приюта. Каждого из родственников – перечислены поименно, никого не забыл – он одарял коллекционной чашкой, включая четырех внучатых племянниц, частоколом стоящих возле голубой мамыши.

Маше была особо оговорена чашка супрематическая, работы ученика Казимира Малевича по фамилии Хейдекекель.

Доверенным лицом для производства всех продаж имущества, включая коллекцию часов, назначался Валерий Михайлович. Ему же предназначалась сумма в десять тысяч американских долларов – за многотрудную работу по ликвидации имущества и передаче основных денег в фонд организации собачьего приюта.

Машура тихонько вышла в коридор – удивительное дело, такой маленький ребеночек, всего двенадцать недель, а тошнит круглые сутки. Маша заперлась в уборной и сблевала – с утра уже восьмой раз.

Все тяжело молчали. Только Женя-Арахис, которая в родственницах не состояла, но нахально приперлась на интимнейшую семейную встречу, тихо взвизгнула:

– Всё собакам? Да в суд надо подавать!

– Видите ли, – вежливо пояснил Валерий Михайлович, – поскольку среди родственников нет прямых наследников, суд, скорее всего, не примет дело к рассмотрению. Но попытаться можно.

Машура подошла к горке, вынула странно квадратную фаянсовую чашку с асимметричной ручкой, потом положила ключи от квартиры на стол и вышла из комнаты.

Лена питерская тихо плакала, глядя в окно. Она плакала уже четвертый день, с тех пор как узнала о смерти Евгения Николаевича. Не в деньгах дело – он был такой... такой, какого у нее уж никогда не будет.

Но и ускользнувших денег тоже было жаль. Он бы дал, если б был жив...

Антон был в тихом бешенстве. Завел Машу на кухню, сказал, что надо опротестовывать завещание: какие собаки, у него родственников дюжина.

– Да никогда в жизни! – улыбнулась Маша. – Здесь, Антоша, нашего ничего нет. Если б он всё мне оставил, было б хуже... Не могу тебе объяснить – ничего этого в руки брать нельзя...

Все-таки Евгений Николаевич был действительно всех умней – Антон Машку оставил еще до рождения ребенка. А что собачки не получили тех двенадцати предметов, которые в сейфе сохранялись, оно не так страшно – им и так очень много досталось. Потому что в Сером Козлике Евгений Николаевич не ошибся.

Женщины русских селений

Стол был накрыт с роскошью бедняков: вся еда, приготовленная без соприкосновения с руками человека, была куплена в Зейбарс, в дорогой кулинарии на 81-й, приволочена Верой на своем горбу через весь Нью-Йорк в Квинс и разложена наспех в простецкие китайские плошки. Еды оказалось вдвое больше, чем нужно для трех стремящихся к похуданию женщин, а выпивки – на пятерых пьющих мужиков, которых как раз и не было.

Обилие выпивки образовалось случайно: хозяйка дома Вера выставила от себя водки обыкновенной, без затей, и еще одна стояла в шкафчике, и обе гости принесли по бутылке: Марго – голландский Cherry, а Эмма, москвичка командированная, – поддельный “Наполеон”, приобретенный в гастрономе на Смоленской для особо торжественного случая. Он и представился, этот случай, выпала эта безумная командировка, о которой она и мечтать не мечтала.

Теперь Марго с Эммой сидели перед накрытым Верой столом, а сама хозяйка вышла погулять с Шариком, который долго терпеть от старости не мог, а гадить в доме от благородства не смел и потому жестоко страдал от внутреннего конфликта... Сидели молча перед накрытым столом и ждали саму Веру, с которой Марго была очень дружна в американской жизни. Между собой Вера с Эммой были знакомы заочно. Благодаря Маргошиной болтливости многое друг о друге знали, но увиделись в этот вечер первый раз. Со вчерашнего вечера между Марго и Эммой пробежала какая-то давняя кошка, и Эмма старалась вспомнить теперь, почему она от Маргоши в давние московские времена иногда отдалялась, а потом снова к ней возвращалась, как к старому любовнику.

Остановилась Эмма не в гостинице, а у Маргоши, с которой не виделась ровнешенько десять лет. Родились они в одном месяце, жили в одном московском дворе и учились в одном классе, и до тридцати лет расставались разве что на несколько дней, а потом непременно вываливали друг дружке во всех подробностях все свои приключения за истекший период. В один год родившиеся дети сблизили их еще более – уложив детей, встречались на Эмкиной кухне, выкуривали по пачке “Явы”, исповедали друг другу привычно все мысли и дела, грехи вольные и невольные, и расходились, очищенные, сытые разговором, в третьем часу

ночи, когда спать оставалось меньше пяти часов.

Теперь, после десятилетней разлуки, они вцепились друг в друга и испытали такое счастье взаимопонимания, какое знакомо лишь музыкантам в хорошей джазовой сессии, когда каждый поворот темы наперед чувствуешь специальным органом, всем прочим людям не предоставленным. События жизни все были известны: переписывались хоть и нечасто, но регулярно. Однако много оставалось такого, чего в письме не напишешь, что понимается только с голоса, с улыбки, с интонации... Марго три года как развелась со своим алкоголиком, Веником Говеным, как она его называла, и проживала теперь эпоху выхода из тьмы египетской. Пустыня, в которую она теперь попала, предоставляла ей неограниченную свободу, но счастливой она себя не чувствовала, потому что место, которое прежде занимал Веник со своими пустыми бутылками в портфеле, в гардеробе, среди детских игрушек, с грубостью пьяного секса, с воровством семейных денег – детских, квартирных, каких угодно – это пустое место проросло ужасными ссорами со старшим шестнадцатилетним Гришкой и полным отчуждением десятилетнего Давида... И всё это она объясняла Эмке, а Эмка только квакала, качала головой, вздыхала и, практической пользы не принося, так страстно сочувствовала, что Маргоше как будто становилось легче. А потом Эмма хвалила ее за успехи в эмигрантской жизни, за великие подвиги, которые Марго действительно совершила, подтвердив свой диплом и уцепив скромную золотую рыбку в виде должности ассистента в частной онкологической клинике, с хорошей перспективой получить собственную лицензию и так далее... Долго объяснять.

Первые три дня, вернее, вечера, поскольку днем подруги разбегались по своим рабочим делам, были посвящены, главным образом, разбору полетов Веника Говеного, и Эмма только диву давалась, почему это отсутствие мужа совершенно равно его присутствию. Казалось бы, промучилась столько лет с плохим человеком, к тому же и алкоголиком, боялась развода, как полагается восточной женщине, набралась куража, развелась – и живи себе спокойно. Нет, теперь страдает, зачем так долго страдала... И также долго, с подробностями, всё это излагает... Но настал вечер, когда Марго наконец спросила у Эммы:

– А твои-то дела как? Что там у тебя с твоим героем?

И в голосе почудился искренний интерес.

– Всё, – вздохнула Эмма. – Рассталась. Окончательно. Начала новую жизнь.

– Давно? – восторженно спросила Марго, которая старую жизнь уже закончила,

но новая всё никак не начиналась.

– За день до отъезда. Восемнадцатого.

И она подробно рассказала, как встретила с Гошей последний раз. Как пришла к нему в мастерскую, всю заставленную из железа скрученными людьми, такими трагическими, понимаешь, как будто заблудившимися в материале, – случайно ожили не в теле, а в жестком металле, и страдают от своего ржавого несовершенства...

– Ты меня понимаешь?

– Вроде да. Так и что? Встретились...

– Тупик. Мы попали в тупик, и деваться некуда. Его дебилка жена, беспомощная дура, дочка одна больная, вторая просто психопатка, деваться ему от них некуда, а я только усугубляю всё... И от наших отношений всем только хуже. Да и пьет-то он от безвыходности...

Марго смотрела на Эмму своим армяно-азербайджанским взором, и легкий испуг превращался в тихое отвращение, пока не прорвался непристойным вопросом:

– Эм, а ты с ним, с пьяным, спишь?

– Маргоша, да я его трезвым за восемь лет, может, два раза видела. Он трезвым никогда не бывает.

– Бедная, – зажмурила свои преувеличенные очи Марго, – я тебя понимаю...

– Не понимаешь, не понимаешь, – замотала головой Эмма. – Он потрясающий, и не важно, пьяный, трезвый. Он – то, что нужно каждой женщине. Он мужчина до мозга костей. Он просто попал в ужасное положение. И меня туда завел, в это ужасное положение. Он ни в чем передо мной не виноват. Обстоятельства... Но я уже всё, решилась. Я выскочу. Я не должна ему мешать, он творческий, он особенный. Совсем не похож на инженерское быдло. У него весь мир другой. Конечно, я никого даже близко на него похожего не встречу, это ясно. Но он у меня был, это кусок моей жизни, целых восемь лет, и этого никто у меня не отнимет. Это – мое.

– А ты почему думаешь, что ты с ним навсегда рассталась? Ты мне три раза уже писала, что ты с ним порвала. И всякий раз – снова. У меня все письма твои хранятся, – невеликодушно напомнила Марго.

– Знаешь, я раньше только о том думала, как ему лучше. А теперь я посмотрела на это с другой стороны – о себе подумала. Теперь – ради моей жизни. Мне сорок исполнилось...

– Это я знаю, и мне, – заметила Марго.

– Так вот, самое время начать новую жизнь. Мы расстались – по моему

сценарию, понимаешь? Это я выбрала время и место. И мы провели нашу последнюю ночь... Которую я никогда не забуду. Потому что это выходит за пределы того, что обыкновенно происходит в сексе. Это – за пределом. Перед лицом неба. И эти железные люди, которых он сковал, они как свидетели... Ты себе не представляешь, что это значит – жить с художником...

– Не, не представляю. Венька – программист. Правда, очень хороший. Он совершенно не возвышенный, ты его знаешь. Он эгоист распоследний и, кроме компьютера и водки, ни в чем не нуждается... Ты, Эмка, всегда была необыкновенная, и любовники у тебя необыкновенные. Венгр какой был! Как его, красавец?

– Иштван.

– Да и муж твой, Санек, какой приличный был... Ты себе еще найдешь и замуж выйдешь... А я... – Марго засунула большие пальцы под лифчик, приподняла свое цветущее, но слегка поникшее хозяйство. – При всем при том... – Она встала, повернулась, покачала боками, чтобы весь чудесный ее кувшин – грудь, тонкую талию, убедительный крутой разворот крупы – подтвердить... – и на хер никому не нужно! За всю жизнь ни с кем, кроме Веника Говеного, не переспала. С восемнадцати лет... Объясни мне, Эммочка, почему так получается: роста у тебя нет, сисек на второй номер не соберешь, ноги, извини, кривые, почему у тебя всегда навалом любовников...

Эмка засмеялась добродушно, нисколько не обидевшись:

– За что, Маргоша, тебя люблю – за искренность. Хотя ответить могу – да я тебе это давно говорила. Армяно-азербайджанский конфликт. Ты его разреши сама в себе – ты женщина восточная или западная? Если восточная – не разводишься с мужем, а если западная – заведи любовника и не делай из этого проблемы...

Марго неожиданно обиделась:

– Да я же всю твою семью знаю, и маму, и бабушку, чем твои еврейки лучше моей армянской мамы? Чем это вы западные?

– Западная женщина себя уважает. Помнишь мою бабушку?

Марго, конечно, помнила. Уж да, важная была старуха Цецилия Соломоновна. Царица. Но ноги, между прочим, тоже кривые были... Может, правда, западная?

На этой вздорной ноте Марго собрала со стола посуду, вздохнула, взглянув на часы, потому что, как в московские времена, шел третий час, а вставать было в семь – и разошлись спать по комнатам: Марго в спальню, а Эмма в гостиную, где был новый гостевой диван, купленный после ухода

Веника, когда денег в доме стало как после большого выигрыша в лотерее...

Вера вошла – розовая, с молодым морщинистым лицом и плохо выкрашенными волосами. За ней – Шарик, вразвалку, по-старчески, и сел слева от Вериного кресла с лицемерным безразличием к накрытому столу.

“Вот парочка, не скрывающая своего возраста”, – подумала Эмма с симпатией.

Вера плюхнулась в плетеное кресло, оно тонко пискнуло. Протянула руку за бутылкой:

– Дата неровная, но я всё считаю по месяцам: сегодня семнадцать месяцев, как Мишка умер.

Она разлила, не спрашивая, водку по стопкам, и Эмма отметила, что стопки московские, хрустальные, сталинских времен.

– Царствие Небесное, Мишенька! – радостно воскликнула Вера и опрокинула стопку. Потом вздохнула: – Полтора года... Как будто вчера...

Взяла с блюда кусок копченой индейки, бросила собаке:

– Лопай, Шарик, это чистый яд для тебя.

Собака оценила хозяйский жест и, разрываясь между двумя острыми желаниями – немедленно благодарственно лизнуть руку и немедленно же проглотить загорелый кусок божественного вкуса, – заметалась... Сложный был у Шарика характер.

– Нажремся сейчас... – мечтательно произнесла хозяйка. – Давайте, давайте, девочки! С тех пор как Мишки не стало, я, кажется, ни разу не готовила еды... Всё в забегах. Марго! Ну, что ли?

И то ли оттого, что действительно проголодались, то ли оттого, что собака страстно стонала над индейской косточкой, набросились на еду, забыв о приличиях, вилках и паузах... Жор какой-то напал. Даже и не похваливали еду, молча и яростно жевали, подкладывали, подливали, и Шарик под столом оживился – ему тоже подбрасывали. И всё было такое вкусное – и рыба красная, и салаты, и пироги, и паштет... И вкус еды неамериканский. О чем Марго и сказала. Вера засмеялась:

– Неамериканский, конечно! Еврейский вкус у этой еды. Этот магазин, Зейбарс, еврейский. Мы с Мишкой его облюбовали сразу, как приехали. Дорогуший был. Денег тогда не было, мы по сто граммов покупали – форшмак, паштет, и хлеба черного в те времена в Америке еще не было, только у них. Здесь, в Америке, евреев из России называют русскими, зато русские, как я, отчаянно жидают, – засмеялась Вера, обращаясь к Эмме, которая местных условий не знала. – Бедная моя бабка накануне свадьбы

умерла, боюсь, от горя, что любимая внучка выходит за еврея... А мамочка всё говорила: “И пусть, что еврей, зато хоть один зять непьющий будет!”

И Вера захохотала звонко, и морщины просто в два букета собрались – на одной щеке и на другой, и – удивительное дело! – от них она еще больше помолодела.

– Сильно пил? – спросила Эмма. Вопрос этот ее глубоко занимал.

– Пил, как еще, – сморщилась Марго.

– Ох, да как пил! – Вера повернула свое улыбающееся лицо к большому портрету покойного мужа. Портрет был раздут со старой послевоенной фотографии. Качество неважное. Молодой солдат с косым кудрявым чубом из-под пилотки с папироской в углу рта. – Хорош, да? Всем был хорош. И пил хорошо. От цирроза печени он умер, Эммочка.

Марго положила свою большеволосую голову на мраморную с прожилками руку. Она была богиня, натуральная богиня, с римским носом, из лба растущим, нечеловеческого размера глазами и большими губами, наподобие лука изогнутыми:

– Верочка, Миша твой, конечно, был человек прекрасный, обаятельный и вообще – личность выдающаяся. Но ведь ты же мучилась как с ним из-за пьянства этого. Я-то знаю! Чего же хорошего в питье может быть? Ведь потеря человеческого образа! Нет разве?

Вера отставила пустую бутылку водки, незаметно как-то она пролетела, достала вторую, и всё с той же улыбкой:

– Глупости какие! Пьянство освобождает... Когда человек хороший, он пьяным только лучше делается, а если говно, то говнеет. Поверь моему слову, уж я-то знаю! Погоди-ка! Чего-то мне не хватает! – И Вера вскочила, покопалась на какой-то полке, достала кассету, включила. Голос вкрадчивый и убедительный пропел-проговорил: “Самогона взял ноль восемь, косхалвы, пару рижского и керченскую сельдь...”

– Мишка любил его... Собутельники были, друзья...

Но никто бедной гитары этой не слушал, и голос из прошлого висел в воздухе, а говорили о своем. И пили: Вера – водку, Эмма – фальшивый коньяк, а Марго – всего понемногу, мешая.

И, странное дело, постепенно менялись, все в разные стороны: Вера веселела, шла на подъем, Марго мрачнела, сердилась и как будто раздражалась, что это Верка так радуется, а Эмма смотрела на них, и ей казалось, что сейчас узнает она что-то важное, что поможет начать новую жизнь. И слушала во все уши, больше помалкивая. Тем более что алкоголь ее сегодня не очень брал.

– А, что ни говори! – Вера сделала рукой русский размашистый жест,

как будто собиралась “Барыню” танцевать. – В России все самые талантливые, все самые лучшие люди испокон веку – пьяницы! Петр Первый! Пушкин! Достоевский! Мусоргский! Андрей Платонов! Венечка Ерофеев! Гагарин! Мишка мой!

Марго выпучилась:

– Да Мишка-то твой при чем, Вера? Ну пусть Гагарин, черт с ним! Но Мишка, Мишка-то?

Вера вдруг сникла, посерьезнела, сказала тихо:

– Так он и был из лучших людей в России... Честный...

Но Маргошу несло, не остановишь:

– А Петр Первый при чем? Сумасшедший был! Сифилитик! Ладно, хоть император! Но Мишка твой вообще еврей! И чем он честный? Чем? Сколько ты из-за него говна скушала? Честный!

Марго теперь уже обращалась не к Верке, а к Эмке:

– Честный он! Слышать не могу! Сколько она абортот от него сделала, от честного! Сколько баб он успевал оприходовать, пока ты по абортариям корячилась! Да среди подруг ни одной не было, чтоб он не потыкал. Тьфу!

– Ну к тебе-то не приставал? – фыркнула Вера.

– Да почему ж не приставал? Ко всем приставал, а ко мне нет? Только ему у меня не обломилось! – гордо отрезала Марго.

– Ну и дура! Переспала бы с Мишкой, может, и с Веником получше бы пошло!

– Перестань. Мой Веник Говеный, но и твой Мишка тоже недалеко ушел. Старый бабник!

Шарик встал с трудом, подошел к Марго, вяло гавкнул. Верка захохотала:

– Девочки! Маргоша! Эммочка! При Шарике Мишку ругать нельзя. Загрызет!

Шарик понял, что его похвалили, подошел к хозяйке, раскрыл черную, на малиновой подкладке, пасть, ожидая награды. Вера кинула кусок французского сыра.

Марго, угасив ярость крови, выпила рюмку коньяку:

– Мне, Вер, обидно, он что хотел делал, изменял направо-налево, а ты его любила, всё прощала. Я бы его убила! Если у меня муж, я его люблю, а он мне изменит, я его зарежу к чертям собачьим!

Неужели в Америке, в другом свете, в городе Нью-Йорке, в одна тысяча девятьсот девяностом году происходит глупейший этот разговор, бабий, кухонный, того и гляди до драки дойдет, изумлялась Эмма,

разглядывая старую свою подружку, которая почти не изменилась. Кем Марго была, тем и осталась – армянкой с азербайджанской фамилией, из-за которой армянская родня всю жизнь на нее косо смотрела. А отец, Гуссейнов Зарик, разбился в горах, когда Марго было всего шесть месяцев... Никуда не денешься, паспорт американский, а мозги всё равно кавказские: всех накормит, всё раздаст, а не поздравь ее с днем рождения, такой скандал поднимет, что до следующего года не забудешь... За-ре-жу!

– Марго, ты ничего не понимаешь! Дело только в тебе самой! Ты просто не умеешь любить! А когда любишь, то всё прощаешь... Всё-всё...

– Но не до такой же степени! – взвизгнула Марго, встряхнула симметричными кудрями. – Не до такой!

Вера налила водки в стакан для воды, неполный, половину. В задумчивости держала его, смотрела на портрет наискосок от нее, и вроде как на нее обращен взгляд молодого Мишки, с послевоенным чубом – таким она его не знала, позже познакомилась – от послевоенной, второй жены увела для своего, как казалось, единоличного употребления. И ошиблась, ой как ошиблась! Он и к военной жене Зинке бегал, о чем она знала, и к послевоенной, Шурочке, и еще к одной... Она смотрела светлым взглядом на портрет, на Марго...

– Дурочка ты. Послушай. Я Мишку любила всеми своими силами, и телом, и душой. И он меня любил. Ты даже не понимаешь, как мы любили друг друга. Трезвыми любили и пьяными. И особенно – пьяными. Он был великий любовник. Он мне не изменял, он просто спал с другими бабами. И я его совершенно не ревновала. Ну, почти не ревновала, – поправила она. – Только в молодые годы, пока не понимала... У него был талант любить. А когда этот цирроз на него накинудся, тут уж мы любили друг друга совсем без памяти, потому что времени почти не оставалось... Мы знали оба... Девчонка у него завелась в больнице, медсестра, влюбилась в него напоследок. А, да я всё знаю, он и не скрывал. Переспал с ней. Потом говорит: “Нет, больше не хочу никого. Времени мало, выписывай меня, дома буду умирать. С тобой”. И трахались – до слез. Он всё говорил: “Какой я счастливый – с семнадцати лет на фронте, с сорок третьего года, – и выжил. Провоевал всю войну – никого не убил. В ремчасти был, танки ремонтировал... Бабы всегда любили. Сел в сорок девятом, из института взяли, – вышел живой. И опять бабы любили. И ты, радость моя... – так говорил, – радость моя! И ты, радость моя, меня полюбила. Молодая, девчоночка совсем, вцепилась в старого козла, своего

не упустила, умница... Дай, – говорит, – быстренько створочки потрогать... а коленочки какие, а плечики какие, не знаю, за что вперед хвататься...” За два дня до смерти говорил... А мне-то уже за полтинник перевалило! Какие плечики, какие коленочки, ничего такого уж нет... Дура, дура ты, Марго, всё ты проворонила, ничего не видела... Любить ты не умеешь, вот что, вот она, беда твоя. И Веник твой ни при чем! Ему не повезло, твоему Венику. Может, другая баба его полюбила бы и любить научила... Да что ты за баба, ботва одна...

Марго заплакала, сраженная пьяной правдой. Может... да? В ней дело было? Может, Веник и не пил бы, если б она его так любила, как Верка своего Мишку? Может, пил бы, но ее, Марго, страшно любил... И не было бы этого стыда и срама пьяных соитий, когда лежишь, исполненная ненависти, а на тебе девяносто килограмм дергаются, посухому бьют, как на кол насаживают, и грудь в синяках, как после побоев, бурные следы потом год проходили. И вонь перегарная, и запах низа, от которого тошнота подкатывает, и качает, как в трюме, и только бы до сортира добежать, чтобы выbleвать всё в его сияющее белое нутро... Что? Мало? Еще тебе? Убери свой дырн ненасытный! Куда? Еще чего?

И Эмка тоже заплакала: что же она наделала? Гошенька! Я люблю тебя, как никого не любила! Как никто никого никогда... Нет, нет, не хочу никакой новой жизни. Пусть будет эта, с вечно пьяным Гошей, с ежедневным отчаянием, с тревогой, с ночными поездками туда-сюда, “скорой помощью”, со спасительной утренней четвертинкой, с горячим пирогом, в газеты укутанным. И с презрительным взглядом дочки: опять понеслась? И всё – без надежды на какую-то нормальную жизнь, всё – без отдачи, то есть без признания, без благодарности, безо всякого расчета, просто отдаешь – и всё!

– Просто отдаешь – и всё! И не думаешь, что тебе взамен этого дадут! – декламировала Вера, сияя пьяным светом и утробной бабьей мудростью. И разливала по стаканам, а не по стопочкам хрустальным. И прикуривала одну от другой, и заталкивала недокуренную сигарету в огромную пепельницу, пригодную больше для общественной курилки, чем для домашних нужд одинокой вдовы. Погасила сигарету, встала во весь большой рост, покачнулась, схватилась за край стола, и стол покачнулся, но не упал. Удержалась. И пошла, скользя по полу, как по катку, хохоча, придерживаясь за стену, в уборную.

– Напилась Верка, – прокомментировала Марго, и немедленно из ванной раздался грохот и громкое восклицание: упало сразу несколько предметов, среди них один – крупный. Маргоша и Эмма вскочили – бежать

на помощь, но как-то не побежалось. Они наткнулись друг на друга, сдержав неуместный бег, и неверно пошли в ванную комнату. Там, на полу, барахталась Верка, растирая знаменитую коленку и приговаривая:

– Вечно разбрасают тут тряпок на полу, потом спотыкаешься... Маргоша, ну что ты как корова, ей-богу, все флаконы мои перебила.

На полу и правда посверкивали мокрые стекляшки, и пахло духами, мощными, как противотанковый снаряд...

Верку подобрали с полу. Она немного буянила, но весело, и всё требовала еще чуть-чуть добавить. Но бутылки все были пустыми – и обе водки, и коньяк, и ликер, и неизвестно откуда взявшаяся бутылка французского вина, которую выпили, не заметив ее выдающейся этикетки...

– Надо сделать обыск! У Мишки всегда было спрятано... В Москве, перед отъездом, гэбэшники делали обыск, так они бутылок спрятанных нашли больше, чем книг...

Вера открыла все ящики письменного стола:

– Правда, здесь я всё обыскала уже не по разу... Но есть же где-нибудь! Мишенька! Ау! – обратилась она к портрету мужа, воздев длинные, слегка обвисшие в плечах руки.

Потом встала на колени, но не перед портретом, а перед книжным шкафом, отодвинула стекло и начала с нижней полки вытаскивать книги ползущими стопками. Оголила нижнюю полку – ничего там не было.

Эмма с Маргошей стояли, упершись друг в друга, как два склоненных друг к другу дерева, толстое и тонкое. Маргошу обуяла икота.

– Попить надо, – посоветовала Эмма.

– Да я ищу. Должно же быть где-то. – Вера лежала на полу, на спине, и сбрасывала книги ногой, уже со второй полки снизу. Одна книжка распалась надвое и звякнула. Книжкой она только прикидывалась, это была одна обложка, а в ней стояла бутылка, початая бутылка водки.

Вера схватила ее, прижала к груди:

– Мишенька! Дружок ты мой верный! От меня прятал! Да чего от меня прятать-то? Вот она я!

И они разлили эту последнюю водку, от Мишеньки привет, и больше пить уже не могли. Совершенно не могли. Потому что полны были алкоголем до самого края, до верхнего предела женской возможности. Верка, перед тем как отключиться, велела отвести ее в Мишкин кабинет и, пока ее вели туда, совершала свои последние пьяные признания, а может, и не признания, а только мечтания:

– А меня на кушеточку, к Мишеньке в кабинет. А я себе кавалера

завела, пуэрториканского паренька, справный такой. Так я его непременно на эту кушеточку заваливаю. Здесь Мишкой пахнет. А Мишка смотрит, как он меня... тридцать пять лет ему, молодой... как он меня дерет... Мишка радуется... Радуйся, говорит, моя радость, радуйся! Вот как он говорит...

Маргоша потом долго вспоминала, говорила Верка про пуэрториканского любовника или по пьяному делу причудилось...

Верку взвалили на кушетку. Шарик, давно уже здесь храпевший, недовольно подвинулся, и Маргоша с Эммой отправились в спальню, где еще до начала праздника расстелена была для них супружеская постель, широкая, как Веркина русская душа, и такая же мягкая...

Марго, последняя порядочная женщина на континенте, которая еще носила кружевную комбинацию, целомудренно вытащив из-под нее лифчик, плюхнулась в ностальгическую перину, эмигрировавшую вместе с Веркой из московского пригорода, из Томилина, где и по сей день на таких же перинах спали Веркина мамаша и две старшие сестры. Эмма сняла с себя всё, голая скользнула под простыню, и тотчас же всё закачалось и начало проваливаться то в одну сторону, то в другую...

– Ой, как плохо, – простонала она.

– А кому хорошо? – отозвалась Маргоша. – Главное, ты не засыпай, пока не пройдет. Бедный Веник, неужели ему каждый день вот так плохо было?

– Еще хуже, – прошептала Эмма. – Утром всегда еще хуже, чем вечером. Бедный Гоша...

На Маргошу напала вдруг такая неизъяснимая нежность, непонятно даже к кому, чуть ли не к Венику Говену, и она шмыгнула носом, потому что слезы готовы были поползти, и обняла Эмму за худую спину. Она была тонка, как рыбка, и такая же гладкая, только не мокрая, а, наоборот, сухая, как печенье, и скользила под рукой. И Маргоша начала гладить ее, сначала по спинке, потом немного по плечам, и на нее наплыла такая горячая, такая сильная волна, и понесла ее в неизведанном направлении... Эмка только стонала, всё “ой” да “ой”, но лежала тихонько, совсем не двигаясь, а Маргоша, приподнявшись, гладила по незначительной груди и дивилась, почему так прелестно ее трогать, как будто всё это подростковое тело только для глажки и сделано. Она приложила губами к ее шее, и кожа ее пахла не взрывными Веркиными духами, от которых по всей квартире стоял смрад, как от горелого молока, а чем-то таким, от чего дух захватывает до самой сердцевины. Ну да, именно до сердцевины. И Маргоша чувствовала, как будто внутри живота у нее распускается

какой-то цветок и стремится к Эмке, и она плавилась от наслаждения, и прикоснулась к Эмкиной груди сначала губами, а потом пальцами нежно, около кнопки соска...

А Эмка стонала, плыла неизвестно где, и желудок ее качался отдельно, и очень хотелось блевать, но для этого надо было остановиться, сделать какое-то усилие, но качка была такая сильная – не остановишь... А что чьи-то руки ее гладили, она не чувствовала, все ощущения сосредоточились в желудке и немного в горле...

А цветок Маргошин набухал и готов был вот-вот раскрыться, она прижалась животом к Эмкиному боку, а пальцы ее наслаждались прикосновением к плотной Эмкиной груди... такая плотная железа... нижняя доля пальпируется... и тяж вверх к соску... и слева – второй... уплотнение, и еще одно... классическая картина... канцер! Можно без биопсии – на стол. Маргошу подбросило.

– Эмка! – заорала она. – Эмка, вставай! Вставай немедленно!

Хмель слетел, как не бывало. Всё слетело... Она стояла в желтой кружевной комбинации, с обвисшими и совершенно здоровыми грудями, маммографию два раза в год делала, как цивилизованная женщина, подхватила Эмку под мышки, устанавливала ее на тряпичные ноги, трясла и продолжала орать:

– Да стой ты, чертова кукла! Ровно стой! Руки разведи вот так! Да подмышки мне твои нужны, а не локти! Плечо держи!

И цепкими пальцами впивалась в сухую подмышечную впадину, влезала в самую глубину – лимфатическая железа слева была уплотнена, увеличена, но не очень сильно. Справа железа была спокойная. Нажала на левый сосок.

– Ой! – отозвалась Эмма.

– Больно?

– А ты думала... – буркнула Эмка и завалилась на кровать.

Пальцы у Маргоши стали влажными.

– Слушай, у тебя выделения из соска давно?

– Отстань, меня и так тошнит. Дай попить.

Маргоша поволокла ее в ванную. Эмму вырвало. Потом она пописала. Потом Марго запихала ее под холодный душ. Сегодня в клинике дежурил Мортон, самый лучший из врачей. Старик опытный и симпатяга. Повезло.

Марго вытащила Эмку из-под душа. Та смотрела совершенно осмысленно.

– Быстро собирайся, едем ко мне в клинику.

– Маргоша, ты с ума сошла, что ли? Никуда не поеду. У меня сегодня

выходной.

– У меня тоже. Быстро собирайся. У тебя в молочной железе черт-те что. Срочно надо проверить.

Эмка сразу всё поняла. Сдернула с вешалки полотенце, вытерлась насухо. Потыкала пальцем в левую грудь.

– Здесь?

Маргоша кивнула.

– Чайник поставь и не пори горячки. Как ты думаешь, если я в Москву позвоню, это очень дорого?

– Звони. Знаешь, как набирать?

Марго принесла трубку. Эмма набрала код, потом московский номер. Гоша долго не подходил.

– Который там сейчас час? – опомнилась Эмма.

– Здесь полшестого, плюс восемь. Полвторого, – вычислила Марго.

– Гоша! Гошенька! – заорала Эмка. – Это я! Эмма! Да, из Нью-Йорка! Я всё отменяю! Я наш развод отменяю! Это глупость была. Прости меня! Я тебя люблю! Ты что, совсем пьяный? И я! И я тоже! Я скоро приеду! Ты только люби меня, Гоша! И не пей! Я хочу сказать – много не пей!

– Мне полчаса надо, чтоб собраться. Нет, сорок пять минут. Я такси на шесть пятнадцать заказываю. – И Марго взяла трубку из Эмминых рук.

– Слушай, а зачем такая спешка? Что, правда, так срочно?

– Срочнее некуда.

В дверях стоял Шарик, которому по старческому делу сильно приспичило. Стоял и ждал и улыбался, вывалив умильно язык. До прихода такси надо было этого старого дурака вывести...

Цю-юрихь

Три полных рабочих дня просидела Лидия на лавочке с раскрытым учебником немецкого языка. Оказалось, что всё она рассчитала правильно и свой отпуск потратила не зря. К концу третьего дня из выставочного павильона вышел загорелый полненький мужчина, окруженный тонким сиянием, и сел рядом с ней. Сиял он, однако, не сам по себе, а переливчатым серо-голубым пиджаком. Пахло от него бодрой сосной, туфли на нем были женского серого цвета, в фасонистых дырочках. Всю эту картину, включая дырочки, Лидия ухватила первым же цепким взглядом, даже заметила рахитичный, выступающий немного вперед лоб и красную жилку в левом глазу. Она уткнулась в раскрытый учебник, придерживая его с поворотом, чтобы обложка была видна.

Мужчина, по-рыбьи раскрыв рот, немедленно сглотнул наживку:

– О, ди дойче шпрахе!

И заулыбался. Далее разговор потек ручейком тонким, но уверенным. Господин сообщил, что он швейцарец из Цюриха, представитель фирмы, производящей краски, имеет дом в пригороде и любит животных. Лидия, со своей стороны, рассказала о себе – этот рассказ она давно уже подготовила, выучила наизусть и отрепетировала: педагог, работает с детьми, занимается немецким языком на курсах, понедельник, среда, пятница, просто для удовольствия.

– В немецком языке мне очень нравится порядок, всё на своих местах, особенно глаголы...

Швейцарец расплылся – о, он тоже изучал иностранные языки и тоже считает, что немецкий самый рациональный...

Сотрудники наружного наблюдения заняты были свыше всякой меры: выставка международная, со всего города съехалась фарца, грудастые ласточки, пионерки международного бизнеса, привезли свой свежий товар в шелковых розовых трусиках на грубых резинках. Лидия могла быть совершенно спокойна – никому бы в голову не пришло, что и она здесь на охоте.

Действительно, к налетевшим сюда девушкам она не имела никакого отношения. Возрасту ей было за тридцать, красоты за ней никакой не водилось, напротив даже, нижняя губа была вытянута вперед лопаточкой, нос несколько нависал, и, вращаясь она в европейских монархических кругах, губа ее считалась бы габсбургской, но поскольку

она была родом из деревни Салослово, то прозвище у нее с детства было Лидка-гусыня. Двумя заметными ее достоинствами, кроме немецкого языка, были густые, в светлый слоистый пучок уложенные волосы и тончайшая талия, еще и утянутая широким лакированным ремнем до состояния полуперепиленности.

Разговор шел неторопливо и весь в нужном направлении, но в какой-то момент швейцарец взглянул на свои швейцарские часы, и Лидия испугалась, что он просто так встанет и уйдет, сказавши ей ауфвидерзеен. Но он видерзеена не сказал, а, напротив, предложил посмотреть на его стенд и выпить чашечку кофе.

Лидия скромно улыбнулась, сверкнув двумя золотыми зубами в глубине узкогубого рта, убрала учебник и на мгновение задумалась: в сумочке у нее лежали перчатки, белые, нейлоновые, с оборочкой, точь-в-точь как на блузке – надеть, что ли... Перчатки – это шикарно, но не слишком ли... Не решившись их натянуть, она всё же вытащила их и сжала в горсти.

– Моя гостья, – кивнул швейцарец охраннику, и Лидия, поигрывая перчатками, прошла за ним следом.

Он ввел ее в закуток своего стенда. Сердце Лидии зашло от восторга, так весело ей было смотреть на образцы малярных красок, которыми торговал полненький швейцарец.

– Как красиво! – воскликнула она, и в искренности ее нельзя было усомниться. Хотя среди многих ее достоинств, включающих даже и простодушие, искренности как раз и не было. Скорее она была хитровата. Вот именно, простодушна и хитровата. Но если говорить о стратегии ее жизни, то именно в данном случае она собиралась хитрить, и охмурять, и даже обманывать. Ничего этого ей и не понадобилось – господин ей ужас как понравился.

“Не расслабляться, только не расслабляться”, – скомандовала себе Лидия.

Он предложил ей сесть, сам присел, слегка сторбившись, в роскошное кресло красной пластмассы и неопределенно улыбнулся. С чего это он пригласил в павильон эту незнакомую женщину, вроде не клиент, и собой нехороша...

– Вам нужен массаж. У вас остеохондроз! – воскликнула она решительно и, не давая опомниться, вцепилась ему в холку и забегала маленькими крепкими ручками по толстому загривку. Он от ужаса зашелся. Сидел, выпучив глаза и хватая воздух.

Лидии катастрофически не хватало немецких слов. Слова

“расслабиться” она не знала, но понимала, что инициативу никак нельзя упускать и нельзя молчать, надо что-то говорить. И она говорила. Сначала она пересказала текст из учебника по истории Москвы, потом биографию Пушкина. Между делом она сняла с него переливчатый пиджак, похвалила материю. Он пытался протестовать, но под ее напором быстро увял и так расслабился.

– Я имею диплом массажиста – массаж физкультурный, массаж лечебный, я даже изучала китайский массаж, – заявила она. И, видимо, не соврала: движения ее были уверенными и энергичными.

Ему и в Швейцарии приходилось иногда принимать сеансы массажа, дело это было недешевое. И насчет остеохондроза она была совершенно права – был у него остеохондроз.

Минут пятнадцать она гуляла по нему своими пальчиками, и очень приятно, только дверь была приоткрыта и он немного беспокоился, не увидит ли кто из посторонних. Но никто не сунулся, и когда она закончила, приятно обхлопав его через рубашку, ему ничего не оставалось, как поблагодарить. Дама была в высшей степени странная – но милая, решил он.

Настало время кофе. Он покрутил разогревшейся шеей, решил, что, кроме кофе, угостит ее еще и шоколадом. Был у него запас и плиточного, и в конфетных изделиях – для угощения хороших клиентов.

“Главное – не терять инициативу”, – сосредоточилась Лидия и, пока швейцарец готовил кофе, составляла в уме приглашение.

– Я буду рада пригласить вас ко мне на обед. Я имею диплом повара, – объявила Лидия. – Кухня европейская, кухня народов СССР, диетическое питание. Я имею разрешение работать поваром в ресторане.

Это было очень хорошее попадание. Швейцарец давно уже мечтал завести собственный ресторанчик, но обстоятельства жизни препятствовали.

– Так вы массажист или повар? – вполне живо поинтересовался швейцарец.

– И то, и другое. Хотя в настоящее время я преподаю историю нашего города, – сказала она со скромной гордостью. – Я педагог.

Всё в точности соответствовало действительности. Лидия второй год вела краеведческий кружок при районном Доме пионеров. Зарплата была никудышная, но зато оставалось много времени для многочисленных ее занятий, а деньги она зарабатывала то шитьем, то вязаньем, то продажей кое-чего. Да и что деньги, много ли в них проку. Лидия с детства жила за интерес. И главный в жизни интерес был у нее учение.

– О, я с удовольствием приду к вам на обед, – засиял швейцарец и вынул не ту коробочку с конфетами, которую сначала собирался поставить, а другую, побольше. Лидия показалась ему интересной.

Начала Лидия с занавесок. Как пришла, сразу сдернула все занавески – и в таз. Стирку Лидия любила больше всех других хозяйственных дел. Считала, что это занятие успокаивающее, и, когда случалась неприятность или просто было плохое настроение, она бралась за постирушку. Но теперь как раз у нее настроение было отличное, боевое, как перед важным экзаменом. И что-то подсказывало ей, что, как и все другие экзамены, – а сдала она их сотни, – и этот, нешуточный, она сдаст. Только бы швейцарец пришел...

Она сразу же, еще до дома не доехав, поняла, что дала промашку, неправильно с ним уговорилась: надо было бы так, чтоб за ним заехать. А то мало ли что, забудет или дела, Большой театр или ресторан “Националь”... Какие у них, у иностранцев, еще заботы в Москве. Ну Третьяковская галерея...

Пока стирала занавески, Лидия всю программу досконально обдумала. Конечно, без Эмилии Карловны не обойтись. У нее надо позаимствовать кое-что для приема. На закуски не напирать, икру, конечно, купить, ну граммчиков двести осетрины горячего копчения, а в основном – настоящий русский стол... уха, пирожки... может, курник... бефстроганов тоже неплохо... но и не перемудрить. В общем, задача... И что надеть? Тоже момент очень существенный – не упустить бы самого важного...

Два дня Лидия рук не покладала. Всё успела: и в “Прагу”, и на Центральный рынок, и к Эмильке за серебром. Эмилька бровь подняла: мол, зачем это, не понимаю, но отказать не отказала – вынула из горки два серебряных прибора, две лопаточки, две вилочки, вазу для фруктов в два этажа, с пикой наверху. Лидия знала, как ее снаряжать правильно: виноград наверх кладешь, одну кисточку, и свешиваешь немного занавесочкой такой... Вниз же два персика, грушу и слив штук пять. И никаких яблок. Другое дело, была бы зима, тогда яблоки антоновские, и не на вазе, а моченые, в капустке с клюковкой... И икорницу эмалевую попросила – вот глаза-то выпучит!

А откуда всё это Лидия знала, все эти большие тонкости про сервировку стола, про стирку, подсинивание и подкрахмаливание и про то, как правильно мужскую сорочку сложить, и как на зиму вещи сохранить от моли, и как таблетку ребенку раздавить, а потом – на кисель, и многое другое, то это отчасти от Эмильки, которая всему ее сама обучила,

отчасти из курсов, а остальное из воздуха, само собой, потому что красoty у Лидии не было, зато ума палата. Это она про себя давно знала. Из всех людей, с кем она была знакома, одна только Эмилька была ее умней, а про других, бывало, покажется, вот, умнейшая женщина, а потом всё же оборачивалось, что не умней ее, Лидии. Хотя про себя Лидия знала: кое-какие глупости по части мужиков она себе позволяла – и с Колькой, и с Геннадием. Но давно. Теперь на нее нашло озарение, что она всю жизнь не в ту сторону смотрела, куда надо бы. Но, как известно, лучше поздно, чем никогда.

Опаздывал Мартин уже на полчаса, и Лидия, в чистой своей квартире, в белейшей блузке, перед накрытым столом, всё металась от двери к окну и себя ругала на чем свет стоит: как это она глупо договорилась, зная бы заранее, что так будет, лучше было бы заехать за ним в Сокольники, на самую выставку, и сюда приволоочь...

Но сколько Лидия ни нависала над окном, гостя своего она пропустила, потому что он не с той стороны зашел, с переулка. Сбился от метро “Бауманская” не на ту сторону, дурачок, и по жаре сорок минут топал туда-сюда, пока две школьницы его на нужное место не вывели.

Он позвонил в дверь и был с цветами, розами. Штук не три, пять, семь, а двенадцать – не по-нашему. Стоит в дверях весь мокрый, со лба течет, и рот открыт, дышит сильно... “Сердце не очень-то”, – сразу с беспокойством подумала Лидия. Глаз у нее был наметанный, и медицинские курсы она тоже проходила, тогда на массаж без медучилища не брали, а ей массаж позарез как хотелось...

– Ихь варте инен зо ланг... – вот что сказала Лидия, а он – извиняться. Но глазами так и ходит, так и ходит...

Разрешите, говорит, снять пиджак.

Пиджак опять серый, но другой, без сияния. Снимает. Лидия его на руки принимает, а он гладкий, как шелк. Может, правда, шелк? Швейцария – самая богатая страна. Эмилия еще когда говорила, что там у них банков больше, чем у нас пивных... На голубой рубашке у Мартина – подмышки и спинка синие, вспотел, бедный. Вот, ванной-то нет. Дом пролетарский, спасибо, хоть уборная своя, отдельная.

И тут на Лидию как вдохновение нашло. Присаживайтесь сюда, минуточку... Он сел в кресло, куда она ему указала, и смотрит на ее стол, как на музейную витрину, рот опять слегка открыт, видно, привычка у него такая.

А Лидия – шасть на кухню, и в таз воды до половины, и вносит небольшой такой тазик на вытянутых, и ставит на пол, прямо перед ним.

А потом присела аккуратненько, разрешите, извините... и снимает с него серые ботиночки и носочки, тоже серые...

Швейцарец глаза выпучил и губами шлепает: вас? вас? А ни вас... У нас, говорит Лидия, так принято: в жар холодная ножная ванна исключительно полезна... И компресс прохладный на лоб... Я, говорит, как медработник это знаю... По-немецки, кой-как, но он всё понял, головой своей лысой кивнул: я-а, я-а...

А ножки, ножки какие, какие пальчики. Маникюр, что ли, на ногах делает? Как вспомнила Колькины копыта, прель на ногтях, ничем не выведешь, – от сапог, он всё говорил. От сапог вся вонища-то, мой, не мой – без разницы. Хоть кирза, хоть хром, который мужик в сапогах, само собой воняет...

Лидия, как пальчики его увидела, всё сразу наперед поняла: сейчас жизнь решается.

Улыбается Лидия тонко. От улыбки нос совсем на губу налезает. Не красит. Да она умная и это знает – улыбается, головку опускает и чуть отворачивает. Мы, говорит, на Востоке живем, у нас в России так принято.

Он что-то в ответ, но сложновато говорит, вроде одобряет, а слова непонятны. Ничего, ничего, все слова выучу, подумаешь... Вон, словарь-то на полке, большое дело.

Ногу на полотенце, промокнула, носочек натянула, расправила, второй... Ботинок мягкий, гладкий, из чего они их делают, такую кожу да хоть на рожу... А лицо у него – нет лица: одно изумление и непонимание. Вот и хорошо – удивила.

Салфетка – в кольце серебряном, на вилке – монограмма немецкая. О-о... Готический шрифт... Ка Эр...

Да. Кристина Рунге, моя бабушка из Риги... Кристина Рунге – бабушка Эмилии Карловны. Значения не имеет. Швейцарец бровь поднял: очень интересная женщина, однако.

Приятного аппетита. Закуски, пожалуйста, – на чистом немецком языке. Все эти маленькие застольные словечки Лидия наизусть знает с первого года, как пришла к Эмильке в прислуги. Эмилька тогда пятерых деток держала, вроде частный детский сад. Этих первых она отлично помнит, еврейские детишки все, как на подбор: две сестры – Маша и Аня, Шурик, Гриша и Милочка. Их утром приводили с судочками, всех к девяти, а Милочку к половине десятого, прадед, старый, как мох на пеньке. Эмилька их гулять вела в скверик, а к половине двенадцатого обратно, Лидия их раздевала, ручки мыла, в комнату вела. До обеда полчаса, пока Лидия судочки грела, в немецкое лото играли и только по-немецки

говорили. Их хабе нуммер айнундцванциг... И обедали по-немецки. Гебен зи мир битте... Данке... энтшульдиген... дас ист гешмект...

Потом Лида посуду мыла, а у детей мертвый час: девочки на большую кровать, втроем, Шурика на кушетку, Гришу – на кресло-“дешез”. Спят, не спят – значения не имеет. Главное – ни слова, мертвый час. Это дисциплина такая. Встали, умылись – чай. К чаю печенье, это Эмилька от себя давала. Лидия это печенье хоть с закрытыми глазами: два желтка стереть с полстакана сахара, сто грамм шоколадного масла добавить...

О, икра! Да, пожалуйста... Икра бывает астраханская и бакинская. Эта астраханская, я ее предпочитаю. Она не черная, а серая, и зерно помельче. Очень нежная. Пожалуйста, пожалуйста. Берите масло. Вологодское масло. Попробуйте – вкус ореха чувствуете? Самое лучшее масло в России. Я знаю, что швейцарские молочные продукты очень хорошие. Но это русское масло превосходное. Перфект. Зеер перфект. Калач – особый русский хлеб. Айн руссише бротхен. Маленькая рюмка водки. Маленькая. Будьте здоровы! Прозит!

Он берет всего помалу, на язык пробует, к десне прижимает, лицо осторожное – ну точно как Эмилька. Может, он тоже из латышей? Головой кивает, руку в сторону отвел.

Угорь. Первое слово в любом немецком словаре. Ааль. Обитает в Балтийском море. В Швейцарии ааль не водится, не правда ли?

Помидор, фаршированный овечьим сыром. Это болгарское блюдо. Я изучала на курсах кухни народов мира. Какое популярное швейцарское блюдо? Фондю? Лазанья?

Нет, это во французской Швейцарии. Мы живем в немецкой, в моем регионе любят картофельный пудинг. Это я должна посмотреть в словаре...

Исключительная женщина. Какие красивые волосы. Если распустить, это целое богатство, наверное, ниже пояса.

А как он ел! Медленно, аккуратно, салфеточка на коленях, ножом-вилкой не гремит. Как будто его сама Эмилька учила. Не для утоления голода, а просто для красоты, ну как на пианино люди играют или танцуют. Наши так не едят, хоть убей их. Но Лидия как раз умеет, всему у Эмильки научилась.

Закусочные тарелки унесла на кухню. По дороге завернула к вешалке, понюхала его пиджак, вдохнула – и аж низ загорелся.

Пока она на кухне уху из кастрюльки в супницу переливала, Мартин всё решал задачу: ничего у него не сходилось – угощение невиданное, он икру и не пробовал никогда в жизни, и в голову не приходило, сервировка царская, музейная, можно сказать, а квартира-то нищенская,

убожество. Загадочная женщина... А ноги? Как она ему ноги помыла! От нее многого можно ожидать... Он восемь лет ходил к одной польке, пока на Элизе не женился, и двести франков ей давал, так она даже бутылки минеральной воды ни разу не купила, он всё приносил сам – и воду, и кофе, и печенье... Не зря говорят: загадочная русская душа.

Он не такой молодой потом оказался, хотя свеженький, полненький, лет ему уже сорок восемь было. Но лицо очень гладкое, совершенно без морщин, загар ровный. Только темечко лысое. В остальном же очень, очень приятный мужчина. Там, в Швейцарии, как выяснилось впоследствии, все такие, приятные, чистенькие, порядочные – это Лидия уже потом узнала.

В тот момент она только одно понимала: здесь таких не бывает, и хоть сто лет ищи, здесь ей такого не достанется. Может, у артисток или у певцов такие мужчины, но она лично здесь таких не наблюдала ни у Эмильки в доме, ни в поликлинике, ни в педучилище, ни в университете марксизма-ленинизма. Нигде.

Рыбный, рыбный стол. Разве швейцарца мясом удивишь? Уха стерляжья с расстегаем... Но и не слишком. Кабачок – легкое овощное блюдо. Соус бешамель.

Если иметь такого партнера, как эта Лидия, то ресторан можно открывать хоть завтра. Не в центре Цюриха, конечно, но в каком-нибудь приятном месте, вроде Цолликон или Кильхберг... Лидия – приятное имя... Изящное имя. И фигурка изящная. Талия... Все-таки есть прелесть в небольших женщинах. Элиза, с ее ростом, шириной, никогда не выглядит изящной. Он поморщился.

Лидия встрепенулась: вы не любите овощи? Очень люблю. Особенно картофель. Знаете, я рос в деревне, и была война. Не думайте, что, если Швейцария не воевала, мы жили очень хорошо. Мы плохо жили во время войны. Еда была картофель и молоко. Здоровая еда. Но крестьянская, простая. И мало. Вы потрясающе готовите. Вы не работали в ресторане? Могли бы быть шефом.

Нет, я готовлю только для друзей, я очень люблю угощать друзей. Вот, получай, немчура. В России люди ходят в гости очень часто, угощают друг друга, пекут пироги.

У вас много друзей? Не очень. Я люблю всё самое лучшее, поэтому у меня не очень много друзей. О да, качество имеет большое значение. Это основа всего – качество. Фирма, которую я представляю, существует шестьдесят лет, потому что производит краски очень хорошего качества.

Фирма принадлежала Элизе, и здесь был корень всех зол. Если бы

фирма была просто чужая, ничья, хозяйская... Или если бы фирма принадлежала ему, Мартину... Но он был в таких крепких объятиях своей лакокрасочной супруги, что иногда просыпался от ужасного сна, будто влип в краску и не может из нее вытащить ноги, старается, рвется, а потом замечает, что ноги-то не его, а мушиные...

Разрешите? Она прикоснулась прохладной рукой к его предплечью, когда забирала тарелку. Кофе? Чай?

У него была такая мысль еще перед отъездом, что в Москве он непременно возьмет русскую проститутку. Но оказалось, что таких учреждений, как, скажем, в Амстердаме, где однажды он взял себе очень интересную китаянку, здесь совсем нет, а с улицы женщину брать было страшно. Хотя они во множестве ходили по выставке, да и возле гостиницы “Москва”, где он остановился, их тоже было немало. Но все они были как-то слишком молоды и вызывали подозрение, что с ними можно вляпаться в какую-нибудь скандальную историю. А об этом его еще в Цюрихе предупреждали. Лидия же была явно порядочная женщина, с икрой и со столовым серебром. Но все-таки, когда она прикоснулась голой рукой к его голому предплечью, он догадался, что может быть... И от одной этой мысли он сразу же завелся. Спросил, где туалет. Лидия его проводила. Всё очень чистенько, но ужасное убожество... Зато икра... Ему пришлось немного подождать, прежде чем он смог помочиться. В общем, женщина эта его заинтересовала. Несомненно.

Раковина была на кухне. Он вошел туда. Лидия стояла к нему спиной, склонилась длинной шеей над плитой, где у нее варился кофе. Два маленьких колечка волос завивались на шее. А ноги у нее были просто прелесть какие, с тонкой щиколоткой, с балетным подъемом. Каблук высокий... Он подождал, пока она выключит газ и снимет кофе, и положил ей левую руку на талию, а правой приблизил к себе. Она опустила лицо ему на плечо, и он понял, что сейчас всё получится, и даже отлично получится, потому что с Элизой у него тоже всё получалось, но кое-как, а тут было такое вдохновение...

Он трудился над Лидией до позднего вечера, он выполнил свою месячную норму. Он никогда не ощущал себя гигантом, но в этот день в нем что-то открылось гигантское из-за этой женщины с тонкой талией, необыкновенной женщины, загадочной, с черной икрой и без ванной, даже без душа, с серебряными приборами и небритыми подмышками, и такой при этом образованной: по всем стенам висели дипломы в рамках, по меньшей мере восемь, и с бабушкой Ка Эр, да еще готическим шрифтом... А телефона обыкновенного нет...

Да, да, швейцарские женщины, конечно, просто коровы... польки алчные... китайки – продажные... а эта русская Лидия – настоящее чудо, просто загадочная русская душа... Откуда он это взял, кто это говорил: может, их великий писатель Лео Толстой или школьный учитель из Нидердорфа...

А потом, поздней ночью, они опять ели черную икру с маслом и калачом и пили шампанское – вполне приличное шампанское... Если она учительница, откуда у нее шампанское?.. И завтра, уже сегодня уезжать, а он даже не может сделать ей хороший подарок... Она, судя по всему, из очень порядочной семьи, может быть, из аристократов. Такая интересная внешность, и во всем виден человек со вкусом. И как при этом готовит! В России было много аристократов, это не Швейцария, у них и графы, и князья, и бароны... А может, наоборот, она секретный сотрудник из КГБ? Выслеживает его по заданию? Даже в яйцах от такой мысли похолодело. Нет, не может быть...

Лидия бесстрашно поехала провожать его в Шереметьево. Там было торжественно и сильно пахло границей. Они, конечно, обменялись адресами, но это был дым, дым мечты, и не имело значения. А значение имело только то, что Лидия побыла счастлива, как никогда в жизни, но уже понимала, что последние секундочки ее счастья отшлепывают, и потом никогда в жизни не встретит она этого Мартина, такого необыкновенного, таких вообще мужчин нет, у него даже пот не пахнет, просто как у ангела...

В самолете Мартин мгновенно заснул и проспал до самого Цюриха. А Лидия как села в автобус до аэровокзала, так и проплакала до самого дома, и в метро, и пока по переулкам до подъезда шла.

Дома Лидия умылась, вообще-то она была не плаксивая, доела икру – немного еще оставалось, всё помыла, почистила, собрала посуду Эмилькину и серебро, завернула каждое в отдельную газетку, переложила жгутами бумажными, чтобы не переколотилось. Приготовила сумку – завтра перед занятиями Эмильке завезти...

Как Мартин уехал, сразу навалилось много работы: два массажа прибавилось, директорша Дома пионеров заказала платье из мохера связать, то она всё лето сидела в кабинете по внешкольному воспитанию да зевала, а теперь ребятишки стали к концу каникул собираться, каждый день заглядывали. Но главное теперь – немецкий язык и открытки. Лидия так решила: на новые курсы – раз, и открытки с русской картиной-репродукцией или с видом природы – два.

Посылала еженедельно: открытку в конверт, красивую марку наклеит,

а на открытке несколько предложений, типа “Здесь представлен один из самых красивых видов нашей северной природы. Желаю Вам счастья, здоровья и успехов в работе. Лидия” или “Картина знаменитого русского художника Сурикова «Утро стрелецкой казни». Посвящено историческому событию, когда молодой царь Петр Первый разгромил заговор сестры Софьи. Желаю Вам счастья, здоровья и успехов в работе. Лидия”. С одной стороны, культурно, с другой – ненавязчиво. Но о себе напоминает.

Открытки шли не на домашний адрес, а на какой-то бокс. И по странной прихоти почтовых служб, Лидины открытки доходили адресату через две недели, а она получила от него первое письмо почти через два месяца. Вроде и уверена была, что получит, но и за чудо считала. То есть так, уверена была, что произойдет чудо и получит она письмо от Мартика. Так она его с первого дня про себя называла.

Лидия запомнила в подробностях весь тот день, то утро, когда достала из ящика этот белый, как обморок, конверт, с гористой местностью на марке и черным тонким почерком написанным адресом, ну совершенно как в кино. Она сняла с руки кожаную перчатку, и голой рукой взяла конверт, и, хотя времени было только, чтоб не опоздать на работу, поднялась домой, сняла пальто, ботинки и села за стол – читать письмо. Но первое, что из конверта вынулось, была фотография: Мартин в белых трусах до колен и в белой майке стоит возле загородочки, а в руках у него теннисная ракетка. Ну просто сердце останавливается...

А какое там было письмо! Какое письмо! Обращение ровно в середине “Meine liebe Lidia!”, поля – как будто невидимой полоской отчерчены. И каждое предложение с новой строки. И, что странно, хотя написано всё очень четко, ни одного слова не разобрать. Все буквы как-то не так у него прописаны.

В общем, она письмо завернула, в большой пакет положила и побежала на работу, потому что в тот день с утра была краеведческая экскурсия на фабрику “Красный Октябрь” с шестиклассниками.

Вечером Эмилия Карловна сначала долго письмо крутила, изучала со всех сторон и посмотрела на Лидию с новым интересом: девчонку она, можно сказать, своими руками сделала. Снимала дачу в Подмосковье, году в пятьдесят восьмом, – Иван Савельич еще жив был, точно, в пятьдесят восьмом, – и племянница хозяйки, сирота Лидка откуда-то из Белоруссии, прислуживала там по хозяйству. Девчонка тихая, забитая, совершенно без всяких способностей – сначала так показалось Эмилии Карловне. А в последний день, перед отъездом, все-таки решила взять ее с собой. Предложила хозяйке, как звали... не помню, нет... Настя ее звали,

та с охотой девочку отпустила. Ей шестнадцать еще не было. Паспорт она уже в Москве получала, Иван Савельич, отставной полковник, сделал через свой отдел кадров. Прописал же он ее вроде как на заводское общежитие. Но жила она у них, при кухне.

Теперь Эмилия уважительно держала это письмо и смотрела на Лидию как бы новыми глазами: молодец, молодец, девочка! Из никудышных обстоятельств, совсем из ничего, построила ведь очень неплохо: образование, своя квартира, даже внешность свою невыгодную облагородила, имеет стиль, в конце концов. Если откровенно говорить, родная дочь Лора не достигла такого положения, в относительном исчислении... Эмилии Карловне хотелось рассказать Лидии, что она бывала в Цюрихе до войны, с бабушкой, и в Женеву ее возили, и в Париж, но привычка никогда никому ничего о себе не рассказывать была слишком сильна. С сорок пятого года, как повстречала Ивана Савельича, так и поняла, что главное в теперешней жизни – молчать. Очень, очень присох к ней Иван, но ведь и ему, капитану НКВД, не рассказала Эмилия о себе ничегошеньки. Так, девочка из бедной латышской семьи, папа – квалифицированный рабочий был. О, у нас в Латвии всегда ценили профессионалов. Он был слесарь-инструментальщик, первый класс! Иван, сам из рабочих, это уважал... А что папу убили партизаны, когда он служил у немцев начальником латвийской зондеркоманды, осуществлял программу “юден-фрай” с большим вдохновением, так этого ему не говорила...

И Лидка – тоже молчунья. Знала, да не говорила. Тоже свой секрет содержала в молчании. Отец ее был арестован после освобождения Белоруссии Красной Армией и расстрелян в сорок четвертом за какие-то грехи против советской власти. Лидия не то забыла, не то ничего и не знала. Одиннадцать детей после него осталось да выгоревшая изба. Из одиннадцати трое выжили. И видеть друг друга не хотели, разъехались, развеялись. Говорили, старший брат военным стал, а сестра где-то не то в Нальчике, не то в Пятигорске жила. Всё – забыто навсегда. И у Эмилии, и у Лидии.

Но Эмилия – почти красавица была, рост, грудь за пазухой пузырем, надо лбом – валик из крашенных волос, и зад, как груша... как две груши. Иван Савельич на квартире у нее стоял, пока ему государственную не предоставили. А на государственную он уже с Эмилией переехал. И Лору, Эмилькину дочь, принял, а потом и фамилию дал.

Всё старое, бумажное: фотографии, справочки всякие, дипломы, письма – сгорело ясным пламенем в больших и малых пожарах, случайных и умышленных, только серебро и посуда хорошая остались от старых

времен – против них Иван Савельич не возражал. Быстро пообвык, от алюминиевой миски к серебряной переход легок, обратно потрудней получается. Но ему не пришлось. Его до самой смерти Эмилька ублажала, не потому, что сильно любила, а потому, что была порядочная. И Лидию приучила. А вот с Лорой не совсем получилось...

Письмо было явно от порядочного человека, это несомненно. Он благодарил Лидию за исключительный прием, признавался, что никогда еще не общался с такой культурной женщиной, намекал также на ее несравненные дамские достоинства, а потом сообщал, что не смог ей сразу открыть глаза на свое женатое состояние, потому что поначалу ему это казалось совершенно несущественным, а потом уж он не посмел ее огорчить. Он и предположить не мог, что после возвращения в Швейцарию он постоянно о ней будет думать, и она настолько занимает его мысли, что отношения его с женой совсем разладились. И теперь он думает о своем будущем, потому что надо принимать новые решения, и это очень трудно, так что голова его кругом идет...

После прочтения письма Эмилией Лидия тоже смогла разобрать написанное. Он и “р”, и “н”, и “к” писал странно, “и” походило на “т”, но с привычки можно было и разобрать. После всего Лидия ударила козырем – показала фотографию. Эмилия долго ее разглядывала, а потом поставила диагноз:

– Лидия, имей в виду, это очень серьезно. Надо работать, но без большой надежды на успех. Оч-чень непростое дело...

“А Лора моя дура, дура, – раздраженно додумала Эмилия Карловна, – при всех ее данных этот жалкий еврей Женя...” И сказала: ответ напиши по-русски, я тебе переведу, чтоб прилично выглядело.

Лидия писала трое суток. Письмо поразило Эмилию: оно было мало сказать прилично, оно было изящно!

Но еще более письмо поразило жену Мартина, которая нашла в ящике мужнего стола, где искала копию затерявшейся квитанции, стопку из двенадцати художественных открыток и это самое изящное письмо, из которого следовало, что Мартин завел себе в России женщину, о чем Элиза по некоторым признакам и сама догадывалась. И тогда разразился семейный скандал – по факту происшедшего. Мартин, который, может, и перетерпел бы свое любовное приключение, и оно само собой обратилось бы в один из эпизодов его, в общем-то, скромной сексуальной биографии, и улеглась бы Лидия в ряд, где прежде была полька, потом разовая китаянка, а потом она, разовая русская, но Элиза разожгла семейный скандал и нехорошо упрекнула Мартина в его мужской

и всяческой никчемности, в то время как он теперь твердо знал, что способен на большие подвиги, если к нему дама относится с восхищением и в тазик с прохладной водой окунает натруженные ноги... И замирая от неведомого, словно напрокат взятого мужества, он сказал Элизе с тихим достоинством, что, да, он полюбил русскую женщину и готов был подавить в себе это чувство, но ежели она, Элиза, желает теперь развода, то он, Мартин, тоже не возражает.

Высовывая из отвратительной крокодиловой сумочки край стопки открыток с разоблачительными русскими видами и конвертик с изящным Лидиным письмом, Элиза многозначительно подняла бровь и сказала что-то неопределенное про адвоката. Мартин и без адвоката прекрасно знал, что двенадцать лет работы на лакокрасочное дело будут у него просто украдены, а что он поднял дело, расплатился с долгами, которые висели над фирмой после раздела Элизы с братом, – не зачтется ни в копейку, все труды его прахом пойдут. Может, только часть суммы за дом ему достанется, да и то неизвестно, как Элиза письмом распорядится... В тот же вечер Мартин написал Лидии внеплановое письмо, в котором сообщил, что приедет в Россию на Рождество, и второе письмо – адвокату, где просил назначить ему время встречи.

Бракоразводный процесс, совместно с имущественным разделом, занял больше года, но закончился непредвиденно выгодным для Мартина образом. Он не был совладельцем, но и жалованья ему Элиза не положила, и теперь ее обязали выплатить Мартину компенсацию, и притом весьма значительную, за двенадцатилетние его труды.

За два с половиной года, предшествующие заключению нового брака, Мартин видел Лидию ровно шесть дней, в два приема. Убедился, что Лидия живой клад: массаж, забота, питание, секс – качество первый класс.

Они с Лидией совместно решили ограничить встречи во имя исполнения великого замысла. Мартин свирепо копил деньги: после развода Элиза неожиданно предложила ему остаться на работе наемным служащим. Мартин, хорошо подумав, согласился. Работал он теперь за очень приличную зарплату. Компенсация, да к этому прибавить еще столько же, – и после заключения нового брака можно открыть маленький ресторан...

Лидия, со своей стороны, целеустремленно готовилась к новой жизни: загадочно улыбаясь, подала заявление об уходе и круто поменяла культурную сферу на общепит – нанялась в ресторан при гостинице “Центральная” помощником повара. Там была русская кухня.

Но, как Лидия вскоре обнаружила, примитивненькая... Да что иностранцы заказывают? Блины с икрой, борщ, водка – без больших премудростей. А может, и не надо премудростей? Кроме того, Лидия разглядела всякие тонкости по организации производства. Месяца через три она совершенно убедилась в том, что больше ей в “Центральной” делать нечего, всё, что можно там узнать, она уже ухватила. Прорисовалась новая задача: заработать денег побольше и купить себе приданое, чтобы приехать в город Цюрих не бедной замухрышкой, а настоящей русской дамой.

Шубу надо было купить каракулевую, как у Эмильки, серую, кольцо с диамантом и серьги. Еще для будущего ресторана хотела Лидия закупить хохломской посуды в золотых и красных цветах – поди, плохо? Вопрос только, как вывозить... Видов северной природы она Мартину больше не посылала, отправила набор открыток с хохломскими утицами и ложками – он ее вкус одобрил.

Но сказка сказывается скоро, и настал день, когда Лидия собрала два чемодана со всем хорошим, чего в Швейцарии носить будет не стыдно (ошиблась – только то и пригодилось, что Мартин ей привозил, а свое всё на тряпки, на тряпки потом пошло...), и купила билет на поезд. Из экономии. И отбыла Лидия с Белорусского вокзала в город с журливым и шелестящим именем “Цю-юрихь”, где полны подземелья золота, где жил Ленин, сидел там на набережной реки Лиммат, в кафе “Одеон”, кушал штрудель и осыпал сладкие крошки на том Маркса... При слове “Цю-юрихь” во рту делалось сладко...

В купе Лидия сидела с прямой спиной, запрокинув голову назад, в сторону тяжелого пучка, механически подправляла пальцем кончик носа – обычно, когда она, откусывая кусок, широко рот открывала, на кончике носа губная помада отпечатывалась, и она время от времени это дело контролировала. За окном мелькала родная русская природа, и Лидия, за последние два с половиной года измечтавшаяся об этом чаше, когда поезд тронется, вдруг расчувствовалась и вспомнила про белые березки – за окном пока простирался исключительно сорный кустарник и пригородные свалки, – и вроде как бы затосковала по родине, хотя чего тосковать-то, вот она тут вся, миллион Николаев в кирзе, миллион теток вроде тети Насти, ведь ни разу и не справилась, как там племянница в городе, жива ли, померла... Один родной человек, Эмилия Карловна. Она одна и понимала Лидию. Само собой. Зельбстфершендинг.

Две пожилые торговые польки, соседки по купе, что-то у нее спрашивали на среднеславянском языке, а у Лидии такая на душе была смута, что она сказала им, сама от себя не ожидая, очень уверенно:

Ентшульдиген битте, ихь ферштее нихьт... И польки сразу же поняли, что ошиблись, приняли немку за русскую, хотя видно же, что немка, костюм джерси буржуазного качества и кольца на пальцах...

Ах, Мартик, Мартик! Вот уж кто был наградой в жизни, особенно после двух пересадок! Встретил на вокзале в Цюрихе в темно-зеленом пальто волосатеньком, в такой же волосатенькой шляпке, поле коротенькое, сзади приподнято, и перышко пестренькое сбоку. Ну прелесть просто. И одеколоном пахнет, и сам чемоданы не хватает, как русский мужик, а носильщику машет, и Лидию целует, и под руку ведет... А кругом такая заграница, что даже в кино такого не показывают. Например, был фильм про Рим, Лидия его хорошо помнит, так там грязь, свалка, развалины, недалеко от нашего ушли, и едят еду бедную, как у нас, те же макароны, и еще в кино показывают. Понятно, почему они настоящую заграницу не показывают, не зря Лидия в университет марксизма-ленинизма два года ходила, где голову всем дурили...

Первый год в Цюрихе был самый счастливый. Капиталу пока немного не хватало на аренду подходящего помещения для ресторана, потому жили прижимисто, снимали студию, не квартиру, так, малехонькое жилье, а платили за него... Не ожидала Лидия, что всё так дорого в богатой Швейцарии, уж на что она была ловкая, хорошо умела приспособиться, но туговато приходилось. Мартин расходы все сам проверял, он в бухгалтерии понимал. Лидия сразу же хотела на работу устроиться, но он поначалу не разрешал, однако потом согласился. Дипломы все свои Лидия на немецкий язык перевела, и взяли ее в маникюрши. Мартин удивлялся даже, как у нее хорошо дело пошло. К концу года оформили аренду, чудесное место для ресторана, там раньше была кантина какая-то, это тоже было хорошо, ведь когда народ привыкает, что в этом месте кормят, то по старой памяти идут.

Мартин выписал свою кузину из деревни, простая такая женщина, практически она и была деревенская, хотя одета по-городскому. Но не особенно. Лидия уже начала понимать кое-что, даже, может, побольше, чем Эмилия Карловна, в каких магазинах покупают люди победнее, в каких – побогаче. И Мартин очень это понимал, потому что жена его Элиза была из богатых и его приучила. Теперь Лидия знала, что заграничное заграничному рознь. Было, конечно, кое-что непонятное в деталях, почему, например, английский магазин еще дороже швейцарского, по качеству – не различишь, хоть на зуб пробуй. Или французское – красота есть, но опасная, с качеством не очень. Про итальянское и говорить нечего.

Перед открытием ресторана Мартин объявление дал, разослал знакомым приглашения, по всему району листки развесил: ресторан “Русский дом” приглашает на русский ужин. Одного официанта русского наняли, чудной немного, перемещенный, не совсем русский, но слово “борщ” хорошо выговаривал. Второго, местного парня, на один раз взяли.

Первый вечер ресторанный прошел очень хорошо. Это был последний счастливый день в жизни Лидии. Наутро всё кончилось. Мартин в шесть, как они обыкновенно поднимались, не проснулся. Спал и спал. Лидия сначала не хотела его будить – устал, пусть выспится. В десять стала его будить, а он не просыпается. Лежит на боку, и одна рука неловко так расположилась. Лидия тронула – а она холодная. Дышать-то он дышит, но в себя не приходит, и тяжелый очень. Вызвали врача и увезли сразу в больницу. Инсульт. Всё. Она сразу же посчитала: длилась ее счастливая жизнь один год двадцать один день. От приезда до удара. А дальше – страшный сон.

Одно только хорошо – все больницы у них, как у нас Кремлевка. Сестры всё сами делают: и пеленки меняют, и кормят. Даже ночное дежурство у них бесплатное. Когда Иван Савельич в больнице лежал – у него было раковое заболевание, – так они втроем с Эмилькой и Лорой с ног сбивались. И Лидия понимала, как ей повезло с этой Швейцарией. Сначала через уколы растворы питательные вливали, потом стали сестрички кормить. Три месяца он ни туда ни сюда, непонятно даже, узнает Лидию или нет. Другой раз вроде узнает, а другой – нет... Ходить не может. Но в кресло его пересадили. Лидия по утрам его навещает, двумя автобусами, три с половиной часа занимает. А ресторан-то на ходу. И закупить, и приготовить – когда? Записалась в автошколу. Машина есть, а прав у Лидии нет. Дура, дурища, ругала себя Лидия, столько всего лишнего изучила, а водить не научилась. Занятия на курсах три месяца идут, да по четыре часа три раза в неделю. Каторга, а не жизнь. Спала по хорошим дням часов по пять, по плохим и трех не набиралось. Мартина жалко, да только жалеть некогда. Он как ребенок маленький, пух на затылочке слежался, уж Лидия, как забрала домой, вылизала его, массаж стала делать ежедневно, по часу. Врачи говорили, что не восстановится, но ножка левая, пораженная, потихоньку стала укрепляться. Еще месяца три прошло, и он уже стоял на ногах, за спинку кресла держался и стоял.

А ресторанное дело шло хорошо, Лидия его не бросала. Пришлось, конечно, сделать упрощения, вроде наших комплексных обедов. Но жизнь в Швейцарии оказалась ох трудна. За всё – плати. Электричество, вода,

бензин, мусороуборка, а налоги вообще отдельная песня. Пришлось опять на курсы идти, задаром никто ни слова тебе не скажет. Народ швейцарский сначала Лидии очень понравился за вежливость и за чистоту. Но – себе на уме. Раньше, на родине, Лидия сама себе казалась очень умной. А здесь все оказались такие же умные, наперед всё просчитывают.

Русский ресторан швейцарцам пришелся по вкусу именно потому, что они быстро сообразили, что за те деньги, которые в нем оставляют, питание получают очень качественное. И если б Лидия была не одна, она бы уже через год расширила помещение, там веранду можно было летнюю освоить. Да и, с другой стороны, она бы не побоялась и побольше помещение арендовать. Если бы Мартин был человек, а не инвалид окончательный.

Но ни горевать, ни размышлять времени не было, потому что дел невпроворот: утром умыть Мартика, потом массажик, потом на горшок, потом покормить его. Раз в два дня за овощами к фрау Темке на ферму, раз в два дня к мясникам. Рыбу привозили домой, а за бакалеей она ездила к оптовикам, но это раз в две недели. Готовила она одна. Конечно, всё было продумано, холодильник пришлось промышленный купить, многое замораживала, хотя никому бы не призналась. У них вообще-то не принято было продукты морозить. Фарши для блинчиков – раз в неделю готовила, и в заморозку. Ну рыбу, конечно, нет, вкус сильно теряет. Если честно признаться, швейцарцы в кулинарии не очень и понимали. Ценили, что порции были большие.

Лидия весь год тряслась от страха, что не сведет концы с концами, но в конце года оказалось, что свелись концы хорошо, и еще привесок образовался. Его Лидия поместила в банк на свое имя. Вот тут-то она и поняла смысл швейцарской жизни. Если бы Мартик был здоров, она б, может, этого и не поняла в дыму брачного счастья. Но поскольку оно кончилось, то Лидии открылось, что счастье сражается здесь цифрами. Больше цифра – больше счастье. Не одними голыми цифрами, а с большими тонкостями: должны еще быть люди, которые бы оценивали твой успех, догадывались бы о твоём уме и таланте по неприметным признакам. Забор два раза в год красила... Новые цветы на террасе посадила... Занавески английские повесила... Кто понимает... Туфли Балли, пальто Лоден. Эмилии Карловны нет, поглядела бы.

Деревенскую сестру Мартика Лидия прогнала, только под ногами путается, а в жизни, хоть швейцарка коренная, ноль понятия. Вместо нее наняла других помощников, югославку толковую, тоже за швейцарцем замужем. Еще одну помощницу наняла: хромую, очень некрасивую

женщину, но быструю и дельную. Ей Лидия и у плиты кое-чего несложное доверяла. Тоже потом оказалось, что она не настоящая швейцарка, а из евреев. Еще один официант был итальянцем. Но это дело известное, что итальянцы все – прирожденные официанты: приветливые, улыбаются и шутят. Но вороваты. Впрочем, у Лидии не украдешь, хорошо следила. Репутация – нешуточное дело, ее и за деньги не купишь. Она как зернышко – посадил в горшок, поливай, удобряй, оно растет. Год, другой, третий... Год, другой, третий...

Мартик похудел, обветшал, стал старичком. Зато Лидия, в России еле-еле сходявшая за дурнушку, здесь считалась интересной дамой, ее даже за француженку иногда принимали. Она заново научила мужа ходить, он теперь ковылял с палочкой по дому, гулял в их садике. Лидия купила ему породистую собачку, серого карликового пуделя, назвала его Милок. Содержание Милка обходилось в копеечку – то прививки, то ветеринар. Но оказалось, что и здесь Лидия не прогадала. Швейцарцы животных любили, приходили ужинать семейные пары, детишки с Милком играли и потом просили родителей снова с русской собачкой поиграть. Хорошая клиентура. А Мартика дети звали “собачкин дедушка”.

Когда жизнь с русским рестораном и мужем-инвалидом совершенно наладилась и вошла в колею, Лидия, по старой памяти, снова пошла на курсы. Два года занималась французским, освоила, разумеется. Подумывала об английском... Хотела бы заниматься горнолыжным спортом, но оставлять на несколько дней ресторан, Мартика и Милка было немыслимо. Хотя теперь она уже не стояла у плиты, а были у нее два повара, которых она сама всему обучила. Два раза в неделю ходила в бассейн, иногда в женский клуб, где были встречи с другими деловыми женщинами. Сходила она к деловым женщинам раз, другой и поняла, что лично ей не хватает в жизни признания. Все эти женщины тоже ходили в обуви от Балли, носили норковые шубы и часы “Ориент”, и Лидии было даже обидно, что для них это обыденная жизнь, и не могла же она им объяснить, что все они глупые домашние куры, а она, Лидия, птица высокого полета, потому что они-то родились в Швейцарии, в куске сливочного масла, а она, Лидия, в избе с земляным полом и соломенной крышей, до пятнадцати лет ходила либо в валенках, либо босиком, а штаны первые завела уже в Москве, когда, по большому везению, попала в прислуги к хорошей барыне, а до того ходила без порток, как все белорусские крестьянки... Возникла какая-то досада. И старая, придавленная и недодуманная мечта, как зародыш болезни, стала развиваться, и оформляться, и приобретать определенные черты, и Лидия

в деловой книжечке в последнем, для души предназначенном разделе, куда деловые женщины вносили даты встреч с любовниками, гинекологами или врачами-косметологами, завела списочек, в который вносила, что именно и в каком количестве надо ей купить для поездки в Москву. Там жил единственный в мире человек, который мог оценить ее, Лидии, великий взлет...

Как и все свои предприятия, Лидия сначала всё основательно обдумывала. Связей с Москвой у нее никаких не сохранилось: Эмилия Карловна при прощании сказала ей, что желает всех благ, но просит писем не писать и по телефону не звонить. К этому времени уже начались первые неприятности у Лоры, потому что ее муж Женя что-то подписывал, болтал направо-налево и навлекал на семью неминуемые неприятности. Лора же смотрела ему в рот, своей головы не имела, а к материнским советам не прислушивалась. Эмилия Карловна советскую власть ненавидела, но чувства свои упрятала на дно декретом отмененной души, зато страстно презирала дурака Женьку, который болтал как глупый попугай... Приятельницы Лидии из Дома пионеров и из других мест, где приходилось ей учиться и работать, не стоили даже расходов на почтовые марки. Только одна была доверенная подружка, соседка Варя, с которой первое время Лидия поддерживала какую-то хилую связь, но после несчастия с Мартиком перестала ей писать. Чего писать-то?

Теперь Лидия написала Варе, попросила ее позвонить Эмильке и узнать, как та поживает. Варя просьбу выполнила, Эмильке позвонила и сообщила Лидии, что те живут по-прежнему, все на старом месте...

Лидия купила хорошую дорожную сумку – до тех пор она никуда не путешествовала и сумок не заводила. И начала по списку покупать Эмильке подарки. Решила, что оденет ее с ног до головы. Во всё самое лучшее. Полный комплект, как новорожденным... Свободное время Лидия проводила теперь в магазинах. После Рождества, когда начались большие распродажи, она завершила свою закупочную кампанию, которая заняла у нее почти полгода. Сумка приняла в свои клетчатые недра первосортного товара на три тысячи швейцарских франков без самого малого. Белье, чулки-колготки. Босоножки, туфли, сапоги. Костюм джерси-шерсть и костюм шелковый, жакет, шляпа, шарф. Сумка, перчатки. Всё – в гамме. Потому что у Лидии – вкус. Эмилька научила.

А еще в дамской сумочке лежали золотые часы марки “Ориент” в футляре, который сам по себе представлял произведение швейцарского искусства.

Затем Лидия купила себе трехдневный индивидуальный тур в столицу нашей Родины Москву с пребыванием в гостинице “Москва”.

Прошло больше десяти лет с тех пор, как Лидия в первый раз провожала Мартина в Цюрих после памятного и судьбоносного обеда с мытьем ног и черной икрой. Шереметьево не изменилось. Лидка-гусыня прекрасным лебедем не стала, но и от нее прежней тоже ничего не осталось. Она была гражданка Швейцарии, фрау Гропиус в скромном с виду пальто из плащевой материи с нежной подкладкой из меха кенгуру. Носильщик нес за ней ее небольшой чемодан и дорожную сумку, а встречала ее переводчица из Интуриста, мелкий лейтенант из КГБ, с казенной улыбкой и листом бумаги с ее, Лидиной, фамилией. Такси довезло их до Манежной площади. Лидию по дороге тошнило – от волнения. Переводчица говорила с ней на дурном немецком языке, Лидия своего русского не открывала. Зачем? Поужинала в ресторане на втором этаже. Салат столичный и студень. Попробовала и отложила вилку. Тошнило.

Следующий день ее возили по городу, показали Бородинскую панораму и Университет на Ленинских горах. Обедала в ресторане “Центральный”. Русская кухня. Метрдотель был всё тот же. Не узнал, конечно. Вечером – Большой театр. “Лебединое озеро”. Сидела в третьем ряду в фиолетовом шелковом костюме с бриллиантовой брошкой в виде стрелы. Рядом сидели американцы. Одна из американок была в бигуди и в нейлоновом колпаке поверх накруток. Они собирались после театра в ресторан. Видимо, кудри ей были нужны к ужину. Балет был шикарный. В Цюрихе они с Мартиком по театрам не расхаживали. Вот в Москве в свое время она часто билеты доставала – и на Таганку, и на Малую Бронную...

На другой день, в воскресенье, она сказала переводчице, что у нее болит голова и она программу сегодняшнюю отменяет. Та предложила прислать врача, но Лидия отказалась. Хотя голова действительно болела и снова тошнило. В два часа дня, взяв сумку, она вышла из гостиницы. Ехать в такси было пять минут – жила Эмилька на Маяковке. Вышла у серого кирпичного дома на Второй Тверской-Ямской. Углом, странно поставленный дом, для главного ведомства страны после войны построенный. Иван Савельич незадолго до выхода на пенсию получил здесь двухкомнатную квартиру. Поднялась на четвертый этаж. Вспомнила, как тридцать, что ли, лет назад в первый раз в эти хоромы входила. Газ. Электричество. Колонка с горячей водой. Ванная и уборная – всё в первый раз тогда увидела.

Звонок всё тот же, белая кнопка на черном деревянном кружке.

Нажала. И звонит тем же голосом. Открыли, не спросив. Лора. Вы к кому? К вам. К Эмилии Карловне. Я – Лидия. Лора, не узнаешь?

– Лида! Лидочка! Тебя просто Бог послал! – обрадовалась Лора.

В те годы каждый иностранец был большой ценностью: через него можно было и письмо переправить, и документы. Казенная почта вся просвечивалась. Но Лидия отметила с раздражением: ишь, как из Цюриха с сумкой, так Лидочка. А в прежние годы рожу корчила. Вот потому в сумке ничего и не было для Лоры предназначенного.

Далее Лидия вдохнула родной запах старой квартиры и сняла ботиночки. Можно с ума сойти: в калошнице стояла обувь, которую Лидия знала наизусть. Коричневые домашние туфли “для гостей” и две пары детских – следы профессиональной деятельности.

– Детки всё еще ходят? – спросила Лидия с улыбкой.

Лора махнула рукой:

– Да какие детки...

И Лидия вошла в большую комнату, где когда-то собирался частный детский сад, и стоял длинный стол, и шесть стульев, и пианино, на котором Эмилия Карловна небойко играла польку и вальс, а дети танцевали, и маленький столик у большого дивана, покрытого ковром ручного тканья... А в эркере, спиной к двери, стояло инвалидное кресло на колесах, нескладное, больничное, крашенное белым по железу, и над спинкой возвышалась пегая пышная голова а-ля Помпадур. Лора вошла в эркер, развернула кресло и вывезла на свет божий Эмилию Карловну.

Она была так похожа на Мартина, как будто была ему сестрой, матерью или бабушкой. Чудесная белоснежно-дряблая кожа, маленький подбородок, из-под которого, как жабо, вылезал второй, жидкий и почти прозрачный, бледно-голубые глаза в круговых складках нежной кожи, и извиняющаяся улыбка, съехавшая на один бок... Только у Мартина нос был короткий, с выпуклыми ноздрями, а у Эмилии Карловны длинный, в конце заостренный и с горбинкой...

– Мама, посмотри, кто пришел! Лидия пришла! Помнишь Лидию?

В правой руке у Эмилии Карловны была зажата колода карт, и она одной рукой их не то перебирала, не то просто щупала. Забыла, совсем забыла Лидия, что больше всего на свете старая ее хозяйка любила раскладывать пасьянсы. Да карты же надо было купить! Как это я забыла, мелькнуло сначала у Лидии...

– Эмилия Карловна, это я, Лидия. Узнаете?

Эмилия Карловна улыбалась Мартиковой деликатной улыбкой, и круглая бусина слюны собиралась в углу рта.

– Давно? – спросила Лидия.

– Почти год, – тихо ответила Лора. – Кошмар. Мы документы на выезд подали на всех, а как ее везти, непонятно. Я как тебя увидела, так сразу и подумала – вот кто помочь-то сможет. Мы ведь через Вену летим, от вас недалеко. И там неизвестно сколько ждать. Если бы ты нас встретила... Или хотя бы письмо через тебя послать в Сохнут, чтобы они нас встречали с коляской... Я уверена, что разрешение вот-вот придет. Есть такие приметы... Понимаешь, мой муж, Женя, он в Америку ни в какую, ему только Израиль подавай... Я бы лучше в Америку...

Лидия молчала, вживаясь в ситуацию. А Лора трещала не замолкая и всё время крутила пальцы, слегка их поламывая.

– Мам, мам, – время от времени вспоминала Лора о цели Лидиногo визита, тормошила Эмилию Карловну за плечo, – посмотри, кто пришел, мам... Лидия пришла. Узнаешь Лидию? Понимаешь, мы бы давно подали, но мама в Израиль ехать отказывалась, очень, очень против была... А Женя – только в Израиль. Многие наши друзья Америку даже предпочитают. А мама, ты, может, не знаешь, при всех ее достоинствах немного антисемитка. И в Израиль – уперлась – нет и нет. А уж когда она заболела, мы подали. Ей теперь не всё равно? Правда? А ты когда уезжаешь, Лид?

И Лора пошла ставить чайник, а Лидия села рядом с Эмилей и взяла ее за руку:

– Эмилия Карловна, как я рада вас видеть... Вы всё красавица... Чувствуете-то ничего? А у Мартика моего тоже ведь инсульт, семь лет уже. Но он сейчас получше, ходит. Раньше тоже всё в кресле сидел. А теперь ходит, и собачку я ему купила...

Эмилия Карловна как будто слушала и как будто понимала. Потом пришла Лора с чайным подносом. Сахарница, молочник, чашки розовые – всё было родное. И печенье было то самое: два желтка стереть с полстакана сахара, сто граммов шоколадного масла... Научилась Лора. Раньше не умела. Эмилия зашевелила пальцами и открыла рот. Раздалось что-то вроде “уать”.

– Сейчас, мамочка, – и Лора сунула в подвижную, правую руку половинку печенья.

Эмилия запихнула его в рот и счастливо зажевала.

– Вот такие дела, понимаешь, весь бы день ела и ела. Злитесь, если не даю. А потом с желудком проблемы. За год без клизмы ни разу...

Лидия раскрыла сумочку и вынула из нее плитку шоколада, предназначенную горничной. И подумав, достала только что начатый

небольшой флакон духов – “Шанель номер пять”. Свой собственный...

– Это, Лора, тебе сувениры.

Эмилия Карловна ела печенье одно за другим, напрочь забыв о деликатной науке поглощения пищи, которую преподавала годами своим воспитанникам. Она засовывала печенье глубоко в рот, проталкивая его обломанными ногтями, и крошки падали на грязный воротничок, на протершуюся грудь старой кофты, и у Лидии ломило затылок и тошнило ее по-настоящему. Она не знала еще, что это был первый признак надвигающейся гипертонии.

– Я пойду, Лора. Завтра утром позвоню, перед отъездом я вас еще увижу.

– Да посиди, скоро Женя придет, – искренне просила Лора, но Лидия страстно хотела поскорее унести отсюда ноги, быстро переночевать и уехать навсегда-навсегда.

Обула ботиночки, надела плащевое пальто на австралийском, спрятанном от посторонних взглядов звере и с усилием подняла клетчатую сумку:

– Мне еще надо в одно место заехать, вот отвезти просили друзья...

Квитанции все были одна к одной, на всякий случай, по привычке делового человека в верхнем ящике письменного стола дома сложены, в отдельном конверте.

Сдать обратно можно. Всегда есть смысл в дорогих магазинах покупать – и сдать, и обменять можно, тем более когда тебя уже знают.

Такси она просила переводчицу заказать на более ранний час, чем следовало бы. Переводчица просто лишилась дара речи, когда Лидия сказала шоферу на чистом русском языке:

– По дороге в Шереметьево мне надо заехать на Спартаковскую улицу, я покажу вам, где поворачивать.

Заехали на Спартаковскую. Дом стоял как стоял, четырехэтажный король-корабль среди одноэтажных дровяных бараков. Трущоба трущобой. Она улыбнулась, представив себе, что испытал Мартин, когда первый раз вошел в ее убогую квартирнку. Сначала она думала подняться на третий этаж, позвонить в свою дверь, попросить, чтобы ей показали, как сейчас выглядит ее прежнее жилье. А потом подумала: зачем?

И велела ехать в Шереметьево. Чемодан и клетчатую сумку сдала в багаж. Об обещанном Лоре звонке и не вспомнила.

Всю дорогу в самолете она умирала от нетерпения: скорей бы попасть домой, поцеловать Мартика в опустившийся уголок рта. Он был получше, гораздо лучше, чем Эмилька. Он всё же ходил, улыбался более внятно

и говорил некоторое количество слов вполне осмысленно. Да и вообще – как там три дня без нее дела двигались...

Голова всё болела, и тошнота не проходила. Она прошептала почти про себя, но все-таки немного вслух: “Цю-юрихь... Цю-юрихь...” И задремала с мыслью: “А всё же я самая умная...”

Орловы-Соколовы

С первого взгляда они как-то не читались, оба малорослые, не особенной внешности, занятые друг другом до полной замкнутости. Зато со второго взгляда открывалось, что они-то и есть самые главные. После второго взгляда даже было невозможно вернуться к первому и вспомнить, какое же они тогда производили впечатление. К тому же никто на факультете не помнил того времени, когда они еще не были вместе. Познакомились они еще на вступительных экзаменах, хотя сдавали в разных потоках. Зато, когда сдали экзамены, еще до окончательного объявления о зачислении, пока все абитуриенты считали баллы и полубаллы, они уехали вдвоем к нему на дачу и вернулись ровно двадцать первого июля, прямо к этой чертовой доске, возле которой трепетали все, кроме троих. Третьим лицом была незначительная зубрила Тоня Колосова, племянница декана, о чем узнали впоследствии. Излишне говорить, что остальные двое были они, Андрей Орлов и Таня Соколова.

Их имена шли им удивительно, да и между собой они так быстро слепились, что очень скоро их стали звать Орловы-Соколовы.

За те пять дней, что они провели на даче, вылезая из постели только чтобы сходить в поселковый магазинчик за вином и незамысловатой едой, они выяснили, что по пальцам можно пересчитать то, в чем они были несхожи: Таня слушала классику, Андрей любил джаз, он любил Маяковского, а она его терпеть не могла. И последнее, пожалуй, совсем смешотворное: он был сластена, а для нее лучшим лакомством был соленый огурец.

Во всех прочих пунктах обнаружилось полное совпадение: оба полукровки, евреи по материнской линии, обе матери – смешная деталь – врачи. Правда, Танина мать, Галина Ефимовна, растила ее в одиночку и жили они довольно бедно, в то время как семья Андрея была вполне процветающая, но это компенсировалось тем, что на месте отсутствующего отца наличествовал отчим, отношения с которым были натянутыми. Поэтому семейное благосостояние и весьма обильные по тем временам материальные блага, через мать на Андрея изливавшиеся, унижали Андреево мужское, рано проснувшееся достоинство. С пятнадцати лет мальчик из профессорской семьи подфарцовывал на “плешке” и зарабатывал криминальные карманные деньги на женских часах типа “крабы” и американских джинсах, только-только начавших свое

триумфальное шествие от Бреста до Владивостока.

В этой точке Андреевой исповеди Таня зашлась от смеха:

– Труд и капитал!

Ее бизнес лежал в смежной области, – в то самое время, пока он сбывал джинсы, она производила самостроковые рубашки типа “button down”, пришивала к ним “лейбела”, и, теоретически рассуждая, те самые молодые люди, которые уже доросли до джинсового уровня, должны были с неизбежностью столкнуться с проблемой “правильной” рубашки с пуговками о четырех – а не на двух! – дырочках на воротнике и петелькой на спинке.

Шила их Таня в три размера, без примерки. Если не отрываясь работала с утра до вечера – обычно это происходило по воскресеньям, – то успевала “сострокать” четыре штуки. Четырежды пять – двадцать. С пятнадцати лет денег у матери не брала, перешла на самообслуживание.

А спорт? Да, спорт, конечно. Оба занимались. Андрей боксом, Таня гимнастикой. И оба бросили в одно и то же время, когда надо было решаться на профессиональную карьеру. Андрей успел получить первый разряд, стал кандидатом в мастера, вошел в сборную Москвы для юниоров, в мушином весе. Таня бросила чуть раньше, на подходе к первому разряду. Ей хватило.

В начале четвертого дня – или ночи – их совместной жизни они признались друг другу, что всегда предпочитали рослых партнеров: рост у обоих был никудышный, безнадежно левофланговый.

– Значит, я не в твоём вкусе? – хмыкнула Таня.

– Нет, не в моем. Мне всегда ужасные дрыны нравились...

– Да и мне тоже. И ты не в моем вкусе, – хохотала Таня.

В этой точке обнаружилась их прямолинейная простота, с перебором даже. Можно было подумать, что оба они прошли огонь и воду и медные трубы. На самом деле кое-что было, но в ограниченном количестве, скорее, только обозначено... Однако все-таки опыта человеческого у них было достаточно, чтобы оценить те высокой пробы совпадения, какие бывают лишь у близнецов: все вдохи, выдохи, взлеты и падения, движения сквозь сон и минута пробуждения... Просыпались ночью и шли к холодильнику – даже голод нападал в одно и то же время. И они вцепились друг в друга, слились воедино, как две капли ртути, и даже лучше, – потому что полное соединение убило бы ту прекрасную разность потенциалов, которая и давала эти звонкие разряды, яркие вспышки, смертельную минуту остановки мира и блаженной пустоты...

Счастливики, которым принадлежало всё: два маленьких спортивных

тела, заряженные силой и молниеносными реакциями, острые и мускулистые мозги и самосознание победителя, еще не получившего ни единой царапины. И как глубоко это сидело в них – ведь оба ушли из спорта, именно подойдя к границам своих возможностей, за один шаг до неизбежного поражения. Теперь оба готовились сражаться на новом поле научной карьеры, в лучшем учебном заведении, на одном из самых сложных факультетов. Любое море было им по колено, и, казалось, само море заранее согласилось покорно плескаться у колен и выбрасывать к их ногам всяческие жемчужины...

Первый курс был тяжелым и громоздким – несколько общих дисциплин, огромное количество лекционных часов, лабораторные. Все экзамены за первый семестр они сдали на “отлично”, подтвердили свой высокий класс и получили повышенную стипендию.

К этому времени на курсе уже не было людей, которые относились бы к ним равнодушно: одних они раздражали, других привлекали, у всех вызывали интерес. Они даже и одеты были как-то особенно, не как все.

В каникулы Таня сделала первый аборт, грамотный, медицинский, с редким по тем временам обезболиванием. В сущности, это была их первая общая неприятность, и вышли они из нее без видимых потерь, еще более сплоченными. Мысль о ребенке даже не приходила в их высокоорганизованные головы, это был абсурд, а вернее, болезнь, от которой надо поскорее избавиться. Мать Андрея, Алла Семеновна, женщина хорошая и без затей, принявшая деятельное участие в медицинском мероприятии, испытывала большее нравственное беспокойство, чем молодая парочка. Со своим вторым мужем детей они не нажили, и уж кто-кто, а Алла Семеновна знала, как удивительно сильна и капризно хрупка вся эта женская машинерия с микроскопическими просветами в тончайших трубочках, с розовым ворсистым эпителием, то жадно принимающим, то решительно отвергающим ту единственную клетку, из которой образовался и ее Андрей, и она сама, и тот ребенок, который будет когда-нибудь ее внуком.

Таня ей нравилась, хотя и пугала силой характера и независимостью. И еще тем, с каким доброжелательным равнодушием относилась к самой Алле Семеновне и ее знаменитому мужу, почти академику, Борису Ивановичу – как будто ей совершенно всё равно было, как они к ней относятся.

– Они ведь, в сущности, очень между собой похожи, – делилась Алла Семеновна с мужем. – Они пара, Борис, пара.

Борис, поднимая скопческое белесое лицо от газеты, соглашался,

слегка деформируя высказанную женой мысль:

– Ну да, два сапога – пара.

Он не сумел полюбить Аллиного ребенка, да особенно и не старался. Крестьянскому сыну, восьмому в бедняцкой семье, претило это еврейское задыхание над детьми...

Что же касается Галины Ефимовны, от которой тоже ничего не было скрыто, она перед дочерью благоговела, никогда не пыталась ею руководить и только диву давалась, откуда у дочери такой сильный характер и яркие дарования.

Все-таки от Соколова, считала она, хотя в самом Соколове, давно ее бросившем, никаких таких достоинств она не замечала. Так или иначе, Галина Ефимовна месяца два тихонько плакала, поглядывала исподтишка собачьими глазами на дочь и всё не могла понять, как это Таня в свои неполные девятнадцать лет ничего не боится, ничего не стыдится, и, когда Галина Ефимовна намекнула дочери, что, может, надо бы с Андреем отношения оформить, та холодно пожала плечами:

– А это еще зачем?

Каникулы, само собой разумеется, были испорчены. Вместо того чтобы поехать, как прежде задумывали, кататься на горных лыжах, просидели неделю на даче, с большой осторожностью раскрывая объятья. Произошедшая неприятность не имела для них никакого морального знака, но внесла известные неудобства, которых хотелось бы в дальнейшем избегать.

Тем временем снова началось ученье, и притом нелегкое. Первый семестр они занимались вместе либо в библиотеке, либо у Андрея дома. Оказалось, что, хотя пятерки у них были одинаково круглые, голова у Андрея все-таки была побогаче – задачи он решал свободнее, интереснее, с большей внутренней подвижностью. Он не раз уязвлял Таню своим превосходством, и особенно остро именно тем, что удивлялся ее медлительности и косности. Привело это к легкой обиде с последующим примирением, но заниматься Таня стала отдельно, в своей коммуналке, с мамой под боком, при легком бурчании музыкальной программы.

Весеннюю сессию оба опять сдали на “отлично”, и теперь их знали не одни только первокурсники – отметили и преподаватели: восходящие звездочки. Одного только не хватало им для блестящего будущего: оба пренебрегали общественной деятельностью, причем пренебрегали не тихонько, в пассивной, так сказать, форме, а каким-то заметным и обидным для остальных образом. В этом пункте у них тоже не было ни малейших разногласий: государство было препоганейшим, общество

разложившимся, но в этом обществе им предстояло жить, а жить они хотели на всю катушку, то есть в меру своих незаурядных способностей.

Вопрос состоял в том, до какой степени им предстоит прогибаться под системой и где они сами проведут грань, дальше которой отступать не будут. Оба они состояли, между прочим, членами ВЛКСМ, совершенно произвольно полагая, что это и есть та последняя граница, дальше которой идти нельзя. Словом, всё это были проблемы шестидесятников, возникшие не сами по себе, а просочившиеся к ним от людей типа Бориса Ивановича, бывшего фронтовика, человека честного, но осторожного, увлеченного в те годы атомной энергетикой, обещавшей мощь и процветание, а вовсе не бедственный позор. Наука представлялась таким людям наиболее свободной областью жизни, в чем еще всем предстояло глубоко разочароваться. Солженицына уже читали по враждебному радио, самиздат ходил по рукам, и Таня с Андреем легко и победоносно входили в ту двойную жизнь, которой жили кандидаты и доктора разнообразных наук.

Отработав производственную практику, две звездочки укатили путешествовать в Прибалтику и полтора месяца плавали в холодном море, засыпали на белом дистиллированном песке под благородными соснами, пили отвратительный рижский бальзам и танцевали на опасных танцплощадках Юрмалы. Потом их принял Вильнюс, и Литва показалась им привлекательней Латвии, может быть, потому, что здесь они познакомились с интересной московской компанией, лет на пять их постарше, и из этого пляжного преферансного общения потом развились долгие дружеские отношения. До самого окончания института все Новые года и дни рождения уже проходили в этом новом кругу – молодого врача, начинающего писателя, физика из физтеха, уже ставшего тем самым, чем хотел стать со временем Андрей, молодой актрисы с восходящей, но так и не взошедшей окончательно славой, умницы философа, оказавшегося впоследствии стукачом, и супружеской пары, оставшейся в памяти как идеальная семья.

Осенью Таня сделала еще один аборт, всё очень быстро и складно. Алла Семеновна на этот раз их пожурила, но всё устроила. Таня была в их доме свой человек, и даже Борис Иванович, кроме дорогой своей Аллы и обеда ни на что не обращающий внимания, проникся к Тане симпатией: девка с головой. Из Америки, куда он поехал на какую-то конференцию, привез всем подарки. Тане – белые джинсы. Они были в самый раз, что удивительно. Довольная Танька крутилась перед зеркалом, Андрей, хмыкнув, пошутил:

– Черт возьми, теперь придется жениться...

Таня перестала крутить задницей, повернула свою маленькую голову на длинной, сужающейся кверху шее и сказала даже несколько надменно:

– Не придется...

Шел уже третий год их общей жизни, о женитьбе разговор не возникал за ненадобностью: всеми преимуществами брака они в полной мере наслаждались, а недостатки, связанные с взаимной ответственностью и обязательствами, их не касались.

К этому времени Андрей уже уверенно шел впереди Тани, она за ним, в кильватере, на минимальном расстоянии и почти с этим примирилась. Оценки уже не имели такого значения, что на младших курсах. Теперь все распределились по кафедрам, по лабораториям, и уже появились первые публикации у самых активных. А кто выбрал себе более прямую карьерную тропу, те уже заседали в парткомах, месткомах и профкомах, протоколили, голосовали и распределяли путевки, или осетрину, или билеты на кремлевскую елку.

Тане Соколовой и Андрею Орлову ничего из того, что там распределялось, и задаром было не нужно. Всё, что им было нужно, они уже имели. И даже научные статьи по одной на каждого, но в соавторстве, вполне, разумеется, честном, с заведующим лабораторией. Их совместность, несмотря на независимые научные статьи, всё укреплялась, потому что оба они, против ожидания, выбрали тихую кафедру, а никакую не модную теорфизику или ядерную. Кристаллография вольно располагалась на стыке физики, химии и даже математики. Таня возилась со спектрофотометрами, Андрей считал в вычислительном центре по ночам на огромной вычислительной машине, которая в ту пору занимала целый этаж.

После четвертого курса было куплено четыре путевки в Болгарию на Золотые Пески, и обе пары, молодые и старые, отбыли на отдых.

Отгуляв и отзагорав свое в Болгарии, в соседнем с родителями номере гостиницы, где с них не спросили никаких бумаг, кроме загранпаспортов без отметки о регистрации брака, они вернулись в Москву. Сделав очередной, ставший традиционным, осенний аборт, приступили к учебе. Галина Ефимовна на этот раз осмелилась высказаться в том смысле, что Андрей порядочная скотина. Таня этой темы не поддержала, но фыркнула:

– Сама разберусь, ладно?

Подошел последний год, замаячила аспирантура, и надо было набрать положенное количество очков, чтобы получить рекомендацию от той самой общественности, которую Орловы-Соколовы последовательно

игнорировали. Танины псевдокожаные юбочки, сапоги до колен и прочую фурнитуру тоже нельзя было сбрасывать со счетов – это всё учитывалось некоторым отрицательным образом.

Толя Порошко, комсорг курса, третий угол треугольника, во всеуслышанье заявил, что готов всё, что угодно, подписать, если в их рекомендациях будут написаны черным по белому слова: “В общественной жизни факультета никакого участия не принимает”.

Толя был хохол из Западной Украины, после армии, злой красавец и дурак, к тому же с таким утонченным чутьем на кровь, что ни одному отделу кадров не снилось. Орловых-Соколовых он с первого взгляда расчислил. На своей формулировке он почти настоял, что автоматически означало, что ни в какую аспирантуру их не примут.

Однако Орловы-Соколовы подтвердили свое происхождение, проявив сатанинскую хитрость: выяснилось, что Андрей, получивший в свое время квалификацию судьи по боксу, оказывал судейские услуги на кафедре физвоспитания, а Таня, еще того хитрей, уже два года как вела гимнастический кружок в подшефной университету школе. Всё с расчетом, конечно. Но спортивная кафедра написала им роскошные бумаги на бланке, свидетельствующие об их активном участии в общественной жизни. И Порошко утерся, а заодно и утвердился во всесильности жидомасонского заговора.

С кристаллами, со своей стороны, всё обстояло как нельзя лучше. Занимались они входящей в моду симметрией, а там, в кристаллах, с симметрией происходили всякие восхитительные вещи. Андрей строил какие-то модели, их отражал, переворачивал, и в перелицованном виде, когда правое должно было стать левым, происходила всегда какая-то маленькая заминочка, тоненькое расхождение, которое разглядел когда-то заведующий кафедрой, и теперь это до безумия волновало Орловых-Соколовых, и они сидели до поздней ночи и работали не из корысти, а из азарта и страсти.

Оба аспирантских места, отпущенные на кафедру, вполне заслуженно были предназначены им. Все это знали. Однако в конце мая, уже после защиты дипломов, одно из мест у кафедры забрали. Заведующий, человек порядочный и умный, вызвал Орловых-Соколовых. Он ценил ребят и понимал, какое это для них испытание. Он уже приготовил хорошее стажерское место в одном из академических институтов по той же тематике и, в сущности, под своим же крылом. И теперь он решил, что даст им выбрать, хотя сам бы предпочел оставить в аспирантуре Андрея.

Они выслушали, переглянулись и поблагодарили. Попросили дать день

на решение. Молча дошли до метро. Оба понимали, что аспирантура будет Андрею, но каждый оставлял ход другому. Возле метро Андрей сдался:

– Выбирать будешь ты.

С виду это выглядело благородно.

– Я уже выбрала, – улыбнулась Таня.

– Вот и хорошо. Остальное будет мое.

Они друг друга стоили. Никто и бровью не повел.

На “Парке Культуры” она боднула его стриженной головой в ухо, их тайным жестом, встала:

– Я домой...

– Мы же собирались... – Они действительно собирались вечером в гости.

– Я прямо туда приеду, попозже, – и вышла на своих высоченных каблуках.

Длинные носки ее туфель, Андрей знал, набивались треугольными ватными затычками. Обувь всегда была ей велика, трудно было купить этот редкостно маленький номер.

Куцая стопа, глубокий шрам под коленом, узкая волосяная дорожка на плоском животе, большие соски, занимающие половину маленькой груди, руки и ноги коротковаты, пальчики тоже. Изумительно красивая шея. Чудесный овал лица...

Она ушла, унесла всё с собой, а он поехал домой в дурном настроении, раздраженный, обиженный. Должна же она понимать, что он... Это было то самое, о чем они никогда не говорили.

Вечером они встретились у друзей. Было скучно. На Андрея напал приступ злого остроумия, и он несколько раз присадил хозяйку дома, отчего нисколько не стало веселее. Ушли поздно, недовольные. Андрей взял такси, поехали к нему. Квартира у Орловых была хоть и большая, но неудобная. Родители занимали две большие смежные комнаты, у Андрея была девятиметровка. Борис Иванович страдал бессонницей, а водопроводные трубы, подверженные эффекту Помпиду, начинали страдальчески реветь, если открыть кран. Помыться, таким образом, после того как родители укладывались, было бы бесчеловечным.

В темноте, лежа вдвоем на узеньком диванчике, не оставлявшем места для обид, он заговорил с ней, как только убедился, что ему ни в чем не отказано:

– Ты дура, Танька. Я же мужик. Ты на меня ставь. Не пузырьрся. Я люблю тебя. У нас же всё, всё общее...

Она ничего не отвечала – общность их была наиполнейшая. Когда же

она исчерпалась, Таня сказала грустным и пустым голосом:

– Кажется, я опять влипла.

Он зажег свет, закурил. Она укрылась от света в подушку.

– Ну вот мы и приехали. Я так считаю, рожай. Девочку, ладно?

Она никогда не плакала. Но если бы заплакала, то именно сейчас. И он это понимал.

– Ага. Тебе аспирантура, а мне девочка с пеленками...

Таня оформилась на работу в академический институт, сделала аборт и собралась на юг. Андрей остался сдавать приемные экзамены в аспирантуру. Перед отъездом они подали заявление в загс. Андрей считал это необходимым. Настроение всё равно было паршивое. Каждый из них делал не совсем то, что хотел, и раздражался в душе на другого.

Андрей провожал ее на вокзал. Ехала она не одна. Часть их компании уже была в Коктебеле, теперь ехали остальные, весело, с комфортом, взяв с немислимой в те времена переплатой два отдельных купе.

Они поцеловались на перроне, и она поднялась на ступеньки вагона. Изогнувшись, она помахала ему рукой. Так она и запомнилась ему в эту последнюю минуту их совместной жизни: в красной мужской рубашке с не застегнутыми на запястьях пуговицами, с распущенным, бессмысленно длинным шарфом на тонкой шее... Это был ее собственный шик, она начинала носить что-то особенное, свое, – и все за ней повторяли.

Поезд уже тронулся, и он крикнул ей вслед:

– Смотри ты там в Витеньку не влюбись!

Это была постоянная шутка их компании. Начинаящий писатель Витенька входил в моду, и девушки вились вокруг него густым роем.

– Если влюблюсь, немедленно сообщу! Телеграфом! – крикнула Таня, уже двигаясь в сторону юга.

К Орлову Андрею Соколова Таня больше не вернулась. Она позвонила ему десять дней спустя, ночью, разбудила Бориса Ивановича, который наутро Андрею высказал всё, что он о нем думал. Но это значения уже не имело.

Таня сказала Андрею, что к нему не вернется, и вообще, неизвестно, вернется ли в Москву. И что сейчас она едет в совсем другой город. И вообще – привет!

Прекрасно понимая, что именно и почему это произошло, Андрей сказал сонным голосом:

– Спасибо, что позвонила, Тань.

Она немного помолчала в трубку и сдалась:

– Как экзамены?

– Нормально.

И опять она помолчала, потому что все-таки не ожидала от него такого хладнокровия:

– Ну пока.

– Пока.

Трубку первым повесил он.

Алла Семеновна прибежала к Галине Ефимовне. Они были уже слегка знакомы, но не испытывали друг к другу большой симпатии. Галине Ефимовне, вообще говоря, не нравился Андрей, а Алла Семеновна, заранее готовая к родственной дружбе, не увидев со стороны будущей тещи большого энтузиазма, надула губы. Борис Иванович к этому времени как раз выяснил в Академии насчет кооператива, и получалось довольно складно – квартиру можно было оформить на Таньку, раз она теперь тоже сотрудник Академии... И вдруг этот телефонный звонок, когда всё уже решено и даже заявление подано... Андрей лежит целыми днями на диване и курит. Ну что же он, виноват, что место оказалось только одно?..

– Да Танька, с ее-то способностями, еще раньше Андрюшки защитится... – лопотала Алла Семеновна.

Галина Ефимовна только хлопала глазами: она не знала ни о телефонном звонке, ни об изменившихся Таниных планах. Она так искренне и глубоко огорчилась, что добрая Алла Семеновна с ней мгновенно внутренне примирилась. Да и что им было делить? Уже настроились вместе внуков растить, и квартира для молодых уже созревала, и вот – всё вдруг рушится...

...Объявилась Таня через несколько дней, по телефону. Сообщила матери, что всё отлично, что звонит не из Крыма, а из Астрахани. Слышно было плохо, Таня обещала написать длинное и сногсшибательное письмо. Галина Ефимовна попыталась прокричать что-то про Андрея, но тут прервалась связь.

“Вот именно, вот именно, прервалась связь”, – думала Галина Ефимовна, и ей было страшно за Таню: как резко она движется, как неосторожно живет... Почему Астрахань? Зачем Астрахань?

Под Астраханью, в рыбацьем поселке, затерявшемся в плавнях, жили родственники писателя Витеньки. Отец его, заместитель директора чудесного заповедника Аскания-Нова, был из местных, выдвигенец, умер несколько лет тому назад, но осталась куча простоволосой родни. Свои первые рассказы и повесть Витенька и выудил в тех краях, в Ахтубе.

Поселок был браконьерским раем, царством рыбы и икры, мелкой

воды и глухого тростника. Каждый пацан гонял на моторке, как на велосипеде, и Таня со своим писателем, рванув мотор, улетала ранним утром с дальней песчаной отмели, выше по течению, и она только диву давалась, как в глухом тростнике, в неопределенных рукавах без опознавательных знаков он находил дорогу и вывозил ее каждый раз к длинному, в форме ложки с тонким черенком, острову с круглым песчаным пляжем, черпающим волжскую воду.

Горячий желтый песок, несчитанные тысячи мальков на отмелях и новая любовь с этим огромным, под метр девяносто, человеком. Всё устройство его было другое – и хорошо, и отлично, хотя не совсем впопад, не совсем в ногу, но это мелочи, потом отладится... Он всё дивился ее малости, ставил на ладонь ее короткую ступню, и она терялась в его руке. Он был, несмотря на свои тридцать, довольно заезженный мужик, часто менявший женщин от небезосновательной неуверенности, а с этой малявкой он был гигант, и приключение их было острым: она как-никак бросила жениха. А оттого что Витенька прекрасно знал Андрея, симпатизировал ему как младшему товарищу, всегда проигрывал ему в преферанс и не раз в его доме напивался, всё делалось еще острее.

И волосы еще не успели как следует отрасти на Танькином бритом лобке, как почувствовала она: снова забеременела.

“И вот теперь-то я рожу”, – торжество радостной мести наполняло ее.

Почти месяц они с писателем провалились на песке. Запах рыбы стал Тане невыносим, а картошка в этих местах была куда ценнее осетрины.

Он клал руку на ее втянутый живот – и куда же это всё поместится? Ребенок-то будет большой! – беспокоился он.

То, что происходило внутри ее живота, его дико интересовало, и он уже любил то, что там, в животе, жило, и тревожился, и засыпал, укладывая всю Таньку себе на плечо и ладонью запечатывая щекотно покалывающий мускулистый вход и выход.

Они расписались в поселковом загсе в пять минут. Подружка двоюродной сестры заведовала этим скромным учреждением. Никакого заявления они не подавали, просто зашли с паспортами, заплатили рубль двадцать и получили брачное свидетельство и лиловую печать. День, конечно, был тот самый, на который было назначено ее бракосочетание с Андреем.

Мысль об Андрее Таня гнала прочь. При этом всё время возникало: “О, не забыть сказать!”

Загоревшая, сбросившая обожженную кожу и снова загоревшая, Таня вернулась в Москву только к середине августа. Без всякого

предупреждения она прямо с вокзала привела Виктора домой и объявила Галине Ефимовне:

– Мамочка, мой муж. Виктор.

Галина Ефимовна оторопела: “Ну, Таня! Что хочет, то и делает!”

Он не был особенно хорош собой, этот муж: простонародное лицо, надвое надо лбом распадающиеся слабые волосы, грубые надбровья. Ростом был велик, что на маленьких женщин производит большое впечатление. Речь же его была неожиданно интеллигентная, держался он хорошо.

Галина Ефимовна с чайником отправилась на кухню и долго не возвращалась. Когда Таня пришла за ней и за чайником, мать горько плакала на скамеечке возле ванной: Андрюшку жалко!

Газ под чайником забыла зажечь.

Началась сложная и нешуточная жизнь. Таня вышла на свою первую работу. В тот же день приехал в институт Андрей. Встретил. Он не знал, что Таня вышла замуж. Таня с Виктором общим друзьям ничего не сказали: брак пока был тайным.

– Пойдем куда-нибудь посидим, – предложил Андрей.

– А вот лавочка, – и Таня села на ближайшую лавочку.

Он сказал, чтобы она кончала валять дурака. Она сказала, что вышла замуж.

– За Витьку? – догадался он, потому что оба они одинаково понимали в законах симметрии.

– Да.

– Ну хорошо, тогда поедem к нему и заберем твои вещи, чтобы не оставалось никаких двусмысленностей, – предложил он так уверенно, что Таня на миг допустила, что именно это и сделает сейчас.

– Я беременна, Андрей.

– Это неважно. Сделаешь еще один аборт. Последний раз, – пожал плечами Андрей.

Это было уже на пределе.

– Нет, – мягко сказала Таня. – Больше не могу.

Он вытащил сигарету и закурил.

– И всё это из-за говенной аспирантуры? – спросил он как ударил.

Но Таня слишком много и сама об этом думала. И более того, она уже знала, что скоро уйдет из этого института, что кристаллы ей были интересны, только пока рядом был Андрей, а теперь всё это треснуло и обвалилось, и ей совершенно безразлично, по какой это причине в одной друзе кристаллы рождаются правовращающими, а в другой лево... Она еще

не знала, что из двух мальчиков, которых она родит, один будет левшой... Странно, странно, восхитительно...

Был в судьбе какой-то сбой и непорядок, если бы Андрей сказал ей: “Аспирантура твоя, а я иду в стажеры”, – что, кристаллы остались бы живы?

Но что теперь говорить!

И она встала, поставила палец ему на макушку и повела вниз, через лоб, к подбородку. Поставила там точку:

– Нет, Андрей, нет. Амур пердю...

В следующий раз они встретились через одиннадцать лет на крымском берегу, в том же месте, куда приезжали в юности. Это были остатки их прежней компании, хотя физик уехал в Америку, идеальной супружеской пары уже не было, так как он погиб в автомобильной катастрофе, а у нее была другая, еще более идеальная семья. Зато были другие, вполне симпатичные люди. Через общих знакомых они знали заранее, что увидят друг друга в этот сезон.

Андрей был с женой и пятилетней дочкой, Таня – с двумя десятилетними близнецами, тощими очкариками, уже ее переросшими. Муж ее остался в Москве писать роман из жизни рыб. Про всех остальных животных он уже написал – такой у него был способ борьбы с действительностью, впрочем, весьма далекий от “Скотской фермы”.

Таня меньше изменилась, чем Андрей. Он растолстел, что при его росте было непозволительно, стал доктором наук. Таня больше не носила бикини, а, напротив, носила закрытые купальники, потому что ее когда-то очаровательный живот был располосован грубыми советскими швами, оставшимися после кесарева сечения. В остальном она была всё та же: ходила по пляжу на руках, носила экстравагантные наряды и в туфли по-прежнему набивала комочки ваты.

Все были с детьми. Ходили в ближние и дальние бухты, учили детей плавать и играть в преферанс. Общались Андрей с Таней исключительно на людях, при большом стечении народа и не сказали друг другу ни одного человеческого слова. Таня время от времени ловила на себе тревожный взгляд Ольги, Андреевой жены, но это ее только забавляло. Ольга была высокая, с заметной фигурой, почти красавица, из породы милых дур. Он на нее время от времени цыкал, а она хлопала тяжелыми от туши ресницами и надувала губы. Девочка у них была прехорошенькая...

За несколько дней до отъезда все решили пойти с ночевкой в Чаечью бухту. Дети обожали такого рода развлечения. Таня заранее объявила,

что не пойдет, но сыновья ее так просились, что идеальная семья взяла их с собой, на свою ответственность. Их сын, сверстник Таниных, очень убивался, что лучшие друзья не пойдут. Таня, уставшая от людей, решила провести сутки в одиночестве, отдохнуть от непрерывного трепы. Сговора никакого у них с Андреем не было, и она даже не знала, что он тоже остался, не пошел со всеми.

Отправив ранним утром детей, Таня весь день провалялась с Томасом Манном в душевой комнате, засыпая, просыпаясь и снова засыпая. Только под вечер встала, вымылась под душем нагретой за день водой, побрила подмышки, сделала маску из переросшего хозяйского огурца, сварила себе кофе и села за садовым столом с чашкой. Тут и пришел Андрей:

– Танька, что делаешь?

– Утренний кофе пью. Налить чашечку? – непринужденно ему ответила и поняла, что весь месяц ждала этой минуты.

– Я кофе не пью. У меня от него в ушах шевелится, – была у них такая фразочка раньше. – Давай примем местных напитков...

И они пошли к бочке. Таня, болтая расстегнутыми рукавами белой мужской рубашки, была легкой и веселой. Они выпили алиготе, потом портвейна, потом липкого кокура, всё оттягивая минуту, которая уже стояла за спиной.

Все снимали комнаты у хозяев, один Андрей жил по-генеральски, в маленьком отдельном домике на территории военного санатория, у главврача, уступившего ему служебное помещение за большие деньги.

Они шли по набережной на расстоянии тонкого волоса друг от друга, разговаривая приблизительно о погоде, и тоненькая корочка над бездной еще держала их тела, но сильно прогибалась. Они уже обошли все бочки и шли к санаторию, а вовсе не к Таниному жилью. Вошли в служебный вход, по шуршащему гравию прямо к маленькому домику в розовых кустах. Дверь не заперта, свет не зажигается.

– Только умоляю: ни одного слова...

“О-о, как я забыла... за передними зубами металлическая скобка, зубы-то выбиты... нет, не забыла, язык сюда, под скобку...”

Бедный мой любимый дом, брошенный, отданный в чужие руки... крыльцо... и ступени, и двери... Стены твои, твой очаг... Что ты наделала... что ты наделал... Вместо теперешних трех мог быть один совсем другой. Или не один... что мы наделали...

Это не какие-то две глупые клетки рвутся навстречу друг другу для бездумного продолжения рода, это каждая клетка, каждый волосок, всё существо жаждет войти друг в друга и замереть, соединившись.

Это единая плоть вопит о себе, горько плачет...

Горько и бессловесно плакала плоть до утра. Потом опомнилась. У них еще был целый день до вечера. Они поели и легли под мятую простыню. Таня провела пальцем от макушки до подбородка.

Андрей очень явственно видел, как это происходит: все возвращаются из бухты, собирают вещи, едут в Москву. Он отвозит своих домой, а сам съезжает на дачу с Танькой и ее мальчишками... Зимой холодно. Машина увязает в сугробах. Деревянной лопатой прочищает дорожку к воротам... Отвозит мальчиков в школу... Ольга с дочкой... совершенно непонятно, как... Тащит Верку в детский сад...

...Витька, конечно, съедет. И даже рад будет. Уйдет к какой-нибудь Регине. Трудно представить себе Андрея в нашем доме... Свой красный махровый халат он, наверное, уже износил... По утрам кофе не пьет, чай... Кристаллы, да, еще и кристаллы... Вот это, может, самое главное, с ними-то как быть...

И Танька этого хочет больше всего на свете, он это точно знал. Потому и молчал. И она молчала. И опять не выдержала она:

– Ну что?

Это можно было понять как угодно, например, пора сматываться...

Плоть уже закончила свои последние стоны. Какая у Ольги дивная фигура, грудь, талия, ноги... Нет, это не работает... Провел пальцем по Таниному лицу:

– Амур пердю, вставай...

Она легко вскочила, засмеялась, закрутила головой. Прежние короткие волосы шли ей больше.

– Нет, не обманешь. Не пердю.

– А хули толку, Таня?

Она надела белую рубашку, вскочила на высоченные каблуки и ушла.

Ольга наутро мела дом. Выбила веником откуда-то из угла ватный треугольничек:

– Что за гадость...

Андрей взглянул мельком: о, дура недогадливая... да и откуда ей знать, когда у нее тридцать девятый...

– Что-то отдых мне надоел... Может, отвалим пораньше, а? Скажем, завтра?

Ольга была сговорчива:

– Как хочешь, Андрюша...

Зверь

В один год ушли от Нины мать и муж, не для кого стало готовить, не для кого жить. Теперь она, как Ева из изгнания, смотрела в сторону своего прошлого, и всё ей там, в прошлом, казалось прекрасным, а все обиды и унижения выбелились до полного растворения. Она даже ухитрилась забыть о том боевом перекрестье, на котором она стояла все одиннадцать лет своего брака, в огне взаимной ненависти двух любимых ею людей.

Теперь, по истечении времени, всё это вспоминалось скорее как драма сложных характеров, а не как бытовое позорное цепляние, неприличные взаимные уколы, раздражение, доходящее до точки кипения, и яростные скандалы, случающиеся всякий раз, когда Нине удавалось свести их за белой скатертью в безумной надежде соединить несоединимое. Никогда, никогда не жила Нина в раю, разве что в ранней молодости, когда она еще училась в консерватории, не знала Сережи и не случилось с ней ее первого несчастья. Но теперь все умерли, жизнь как будто свернулась кольцом и прошлое, освещенное кинематографическим светом счастья, прожорливо заглохло и пустынное настоящее, и лишенное какого бы то ни было смысла будущее.

Всеми мыслями и чувствами она была привязана теперь исключительно к покойникам, которые смотрели на нее со всех стен. Мама с арфой, мама в шляпке, мама с обезьянкой на руках. Сережа – мальчик с деревянной лошадкой, Сережа – школьник с прозрачным чубчиком, Сережа – яхтсмен с каменными плечами, предпоследний Сережа с осевшими на шею щеками, матерый, опасный, и последний – худое лицо, вмятые виски, в глазах не то сомнение, не то догадка. Или созревшая мысль, так никогда и не высказанная. И бабушка Мзия, умершая до Нининого рождения, с лицом старинным и суровым, в круглой девичьей шапочке под темным покрывалом, знаменитая исполнительница забытых теперь песен...

Почти два года прошло, как умерла мама, одиннадцать месяцев после смерти Сережи, а легче нисколько не делалось, становилось только хуже. Замучили сны. Не кошмары, а какие-то серые, на коричневом фоне вялые и блеклые картинки, такие трухлявые, что и сном не назовешь. Нина говорила себе в этом слабом сне: проснись, проснись, – но тусклая паутина теней не отпускала ее, а когда Нина наконец выбиралась оттуда,

то выносила на белый день неопишемую тоску, злую, как зубная боль.

Нина наподобие кастрюли-скороварки проваривала в себе эти ночные переживания и, вконец измучившись, пожаловалась своим подругам. Подруг у нее было две: старшая, Сусанна Борисовна, – дама высокообразованная и мистически одаренная, даже состоявшая в антропософском обществе; и младшая, Томочка, – женщина простоватая, пугливая и такая богобоязненная, что за годы их дружбы Нина даже прониклась неприязнью к тому богу, который столь многого от нее требовал и ничегошеньки не давал взамен. И даже то небольшое, что от рождения было Томочке дано, – бледноватая миловидность, – и то у нее было отобрано: мать ошпарила ее в детстве, и правая щека ее сильно пострадала от ожога.

Обе подруги много помогали Нине в ее тяжелые времена, но друг дружку недолюбливали, ревновали. Смирненная Томочка, говоря о Сусанне, наливалась анемичной злостью – на более яркие чувства у нее не хватало темперамента, розовела и говорила шипучим голосом: “Она еще себя покажет, попомнишь мои слова, я прямо нутром чувствую ее бесовские дела...”

Сусанна Борисовна относилась к Томочке как будто снисходительно, только время от времени легонько высказывалась о Томочкином невежестве, о ее диких языческих заблуждениях и примитивности, к слову сказать, покойный Нинин муж обеих терпеть не мог – Тому считал убогонькой, а Сусанну Борисовну иначе как “мадам Грицацуева” за глаза не называл.

Примитивная Томочка, узнав от Нины о ее ночных страданиях, объявила, что будет о ней усиленно молиться, а ей, Нине, надо непременно причаститься, потому что все эти испытания насылаются на нее исключительно для богообращения...

Сусанна Борисовна, в некотором роде врач – у нее был косметологический кабинет, – выписала Нине транквилизатор и снотворное, а тяжелые сны объяснила неполным разрушением астральных тел ее дорогих покойников, неблагоприятными обстоятельствами их посмертного пути, рекомендовала Нине стать на путь самосовершенствования и оставила с этой целью редкую по своему занудству книгу про духовные иерархии и их отражения на физическом плане.

То ли лекарства помогли, то ли Томочкины молитвы, но первое время спать она стала получше, серо-коричневые тени больше не мельтешили, но, странное дело, снился премерзкий запах. Она просыпалась от нестерпимой

вони, наводящей ужас своей нездешней силой, потом засыпала снова. Появилось ощущение, что в доме кто-то есть: тень, призрак, недобрый дух... И эта вонь, ни на что не похожая. Вероятно, вроде тех химических веществ, от которых люди сходят с ума.

Через несколько дней приснившаяся вонь как будто материализовалась. Придя однажды с работы, Нина почувствовала резкий кошачий запах, отвратительный, но не выходящий за рамки пристойного реализма. Своим длинным и чутким носом Нина скоро нашла эпицентр вони: это были домашние тапочки Сережи, которые всё это время стояли возле двери в калошнице. Нина тщательно, с порошком, отмыла тапочки, но, вероятно, несколько особо въедливых молекул осталось, так что ей пришлось еще побрызгать в квартире дезодорантом. Но кошачий запах всё равно пробивался сквозь лаванду и жасмин. Она позвонила Сусанне Борисовне и пожаловалась. Та помолчала, помолчала, а потом сказала неожиданно:

– Знаете, Ниночка, а вам необходимо бросить курить.

– Это почему же? – изумилась Нина.

– На вас идет мистическое нападение, Нина, а курение притупляет мистическое чутье, – пояснила Сусанна Борисовна. – В вашей квартире неблагоприятно...

Неблагоприятно – это самое малое, что можно было сказать об этой квартире. Проклятое место, трижды проклятое место, – душа ее с самого начала к ней не лежала. Сереже приспичило сразу же после смерти мамы объединить их небольшую уютную квартиру на Беговой и мамину однокомнатную в эти хоромы, и отговорить его Нине не удалось. Он и слушать не хотел ни о последнем этаже, ни о протечках на потолке. В тот год дела его шли так хорошо, что плевал он на эту дырявую крышу и готов был над своей головой и крышу переложить. Такой уж был человек.

За полгода он сделал всё точно так, как задумал: повалил стены, поднял в половине квартиры пол сантиметров на тридцать, превратив небольшую кухню и одну из комнат в трапезную, – и всё жилище их представляло собой двухсветный зал, сквозняковый, холодный, а внутренняя дверь вела в большой совмещенный санузел – единственное любимое место Нины во всей квартире. Теперь она поставила туда маленький столик и по утрам пила кофе на табуретке между ванной и унитазом...

Эта проклятая квартира и съела Сережины силы, угробила его. Особенно ненавидела Нина камин. С технической стороны он не удался: дымоход был сделан кандидатом физ. – мат. наук, а не печником, –

дым мгновенно наполнял всю квартиру и потом долго плавал едкими клоками. Сергей так и не успел его переделать, потому что к концу ремонта уже начались анализы, диагнозы, консультации и больницы...

Всего полгода он проболел скоротечным раком и умер, оставив врачей в медицинском недоумении: он был съеден метастазами, а первичного источника они так и не нашли. Но для Нины это уже значения не имело. Она осталась совсем одна, а по своей физиологической природе одиночества выносить не умела, испытывала состояние обезумевшей мухи, у которой оторвали крылья: крутилась, кружила на месте, а мир проваливался под ногами или падал куда-то вбок... И теперь это наваждение...

Предсказанное Сусанной Борисовной мистическое нападение явило себя самым вульгарным образом в один из следующих дней. Придя с работы, Нина обнаружила в самой середине тахты, на бежевом вязаном покрывале, отвратительную кучу самого что ни на есть материального свойства. Вонь в квартире стояла столь скверная, что казалось, будто даже воздух в доме приобрел тот самый коричнево-серый оттенок нечеловеческой тоски, который был знаком ей по сновидениям. Нина положила голову на руки, уронила свои густые кавказские волосы и заплакала. Плакала она недолго, потому что пришла подруга Томочка. Томочка охнула, засуетилась, убрала кучу и объяснила ее происхождение:

– Форточки открытыми не оставляй, это к тебе с крыши какой-нибудь бездомный кот повадился.

– Какой еще кот? – возразила Нина.

– Какой, какой... Большой кот, очень большой кот нагадил, – уверенно разъяснила Томочка.

Она знала, что говорила, – всю жизнь была кошатница.

Нина постирала покрывало, вымыла полы, дышать стало полегче, но до конца запах не выветрился, и они пошли ночевать к Томочке. Форточки перед уходом плотно закрыли.

На следующий день, когда Нина пришла после работы домой, куча лежала на прежнем месте, прямо на одеяле. Форточки по-прежнему были закрыты.

Действительно, мистика. Права была Сусанна Борисовна. Никакой кот в закрытую форточку не влезет.

Она снова принялась за стирку и мытье, вылила флакон дезодоранта и, трясаясь от нервного озноба, легла в оскверненную постель. К запаху она притерпелась, заснуть ей теперь мешали какие-то неясные, из неопределенного источника исходящие звуки...

“Именно так и сходят с ума”, – догадалась Нина.

Утром, уходя на работу, Нина накрепко заперла форточки и балконную дверь.

Однако возвращаться домой одна она не решилась, заехала за Томочкой, и в девятом часу пришли вдвоем. Нина открыла сложный замок двойной двери, вошла. Следом за ней Томочка. Он их ждал, как будто решил, что пришла пора представиться. Сидел в кресле, огромный, самоуверенный, щекастой мордой к двери. Нина тихо ойкнула. Томочка даже как будто восхитилась:

– Ну и котяра!

– Что делать будем? – шепотом спросила Нина.

– Как что? Кормить, конечно.

– Ты с ума сошла? Он же никогда отсюда не уйдет! Вон, опять нагадил. – Новая куча лежала посередине прихожей.

Это был, конечно, характер. И точный глаз. Он всегда безошибочно выбирал середину.

– Сначала надо дать поесть, а там видно будет, – решила Томочка.

Он был не пушистый, а, напротив, совершенно гладкошерстный и как будто асфальтовый. Сидел неподвижно, опустив слегка голову, смотрел на них стоячим звериным взглядом и, судя по всему, виноватым себя не чувствовал.

– Каков наглец, – возмутилась Нина, но вынула из холодильника кастрюльку старого супа, который она, повинувшись многолетней привычке, всё варила, бросила туда две котлетки и шлепнула на плиту.

Потом Томочка поставила миску с подогретым супом возле двери, прямо на половик, и позвала его “ксс-ксс”. Человеческий язык был ему знаком. Он тяжело спрыгнул с кресла и медленно пошел к миске. Вид у него был внушительный. Если бы он был человеком, можно было бы сказать, что он идет как старый штангист или борец, ссутулившийся от тяжести мускулов, спортивной усталости и славы. Перед миской он остановился, понюхал, присел и, прижав к голове одно ухо – второе, драное, висело лопухом, – начал быстро жрать. Томочка же просительным голосом увещевала его:

– Ты поешь, котик, поешь и уходи. Уходи, нечего тут тебе делать. Поешь и уходи себе, пожалуйста.

Он оглянулся, развернувшись широкой грудью, и посмотрел на Томочку очень сознательным взглядом, потом снова уткнулся в миску. Съев всё, дочиста облизал миску. Тут Томочка открыла перед ним входную дверь и твердо сказала:

– А теперь уходи.

Он всё отлично понял, обманно шагнул в сторону двери, потом резко развернулся возле калошницы и, сделав молниеносный полукруг по квартире, шмыгнул под книжный шкаф.

– Не хочет уходить, – тоскливо сказала Нина. – Напрасно мы его накормили.

– Ксс-ксс, – страстно шипела Тома, но кот не реагировал.

Нина вынесла из ванной швабру и зло сунула под шкаф. Кот вылетел оттуда, метнулся по квартире раз-другой, а потом исчез под диванчиком, придвинутым спинкой к кухонному подиуму. Нина пошарила под диванчиком. Потом отодвинула его. Кота там не было. Он исчез. Подруги переглянулись.

Они постояли в молчании, переживая происшествие. Потом Томочка нагнулась и недоверчиво провела рукой по панели. Слегка нажала. Доска отошла. Это был лаз в плоский подпол, образовавшийся под кухней.

– Так вот где он у тебя живет, – обрадовалась простодушная Томочка, – а ты говоришь – мистика...

– Ужас какой... теперь его оттуда не выкурить...

– Надо немедленно забить доску, – с глупой решительностью вскочила Тома.

– Ты что, – собралась с умом Нина, – а если он там сдохнет? Представляешь, что будет? Дохлый кот в доме...

О, был бы жив Сережа, ничего бы этого не было... Всей этой глупости...

– Валерьянку надо купить, вот что! Мы выманим его валерьянкой и тогда доску забьем! – воскликнула Тома. – Только валерьянки нужно побольше.

Валерьянки купили много, налили полное блюдечко и затаились. Томочка оказалась настоящим знатоком кошачьей души, через пять минут он вылез из-под отстающей панели, резво подбежал к блюдечку и вылакал его в одни присест. А потом он пошел от блюдечка прочь, к своей дыре, раскачиваясь, как матрос на палубе. Потоптался, явно потеряв направление, нескладно развернулся и пошел к тахте, на которой затаились подруги. В Нине проснулись зачатки юмора:

– Сейчас закурить попросит...

Отсмеявшись, Томочка скомандовала:

– Всё. Берем его и выносим. И немедленно забиваем дыру.

Она снова зашипела свое “ксс”, протянула к коту руки, но он метнулся в сторону. Нина подхватила его, он вывернулся и грузно шлепнулся об пол.

Пьян-то он был пьян, но в руки не давался. Кот, судя по всему, пытался пробиться к дыре. Нина, как Александр Матросов, кинулась на амбразуру, прижала отошедшую доску своими голубоватыми пальцами.

– Тома, коробку в ванной возьми! – крикнула она, но кот как будто понял их замысел и решил отступать к балкону. С каждой минутой он делался всё пьяней. – Дверь! Дверь балконную закрой! Он упадет оттуда!

Тома опередила кота, закрыла перед его носом балконную дверь, и не без труда они запихали его в картонную коробку из-под соковыжималки. Он орал низким голосом что-то ругательное и, может быть, даже матерное... Они выволокли коробку на двор, положили ее возле мусорного контейнера и открыли крышку. Он продолжал орать благим матом, но не вылезал. Женщины поспешили домой забивать дыру. И устроили себе маленький праздник по поводу освобождения от врага – выпили хорошего грузинского вина. Но ликовали они, как потом выяснилось, преждевременно.

Особая сила этого приходящего кота состояла в том, как легко он превращался из хамской скотины, позволяющей себе то, чего ни одна, даже слабоумная, кошка не позволяет в доме, в бесплотный призрак, как беспрепятственно он шмыгал между Нининым сном и ее обиденной жизнью, оставляя и там и тут смрад, страх и особого рода кошачество, которая как будто отрывалась от него самого и растекалась, оседая на вещах и проникая в Нину через воздух, через поверхность ее тела так глубоко, что она изводила флаконами шампуня и мыла, чтобы отмыть эту всепроникающую гадость. Сам он больше не появлялся, зато теперь снился почти каждую ночь, искусно меняя свой облик, но Нина научилась распознавать его в темном облаке, наползающем из угла, в ландшафте, имеющем к нему несомненное отношение, и даже в господине, которого она различала в толпе, как в прежние времена тайного агента.

Сусанна Борисовна, информированная о всех этих перипетиях, собиралась в Германию на colloquium или симпозиум и обещала Нине, что непременно обсудит эту ситуацию с самым компетентным специалистом во всей Европе.

Однажды ночью кот снова явился во плоти. Каким образом он проник в квартиру, осталось неизвестным. Лаз был забит, балкон и форточки закрыты, камин был вне подозрений, поскольку его прямой дымоход выходил непосредственно на крышу, и ни один кот, если он не насекомое, не смог бы преодолеть три с лишком метра абсолютно вертикальной трубы. Тем более что к устью камина был придвинут экран. Вероятно, чтобы обнаружить тот потайной ход, которым воспользовался кот, надо было бы

разобрать весь этот старый дом. Кот влез на высоко подвешенную полку, накренил ее и сбросил таким образом всю тонкостенную черную керамику, чудо грузинского прикладного искусства, собранную Ниной еще в студенческие годы. Справившись с ужасом конца света, пережитым ею еще во сне, на фоне звящего тусклым черным звоном обвала, Нина зажгла лампу и увидела, что пол завален черепками, а кот, не успевший раствориться одному ему известным способом, забился в угол и скалился оттуда наподобие цепной собаки. Это было столь мягкое продолжение ее кошмара, что она не сразу поняла, где находится – в новом сне или в собственном доме...

Нина собирала черепки и, не поворачивая головы, слабо причитала:

– Ну что ты за скотина такая... откуда такие бандиты берутся... зачем ты ко мне приходишь, что тебе надо, скажи...

Потом она вынула из холодильника полкурицы и вынесла на лестничную клетку:

– Иди ешь, и чтоб я тебя больше не видела!

Еды он, собственно, не требовал. Но и не отказался. Лениво пошел за курицей. Нина закрыла за ним дверь. Она отлично понимала, что так просто он ее не оставит.

Через четыре дня он появился снова. Сидел в кресле как ни в чем не бывало, вроде бы на своем месте, а на середине бежевого покрывала, вымытого, выветренного на балконном воздухе, лежал убедительный знак его, кота, господства и над этой квартирой, и над самой Ниной.

Тем временем вернулась из Германии Сусанна Борисовна, позвала Нину в гости. Была Сусанна Борисовна на этот раз какая-то утихшая, благостная, в доме у нее пахло благовониями и богатством, горели свечи. На ужин она подала сущую ерунду, Нина бы постеснялась к такому столу звать человека. Зато сама Сусанна Борисовна была как вдовья королева: в лиловой одежде наподобие мантии, голова повязана фиолетовым шарфом в виде тюрбана, грим темный и такой уродливый, что заподозрить ее в кокетстве было никак невозможно. Поели синего салата из красной капусты, потом выпили бордового чая из шиповника, всё в гамме, а потом Сусанна Борисовна объяснила Нине такую вещь, которая никому другому и в голову не пришла бы. Она подчеркнула, что это не только ее личное мнение, но и особое видение ее учителя. Получалось, что перед человеком ставятся определенные задачи, которые необходимо решать, и высшие силы, ангелы и прочие, а одновременно и здешние учителя, эти задачи решать помогают. Однако, если человек противится, то задачи эти трансформируются во что-то кошмарное вроде болезни или, например,

кота. И Нинин же кот есть на физическом плане проявление духовного неблагополучия, но возможно даже, что не в самой Нине дело, а, наоборот, в отношениях тех родственников, которые уже ушли...

– Это очень серьезно, Нина, требуется большая работа, я готова и сама вам помочь по мере возможностей, и познакомить вас с продвинутыми людьми, – заключила Сусанна Борисовна.

От этого разговора и от всей этой лиловости Нина почувствовала себя еще хуже и даже подумала, не сходить ли ей действительно с Томочкой в церковь, все-таки была она человек православный, крещена во младенчестве в старинном тбилисском храме Святой Нины, и даже крестные родители имеются...

Опять Нина ночь не спала, и таблетки не помогали.

На следующий день Миркас, начальник Нины и друг покойного Сережи, велел зайти к нему после обеда. Он взял ее к себе в контору после смерти Сергея, платил хорошие деньги, хотя, когда брал, понятия не имел, как точна и аккуратна Нина в любой работе, а в делопроизводстве вообще царь и бог.

Он вызвал ее – и она забеспокоилась, не допустила ли какой оплошности. На прошлой неделе проходил очень сложный контракт, и она вполне могла что-то напутать. Но когда она вошла к нему в кабинет, он ее сразу ошарашил:

– Слушай, Нина, ты не больна? У тебя вид ну никакой...

Прежде они были на “ты”, но теперь Нина старалась при разговоре строить фразу грамматически неопределенно, чтобы никак не обозначать их новые служебные отношения. Слишком давно они были знакомы, чтобы переходить обратно на “вы”.

– Всё ничего. Бессонница у меня.

Он осмотрел ее товароведческим взглядом: она была не в его вкусе, но, бесспорно, очень стильная. Худая, с ранней откровенной сединой, всегда в черном... Конечно, длинный подбородок, впалые щеки, круги под глазами – но ведь есть, есть в ней что-то...

– Любовника заведи, – хмуро посоветовал он.

– Это служебное распоряжение или дружеская рекомендация? – Взгляд опустила, а подбородок вверх тянет.

Дура, гордячка.

– Бессонница – тоже болезнь. Может, тебе отдохнуть надо? В Тунис, на Канары, куда там девушки отдыхать едут? Фирма оплачивает... Возьми неделю, десять дней. На тебя смотреть невозможно. – Он говорил не то раздраженно, не то брезгливо, а Нина всё выше задирала подбородок.

Потом он скривился, сморщился и сказал хорошим человеческим голосом:

– Ну че, че у тебя случилось?.. Какие проблемы?

И тут гордая Нина закапала глазами:

– Ой, Толечка, не поверишь... Кот замучил...

Сбивчиво и путано Нина рассказала всю историю. По мере того, как он слушал, сочувствие его, видимо, улетучивалось, и к концу рассказа он обычным своим начальничьим голосом отрубил:

– Значит, так. Как только появится, сразу звони мне. Я с ним разберусь.

Слухи про Миркаса ходили такие, что разборки он производить умеет.

Возможно, до кота эти слухи тоже докатились, потому что он на глаза несколько дней не показывался, хотя своим вниманием Нинину квартиру не оставлял. Как-то, уйдя на работу, Нина не затворила дверцу шкафа, и подлец, конечно, воспользовался ее оплошкой, нагадил в шкаф. Бедной Нине пришлось волочь весь свой немалый гардероб в чистку, но и после ей всё чудился кошачий запах, и это было ужасно.

Но все-таки настал день, когда кот как ни в чем не бывало встретил ее в кресле. Она сразу же позвонила Миркасу. Миркас приехал ровно через двадцать минут, и всё это время глубоко подавленная Нина просидела в ванной на табуретке.

Ни слова не говоря, Миркас направился к креслу. Но эти ребята оказались равными противниками: Миркас схватил кота за шкурку, а тот вцепился ему в руку. Раздался утробный рык, и совершенно непонятно было, кто его издал.

– О господи! – ахнула Нина, увидев располосованную руку.

– Балкон! – рывкнул Миркас, и Нина, забежав вперед, открыла балконную дверь.

“И что толку? – успела подумать Нина, не поняв намерений Миркаса. – Всё равно опять придет”.

Окровавленный Миркас держал кота за шкурку, а кот драл его всеми четырьмя. Нина в ужасе прижалась к двери – крови она не выносила. Прохрипев тихое злое ругательство, Миркас размахнулся и швырнул кота через балюстраду балкона. Нина отчетливо уловила мгновение, когда кот после броска взлетел немного вверх, расправляя на ходу передние лапы и пригнув голову, потом как будто замер в позе космонавта в открытом космосе – и исчез из виду. И сразу же внизу раздался звук, как будто выплеснули таз воды. В темноте двора ничего видно не было.

Пока травмированная Нина промывала Миркасу рваные раны, тот только покачивал головой:

– Ну зверюга... Таких отстреливать надо...

Вид у Миркаса был такой, будто он только что старушку топором зарубил.

Нина проспала всю ночь как убитая. Выспалась впервые за долгое время. Однако уже перед самым выходом из дому вдруг ужаснулась: а если мертвый кот лежит под ее балконом, как же она мимо пройдет?.. Хотя про кошек известно, что они умеют на лету равновесие держать, крутят хвостом как пропеллером и на все четыре лапы приземляются...

Но возле дома никакого мертвого кота не было, и вообще никого не было. Нина вышла из своего Чистого переуллка и пошла в сторону Зубовской площади...

Кот, на время или навсегда, исчез. Настроение же у Нины делалось всё хуже. Вероятно, Миркас его все-таки убил, и хотя кот был, конечно, большой подлец, но смерти ему Нина не желала. Хотела только, чтобы он исчез. Но теперь, после всего этого кошмара, казалось, наступило облегчение, а Нина, приходя с работы, как будто немного ждала, что эта поганая скотина сидит в ее кресле...

Тем временем приближалась годовщина Сережиной смерти. Принять надо было человек тридцать, и не как-нибудь, а по-хорошему. Миркас тоже про годовщину помнил. Всю неделю он ходил злой как черт, рука у него нарывала, кололи антибиотики, однако, проходя мимо Нининого стола, положил перед ней конверт:

– В ресторан зовешь или дома устраиваешь?

Гордость Нинина страдала ужасно – при Сереже ее так не унизили бы... Но опомнилась от приступа несуразной гордости, отвела свои бесподобные волосы с лица:

– Спасибо, Толя.

И купила еще поросенка, и угрей, и полкило икры...

Рано утром Томочка отправилась в церковь, заказала панихиду. Нина в церковь не пошла – Сережа всего этого при жизни терпеть не мог. Она поехала на кладбище. Повезла цветы. Памятник уже стоял, еще ранней весной Нина всё устроила: большой черно-серый камень, грубый и простой...

Вечером всё получилось как нельзя лучше – столы богатые и красивые, как Сергей любил. Пришли все, кого Нина хотела видеть: Сережины друзья, и его двоюродный брат с семьей, и одинокая золовка, которая Нину недолюбливала, и Миркас пришел со своей старой женой, неизбалованной Викой, а вовсе не с теми новенькими, которых у него столько развелось в последнее время, и Нина была этому рада. Пришел

даже адвокат Михаил Абрамович, который защищал Сережу в давние времена, когда случились с ним большие неприятности. Адвокат с тех пор стал очень знаменитым, по телевизору постоянно выступал, а про годовщину не забыл... Все говорили про Сережу хорошие слова, отчасти даже и правдивые: о силе его характера, о смелости и мужестве, о таланте. Правда, сестра его Валентина ухитрилась как-то вставить, что Нина детей ему не родила. Но Нина и бровью не повела – это место в своей жизни она давно уже оплакала. И ему простила, что заставил ее, дуру, без памяти влюбленную... Вот мама никогда не простила. Да и что теперь об этом вспоминать, в тридцать-то девять лет...

Гости ушли поздно, унося в животах неслыханное Нинино угощение и оставив после себя не до конца утративший парадную красоту стол и запах дорогих сигарет. Нина отправила Томочку домой: она захмелела, как школьница, и всё норовила высказать что-то свое особое, про Бога, отчего всем становилось неловко. Оставшись одна, Нина всё убрала не торопясь, привычным образом разговаривая про себя с Сережей... Но он, привычным же образом, как и при жизни бывало, ничего не отвечал.

Легла она около четырех в чистую холодную постель, в клетчатое сине-зеленое белье, купленное в Берлине, куда они ездили с Сережей три года тому назад, в последнюю их совместную поездку. И хотя на этот раз она не приняла никаких таблеток, сразу же, как только согрелась, уснула и спала глубоко, гуляя глазными яблоками под темными веками, а под утро, когда начали оживать и тихонько шуметь от первого ветра ветви большой липы, прикасающиеся к перилам балкона, ей приснился сон, самый удивительный сон в ее жизни.

Она стояла на верхнем этаже по-дачному большого дома, который был еще не достроен, потому что сверху были видны помещения нижнего этажа, какие-то балки, лестницы, и всё это в несколько уровней, не совсем точно обозначенных, и вдруг она услышала пение. Женский голос пел старинную грузинскую песню. “Бабушка”, – догадалась Нина и сразу же увидела ее. Она сидела на маленькой табуретке, с которой свисала коричневая кисть положенной на нее подушки. Черная шапочка была надвинута на лоб, а темная ткань падала вдоль светлого лица. Она пела, но рот ее был сомкнут, губы неподвижны, и Нина опять очень легко догадалась, что это иное пение, не голосовыми связками образуемое, а другим органом, к горлу не имеющим отношения, но без которого вообще никакое пение невозможно. И как только она догадалась, из какой точки солнечного сплетения исходит пение, она услышала, что песня разделилась на два голоса: низкий, бабушкин алыт, и второй, сопрано, ее потерянное

сопрано, ее невозвратимое счастье, но даже еще лучше, чище и шелковистей, чем было у нее, когда еще она училась в консерватории. И звук возвращенного и обновленного голоса имел какую-то иную природу, потому что он притягивал к себе, как магнит притягивает железо, и светлый недостроенный дом стал вдруг заполняться людьми, среди которых не было незнакомых, хотя по имени Нина знала не всех. Это были они, серо-коричневые тени, но от звуков этого неведомого пения они просветлели и проявились, как на фотобумаге, и вот среди них она различила сначала маму, а потом и Сережу.

Нина спустилась к ним по лестнице в тот момент, когда они узнали друг друга в толпе и обнялись, как будто один ждал другого на перроне и поезд наконец пришел. Мама, худая, очень молодая, еще укрытая Сережиным широким объятием, вдруг увидела ее, засмеялась и закричала: “Нинико!”

Но звук маминого голоса был не сам по себе, он тоже был частью этой грузинской песни, хотя песня уже перестала быть грузинской, и слова ее, при полной их понятности, были на другом языке.

Сережа обхватил Нину за плечо, и запах его кожи, его волос обжег ее, и она видела, что и его ноздри напряглись и он опустил голову к ее волосам.

Кто-то легко пнул ее под колено, и она, оглянувшись, увидела огромного кота, который терся о ее ноги, требуя ласки. Это был он, треклятый кот, который попортил ей столько крови. Сергей нагнулся и погладил его по асфальтовой спине. Мама жестом родственной приязни поправила на Сереже загнувшийся борт пиджака... Но этого было мало: откуда-то сбоку, взявшись под руку шли ей навстречу две ее подруги – Томочка и Сусанна Борисовна. И у них были такие прекрасные лица, что Нина, смеясь, поняла: прежде-то они обе были ужасные идиотки, но это было только временно...

Пиковая Дама

Наташе

Разница в возрасте Мур и Анны Федоровны составляла стремительно уменьшающуюся величину. Неизвестно почему – то ли колесики в мировом часовом механизме поистерлись, то ли зубчики съелись, – только время стало катиться ускоренно, то и дело впадая в мерцательную аритмию, и так получилось, что по ходу движения этого ущербного времени тридцать лет – если поместить их между шестьюдесятью и девяноста – уже почти ничего не значили. Анна Федоровна только замечала, что быстрые дела делаются всё медленнее, но зато и на сон стало уходить меньше времени.

Проснулась она рано, если не сказать среди ночи, – четырех еще не было – от дурного сна. Взрослый мужчина, уменьшенный до размера большой куклы, лежал в ящике письменного стола и жаловался: “Мамочка, как же мне здесь плохо...”

Это был ее сын, и сердце ее сжалось от горя: ничем она ему помочь не могла...

Сына же на самом деле никакого не было, была дочь, и проснулась она в ужасе оттого, что сон был сильнее яви, и в первую минуту после пробуждения она была уверена, что сын-то у нее есть, но она про него совершенно забыла. Потом она зажгла свет, при свете наваждение рассеялось, и она вспомнила, что с вечера ей пришлось долго лазать по ящикам письменного стола в поисках некоторой потерянной бумаги, и от этих поисков и завязался дурацкий сон.

Анна Федоровна полежала немного и решила вставать, тем более что бумажку ту она вчера так и не нашла.

Теперь бумага отыскалась сразу же. Это был отзыв на диссертацию, который она давала лет десять тому назад, и теперь он вдруг понадобился.

Весь дом спал, и это было блаженство, не то дарёное, не то краденое. Никто ничего от нее не требовал, нежданно-негаданно образовались свои личные два часа, и она теперь прикидывала, на что их потратит: книжку ли почитает, которую подарил ей давний пациент, знаменитый философ или филолог, то ли письмо напишет в Израиль задушевной подруге.

Она прибрала воробьиного цвета волосы и накинула старую кофточку поверх халата. Домашняя одежда ей всегда была не к лицу, в халате она выглядела дачной хозяйкой из пригорода. Считалось, что ей шли костюмы,

которые она носила со студенческих лет. Теперь, в сером ли, в синем, она выглядела профессором, что полностью соответствовало действительности.

Анна Федоровна сварила себе кофе, раскрыла литературоведческую книжку своего знаменитого пациента, приготовила лист бумаги для письма и поставила рядом с собой синюю вазочку с конфетами, которых себе обыкновенно не позволяла. Она вдохнула с удовольствием запах кофе, но глотнуть не успела: на кухню, поскрипывая колесиками своей ходильной машины, с прямой, как линейка, спиной, явилась Мур.

Анна Федоровна нервно проверила пуговицы на кофточке – правильно ли застегнуты. Предугадать, что именно она сделала не так, она всё равно никогда не умела. Если кофточка была правильно застегнута, значит, чулки она надела кошмарные или причесалась не так. А что не так, если она всю жизнь проносила одну и ту же косу, свернутую колбаской на шее. Впрочем, утреннее замечание могло касаться чего угодно: занавески, например, грязные или сорт кофе отвратительный, пахнет вареной капустой... Удивительна была лишь свежесть с которой Анна Федоровна реагировала – извинялась, оправдывалась. Иногда даже пыталась опровергнуть замечание, но всегда потом себя ругала. К хорошему это не приводило, Мур только поднимала еще выше свои от природы высоко нарисованные брови, так что они прятались под розово-русой челкой, медленно двигала длинными веками и неодобрительно смотрела на Анну Федоровну глазами цвета пустого зеркала.

На этот раз, выкатившись на середину кухни, Мур молчала. Черное кимоно висело пустыми складками, как будто никакого тела под ним не было. Только желтоватые костяные пальцы в неснимающихся перстнях да длинная шея с маленькой головой торчали, как у марионетки.

Всю жизнь, сколько себя помнит, Анна Федоровна заранее готовилась к общению с матерью. В детстве она замирала перед ее дверью, как пловец перед прыжком в воду. Ставши взрослой, она, как боксер перед встречей с сильнейшим противником, настраивалась не на победу, а на достойное поражение. В это предутреннее время мать застала ее врасплох, и, не подготовив себя заранее, она впервые увидела ее отстраненно, как будто чужими глазами: перед ней стоял ангел, без пола и без возраста, и почти без плоти. Живая одним духом. Но каков был этот дух, Анна Федоровна знала преотлично. Зажимая в руке новенькую книжку, дух произнес:

– Какая глупость понаписана в этих воспоминаниях! Кто мне их подсунул... В шестнадцатом году мы еще жили с отцом в Париже. Я была девчонка. Диадему Каспари мне подарил в двадцать втором, я тогда была

за ним замужем, а проиграла я ее в двадцать четвертом в Тифлисе. И никакого Каспари уже тогда не было, я была уже с Михаилом. Он был великий музыкант. – Она хихикнула тонко и многозначительно, и Анна Федоровна поежилась, потому что дальше шла обыкновенная площадная лексика, и матери доставляло удовольствие именно это поеживание. – А вот вые. ть он никого толком не мог, – Мур нежно засмеялась, – с херакой у него обстояло из рук вон плохо. Там, в Тифлисе, я проиграла эту диадему в карты, а портрет, который Бакст писал, там диадема совершенно другая, какая-то ерунда, театральный реквизит...

Это была лучшая страница ее воспоминаний – ее знаменитые любовники. Имя им было легион. Немало бумаги было измарано в честь ее бледных локонов и неизреченных тайн души лучшими перьями, а по ее портретам, хранящимся в музеях и частных собраниях, можно было бы изучать художественные течения начала века.

Тайна в ней, должно быть, действительно была, не одни только любовники млели над ней. Анна Федоровна, единственная дочь Мур, дитя ее редкой добродетельной причуды, всю жизнь билась над этой загадкой. Отчего ей была дана власть над отцом, младшими сестрами, мужчинами и женщинами и даже над теми неопределенными существами, находящимися в узком и мучительном зазоре между полами? Кроме обыкновенных мужчин с самыми простодушными намерениями, в нее постоянно влюблялись феминизированные гомосексуалисты и сбившиеся со скучной женской дороги решительные лесбиянки. Ответа на этот вопрос Анна Федоровна найти не могла, но, подчиняясь неведомой силе, неслась выполнять очередную материнскую прихоть. А Мур, как беременной женщине, постоянно хотелось чего-то неизвестного, неопределенного – словом, поди туда, незнамо куда, и принеси то, незнамо что.

Люди, оказывавшие хоть какое-то сопротивление ее нечеловеческому обаянию, просто исчезали из виду: давно всеми забытый муж Анны Федоровны, муж внучки Кати и вся родня последнего мужа Мур... Их как бы и не было.

– У тебя кофе, – положив лживый томик перед Анной Федоровной, повела тонким носом Мур.

Пахло приятно, но ей всегда хотелось чего-то другого:

– Я бы выпила чашечку шоколада.

– Какао? – Анна Федоровна с готовностью встала из-за стола, не успев даже посожалеть о неудавшемся мелком празднике.

– Почему какао? Это гадость какая-то, ваше какао. Неужели нельзя просто чашечку шоколада?

– Кажется, шоколада нет.

Не было в доме шоколада. То есть был, конечно, – горы шоколадных конфет в огромных коробках, преподнесенных пациентами. Но ни порошка, ни плиточного шоколада не было.

– Пошли Катю или Леночку. Как это, чтобы в доме не было шоколаду?! – возмутилась Мур.

– Сейчас четыре часа утра, – попыталась защититься Анна Федоровна. Но тут же всплеснула руками: – Есть же, господа, есть!

Она вытащила из буфета непечатую коробку, торопливо вспорола хрусткий целлофан, высыпала горсть конфет и столовым ножом стала отделять толстенькие подошвы конфет от никчемной начинки. Мур, пришедшая было в боевое настроение, при виде такой находчивости сразу же угасла:

– Так принеси ко мне в комнату...

Осторожно обернув руку толстой держалкой, Анна Федоровна грела молоко в маленьком ковшике. Руки она берегла, как певица горло. Было что беречь: неширокая кисть с толстыми длинными пальцами, с овально подстриженными ногтями в йодистой окантовке. Каждый день запускала она вооруженные манипулятором руки в самое сердце глаза, осторожно обходила волокна натягивающихся мышц, мелкие сосуды, циннову связку, опасный шлеммов канал, пробиралась через многие оболочки к десятислойной сетчатке и этими грубоватыми пальцами латала, штопала, подклеивала тончайшее из мировых чудес...

Золоченой маминой ложечкой она снимала тонкую молочную пенку с густого шоколада, когда раздался звон колокольчика: Мур подзывала к себе. Поставив розовую чашку на поднос, Анна Федоровна вошла к матери. Та уже сидела перед ломберным столиком в позе любительницы абсента. Бронзовый колокольчик, уткнувшись лепестковым лицом в линялое сукно, стоял перед ней.

– Дай мне, пожалуйста, просто молока, безо всякого твоего шоколада.

“Раз, два, три, четыре... десять”, – отсчитала привычно Анна Федоровна.

– Знаешь, Мур, последнее молоко ушло в этот шоколад...

– Пусть Катя или Леночка сбегают.

“Раз, два, три, четыре... десять”.

– Сейчас половина пятого утра. Магазин еще закрыт.

Мур удовлетворенно вздохнула. Узкие брови дрогнули. Анна Федоровна приготовилась ловить чашку. Подсохшая губа с глубокой выемкой, излучающая множество мелких морщинок, растянулась

в насмешливой улыбке:

– А стакан простой воды я могу получить в этом доме?

– Конечно, конечно, – заторопилась Анна Федоровна.

Утренний скандал, кажется, не состоялся. Или отложился.

“Стареет, бедняжка”, – отметила про себя Анна Федоровна.

Была среда. Поликлинический прием с двенадцати. Кате сегодня можно дать выспаться. Внуки по средам на самообслуживании: семнадцатилетняя Леночка перед институтом отводит маленького Гришу в гимназию. Заберет его Катя, но вернуться домой надо не позже половины шестого: с шести Катя работает, преподает английский в вечерней школе. Обед есть. До ухода надо молока купить. Звон колокольчика.

“Раз, два, три, четыре... десять”.

– Да, Мур.

Тонкая рука держит металлические очки на весу изящно, как лорнетку:

– Я вспомнила, тут по телевизору, фирма “Ореаль”. Очень красивая девушка рекомендовала крем для сухой кожи. “Ореаль”. Кажется, это старая фирма. Да, да, Лилечка заказывала эти духи в Париже. Она хотела литровую бутылку, но ее бедный любовник прислал маленький флакончик, большой он не осилил. Но скандал был большой. А мне Маецкий привез литровую... Ах, что я говорю, то были “Лориган Коти”, а никакой не “Ореаль”...

Это было новое бедствие – Мур оказалась исключительно податлива на рекламу. Ей нужно было всё: новый крем, новую зубную щетку или новую суперкастрюлю.

– Присядь, присядь, – благодушно указала Мур на круглый табурет от пианино.

Анна Федоровна присела. Она знала все круги, восьмерки и петли, наподобие тех, что в Гришиной железной дороге, по которым скользят паровозики старых мыслей, делая остановки и перекидки в заранее известных местах ее великой биографии. Теперь она включалась на духах. Далее шла подруга и соперница Лилечка. Маецкий, которого она у Лилечки увела. Известный режиссер. Съемка в кино, которая ее прославила. Развод. Парашютный спорт – никто и вообразить не мог, что она на это способна. Далее авиатор, испытатель, красавец, разбился через полгода, оставив лучшие воспоминания. Потом архитектор, очень знаменитый, ездили в Берлин, произвела фурор. Нет, ни в ЧК, ни в НКВД, глупости, нигде никогда не служила, спала – да. И с удовольствием! Там были, были мужчины. А вы с Каткой чулки меховые... жопы

шершавые...

Сорок лет тому назад Анне Федоровне хотелось ее ударить стулом. Тридцать – вцепиться в волосы. А теперь она с душевной тошнотой и брезгливостью пропускала мимо ушей хвастливые монологи и с грустью думала о том, что утро, столь много обещавшее, у нее пропало.

Зазвонил телефон. Вероятно, из отделения. Что-то стряслось, иначе бы не позвонили так рано. Она поспешно сняла трубку:

– Да, да! Я! Не понимаю... Из Йоханнесбурга?

Как не узнала сразу этот голос, довольно высокий, но вовсе не бабий, со скользящим “р” и с длинными паузами между словами, как бывает у излечившихся заик. Подбирает слова. Тридцать лет...

Сначала всё нахлынуло к голове, и стало жарко, а через секунду прошиб пот, и дикая слабость...

– Да, да, узнала.

Нелепый вопрос “Как поживаешь?” через столько лет.

– Да, можно. Да, не возражаю. До свиданья.

Положила трубку. Даже от руки кровь отхлынула, ослабли и промялись подушечки пальцев, как после большой стирки.

– Кто звонил?

– Марек.

Надо было встать и уйти, но сил не было.

– Кто?

– Муж мой.

– Скажи пожалуйста, он еще жив! Сколько же ему лет?

– Он на пять лет меня моложе, – сухо ответила Анна Федоровна.

– Так что ему от нас надо?

– Ничего. Хочет повидать меня и Катю.

– Ничтожество, полное ничтожество. Не понимаю, как ты могла с ним...

– У него клиника в Йоханнесбурге, – попыталась перевести стрелку Анна Федоровна, и ей это удалось.

Мур оживилась:

– Хирург? Забавно! Хирургом был твой отец. Я попала в автомобильную катастрофу на Кавказе. Если бы не он, я бы потеряла ногу. Он сделал блестящую операцию. – Мур хихикнула: – Я его соблазнила, будучи в гипсе...

Самое удивительное, что подробности были неисчерпаемы, – про то, что Мур вышла замуж на пари и выиграла бриллиантовую брошь у знаменитой подруги, Анна Федоровна давно знала, про гипс слышала

впервые и прониклась вдруг недобрым чувством к давно умершему отцу, которого в детстве горячо любила. Он был на двадцать лет старше матери, последний, если не считать самой Анны Федоровны, представитель медицинской немецкой семьи, преданный своей профессии до степени, не совместимой с жизнью. Но хранил его случай. Когда-то в молодости, будучи врачом в уездном городе, он сделал трепанацию черепа молодому рабочему, погибавшему от гнойного воспаления среднего уха. При новой власти рабочий вознесся до самых неправдоподобных высот, но доктор Шторх, совершенно о нем забывший, не выветрился из памяти благодарного пациента, и тот дал ему своего рода охранную грамоту. Во всяком случае, служба его военным врачом в царской и впоследствии в Добровольческой армии не помешала ему умереть в своей постели честной и тяжелой смертью от рака.

– Скажи, пожалуйста, а этот Йоханнесбург в Германии?

Кому-то могло показаться, что мысли у старушки скачут, как голодные блохи, но Анна Федоровна знала об удивительной материнской особенности: она всегда думала о нескольких вещах одновременно, как будто плела пряжу из нескольких нитей.

– Нет. Это в Африке. Южно-Африканская Республика.

– Скажи пожалуйста, Англо-бурская война, помню, помню... забавно. Так не забудь купить мне крем. – И провела слабыми пальцами по расплывающейся, как старый абрикос, коже.

В прежние времена Мур интересовалась событиями и людьми как декорацией собственной жизни и статистами ее пьесы, но с годами всё второстепенное линяло и в центре пустой сцены оставалась она одна и ее разнообразные желания.

– А что на завтрак? – Левая бровь слегка поднялась.

Завтрак, обед и ужин не относились к второстепенному. Еду следовало подавать в строго определенном часу. Полный прибор с подставкой для ножа, салфетка в кольце. Но всё чаще она брала в руки вилку и тут же роняла ее рядом с тарелкой.

– Не хочется, – с раздражением и обидой выговаривала она. – Может, тертое яблоко я съем или мороженое...

Всю жизнь ей нравилось хотеть и получать желаемое, истинная беда ее была в том, что хотение кончилось, и смерть только тем и была страшна, что она означала собой конец желаний.

Накануне приезда Марека Катя допоздна убирала квартиру. Квартира была обветшалой, ремонта не делали так давно, что уборка мало что

меняла: потолки с пожелтевшими углами и осыпавшейся лепниной, старинная мебель, требующая реставрации, пыльные книги в рассохшихся шкафах. Интеллигентская смесь роскоши и нищенства. Поздним вечером Катя и Анна Федоровна, обе в старых теплых халатах, похожие на поношенные плюшевые игрушки, сели на гобеленовый диванчик, такой же потертый, как и они сами.

Анна Федоровна привалилась к подлокотнику, Катя, поджав под себя тонкие ноги, забила матери под руку, как цыпленок под крыло рыхлой курицы. В Кате, хоть ей было под сорок, действительно было что-то цыплячье: круглые глаза на белесой перистой головке, тонкая шея, длинный нос клювиком. Птичье очарование, птичья бестелесность. Мать и дочь любили друг друга безгранично, но сама любовь препятствовала их близости: более всего они боялись причинить друг другу огорчение. Но поскольку жизнь состояла главным образом из разного рода огорчений, то постоянное умолчание заменяло им и тихую жалобу, и сладкие взаимные утешения, и совместные вслух размышления. Чаще всего они говорили о Гришином насморке, Леночкиных экзаменах или о снотворном для Мур. Когда же случалось в их жизни что-то значительное, они только прижимались теснее и еще дольше, чем обычно, молча сидели на кухне перед пустыми чашками.

– Перед отъездом он подарил мне микроскоп, маленький, медный, чудо какой хорошенький, – улыбнулась Катя, – а я его сразу же отнесла к Тане Завидоновой, помнишь, во втором классе со мной училась?

– Ты мне никогда про микроскоп не рассказывала. – Анна Федоровна, не поднимая глаз, поплотнее укуталась в халат.

– Мне казалось, ты расстроишься, если я его домой принесу... А Завидонова мне его так и не вернула. Может, ее отец пропил... Знаешь, я ведь его ужасно любила... А почему вы все-таки развелись?

Вопрос был трудный, и ответов на него было слишком много – как по ступеням в подпол спускаться: чем глубже, тем темней.

– Мы поженились и сняли комнату в Останкине, у просвирни. Плита у нее всегда была занята, а весь дом был в просфорах. Там ты и родилась. Твоя первая еда была эти просфоры. Мы прожили там четыре года. Мур с сестрами жила. Эва в городе, Беата на даче. Тетя Эва всю жизнь ее обслуживала, блузки крахмалила. Старая дева, тайная католичка, строга была необыкновенно, никому ничего не спускала, а Мур боготворила. Умерла внезапно, ей и шестидесяти не было. И мать меня сразу затребовала. Чужой прислуги не терпела.

– А почему ты ей не сказала “нет”? – резко вскинулась Катя.

– Да ей было под семьдесят, и диагноз этот поставили... Не могла же я бросить умирающего человека.

– Но ведь она же не умерла...

– Марек тогда сказал, что она бессмертна, как марксистско-ленинская теория.

Катя хмыкнула:

– Остроумно.

– О да. Но, как видишь, он ошибся. Мама, слава богу, даже марксизм пережила. А опухоль инкапсулировалась. Съела часть легкого и замерла. Я ухаживала за ней, тетя Беата за тобой. Она детей не выносила, тебя сразу в Пахру перевезли, только к школе забрали.

– А почему отец сюда с тобой не переехал?

– Об этом и речи не было. Она его ненавидела. Он так в Останкине и жил до самого отъезда.

– А разве тогда выпускали?

– Особый случай. Через Польшу. Мать его, коммунистка, бежала из Польши с ним и его старшим братом в Россию, отец остался в Польше и погиб. Семья была большая, многие спаслись, кто-то уехал в Голландию, кто-то в Америку. Я уже не помню, Марек рассказывал. У тебя целая куча родни по всему миру. Да и сам он, видишь, в ЮАР, – вздохнула Анна Федоровна.

– А что Мур? – продолжала запоздалое расследование Катя.

Анна Федоровна тихо засмеялась:

– Она вызвала на завтра маникюршу и велела погладить полосатую блузку.

– Да нет, я имею в виду тогда...

– Мур запретила мне переписываться. Однажды приехал какой-то израильтянин польского происхождения, привез мне несколько сот долларов и для тебя игрушки, одежды, она узнала и такой скандал мне закатила, что я не знала, куда деваться. Не знаю, чего я больше испугалась. В те времена за доллары просто-напросто сажали. Я этому поляку всё вернула и просила Мареку передать, чтоб он нас поберег и ничего бы нам не слал.

– Какая всё это глупость... – прошептала Катя снисходительно и погладила мать по виску.

– Да нет, это жизнь, – вздохнула Анна Федоровна.

Но осадок после разговора остался неприятный: Катя, кажется, дала ей понять, что она неправильно живет...

Прежде такого она не замечала.

После многодневных морозов немного отпустило – начался снегопад, и Замоскворечье на глазах заносило снегом. Из нечеловечески высокого подъезда сталинского дома на мрачном гранитном цоколе вышел пожилой человек в толстенной дубленке и в треухе из двух лисиц сразу. Навстречу ему по широкой лестнице поднимался какой-то сумасшедший в бежевом пиджаке, красном шарфе, перекинутом через плечо, без шапки, в седых заснеженных кудрях.

Дверь еще не захлопнулась, и седой ловко обогнул крепко укутанного человека и юркнул в подъезд.

Вошедший позвонил в нужную дверь и услышал, как затопали чьи-то шаги прочь от двери, потом ясный женский голос закричал: “Гришка, отдай пластилин!” Затем он услышал легкий звон стекла, раздраженный возглас: “Да откройте же дверь!” – и наконец дверь открылась.

За дверью стояла крупная пожилая женщина, в глубине лица которой проклевывалось знакомое зернышко. Возможно, зернышком этим была небольшая лиловатая фасолинка на щеке, которая в давние годы выглядела милой и легкой родинкой. Женщина держала в одной руке отбитое горлышко стеклянной банки и смотрела на него с испугом.

В конце коридора, там, где он заворачивал к маленькой комнатке, стояла лужа, а в ней с тряпкой в руках – незнакомая девушка, приходящаяся вошедшему даже не дочкой, а внучкой. Была она очень высокой, нескладной, с узкими плечами и круглыми глазами. Из дальней комнаты снова раздался крик: “Гришка, отдай пластилин!”

Гость вкатил за собой чемоданчик на колесах и остановился. Анна Федоровна, отсасывая кровь из порезанного пальца, сказала ему буднично:

– Здравствуй, Марек!

Он обхватил ее за плечи:

– Анеля, можно с ума сойти! Весь мир изменился, всё другое, только этот дом всё тот же.

Из дальней комнаты вышла Катя с упирающимся Гришей.

– Катушка! – ахнул вошедший.

Это было давно забытое детское имя Кати, данное ей в те далекие времена, когда она была толстеньким младенцем.

Катя, глядя в его моложавое загорелое лицо, го-раздо более красивое, чем казалось ей по памяти, вспомнила, как сильно его любила, как стеснялась этой любви и скрывала ее от матери, боясь причинить ей боль. А теперь вдруг оказалось, что в глубине сердца эта любовь не забылась, и Катя смутилась и покраснела:

– Вот мои дети, Гриша и Леночка.

А он заметил, что у Кати немолодое морщинистое личико и ручки, сложенные лодочкой под подбородком, тоже уже немолодые. И он не успел еще разглядеть своих новообретенных внуков, как медленно открылась дверь в глубине квартиры и в дверном проеме, тонко позвякивая металлическими планками ходунков, появилась Мур.

– Пиковая Дама, – прошептал гость в величайшем изумлении. – Можно сойти с ума!

Он почему-то весело засмеялся, кинулся целовать ей руку, а она, подав великосветским движением сушеную кисть, стояла перед ним, хрупкая и величественная, как будто именно к ней и приехал этот нарядный господин, заграничная штучка. Своей наманикюренной ручкой отвела великосветская старушка всеобщую неловкость, и всем членам семьи стало совершенно ясно, как надо себя вести в этой нештатной ситуации.

– Ты чудесно выглядишь, Марек, – любезно заметила она. – Годы идут тебе на пользу.

Марек, не выпуская ее спасительной ручки, застрекотал по-польски.

...Так случилось, что это был язык их детства, урожденной панны Чарнецкой, родившейся в одном из полуготических узких домов Старого Мяста, и внука аптекаря с Крохмальной, всему миру известной по разным причинам еврейской улицы Варшавы.

Катя переглянулась с матерью: и здесь Мур завладела вниманием прежде дочери, прежде внуков.

– Ты можешь зайти ко мне в комнату, – милостиво пригласила она Марека, как будто забыв, как сильно он не нравился ей тридцать лет тому назад. Но тут произошло нечто неожиданное.

– Благодарю вас, мадам. У меня всего полтора часа времени сегодня, и я хочу провести его с детьми. Я зайду к вам завтра, а сейчас, разрешите, я провожу вас в вашу комнату.

Она не успела возразить, как он решительно и весело развернул ее карету вместе с ней и ввез в будуар.

– У вас по-прежнему элегантно. Разрешите посадить вас в кресло? – предложил он тоном, в котором не было и намека на какую-то иную возможность.

Анна Федоровна, Катя и Леночка стояли в дверях наподобие живой картины, ожидая визга, вопля, битых чашек. Но ничего этого не последовало: Мур кротко опустилась в кресло. Он нагнулся, потрогал ее узкую стопу, всунутую в сухой туфелек из старой синей кожи, и сказал довольно строгим голосом:

– Ну нет, такую обувь вам совершенно нельзя носить. Я пришлю вам

туфли, в которых вам будет отлично. Специальная фирма. Только пусть девочки снимут мерку.

Он оставил ее одну, прикрыл за собой дверь, и Анна Федоровна спросила его в совершеннейшем изумлении:

– Как ты можешь с ней так разговаривать?

Он небрежно махнул рукой:

– Опыт. У меня в клинике восемьдесят процентов пациентов старше восьмидесяти, все богатые и капризные. Пять лет учился с ними ладить. А матушка твоя – настоящая Пиковая Дама. Пушкин с нее писал. Ладно. Пойдем-ка, Гриша, посмотрим, что там в чемодане лежит.

И Гриша, немедленно забыв про пластилин, которым он только что так ловко залепил сток в раковине, потянул за собой ладный чемоданчик многообещающего вида.

Анна Федоровна стояла возле накрытого стола. Всё происходящее как будто не имело к ней никакого отношения. Даже верная Катя не сводила глаз с загорелого лица Марека, и улыбка Катина показалась Анне Федоровне расслабленной и глуповатой.

“Как хорошо, – думала она, – что не докрасила волосы из того темного флакончика, который купила позавчера, он бы вообразил, что я для него моложусь. Но все-таки нехорошо, что я так распустилась, вот он уедет, и я покрашу”.

Он оглянулся в ее сторону, сделал знакомый жест кистью руки, как будто играл в пинг-понг, – и Анна Федоровна вспомнила, как он ловко играл в пинг-понг, входивший в моду во времена их жениховства.

Легко и свободно он разговаривал с детьми. Катю он держал за плечо, не отпуская, и она млела под рукой, как корова.

“Именно как корова”, – подумала Анна Федоровна.

Подарки были отличные – радиотелефон, фотоаппарат, какие-то технические штучки. Он вынул из внутреннего кармана своего ворсистого пиджака альбомчик с фотографиями, показал свой дом в Йоханнесбурге, клинику и еще один красивый двухэтажный дом на берегу моря, который он называл дачей.

Потом он посмотрел на часы, потрепал Гришу по затылку и спросил, когда он может прийти завтра. Он провел у них в доме действительно всего полтора часа.

– Мне бы хотелось пораньше. Можно? – он обратился к Анне Федоровне, и ей показалось, что он немного ее боится.

– Ты без пальто? – восхитился Гриша.

– Вообще-то куртка у меня в гостинице есть, да зачем она? Меня

машина внизу ждет.

Дети смотрели на него с таким восхищением, что Анна Федоровна немного расстроилась и тут же сама устыдилась: всё, в конце концов, так понятно, он всегда был обаятельным, а к старости стал еще и красивым... Но в душе у нее ныло от смутной горечи и недоумения.

Как это часто бывает, семейная традиция безотцовщины в каждом следующем поколении усиливалась. Собственно говоря, последним мужчиной – отцом в их семье – был старый Чарнецкий, потомок лютого польского воеводы, нежнейший родитель трех красавиц: Марии, Эвелины и Беаты.

Сама Анна Федоровна осталась сначала без матери, когда Мур бросила доктора Шторха по мгновенному вдохновению, выйдя однажды из дому и как бы забыв вернуться. Через несколько дней она прислала за вещами первой необходимости, среди которых не значилась полуторагодовалая дочка. Новое замужество Мур было еще неокончательным, но уже в правильном направлении. Чутье подсказало ей, что время декадентских поэтов и неуправляемых героев закончилось. Первая проба Мур в области новой литературы была не самая удачная, зато последующие в конце концов увенчались успехом: образовался у нее настоящий советский классик, гений лицемерия в аскетической оболочке и с самыми нуворишскими страстями в душе. Показывая коллекцию фарфора, свежкупленного Борисова-Мусатова или эскиз Врубеля, он обаятельно разводил руками и говорил:

– Это всё Муркины причуды. Взял бабу-то из благородных, теперь отдуваться приходится...

Последний брак был отличный, и маленькая Анна пребывала с родным отцом – до поры до времени о ней не вспоминали. Мур снова вошла в большую литературу, у нее был роман с главным драматургом, с очень заметным режиссером и несколько легких связей на хорошо оборудованном для этого фоне первоклассных южных санаториев. Построился, наконец, солидный дом в Замоскворечье, где квартиры выдавали не из плебейского счета на метродуши, а в соответствии с истинным масштабом писательской души. Но и здесь были какие-то бюрократические ограничения, пришлось прописать к себе обеих сестер, и решено было забрать девочку. К тому же Мур обнаружила, что принадлежащий ей классик неплатоническим оком взирает на пышных подавальщиц и молоденьких горничных, и решила, что пришла пора укрепить семью, дав возможность классику проявить себя в качестве родителя уже подросшей девочки.

Мур забрала у престарелого хирурга семилетнюю дочку. Обожавшая

отца девочка была перевезена из сладостно-ленивой Одессы в чопорную, только что полученную московскую квартиру и постепенно забывала отца, общаться с которым ей было теперь запрещено. По настоянию Мур девочке поменяли птичью немецкую фамилию на всесоюзно известную, велели звать толстого лысака “папой” и оставили на попечении второй тетки, пребывающей круглогодично на писательской даче. Через несколько лет наступили военные времена, эвакуация в Куйбышев, от которого остался на всю жизнь не забытый ужас холода, возвращение в Москву в жарком правительственном вагоне и счастливая встреча с Москвой, именно в эти первые после возвращения месяцы ставшей для нее родным городом. Своего отца она так никогда больше и не видела и только смутно догадывалась о своем глубиннейшем с ним сходстве.

Дочь Анны Федоровны Катя сохранила о своем отце еще более смутные воспоминания. Это были обрывчатые, но крупным планом заснятые картинки: вот она больная, с завязанными ушами, а отец приносит ей прямо в постель щенка... вот она стоит на крыльце и наблюдает, как он выуживает из колодца с помощью длинной палки с крюком на конце утопленное ведро... вот они выходят из деревянного домика с горько-дымным запахом, идут по заснеженной дороге в огромный царский дворец, где большие окна от пола до потолка, изразцовые печи, картины на стенах и пахнет летом и лесом...

Приезды отца в Пахру, где Катя, как в свое время и ее мать, жила до школы, почему-то почти не запомнились. Сохранилось лишь одно яркое воспоминание: она, Катя, в пятнистой кошачьей шубе и меховой шапке идет по узкой тропинке к остановке автобуса, держась одной рукой за тетю Беату, другой – за отца. Автобус уже стоит на остановке, и она страшно боится, что он опоздает, не успеет в него влезть, и, вырвав свою руку, она кричит ему:

– Беги, беги скорей!

В том же году он и выполнил Катину рекомендацию.

Удивительно даже, на какую глубину была похоронена детская любовь: многие годы Катя совсем не вспоминала ни о нем, ни о честной немецкой вещице, пригодной для изучения клеток кожицы лука и лапок блохи...

Катина ранняя дочка Леночка и вовсе не помнила своего отца. Катя развелась с мужем через год после рождения Леночки. Алиментов она никогда от него не получала и только слышала от общих знакомых, что он жив.

Семья, до рождения Гриши, состояла из четырех женщин, но полное

отсутствие мужчин никого, кроме Мур, не беспокоило. Мур, привычно рассматривавшая свою дочь Анну как существо бесполое, бесцветное и годное только на торопливое ведение домашнего хозяйства, недоумевала, отчего ее внучка Катя так скучно живет. Удивительный для Мур факт: откуда дети берутся при такой полнейшей женской бездарности? Ну прямо как животные: е...ся исключительно для размножения...

Мур была относительно Кати глубоко неправа. У нее была на редкость удачная несчастная любовь, ради которой она и оставила своего первого невнятного мужа, и с предметом своей великой любви она изрядно мытарилась, родила от него Гришку и уже тринадцатый год бегала к своему совестливому любовнику на редкие свидания и откладывала с года на год момент настоящего, неодностороннего знакомства сына с тайным отцом. Семья – это святое, утверждал он, и Катя не могла с ним не соглашаться.

Безотцовщина, таким образом, стала в их семье явлением глубоко наследственным, в трех поколениях прочно утвердившимся. В голову ни Анне Федоровне, ни Кате, ни даже входящей в возраст Леночке не пришло бы в этот дом, целиком и полностью принадлежащий Мур, привести даже самого скромного, самого незначительного мужчину. Такого права Мур, полная великолепного пренебрежения к своим женским потомкам, за ними не оставляла. Анна Федоровна и Катя вполне смирились и с духом безотцовщины, и с женским одиночеством, а Леночка, девочка инфантильная как раз в той области, где с великой полнотой проявилась одаренность ее прабабушки, вообще об этом не задумывалась.

Тем острее почувствовала Анна Федоровна, как весь дом сошел с ума после первого же прихода Марека. Не только восьмилетний Гришка, но и дылда Леночка, в ту зиму почти уже дотянувшаяся до метра восьмидесяти, и сама Катя выбегали на звонок Марека с такой восторженной прытью, как будто за дверью стоял по меньшей мере Дед Мороз. Марек и держал эту безвкусную красно-белую ноту: над африканским загаром дымились ярко-белые кудрявые волосы, а вместо пошлого красного халата с белым ватным воротником был закинут вокруг шеи шерстяной шарф глубокого кровавого цвета и того высочайшего качества, которое материальные ценности почти превращают в духовные. Как и полагалось Деду Морозу, он был весел, румян и невероятно щедр на всякие угощения и подарки, а еще больше на обещания. Даже Мур проявляла к нему неумеренный интерес.

Давно не испытанное чувство личного унижения мучило Анну Федоровну. Марек, три дня тому назад вообще не знавший о существовании Гриши и Леночки, сегодня играл в их жизни такую роль:

Леночка только о том и говорит, куда ей выехать на учебу, в Англию или в Америку, а Гриша бредит каким-то греческим островом, где у Марек дача – двухэтажная вилла, прислонившаяся спиной к розовой скале и глядящая в маленькую бухту с белой яхтой, пришпиленной посредине залива, как костяная брошка на синем шелке... Гриша распотрошил альбомчик с Марекowymi фотографиями, и цветные оттиски чужой нереальной жизни валялись по всей квартире, даже у Мур. Но самое обидное, Катя ходила с дураковатой улыбкой и даже немного подмурлыкивала, в точности как ее бабушка... Ко всему прочему совестливая Анна Федоровна мучилась еще и тем, что носит в себе такие низменные чувства и не может с ними справиться.

На работе у Анны Федоровны тоже было неприятное происшествие. Один из самых тяжелых пациентов последнего времени, поступивший не планово, а по травме, молодой милиционер, был прооперирован на редкость удачно, и с определенностью можно было сказать, что по крайней мере один глаз спасен. И на днях он перетащил в холле телевизор из одного угла в другой, и вся ювелирная работа пошла насмарку, возникли новые разрывы на сетчатке, и теперь было совершенно неясно, сможет ли она снова спасти глаз этому дураку...

В Москву Марек приехал по делам. Всё дело его сводилось к одной-единственной встрече с медицинскими чиновниками, и назначена она была именно на первый вечер его пребывания. Речь шла о каком-то специальном оборудовании для послеоперационного ухода за больными, к производству которого он имел отношение. Как сам он сказал позднее, переговоры эти были для него предлогом, чтобы повидать дочь. Ту первую попытку наладить связь с бывшим семейством он не возобновлял все эти годы: он имел слишком большой опыт общения с советской властью и в ее русском, и в польском варианте.

От этой поездки он ожидал чего угодно, но никак не рассчитывал встретить таких простодушных и трогательных детей, собственно, его семью, которая прекрасно без него обходилась и знать про него ничего не знала.

Даже старая гримза вызвала в нем тень нежности и интереса. В этот день он провел с ней несколько часов: так случилось, что Гриша пошел скакать на очередную елку к однокласснику, а Леночка отправилась заваливать очередной зачет.

Марек, хитрая бестия, задал Мур очень удачный вопрос – о Сталинской премии, некогда полученной классиком. И Мур пустилась в приятные воспоминания. Последний успех мужа совпал с новым взлетом

Мур – целой обоймой ярких успехов на смежной ниве: бурный роман с тайным генералом, держащим весь литературный процесс в своем волосатом кулаке, шашни с мужниным секретарем, с мужем любимой подруги, каким-то биологическим академиком, и еще, и еще, и свидетельницей всему – насупленная дочь Анна с пуританской тоской в душе и с глубоким отчаянием, испытываемым из-за невозможности любить и неспособности не любить эту тонкую, нечеловечески красивую, всегда театрально разодетую женщину, которая приходится родной матерью.

Рассказывала Мур разбросанно, избирательно, сыпала именами и деталями, но картина перед Марексом рисовалась с полной отчетливостью. К тому же многое он знал от Анны...

Пережив воспеваемого вождя совсем ненадолго, в очередной и последний раз продемонстрировав завистливым коллегам гениальную предусмотрительность, своевременно умер классик. Его положили под тяжелым серым камнем на Новодевичьем кладбище, и жизнь Мур на некоторое время поскучнела. Денег, впрочем, было немерено, и они все притекали рекой – авторские, постановочные, потиражные. Другая бы жила себе спокойно, но Мур что-то заволновалась, романы наскучили, опреснели, желания потеряли прежнюю упругость, между пятьюдесятью и шестьюдесятью оказались скучные годы. Потом она объясняла это климаксом. Но климакс благополучно завершился. Мур сделала две небольшие, по тем временам редкостные операции, подруга Верочка, знаменитая киноартистка, дала своего доктора – и пошло некоторое освежение. Разумеется, роман. Ослепительный, невиданный, с молодым актером. Сорок лет разницы. Все рекорды побиты, все простыни смяты, подруги в богадельнях и больницах, некоторые дотягивают последние годы ссылки, а она, живая, острогрудая, с маленькой попкой и отремонтированной шеей, принимает красивого цыганистого мальчика, юная жена которого беснуется в парадном. Москва гудит, жизнь идет...

И здесь произошел сбой. Неправдоподобно быстро спился мальчик-актер, посыпались одна за другой подруги, дочь Анна ушла из дома, вышла замуж за тощенького студента, еврея, – как этого Мур с детства не любила. То есть пусть, конечно, живут, не в газовые же камеры, но ведь и не замуж...

“Интересно, очень интересно, за кого она меня принимает?” – думал Марекс, но никаких вопросов не задавал. Внимательно слушал.

...Бывшие любовники все поумирали один за другим, и генералы, и штатские. И досаднее всего – сестра Эва, на десять лет моложе, верная,

преданная... Пришлось Анну вернуть в дом, вскоре и Катю поселили. Не успела оглянуться, полон дом детей, ничтожная жизнь, без веселья, без интересов...

Зайдя в комнату к матери, чтобы убрать чайные чашки, Анна Федоровна отметила про себя, что у Мур такой же счастливый вид, что и у детей, и, сверх того, она находится в состоянии полной боевой готовности: голос на октаву ниже, чем обычно, мурлыкающий, глаза как будто на два размера шире, спина прямей, если это только возможно. Тигрица на охоте – так называла Анна Федоровна мать в такие минуты.

Марек же сидел с туманной улыбкой.

Шел последний вечер семейного экстаза, в котором Анна Федоровна старалась принимать наименьшее участие. Гриша висел на Мареке и время от времени отлипал, но только для того, чтобы, разбежавшись, повыше на него вскочить и поплотнее к нему прижаться. Леночка полным ходом шла к провалу сессии, но занятия в эти решающие дни она забросила, тенью ходила за новеньким дедом. Поскольку заманчивая Англия отбила аппетит к отечественной науке, она не испытывала ни малейшего беспокойства по поводу завтрашнего экзамена. На Катю Анна Федоровна старалась не смотреть: выражение лица было невыносимым.

В двенадцатом часу Марек, простившись со всеми, зашел к Мур. Придерживая ступнями теплую грелку, она смотрела телевизор и ела шоколад. Это был один из основополагающих принципов: одно удовольствие не должно мешать другому. Что же касается грелки, против которой последние тридцать лет возражала Анна Федоровна, Мур с юных лет привыкла укладываться в подогретую постель даже в тех случаях, когда теплый пузырь был не единственным ее ночным спутником.

Почтительно склонившемуся перед ней Мареку она снисходительно протянула узкий листок, исписанный до половины шаткими буквами:

– Это тебе, дружочек. Там мне кое-что нужно.

Марек не глядя сунул листок в карман:

– С большим удовольствием...

Он знал, как обращаться со старухами. Он вышел, Анна Федоровна замешкалась, поправляя торчком стоявшие за спиной Мур подушки.

Мур, облизнув замазанный шоколадом палец, загадочно улыбнулась и спросила вызывающе:

– Ну, теперь ты видишь?

– Что? – удивилась Анна Федоровна. – Что я вижу?

– Как ко мне относятся мои любовники! – ухмыльнулась Мур.

“Первые признаки помрачения”, – решила Анна Федоровна.

Дети хотели проводить его до гостиницы. Остановился он неподалеку, в бывшем “Балчуге”, который преобразился за последние годы во что-то совершенно великолепное, вроде того хрустального моста, который перекидывается по волшебному слову за одну ночь с одного берега на другой.

– Нет, будем считать, что уже попрощались, – объявил он неожиданно твердо, и Гриша, привыкший канючить по любому поводу и отканючивать свое, сразу покорился.

Марек наматал на шею нестерпимо красный шарф и перецеловал в последний раз детей так естественно, как будто не пять дней тому назад с ними познакомился. Потом он снял с вешалки оплешивевшую на груди шубу Анны Федоровны и сказал своим безапелляционным тоном:

– Пройдемся напоследок.

Анна Федоровна почему-то согласилась, хотя за минуту до того и не думала выходить с ним на улицу. Слова не говоря, она впялилась в шубу, накинула оренбургский дареный платок – брала она подарки, если ей их приносили: коробки конфет, книги, конверты с деньгами. Брала и сдержанно благодарила. Но цен за свои операции никогда не назначала, то есть вела она себя в этом отношении точно так, как ее покойный отец. О чем и не догадывалась.

На улице он взял ее под руку. Из Лаврушинского переулка они вышли на Ордынку. Было чисто, бело и безлюдно. Редкие прохожие оглядывались на сухощавого иностранца, в одном светлом пиджаке не спеша прогуливающего упакованную в толстую шубу немолодую гражданку, которая никем не могла ему приходиться: для домработницы слишком интеллигентна, для жены стара и дурно одета.

– Какой прекрасный город. Он почему-то остался у меня в памяти сумрачным и грязным...

– Он разный бывает, – вежливо отозвалась Анна Федоровна.

“Зачем ты приехал, – подумала она, – всё переворошил, всех встревожил?” Но этого не сказала.

– Пойдем куда-нибудь посидим, – предложил он.

– Куда? Ночью? – удивилась она.

– Полно всяких ночных заведений. Здесь неподалеку чудесный ресторанчик есть, мы вчера с детьми там обедали...

– Тебе завтра вставать чуть свет, – уклонилась Анна Федоровна.

Марек улетал ранним рейсом, сама она вставала в половине седьмого. Ссылка на завтрашний день успокоила ее. Он уедет, всё войдет в колею, кончится это домашнее возбуждение.

– Я хочу пригласить детей на лето в Грецию. Ты не возражаешь?

– Не возражаю...

– Ты ангел, Анеля... И самая большая моя потеря...

Анна Федоровна промолчала. Зачем она только вышла с ним! Из многолетней привычки к домашнему подчинению... Надо было отказаться...

Он почувствовал ее внутреннее раздражение, схватился тонкой перчаткой за ее пухлые варежки:

– Анна, ты думаешь, я ничего не вижу и не понимаю? Опыт эмиграции очень тяжелый, очень. А у меня их было три. С польского на русский, с русского на иврит, последние пятнадцать лет английские... И каждый раз проживаешь всё заново, от азбуки... Много всего было. И воевал, и голодал, даже и в тюрьме посидел...

Каким он был милым мальчиком, студентом-третьекурсником, нисколько не похожим на крепких самцов, исполняющих бодрый обряд собачьей свадьбы возле ее матери. Она, по аспирантским обязанностям, вела тогда студенческий кружок, и роман их завязался между колбочками и палочками. Долго и тщательно она скрывала ото всех их отношения. Стыдно было, что он такой юный. Но именно его юность, отсутствие в нем агрессивного мяса бессознательным образом ее и привлекали. У него была белая безволосая грудь и слева, возле соска, располагалось созвездие родинок – ковшик Большой Медведицы. Он так и остался единственным мужчиной в ее жизни, но она никогда не пожалела ни о том, что был он единственным, ни о том, что именно он... Но всегда знала, что брак для нее случайность. Лет в шестнадцать она решила, что никогда не выйдет замуж: не было для нее ничего противнее, чем мурлыкающий голос, возбужденный смех и протяжные стоны из материнской спальни... вечный гон, течка, течка... На мгновенье она провалилась в сильнейшее детское ощущение несмываемой грязи секса, когда неловко было смотреть на любую супружескую пару, потому что тут же возникала картинка, как они, потев и стеноя, занимаются этой мерзостью... Как прекрасно быть монахиней, в белом, в чистом, без всего этого... Но какое счастье все-таки, что Катя есть...

Марек что-то говорил, говорил, но это пролетало мимо, как снег. Но вдруг она очнулась от его запинаящихся слов:

– ...настоящее чудо, как проклятье превращается в благословение. Это чудовище, гений эгоизма, Пиковая Дама, всех уничтожила, всех похоронила... И как ты это несешь? Ты просто святая...

– Я? Святая? – Анна Федоровна с ходу остановилась, как будто

на столб наткнулась. – Я ее боюсь. И есть долг. И жалость...

Он приблизил к ней свое лицо, и видно стало, что он вовсе не так молод, что кожа у него старческая, в мелких острых морщинках и темных старческих веснушках под всесезонным загаром:

– Ну чем, чем я могу тебе помочь?

Она махнула серой варежкой:

– Домой проводи...

Звонил Марек из своего Йоханнесбурга так часто, как не звонили приятельницы из Свиблова. Гриша страстно ожидал его звонков, коршуном кидался на телефонную трубку и кричал всем без разбору: “Марек! Это ты?” Леночка занималась только английским и примеривалась на отъезд. В ней вдруг проснулась прежде несвойственная ей деловитость, она толково и придирчиво выбирала себе место для будущей учебы. Даже Катя, всегда спокойная и немного сонная, ждала неопределенных перемен, так или иначе связанных с появлением отца, и, кажется, немного поохладела к своему тайному другу, который, напротив, начал вялые разговоры о возможном его уходе из семьи.

Марек с энтузиазмом принялся за выполнение своих рождественских обещаний. Первыми ласточками были совершенно ортопедического вида туфли для Мур. Они были исключительно уродливы и, вероятно, столь же исключительно удобны. Их принес прямо домой чуть ли не секретарь израильского посольства, старинный друг Марека. Мур их даже и не примеряла, только хмыкнула. Туфли были на школьном каблуке и на каких-то стариковских резиночках, а Мур последние семьдесят лет носила только открытые лодочки на изящных, по мере возможностей текущей моды, каблуках.

За парой туфель последовала пара маленьких компьютеров, причем размер их находился в обратной пропорции с ценой. Позаботился он также и о компьютерных играх для Гриши. Леночка еще не оправилась от той любительской кинокамеры, которую он оставил ей перед отъездом, еще не успела насладиться тем особым ракурсом мира, который открывается через видоискатель, а новый подарок уже подгонял ее, требовал скорее научиться всему тому, что с его волшебной помощью можно было делать.

Наконец, через шесть недель после отъезда Марека, пришло приглашение из Фессалоник, подписанное некоей Евангелией Даула, приходившейся близкой подругой Марековой жене, о которой только ей было известно, что у нее есть подруга-гречанка, которая и пришлет приглашение...

Приглашение было составлено таким образом, что они могли ехать в любое время с июня по сентябрь.

Гриша, восхищенный до седьмого неба одним видом конверта с прямоугольным окошечком, носился с ним по квартире, пока не натолкнулся на Мур, направлявшуюся на кухню в своем металлическом снаряде. Он сунул ей в лицо конверт:

– Смотри, Мур, мы едем в Грецию, на остров Серифос! Нас Марек пригласил!

– Глупости какие! – фыркнула Мур, которая никогда никаких скидок на возраст не делала. – Никуда вы не поедете.

– А вот поедем, поедем! – подсакивая от возбуждения, кричал Гриша.

И тогда Мур оторвала руку от поручня своих ходунков и протянула восьмилетнему правнуку под нос великолепную фигу с сильно торчащим вперед ярко-красным ногтем большого пальца. Второй рукой она ловко выхватила приглашение из рук опешившего мальчишки, не ожидавшего такого дерзкого нападения. Опершись локтями о перильца, она скомкала конверт и бросила плотный, как хороший снежок, бумажный ком прямо к входной двери...

– Гадина! Гадина! – взвыл Гриша и кинулся к двери.

Катя выскочила из комнаты, схватила сына, не понимая, что произошло между сыном и бабушкой. Гриша расправлял какую-то бумажку и продолжал выкрикивать неожиданные слова:

– Гадина поганая! Сука гребаная!

Приспустив печальные веки, Мур с тихой укоризной обратилась к внучке:

– Забери своего выблядка, деточка. Деточка, детей надо воспитывать, – и, поскрипывая колесиками, поехала на кухню.

Катя, еще не догадываясь, что за комок бумаги терзает рыдающий Гриша, уволокла его в комнату, откуда еще долго раздавались всхлипы.

В тот день Анна Федоровна пришла с работы усталой более, чем обычно, – есть вещи, которые утомляют человека гораздо более, чем сама работа. Привезли очень тяжелую девочку. В детском отделении не было врача соответствующего профиля и квалификации. Девочка была Гришиного возраста, с осколочным ранением. Операция была очень тяжелая.

Складывая в футляр прибор для измерения кровяного давления, Анна Федоровна размышляла: откуда у Мур берется энергия? При таком давлении она должна была испытывать сонливость, слабость... А тут агрессивность, острота реакций. Вероятно, вступают какие-то иные

механизмы. Да, геронтология...

– Да ты меня не слушаешь! О чем ты думаешь? Я против, ты слышишь меня? Я не была в Греции! Никуда они не поедут! – Мур теребила Анну Федоровну за рукав.

– Да, да, конечно. Конечно, мамочка.

– Что – конечно? Что ты мамкаешь? – взвизгнула Мур.

– Всё будет, как ты захочешь, – успокаивающим тоном сказала Анна Федоровна.

“Нет, дорогая моя, на этот раз – нет”, – твердо решила Анна Федоровна. В первый раз в жизни. Слово “нет” еще не было произнесено вслух, но оно уже существовало, уже проклюнулось как слабый росток. Она решила просто поставить мать перед фактом семейного неповиновения, никаких предварительных разговоров по этому поводу не вести. Можно было только догадываться, какую бурю поднимет это прозрачное насекомое, когда выяснится, что дети уехали.

К началу июня были готовы иностранные паспорта, получены визы. На двенадцатое июня были заказаны билеты до Афин. На этот же день, в соответствии с тонкой стратегией Анны Федоровны, был назначен переезд на дачу. Продумано было всё до мельчайших деталей: утром Катя с детьми уедет в Шереметьево, что не должно вызвать никаких подозрений, поскольку Катя всегда отправлялась на дачу заранее, чтобы подготовить дом к приезду Мур. На двенадцать была вызвана машина для перевозки на дачу Мур и Анны Федоровны. Суматохой переезда Анна Федоровна надеялась смягчить удар, тем более, что и дачные сборы удачно маскировали преступный побег. Гриша и Леночка были просто раздуты ожиданием, особенно Гриша. Полугреческий дедушка объявился очень кстати. Все Гришины одноклассники уже побывали за границей, он был чуть ли не единственным, кого не вывозили никуда дальше Красной Пахры. Да и сам дедушка, седой, кудрявый, стоящий на борту белой яхты, был предъявлен всему классу и удачно компенсировал отсутствующего отца.

В ночь накануне отъезда Анна Федоровна и Катя почти не спали. Под утро позвонил Марек, сказал, чтоб лишнего барахла не брали, в Греции, как известно, всё есть, что он ждет не дождется и встретит в аэропорту.

В половине восьмого Мур потребовала кофе. Утренний кофе шел с молоком, а послеобеденный полагался черным. Анна Федоровна помогла Мур одеться и сварила кофе. После чего обнаружила, что молочный пакет в холодильнике пуст. Это была Леночкина безалаберность, она вечно

засовывала в холодильник пустые пакеты. Время подходило к восьми. Такси в Шереметьево было заказано на половину девятого.

Анна Федоровна, в синем домашнем платье, в шлепанцах на босу ногу, выскользнула из дому – побежала на Ордынку за молоком. Это занимало никак не больше десяти минут. Она припустила поначалу легкой рысью, но вдруг замедлилась – утро было необыкновенным: дымчатый, чуть голубоватый свет, небо переливчатое, как радужная оболочка огромного, самого синего глаза, и чистейшая зелень прибранного скверика возле уютной округлой церкви Всех Скорбящих, куда Анна Федоровна изредка заходила. Она пошла медленно и вольно, как будто никуда не торопилась. Продавщица Галя, местная ордынская татарка, проработавшая всю жизнь в здешних магазинах, ласково поздоровалась. Лет пятнадцать тому назад Анна Федоровна оперировала ее свекровь.

– Как Софья Ахметовна?

Удивительно, как при таком количестве золотых зубов улыбка получается робкой и детской...

– Оглохла совсем, ничего не слышит. А глаза видят!

Анна Федоровна взяла в руки прохладный пакет молока. Через пятнадцать минут уедут дети, а еще через два часа Мур узнает, что они уехали. Скорее всего, это будет уже в Пахре. Она представила себе поблудневшие глаза Мур, тихий хриловатый голос, повышающийся до звонкого стеклянного крика. Осколки разбитой посуды. Самый подлый, самый нестерпимый мат – женский... И увидела вдруг как уже совершённое: она, Анна, размахивается расслабленной рукой и наотмашь лепит по старой нарумяненной щеке сладкую пощечину... И совершенно всё равно, что после этого будет...

Чувство чудесной свободы, победы и торжества стояло в воздухе, и свет был таким напряженно ярким, таким накаленно ярким. Но тут же и выключился. Осознать этого Анна Федоровна не успела. Она упала вперед, не выпуская из рук прохладного пакета, и легкие шлепанцы соскользнули с ее сильных и по-немецки прочных ног.

Мур в это время уже бушевала:

– Дом полон бездельников! Неужели нельзя купить бутылку молока?

Голос ее был прозрачно-звонок от ярости.

Катя посмотрела на часы: до приезда такси оставалось пятнадцать минут. “Куда подевалась мать?” – недоумевала она. Но делать было нечего, и она побежала за молоком.

Знакомая продавщица Галя металась по тротуару. Реденькая толпа собралась перед входом в магазин. Там, на тротуаре, лежала женщина

в синем звездчатом платье. “Скорая помощь” пришла минут через двадцать, но делать ей уже было нечего.

Катя, прижимая к груди всё еще прохладный пакет молока, твердила про себя: “Молоко, молоко, молоко...” – до тех пор, покуда ее не послали за материнским паспортом. И, уже подходя к дому, повторяла: “Паспорт, паспорт, паспорт...”

В доме Катя застала шумный скандал. Шофер такси, ожидавший их внизу, как было уговорено, минут двадцать, поднялся в квартиру узнать, почему не спускаются те, кому надо ехать в Шереметьево.

Гриша, дрожащий от нетерпения, как щенок перед утренней прогулкой, завопил счастливым голосом:

– Ура! Мы едем в Шереметьево!

Мур, покачиваясь в своей металлической клеточке, вышла в прихожую и догадалась, что ее хотели обмануть. Она забыла и про кофе, и про молоко. В выражениях, которые даже шофер слышал не каждый день своей жизни, она объявила, что никто никуда не едет, что шофер может убираться по адресу, который привел шофера, молодого парня с дипломом театрального института, в чисто профессиональное возбуждение, и он прислонился к стене, наслаждаясь неожиданным театром.

– Где эта п...головая курица? Кого она хотела обмануть? – Она подняла вверх костлявую кисть, рукав ее старого драгоценного кимоно упал, и обнажилась сухая кость, которая, если верить Иезекиилю, должна была со временем одеться новой плотью.

Катя подошла к Мур и, размахнувшись расслабленной рукой, наотмашь вlepила по старой, еще не накрашенной щеке сладкую пощечину. Мур мотнулась в своей клеточке, потом замерла, вцепилась в поручни капитанского мостика, с которого она последние десять лет, после перелома шейки бедра, руководила всеобщей жизнью, и сказала внятно и тихо:

– Что? Что? Всё равно будет так, как я хочу...

Катя прошла мимо нее, на кухне вспорола пакет и плеснула молоко в остывший кофе.

Голубчик

В те самые годы, когда Гумберт Гумберт томился по своей неполовозрелой возлюбленной и строил бесчеловечный план женитьбы на бедной Гейзихе, на другом конце света Николай Романович, одинокий профессор философии (или той науки, которая претендовала так называться), также пораженный любовным недугом, идущим вразрез с общепринятыми нормами, женился на даме, которая и в своем золотом сне не могла бы претендовать на такую блестящую партию. Собственно говоря, Антонина Ивановна нисколько не была дамой, и даже гражданкой могла считаться лишь с натяжкой. Она всепроцентно относилась к категории теток, работала в ту пору сестрой-хозяйкой, по-старому кастеляншей, в кардиологическом отделении, куда упомянутый профессор поступил как плановый больной в соответствии со своей стенокардией.

Мягкая тетеха, даже не курица, а серенькая индюшка, расширяющаяся книзу от маленькой головки до толстенных ног, разводка, тайно выпивающая, жила Антонина Ивановна в девятиметровке с малолетним сыном. Зарплата была самая ничтожная, она легонько, по мере возможностей, подворовывала, сама себя стыдясь. Словом, порядочная была женщина. В начале января, по причине школьных каникул, она стала водить своего мальчонку с собой на работу, и бледноволосый отрок, сидевший в бельевой и выглядывавший из-за материнской спины белейшим лобиком со светлыми щеточками у основания бровей, сразил профессора в самое его больное и порочное сердце.

Возможный пассаж о связи этих двух явлений, болезни и греха, об их тонких взаимных касаниях и перетеканиях оставляем на рассмотрение психоаналитиков и святых отцов: и те и другие на этих опасных просторах волюю попаслись.

Николай Романович прогуливался часами по больничному коридору и заглядывал в приоткрытую дверь бельевой, ухватывая нацеленным взглядом то острый локоток в штопаном синем свитере, легко елозящий по столу (он что-то рисовал), то мелькающие штуки пожелтевшего от автоклавирувания казенного белья. А то вдруг и предстанет в просвете двери во весь рост светлое изящное существо, настоящий гаремный мальчик, ну разве что чуть-чуть не дорос, еще два-три годика набрать. Двенадцать – сладчайший возраст...

Иногда мальчика кормили в столовой для ходячих больных, и он сидел

за угловым столиком, где наспех ели врачи. Спинка прямая, серьезный, испуганный. Николай Романович хорошо разглядел его бледно-голубые глазки, немного косящие, когда он смотрел вправо, и белесые ресницы, пушистые, как созревшее одуванное семя.

– Тоня! Тоня! – позвала кастеляншу старшая сестра, заглянув в столовую, и Антонина Ивановна отозвалась ласковым рыхлым голосом:

– Аюшки!

Вот как раз при звуке этого голоса Николая Романовича и произошло озарение: а не попробовать ли устроить свою жизнь иным способом?.. Конечно же, она домашний человек, экономка, няня... На основании честного брачного договора: ты – мне, я – тебе.

Шел Николаю Романовичу пятьдесят пятый год, возраст почтенный. Так и запишем: никаких постельных радостей не ждать, не рассчитывать, однако отдельная комната, полное обеспечение, уважение, разумеется. С вашей стороны, дорогая Ксантиппа Ивановна, ведение домашнего хозяйства, хранение домашнего очага, то есть: стирка, готовка, уборка. Сыночка усыновлю, воспитаю наилучшим образом. Образование дам. О да, и музыка, и гимнастика... Ганимед легкобегающий, пахнувший оливковым маслом и молодым потом... Тише, тише, только не вспугнуть прекрасной мелодии. Постепенно, чудесным образом растет в доме нежный ребенок, превращается в отрока... дружок, ученик, возлюбленный... И в эти алкионовы дни он будет своим трудолюбивым клювом вить гнездо своего будущего счастья.

Антонина-кастелянша сначала растерялась: с чего бы это? Но счастье, как ветер, приходит и уходит, не отчитываясь. Ну, привалило: комната восемнадцать с половиной метров, с балконом, этаж пятый, окна во двор, дом шикарный, на улице Горького, в нем и актеры, и генералы, и кто хочешь. Всё богато и прочно. Сам нежадный: на питание выдает щедро, да питание-то какое – из кремлевского распределителя, не велел никому рассказывать. И сдачи никогда не спрашивает. Чистоплотный – белье меняет раз в три дня, а носки чуть не каждый день. В ванной полощется, как утка, а в бане по субботам всё равно полдня проводит. Ходит чисто и ботинки сам трет, и брюки сам гладит. Вы, говорит, так не сможете. Подружкам, которые уж очень интересовались, со всей простотой отвечала: насчет того-этого, нет, не скажу. Да я живого-то... уж сколько лет не видала, и да ну его совсем, я уж и так привыкла. Прямо даже не знаю, за что так повезло, со Славкой возится, как отец родной. Хотя, правду сказать, со мной-то он больше молчком молчит. Да и о чем ему со мной-то разговаривать, если подумать-то? А уж культурный, одно слово сказать,

профессор...

В последнем, надо сказать, она не ошибалась: был и культурным, и профессором. Философы-античники, как и породистые собаки, плохо приживались на скудном пайке социализма. Но как раз Николай Романович нашел для себя грядочку, копал, поливал и унавоживал на ней кустик марксистско-ленинской эстетики, поскольку еще в канун революции успел завершить свое образование и даже едва не защитил диссертацию по теме “Сущность платоновской диалектики в интерпретации Альбина и Анонима”. Вот это самое волшебное словечко “диалектика” и открыло перед Николаем Романовичем царские ворота в новую жизнь, то есть в Социалистическую академию, на должность преподавателя античной философии. В Академии он был единственным сотрудником, владевшим древнегреческим и латынью, и его постоянно использовали как “цитатчика” высокопоставленные начальники, включая и самого Луначарского, так что он десятилетиями теребил то Платона с Аристотелем, то Канта с Гегелем, отыскивая верное научное решение эстетических задач, в которых все эти домарксовы ученые путались, как слепые кутята. Он так поднаторел в теории искусства и критериях художественности, что ни одно постановление ЦК ВКП(б) по части культуры и искусства без его участия не составлялось – хоть об опере Вано Мурадели “Великая дружба”, хоть о “Катерине Измайловой” Шостаковича. Он нисколько не страдал от раздвоенности: гибкая диалектика, как опытный проводник в горах, извилисто проводила его по самым сомнительным местам.

Но все-таки служил Николай Романович – увы! – двум господам. Вторым его господином, властным и тайным, была его несчастная склонность к мужскому полу. С самых юных лет она давила ему на темечко, поднимала артериальное давление и вызывала тахикардию. Страшно нависала сто двадцать первая статья. Ни один враг народа, истинный или дутый, ни один оппортунист или оппозиционер не испытывал такого бездонного страха, как те, кто жил под угрозой этой, с виду невзрачной, статьи. Это было реальное, невыдуманное тайное общество мужчин, узнающих друг друга в толпе по тоске в глазах и настороженности в надбровьях, – вроде масонов с их тайными знаками и особыми рукопожатиями. Свинцовый век, пришедший на смену серебряному, разметал по свету утонченных юношей, порочных гимназистов и миловидных послушников, оставив для Николая Романовича и ему подобных опасные связи с алчными и жестокими молодыми людьми, с которыми ухо остро, потому что предадут, разоблачат, оклеветают,

посадят... Лишь однажды в зрелой жизни Николая Романовича у него возникли длительные и глубокие отношения с молодым историком, мальчиком из хорошей семьи, погибшим на фронте, но прежде гибели совершенно измучившим Николая Романовича психопатическими издевательскими письмами, полными оскорбительных намеков.

Славочка открывал новую эру в жизни Николая Романовича. Заветная мечта профессора обещала исполниться: он вырастит себе возлюбленного, и любовь мудрого воспитателя принесет мальчику пользу – о да! – разумную пользу. Он вылепит из него свое подобие, вырастит нежно и целомудренно. Будет Николай Романович истинным педагогом, то есть рабом, не жалеющим своей жизни для охраны и воспитания возлюбленного.

“Клянусь собакой! – мысленно произносил Николай Романович, склоняясь над спящим мальчиком, проживавшим теперь в его квартире, правда, в материнской комнате, на обитой светло-оранжевым плюшем кушетке, в зыбком свете головастого торшера. – Всё так и будет...”

– Голубчик ты мой, – шептал Николай Романович, подтыкая с боков одеяло.

В эти вечерние часы разрешено было Антонине Ивановне прилечь к рюмочке для сна. Под присмотром Николая Романовича, умеренно. И в самом деле был он педагогом, ничего из виду не выпускал.

В первый же год их семейной жизни Николай Романович отдал мальчика в музыкальную школу, на духовое отделение. Флейтиста из него не получилось, но в музыку он вошел, как в дом родной, дарование его как раз в том и заключалось, что слышал он музыку, как бог. Так что даже и в этой утонченной области получил себе Николай Романович партнера: отчим с пасынком ходили теперь вдвоем в консерваторию, наслаждаясь искусством, наименее пригодным для анализа его с классовых позиций.

Консерваторским завсегдатаям тех лет примелькалась эта парочка – subtilный пожилой мужчина в крупных очках на мелочном личике и тоненький юноша с аккуратно постриженной светловолосой головой, в черном свитерке и выпущенным поверх круглого выреза воротом белой пионерской рубашки. Московские мелогомофилы – вот неразгаданная таинственная корреляция – корчились от зависти, когда Николай Романович покупал в буфете два лимонада и два пирожных. Но доносов на него не писали – слишком страшно жили.

Там, при консерватории, образовался в те годы некий круг посвященных, без обозначенных границ, но с узнаваемыми, заметными лицами. Кроме тайных единоверцев Николая Романовича и обыкновенных

любителей, к этому кружку примыкали, разумеется, и профессионалы. И некоторые Славочкины соученики по музыкальной школе. Например, девочка Женя, юная виолончелистка, приходила обыкновенно с папой или с мамой. Женя всё шептала что-то Славе на ушко и тянула его за рукав в сторону, всё в сторону...

– Милая девочка, – говорил Николай Романович своему питомцу, – но очень уж неудачной внешности...

Но это было не так. Внешность девочки была вполне приемлемая: темные глазки, кудряшки, бантик клетчатый. Просто сердце Николая Романовича на мгновение сжимала темная ревность. Ни к чему нам эти девочки. Впрочем, ему досталось всё, о чем только мог мечтать Гумберт Гумберт: золотистое детство, обращающееся на глазах в юность, почтительная дружба ученика и полнейшая и доверчивая взаимность, заботливо выращенная гениальным, как оказалось, мастером нежных прикосновений, дуновений, скольльзящих движений.

На шестьдесят пятом году жизни в собственной постели во сне Николай Романович умер от закупорки сердечной аорты, как и упомянутый уже господин. Умер, насыщенный молодой любовью своего “голубчика”, в полном согласии со своим “даймоном”, так и не прочитав романа, наполненного высоковольтным током набоковского электричества, и не ощутив глубокого родства с его несчастным героем.

Осиротевший Славочка, к тому времени студент первого курса философского факультета МГУ, остался после смерти воспитателя в глубоком недоумении. Пока еще шли занятия, разбирали логику и пропедевтику диамата в старом здании философского факультета, что окнами выходил на анатомический театр Первого медицинского, было еще ничего, но потом настало летнее каникулярное время, которое Слава привык проводить с отчимом в пансионате в Пярну, и тут он впал в депрессию – залег в кабинете отчима, слушая его любимые пластинки и с трудом поднимаясь, чтобы перевернуть на вторую сторону или поставить новую.

Старый эстетик сыграл недобрую роль: голубчик его теперь не знал, как жить дальше, – без водителя он не умел. Друзей не было. Тщательно сберегаемая тайна его отношений с отчимом ограждала его от остальных людей непроницаемой стеной. От матери он был далек. Он давно уже относился к ней точно, как Николай Романович: корректно и инструментально. Последние четыре года он вместе со своей оранжевой кушеткой пребывал в кабинете Николая Романовича, спасаясь от материнского храпа.

Наследство после отчима осталось по тем временам ошеломляюще огромное: стопочка сберегательных книжек, часть из которых была на предъявителя, часть именных, с завещанием на имя Славы. И одна, самая скромная серенькая книжечка на три тысячи рублей, завещана была Антонине Ивановне. Ее Слава вручил матери, которая руками всплеснула от радости. Не ожидала такого богатства и слетела с катушек: вместо разрешенной Николаем Романовичем стограммовой стопочки брала теперь четвертинку, да и не только вечером. Часам к девяти Антонина Ивановна засыпала, как обыкновенно, нерушимым сном, а Слава выходил на улицу пройтись, подышать густым бензиновым воздухом, посидеть на пыльной лавочке Тверского бульвара, неподалеку от самодеятельного шахматного клуба, куда стекались на ночь глядя фанатики клетчатой доски – пенсионеры и несостоявшиеся шахматные гении. Туда же забрела в один из душных вечеров и музыкальная девочка Женя.

Женя происходила из хорошей, насквозь музыкальной семьи, несущей свою музыкальность, как иные семьи несут наследственный недуг – гипертонию или диабет. В предках числились итальянская оперная певица, чешский органист, немецкий капельмейстер. Но главным Бахом в семье был Женин дедушка. Имя его и по сей день значится на почетной доске медалистов Московской консерватории, в компании Скрябина.

Композиторство дедушки не поднялось выше посредственного уровня, в духе времени и культуры тех лет. Модерн его зачаровал, но ни дерзости Дебюсси, ни оригинальности Мусоргского ему не было отпущено. Известен он был как исполнитель, виолончелист, как педагог и музыкальный деятель – председатель разнообразных музыкальных обществ и собраний, распределитель стипендий для бедных одаренных детей и вспомоществований для старых оркестрантов. Словом, он был настоящий русский интеллигент сборных кровей, без капли русской, между прочим. Семья была большая, все близко к музыке – старший брат его был скрипичный мастер, младший, неудачливый, – переписчиком нот.

Женя деда своего не знала: их разделяли три десятилетия, между которыми пролегли две мировых войны. Дед умер сорока двух лет, в один день с эрцгерцогом Фердинандом, то есть в начале Первой мировой войны, а она родилась в последний день Второй.

В качестве бунта или каприза в семье вдруг возникал какой-нибудь отступник дядя Лева, перекинувшийся в бухгалтеры, или тетя Вера, изменившая музыке с сельскохозяйственной наукой. Отступником был и отец Жени, Рудольф Петрович, соблазнившийся в свое время военной карьерой. Из-под своей полковничьей папахи он всю жизнь тосковал

по музыке, болел ею, но инструмента не касался. Зато дочь свою он решил непременно вернуть к семейной традиции и определил на виолончель. И дом их, полный фотографий всяких великих с автографами, пыльных нот и непогребенных клавиров опер, наполнился живыми звуками гамм и упражнений. Женечка обещала стать настоящим исполнителем, и сам Даниил Шафран ее отметил и покровительствовал ей. Известность ее деда в музыкальном мире прибавляла ей привлекательности, но к тому же она обладала своим собственным трудолюбием и усидчивостью и с отроческого возраста проводила по многу часов, растопырив ноги и заключив между разведенными коленями малютку виолончель, ученическую игрушку. Она росла, и вместе с ней росло чудо – инструмент оказывался скоропослушен: едва тронешь его смычком, как он отзывался такими глубокими бархатными звуками, слаще которых не бывало. И разве можно было сравнить с широким и гибким голосом виолончели сухой и шероховатый голос скрипки, простоватость альты или однообразную меланхолию контрабаса...

В то лето она впервые осталась одна в городе, родители жили на даче, а она готовила свою первую концертную программу. Вечерами выходила на прогулку.

Встретившись случайно на лавочке Тверского бульвара, оба безмерно обрадовались. Каждый из них переживал период одиночества: Женя – временного, но очень острого, потому что первый раз в жизни осталась в доме одна, Слава, как ему казалось, – окончательного и пожизненного. Но говорили они только о музыке. К тому же у них было и общее поле воспоминаний – музыкальная школа на Пушкинской площади, куда оба они так долго ходили и от которой теперь не осталось и следа. На ее месте высилось уродливое здание “Известий”. Общие уроки сольфеджио, хоры, ученические концерты... Они проговорили до позднего вечера. Потом он проводил ее домой, на Спиридоновку, а дорогой, неожиданно для самого себя, сказал ей:

– А у меня отчим умер.

Эти слова он произнес вслух в первый раз и поразился тому, как они прозвучали. Как будто что-то изменилось в воздухе и именно от произнесения этих слов Николай Романович умер окончательно.

Женя, что-то почуявшая, встрепенулась:

– Ты очень любил его?

– Он был мне больше, чем отец...

Это прозвучало так скорбно и благородно, что Николай Романович мог бы порадоваться.

– Бедненький! Я бы с ума сошла, если бы с папой что-нибудь такое случилось. – Она была так далека от смерти в свои восемнадцать лет, что даже слово “умер” не умела произнести.

Она затрясла головой, отгоняя от себя смертную тень, и рот ее сморщился сочувствием, но сказала она детскую глупость:

– Давай мороженого съедим! Много-много...

– Да где же его в такое время взять? – улыбнулся Слава, тронутый столь полным сочувствием.

– У меня в холодильнике. Родители на даче, а я ничего другого не покупаю.

Мороженое было превосходным, с кусочками замороженной клубники или ледяными ягодками черной смородины, его приносила в кастрюльке с сухим льдом соседка снизу, работавшая в кафе “Север” официанткой. Воровали все, кому было чего украсть.

После мороженого Женя вынесла из отцовской комнаты торжественную пластинку в черно-белом конверте:

– Фон Караян. Из Германии привезли. Ты такого Вагнера сроду не слышал.

Она благоговейно опустила на диск проигрывателя мерцающую пластинку. Оркестровая версия “Тристана и Изольды”. Оркестр звучал так, как будто играли не люди, а демоны. Они прослушали ее два раза подряд, и под эту вздыбленную музыку, именно где-то в районе смерти Изольды, Женя влюбилась в Славу. Ни с кем, даже с отцом, не слушала она так хорошо, так совместно. И он всей душой к ней рванулся: такая милая, ласковая, глаза черные, умные, живые кудряшки трепещутся надо лбом...

– Какая мужская, крепкая музыка, – заметила Женя, когда Караян отгрохотал.

– О да, – согласился Слава, про себя удивляясь: как она может это понимать...

Во рту еще долго сохранялся вкус клубничного мороженого, зернышки ягод покалывали десну, и какой-то вкус остался и в душе от совместного переживания этой буйной густоокрашенной музыки.

Весь август он ходил к ней в гости. Поздними вечерами, когда спадала жара и на Тверском бульваре собирались ночные шахматисты, он возвращался домой в хорошем настроении – депрессия его проходила. Это сочетание ощущений ночного бульвара, Вагнера и тающего мороженого накрепко связалось с Женей.

Когда наступила осень и родители Жени вернулись в город, начались занятия и встречаться они стали реже, хотя каждый день подолгу

разговаривали по телефону о концерте Рихтера, о чудном альбоме Сомова, который Слава купил в букинистическом на Арбате, следуя привычке покойного отчима прогуливаться с деньгами в кармане по антикварным и букинистическим. Николай Романович никогда не был настоящим коллекционером, но разбирался понемногу в изделиях материального мира – даром, что ли, был убежденным материалистом.

В конце лета Жене казалось, что у нее, наконец, начинается настоящий роман, но всё почему-то застопорилось на хорошей дружеской ноте и никак не развивалось дальше, хотя Женя очень желала чего-то большего, чем маленькие кусочки мороженой клубники или ледяные ягодки черной смородины.

Слава чувствовал постоянное ожидание, исходящее от Жени, и слегка нервничал. Он очень дорожил их общением, благородным домом, куда он попал, да и самой Женей, чуткой и к литературе, и к музыке, и к нему, Славе. Влечения он к ней испытывал столько же, сколько к фонарному столбу. И с этим, кажется, ничего нельзя было поделать.

В свои девятнадцать лет он твердо знал, что относится к особой и редкой породе людей, обреченной таиться и прятаться, потому что мягонькие наросты, засунутые в тряпочные кульки, вызывают у него брезгливость и ассоциируются с большой белой свиньей, облепленной с нижней стороны сосущими поросятами, а само устройство женщин с этим волосяным гнездом и вертикальным разрезом в таком неудачном месте представлялось ужасно неэстетичным. Сам ли он об этом догадался, или Николай Романович, эстетик, ему тонко внушил, не имело теперь значения. Женя ему очень нравилась, и от одиночества она его спасала, но физическая тоска его не уходила, а только нарастала.

Простившись с Женей, он сажился обыкновенно на Тверском бульваре неподалеку от шахматистов на одну и ту же лавочку и разглядывал редких прохожих с робким мысленным вопросом: он? не он? Однажды рослый красивый блондин посмотрел на него внимательно, и он весь напрягся, потому что ему показалось, что взгляд этот был особо содержательным. Но тот прошел мимо, оставив Славу в сладком поту, с сердцебиением. Странно, но сердце его словно вторило тому, страдающему стенокардией.

“И в этом мы тоже похожи, – констатировал Слава. – Меломаны, сердечники, эстеты...”

Он заблуждался, истинная картина была значительно сложнее, но заблуждение такого рода вполне понятно: эпоха суперменов в кожаных одеждах и металлических цепочках, гомосексуалистов с накачанными шарами мышц, высокомерно и презрительно взирающих на “натуралов”,

еще не наступила, ковбои же воспринимались как секс-символ, желанный для женской половины мира, дырчатых алчных созданий, а не как коровьи мальчишки, пастухи с задницами, разбитыми грубыми седлами, предающиеся однополый любви за полным отсутствием баб в округе...

Слава весь принадлежал античности в том романтическом виде, какой она представлялась поверхностным ученым девятнадцатого века – ведь и сам Маркс что-то бормотал о “золотом детстве человечества”.

Вероятно, с огромного расстояния в несколько тысяч лет картина исказилась, и самое кровавое и разнузданное язычество, с его ярким политеизмом, в котором всё сущее обожествлялось, одухотворялось и пускалось во все тяжкие – нимфы, наяды, сатиры, самые мелочные боги луж и придорожных канав, а также лебеди, коровы, орлы, пастухи и пастушки устраивали непрерывную оргию не ограниченного ни в чем совокупления – и всё это содрогающееся язычество почему-то называлось античным материализмом. В этом заблуждении и состояла вера Николая Романовича, он передал ее в полном объеме своему воспитаннику вместе со своим сугубо личным пристрастием, которое он прививал осторожно и терпеливо с помощью опытных пальцев, нежного, в проницательных вкусовых сосочках, языка и старенького увядшего копья.

У гениального учителя оказался гениальный ученик, и он теперь изнемогал всем своим сверхчувствительным телом от неразстворимого одиночества: тосковали светлые тугие волосы, тосковал рот, грудь и живот, бедра и ягодичы. И райский сад, и роза Содомы, как говорил Николай Романович. Да, да... Форель разбивает лед...

В начале октября, в один из темных, но еще теплых вечеров затянувшегося бабьего лета Слава высидел себе на Тверском бульваре нового учителя. От группы темных фигур, сгрудившихся под фонарем, освещавшим шахматные доски, к нему подошел человек лет сорока в холщовой кепочке, с красивым лицом, которое могло быть еврейским, в клетчатой старомодной ковбойке. Сняв кепку с раздутого луковкой черепа, присел на край развалистой скамьи. Он весь был как будто под давлением – глаза слегка вылезали из орбит, а щетина перла со страшной силой так густо, что только на носу оставалась незаросшая поляна. Николай Романович, напротив, всегда слегка проминался, как подспущенный баллон. Подошедший уперся волосатыми кулаками в край скамьи и обратился к Славе очень свободно:

– Ваше лицо мне знакомо. Вы, простите, в шахматы не играете?

Сердце заколотилось неровно, заплясало под дурную музыку: он?

– Играю немного.

Человек засмеялся:

– Немного даже моя бабушка играла... Так, по крайней мере, она думала. Сейчас мы это проверим.

Человек вынул из кармана маленький кожаный ящичек, раскрыл. Фигуры были расставлены – остренькие штыри крепились в прорезях кожаной доски.

– Ваш ход.

Руки у Славы тряслись так, что он еле-еле смог ухватить шахматную фигуру. Он сделал первый ход Е2–Е4... И успокоился. Сомнений не было: это был он. Шахматист выдернул легонько черную пешку на острой ножке, задержал ее между большим и средним пальцем, пробормотал:

– Так рано стало темнеть... – и вонзил пешечку в светлый квадратик.

В тот вечер шахматисту показалось, что глаза у Славы зеркально-черные, как вошедшие в моду солнечные очки, но это впечатление было ошибочным, просто зрачки были так расширены, что голубая радужная оболочка сплюснулась по окружности глаза.

– Давайте-ка эту партию доиграем у меня дома... Уж больно темно.

Шахматист сложил шахматы, нахлобучил кепочку, и они пошли на троллейбус. Слава не спрашивал, далеко ли ехать. Его колотило от предчувствия, а шахматист время от времени клал ему руку то на плечо, то на колено. Доехали до Цветного бульвара, там вышли и завернули в какой-то глухой переулок. Зашли в запущенный подъезд трехэтажного дома, и, пока поднимались по лестнице, шахматист сказал, что живет с мамой, что мама была в молодости красавицей, актрисой, а теперь почти слепая и совершенно безумная.

Квартира оказалась маленькой и очень грязной. Время от времени мама подавала за стеной недовольный голос, а потом запела романс. Партию не доигрывали. Потому что была любовь. Сильная мужская любовь, о которой прежде Слава смутно догадывался. Пахло вазелином и кровью. Это было то самое, чего хотелось Славе и чего Николай Романович не мог ему дать. Брачная ночь, ночь посвящения и такого наслаждения, что никакой музыки и не снилось. У Славы началась новая жизнь...

Хоронили Валиту за казенный счет. С уверенностью никто не знает, хоронили ли вообще. Возможно, разъяли на органы, залили их формалином и отдали на растерзание тем студентам, которые окнами выходят на философов. Или другим. Но это маловероятно. Экспертиза установила, что тело пролежало дней пятнадцать-семнадцать, прежде чем было

обнаружено в укромном уголке Измайловского парка гражданином спортивного вида, прогуливающим фокстерьера.

Почему Евгения Рудольфовна подала в розыск, трудно объяснить. За сорок с лишним лет их знакомства он пропадал много раз, на разные сроки. Особенно длинным был первый. Сначала ему дали пять лет, а уж там еще добавляли, так что исчез он тогда почти на десять. Это было не по своей воле. Потом объявился, но уже не Славой, а Валитой. Такое образовалось у него прозвище. Он Евгении Рудольфовне кое-что рассказывал, но ничего такого, что могло бы ее напугать или смутить. Он ее в некотором смысле берег.

Она не то чтобы Славу любила, нет, конечно, но она любила воспоминания своей молодости и помнила, как была влюблена в светлого одухотворенного мальчика, как слушали они музыку и как страдал он от несовершенства тогдашней звукозаписи: у Караяна шесть пиано и восемь форте, а здесь всё слипается... Жалко было этого бедолагу, изгоя, лишившегося всего, чего только можно было лишиться: имущества, зубов, светлых волос и московской прописки, которую он, впрочем, вырвал из зубов у жизни, женившись на какой-то пропадающей алкашке, и прописался к ней на улицу с ласковым названием Олений Вал. Осталось у него от всех его богатств только редкое дарование слышать музыку да барские руки с овальными ногтями.

Вот уже много лет, как приходил он к Евгении Рудольфовне в театр, в обширный ее кабинет с медной табличкой “Завмуз” на солидной двери. И сотрудники его знали, и гардеробщики пускали. Обычно она давала ему немного денег, варила кофе и доставала из дальнего уголка шкафа шоколадные конфеты. Он был сладкоежка. Иногда, когда было время, она ставила ему какую-нибудь музыку. Впрочем, он признался, что музыки давно уже не любит – любит только звуки. Она не совсем поняла, что он имеет в виду. В этой области он разбирался лучше, чем она, заведующая музыкальной частью известнейшего московского театра. Бесспорно. И она это отлично знала.

Сидел он в кабинете недолго, стеснялся сам себя, как стеснялась себя когда-то его покойная матушка Антонина Ивановна.

Месяца два он не заходил, и Евгения Рудольфовна его не вспоминала. Как-то в субботу вечером пошла в консерваторию. Играли 115-й опус Брамса, кларнетный квинтет, немыслимо трудный для исполнения. В последней части, когда уже почти душа вон, просто в поднебесье улетаешь, вспомнила Славу. Как он со своей блокфлейтой в маленьком угловом классе занимался с преподавательницей Ксенией Феофановной,

толстой дамой в шелковом балахоне, краснолицей и грубой, а она, Женя, влетела почему-то в класс и остановилась в испуге от собственной наглости... Сорок лет назад, в музыкальной школе, от которой ни кирпичика... Брамс кончился, и с последними звуками она почувствовала, что Славы больше нет.

Сделала запрос через справочную. Славу не обнаружили ни на Оленьем Валу, ни на какой другой улице, и она позвонила в милицию. С ней разговаривали грубо, но через день вызвали ее сами, на опознание. Опознавать там было нечего. Это было какое-то черное тряпье, почти земля, очень страшная земля. Только рука была человеческая, с овальными благородными ногтями.

Потом разговаривала со следователем. Следователь был немолодой, одутловатый и знал так много, что можно было бы и поменьше. Он не получил от Евгении Рудольфовны ничего для себя интересного. Преступление было из тех, которое раскрыть было несложно, но гомосексуальными убийствами милиция не особенно интересовалась. Они копились, копились, а потом их вешали на какого-нибудь маньяка из числа пойманных. Да и кому, кроме маньяка, нужно было убивать Валиту, человека, у которого ничего не было, кроме безумной жажды быть любимым... быть любимым мужчиной... любимым мужчиной...

Дома Евгения Рудольфовна долго рылась в детских фотографиях и нашла ту, которую искала. На остальных была девочка Женя с виолончелью. А на этой снят зал во время школьного концерта. Рудольф Петрович снимал. Во втором ряду хорошо видны они оба – Николай Романович в сером костюме и в полосатом галстуке и двенадцатилетний Славочка в белой пионерской рубашке с расстегнутой верхней пуговкой. Такое милое лицо, светленький такой, голубчик... И как его Николай Романович любил. Как любил...

Сквозная линия

рассказы

Диана

Ребенок был похож на ежика – игольной щеткой темных волос, любопытным вытянутым носом, узким к кончику, и забавными повадками существа самостоятельного, постоянно приносящегося, и совершенной своей неприступностью для ласки, для прикосновения, не говоря уж – материнского поцелуя. Но и мамаша его, судя по всему, тоже была из ежиной породы – она его и не трогала, даже руки ему не протягивала на крутой тропинке, когда они поднимались от пляжа к дому. Так он и карабкался впереди нее, а она медленно шла сзади, давала ему возможность самому цепляться за пучки трав, подтягиваться, скользить вниз и снова подниматься напрямик к дому, минуя плавный поворот шоссе, по которому ходили все нормальные курортники. Ему еще не исполнилось и трех лет, но характер у него был такой отчетливый, такой независимый, что и мать иногда забывала, что он почти младенец, и обращалась с ним, как со взрослым мужчиной, рассчитывала на помощь и покровительство, потом спохватывалась и, посадив малыша на колени, подкидывала легонько, приговаривая: “Поехали за орехами... поехали за орехами”, а он хохотал, проваливаясь между коленями в натянувшийся подол материнской юбки...

– Сашка – пташка! – поддразнивала его мать.

– Женька – пенька! – радостно отзывался он.

Так целую неделю они жили вдвоем в большом доме, занимая самую маленькую из комнат, а все другие, ожидая жильцов, были чисто вымыты, приготовлены к заселению. Была середина мая, сезон только начинался, стояла холодноватая, не купальная пора, зато южная зелень не огрубела, не выцвела, а утра были такие ясные и чистые, что с первого дня, когда Женя случайно проснулась на рассвете, она не пропустила ни одного восхода солнца, ежедневного спектакля, о котором она прежде и не слыхивала. Жили они так прекрасно и мирно, что Женя усомнилась даже в медицинских диагнозах, которые были определены ее буйному и заводному ребенку детскими психиатрами. Он не скандалил, не закатывал истерик, пожалуй, его можно было бы даже назвать послушным, если бы Женя имела точное представление о том, что вообще означает “послушание”...

На второй неделе в обеденное время возле дома остановилось такси, и из него вывалилась целая прорва народу: сначала шофер, доставший

из багажника странное железное приспособление неизвестного назначения, потом большая красивая женщина с львиной гривой рыжих волос, потом кособокая старушка, которую немедленно воткнули в снаряд, образовавшийся из плоского приспособления, потом мальчик постарше Сашки и наконец сама хозяйка дома Дора Суреновна, нарядно накрашенная и суетливая более, чем обычно...

Дом был расположен на склоне холма, стоял криво, наперекосяк всему, шоссейная дорога проходила под ним, другая, земляная, разбитая, выше усадьбы, а сбоку еще прибивалась тропка – кратчайший путь к морю... Зато сам хозяйский участок был чудно устроен – в центре всего стоял большой стол, плодовые деревья обступали его со всех сторон, а два дома, один против другого, душ, уборная, сарайчик закруглялись вокруг, как театральная декорация. Женя с Сашей сидели с краю стола, ели макароны и, как только вся компания вывалилась в закругленный дворик, лишились аппетита.

– Привет, привет! – Рыжая бросила чемодан и сумку и плюхнулась на скамью. – Никогда вас здесь не видела!

И сразу всё расставилось по местам: рыжая здесь была своя, основная, а Женя с Сашкой новенькие, второстепенные.

– А мы здесь в первый раз, – как будто извинилась Женя.

– Всё бывает в первый раз, – философски ответила рыжая и прошла в большую комнату с террасой, на которую Женя попервоначалу нацелилась, но получила решительный хозяйский отказ.

Шофер сволок вниз старушку в ее клеточке, старушка слабо что-то верещала, как показалось Жене, на иностранном языке.

Саша встал из-за стола и с видом важным и независимым удалился. Женя собрала тарелки, отнесла на кухню: знакомство всё равно было неизбежным. Эта рыжая своим появлением совершенно изменила весь пейзаж лета...

Беленький, с крутым курносым носом и невиданно узким черепом мальчик обратился к рыжей уже явственно по-английски, но слов Женя не разобрала. Зато рыжая мамаша очень отчетливо отрезала: “Шат ап, Доналд”.

Женя до того дня видом не видывала англичан. А рыжая с ее семейством оказались самыми что ни на есть англичанами.

Настоящее знакомство состоялось поздним, по южным понятиям, вечером, когда дети были уложены, вечерняя посуда вымыта и Женя, накинув платок на настольную лампу, чтоб не светило на спящего Сашку, читала “Анну Каренину”, чтобы сопоставить некоторые события своей

распадающейся лично-семейной жизни и настоящую драму настоящей женщины – с завитками на белой шее, женственными плечами, оборками на пеньюаре и с рукодельной красной сумочкой в руках...

Женя не решилась бы сунуться на освещенную террасу к новой соседке, но та сама стукнула крепкими полированными ногтями ей в окно, и Женя вышла, уже в пижаме и в свитере поверх – по ночам было холодно.

– Проезжая мимо “Партийного гастронома”, что я сделала? – строго спросила рыжая. Женя туповато молчала, ничего остроумного ей в голову не приходило. – Купила две бутылки “Крымского”, вот что я сделала. Может, ты не любишь портвейна, может, ты предпочитаешь херес? Пошли!

И Женя, отложив Анну Аркадьевну, пошла, как замороженная, за этой роскошной бабой, укутанной в какое-то не то пончо, не то плед, лохматое, клетчатое, зелено-красное...

На терраске всё было вверх дном. Чемодан и сумка были распакованы, и удивительно было, сколько же в них поместилось веселого разноцветного тряпья – все три стула, и раскладушка, и половина стола были завалены. В складном кресле сидела матушка, с белесым кривоватым личиком и забытой на нем искательной улыбкой.

Рыжая, не выпуская изо рта сигареты, разлила портвейн в три стакана, в последний поменьше, – и сунула его в руки матери.

– Матушку можно звать Сьюзен Яковлевна, а можно и никак не звать. Она по-русски ни слова не понимает, до инсульта немного знала, а после инсульта всё забыла. И английский. Помнит только голландский. Детский язык. Она у нас чистый ангел, но абсолютно без мозгов. Пей, гренни Сузи, пей...

Ласковым движением рыжая сунула ей стакан, и та взяла его в обе руки. С интересом. Впечатление было такое, что не всё на свете она забыла...

Первый вечер был посвящен семейной биографии рыжей – она была ослепительна. Безмозглый ангел голландского происхождения имел коммунистическую юность, соединил свою судьбу с подданным Объединенного Королевства ирландской крови, офицером Британской армии и советским шпионом, пойманным, приговоренным к смертной казни, обменянным на нечто равноценное и вывезенным на родину мирового пролетариата...

Женя слушала, развесив уши, и не заметила, как напилась. Старушка в кресле тихо похрапывала, потом пустила деликатную струйку.

Айрин Лири – каково имя! – всплеснула руками:

– Дала себе расслабиться, забыла посадить на горшок. Ну теперь уже

всё равно...

И она еще час дорассказывала завидную семейную историю, и Женя всё более пьянела, уже не от портвейна, который был выпит до последней капли, а от восхищения и восторга перед новой знакомой.

Разошлись они в третьем часу ночи, переодев и слегка помыв встрепенувшуюся ото сна и абсолютно ничего не понимающую Сузи.

Следующий день был хлопотным и шумным – утром Женя сварила завтрак, накормила всех овсянкой и увела обоих мальчишек гулять. Английский мальчик Доналд, родословная которого, несмотря на его российское рождение, тоже была восхитительна – его дедушка по отцовской линии был совсем уж знаменитым, но тоже провалившимся шпионом, обменянным на нечто еще более ценное, чем дедушка по материнской линии, – оказался на редкость славным: приветливым, хорошо воспитанным, и, что Женю к нему расположило не менее, чем к его рыжей матери, он сразу же отнесся к заводному и нервному Сашке великодушно и снисходительно, как старший к младшему. Собственно, он и был старшим, ему уже исполнилось пять. В нем сразу же открылось какое-то взрослое благородство: он немедленно отдал Саше затейливую машинку, показал, как у нее поднимается кузов, а когда они дотащились до киоска с водой, возле которого Сашка обычно начинал канючить и где Женя обычно покупала ему газировку в мутном стакане, пятилетний мальчик отвел рукой протянутый ему стакан и сказал:

– Вы пейте. Я потом.

Просто лорд Фаунтлерой. Когда Женя пришла домой, Айрин сидела за дворовым столом с хозяйкой, и по тому, как важная Дора пласталась перед новой жиличкой, видно было, что Айрин здесь высоко ценится. Всем был предложен хозяйский бараний суп, горячий и переперченный. Английский мальчик ел медленно и исключительно прилично. Перед Сашей стояла миска, и Женя готовилась, что ей сейчас придется потихоньку унимать Сашку, который в еде был строг: ел картофельное пюре с котлетами, макароны и овсянку со сгущенкой... И больше ничего. Никогда...

Сашка, однако, посмотрел на лорда Фаунтлероя и сунул ложку в суп... И впервые, кажется, в жизни съел еду не из своего списка...

После обеда дети спали, а женщины все сидели за столом. Дора с Айрин вспоминали прошлогодний сезон, говорили весело и смешно о незнакомых людях, о каких-то давних курортных историях. Сузи сидела в кресле с улыбкой, столь же постоянной и неуместной, как и ее коричневая родинка между носом и ртом. Женя посидела немного, выпила чашку

хорошего Дориного кофе и пошла к себе – легла рядом с Сашкой и взялась было за “Анну Каренину”. Но посреди дня чтение было почти неприлично – она отложила лохматый том в сторону и задремала, сквозь сон представляя себе, что вечером будет сидеть с Айрин на ее терраске вдвоем и без Доры... И пить портвейн. И как будет славно... И совсем сверху, как с облака, она вдруг поняла, что уже второй день, с самого приезда рыжей Айрин, не вспомнила ни разу о гнусной гадости жизни, которую можно еще назвать катастрофой – такой корявый черно-коричневый краб, который сосет ее изнутри... да ну его к черту, не так уж и интересна вся эта любовь-морковь... И опустилась до самого дна сна...

А когда проснулась, то всё еще была немного на облаке, потому что откуда-то взялась веселость, которой давно уже не было, и она подняла Сашку, натянула на него штаны и сандалии, и они пошли в город, где была карусель, любезная Сашке, а напротив карусели – “Партийный гастроном”.

“А почему “партийный” – надо спросить у Айрин”, – подумала Женя. Две бутылки портвейна. С вином в тот год было отлично: на него еще не напал Горбачев, и крымские вина производились совхозами, колхозами и отдельными дедками – сухие, полусухие, крепленые, массандровские и новосветские, дармовые и драгоценные... А вот сахара, масла и молока не было... Но об этом как раз забыли как о несущественном. Потому что жизнь была сама по себе очень существенна.

Вечером на терраске снова пили портвейн. Только матушку отвели спать пораньше. Она не возражала. Она вообще только кивала, благодарила на неизвестном языке и улыбалась. Лишь изредка вскрикивала “Айрин!”, а когда дочь к ней подходила, смущенно улыбалась, потому что уже успела забыть, зачем ее звала.

Айрин сидела, уперев локоть в стол, а щеку в ладонь. Стакан был в правой. Игральные карты разбросаны были по всему столу – остатки сломанного пасьянса.

– Второй месяц не получается. Что-то у меня не сходится... Жень, а ты карты любишь?

– В каком смысле? В детстве с дедушкой в дурака на даче играла... – Женя удивилась вопросу.

– Может, так оно и лучше... А я люблю... И играю, и гадаю... Мне было семнадцать лет, мне одна гадалка предсказание сделала. Мне б его забыть... Но не забыла. И всё идет как по писаному... как та сказала.

Айрин взяла несколько карт, погладила их цветастые рубашки и бросила на стол мастями кверху: сверху оказалась девятка треф.

– Я ее терпеть не могу, а она вечно привяжется... Пошла отсюда...

Изжога от нее...

Женя подумала немного и переспросила:

– То есть ты всегда знаешь, как всё кончится? Не скучно?

Айрин вздернула желтую бровь:

– Скучно? Ну это ты не понимаешь ничего... Ой, не скучно... Да если тебе рассказать...

Айрин разлила остатки первой бутылки по стаканам. Отпила, отодвинула стакан.

– Ты поняла уже, Женька, что я болтлива? Всё про себя рассказываю, никаких секретов не держу. И чужих тоже, имей в виду – предупреждаю на всякий случай. Но было одно, чего я никому не рассказывала. Тебе – первой. Не знаю, почему вдруг мне захотелось...

Она усмехнулась, передернула плечом:

– И самой удивительно.

Женя тоже уперлась локтем в стол и положила щеку на ладонь. Они сидели насупротив, с вдумчиво-абстрактным выражением уставившись друг в друга, как в зеркало... Жене тоже удивительно было, что Айрин выбрала вдруг ее для откровений. И льстило.

– Мать моя была красавица – вылитая Дина Дурбин, если тебе это что-нибудь говорит. И всегда была идиотка. Вернее, не идиотка, а слабоумная. Я ее очень люблю. Но в голове у нее всегда была каша: с одной стороны, она коммунистка, с другой – лютеранка, с третьей – любительница маркиза де Сада. Она всегда была готова отдать всё, что у нее есть, немедленно, и могла устроить отцу истерику, потому что ей вдруг нужен был срочно тот купальник, который она купила в тридцатом году на бульваре Сен-Мишель, на том углу, что ближе к Люксембургскому саду... Когда отец умер, мне было шестнадцать лет, и мы остались вдвоем. Она – надо отцу отдать должное, не понимаю, как это удалось при их невыносимо тяжелой жизни, – отличалась полной, совершенно победительной беспомощностью: работать не могла ни дня, потому что при своих родных двух языках, английском и голландском, она не смогла выучить русский. За сорок лет! Отец работал на вещании, ее бы взяли. Но даже там, где в принципе русский не нужен, надо было всё же сказать “Здравствуйте!” или прочитать надпись: “Тихо. Идет запись”. Она не могла. Отец умер, и я сразу же пошла работать, образования у меня никакого, но я классная машинистка, печатаю на трех языках...

Так вот. Про предсказание. Была у меня старая подруга, англичанка, с двадцатых годов в России застрявшая. Есть такая небольшая колония русских англичан. Я, конечно, всех их знаю. Либо коммунисты, либо

оставшиеся в России по каким-то причинам технари, чуть не с нэповских времен. Вот и эта Анна Корт, она по любви застряла. Любовь расстреляли, а ей повезло, выжила. Отсидела, конечно. Ногу потеряла. Из дому она почти не выходила. Давала уроки английского. Гадала. За гаданье денег не брала. Но подарки – брала. Она меня кое-чему научила, да и я ей полезна была...

Однажды, когда я у нее торчала, пришла к ней красавица, что-то вроде генеральской или партийной жены: то ли родить не могла, то ли советовалась, брать ли ребенка на воспитание. И моя Анна говорит с ней в своей обычной манере, на невесть каком языке, с сильнейшим акцентом. А русский она знала, поверь, не хуже нас с тобой – восемь лет лагерей. Но, когда считала нужным, такой напускала акцент... Материлась же она – какой там Художественный театр! А тут она этой красавице – ни да ни нет, извилисто и многозначительно, как и полагается гадалке, – то ли ребенок будет, то ли нет, но лучше, чтобы его не было...

А потом вдруг обернулась ко мне и говорит: “А ты с пятого начинаешь, запомни... С пятого...”

Чего я с пятого начинаю? Чушь какая. Я сразу же и забыла. Но в свой час вспомнила...

Айрин опять утонула подбородком в ладони. Задумалась. Глаза ее слегка отливали животным светом, как у кошки... Уют, нежность и тонкая тревога...

Были у Жени подруги, с которыми она вместе училась, вела разговоры о делах важных и содержательных, об искусстве и литературе или о смысле жизни. Она защищала диплом о русских поэтах-модернистах, и диссертационная тема ее была по тем временам очень изысканная – о поэтических переключках поэтов модернистических течений и символистах 10-х годов. Жене повезло необыкновенно – руководителем диплома у нее была преклонных годов профессорша, которая в этой самой русской литературе распоряжалась как у себя на кухне. Эта боготворимая студентами и, главным образом, студентками профессорша Анна Вениаминовна знала всех этих поэтов не понаслышке, а лично: почти дружила с Ахматовой, чай пила с Маяковским и Лилей Брик, слушала чтения Мандельштама и помнила живого Кузмина... Около Анны Вениаминовны Женя и сама обзавелась значительными знакомыми, вращалась среди гуманитарных интеллектуалов и претендовала на то, чтобы со временем и самой сделаться кем-нибудь значительным. И если честно говорить – такой пошлой болтовни, как в этот вечер, Женя сроду не слыхала. Странность же заключалась в том, что в пошлом этом

разговоре содержалось нечто важное, и содержательное, и очень жизненное. Может, даже и пресловутый ее, жизни, смысл?

Радуюсь сладкому портвейному опьянению, тишине и законной тьме, в которой трепещущим пятном шевелился фонарный свет в листьях большого инжира, Женя еще и наслаждалась временным, как она догадывалась, освобождением от навязчивой нерешенности важных – важных ли? – своих жизненных задач...

Айрин смела со стола карты – часть упала на пол, часть приземлилась на стуле...

– Лежит Сузи на диване с книжкой с утра до вечера, сосет карамель. Теперь я понимаю – она была в депрессии, но тогда я видела только, что она превращается в моего ребенка. Имей в виду, это всё задолго до инсульта. С ложки я ее, конечно, не кормила, но, если я суп в тарелку не налью, могла три дня не есть... Я решила, что мне надо срочно завести ребенка, своего собственного, настоящего, потому что превращаться в мать собственной матери я совершенно не хотела. А так, может, она хоть бабушкой стала бы, коляску бы катала... Я наскоро вышла замуж, за первого попавшегося. Парень со двора. Красивый, совершеннейший дурень. Забеременела и девять месяцев ходила с пузом как с орденом. Говорят, токсикоз, самочувствие, давление... Что там еще у беременных? Вот у меня – ничего этого. Рожать иду прямо от пишущей машинки. Не успеваю допечатать, работу сдать. Ну, думаю, рожу по-быстрому и потом закончу, уже с ребеночком. Там оставалось на два дня работы... Оказалось не так. Обвитие пуповины. Ребенок мой погибает – акушерка молодая, врач распиздяйка. Проворонили моего ребеночка... Всего-то, что надо было, – простую бабу-повитуху... А мне восемнадцать лет, идиотке. Пальчик загни: погиб мой первенец, Дэвид, в память отца я его хотела назвать. Молоко из меня хлещет, слезы ручьями...

Пристальными, сузившимися глазами Айрин смотрела на Женю, как будто прикидывая, стоит ли продолжать...

– У Сашки было обвитие, – потрясенным тихим голосом сказала Женя. Она знала, что это очень опасно для ребенка, но впервые видела мать, которая действительно потеряла ребенка из-за этой дурацкой петли, которая верно служила младенцу все девять месяцев, а потом вдруг задушила...

– Через два месяца я снова забеременела. Ты характера моего не знаешь: если мне чего надо, я из-под земли вырою. Снова хожу. Уже не такая веселенькая, то тошнит, то пучит, то немеет... Но ничего, бодрая. Муж мой, мудило огородное, работал автослесарем. Я же тебе говорю, за первого попавшегося замуж выскочила. Что заработает,

то и пропьет. Внешность – Ален Делон один к одному, только роста хорошего. Я сижу старательно, колочу по машинке, прилично выколачиваю. На “барбарис” для Сузи хватает.

В первый раз я точно знала, что мальчик. А тут я девочку себе распланировала. Пузо растет, а у меня одна бабья радость: копейку заработаю – и в “Детский мир”. Носочки... распашоночки... ползуночки... Всё советское, тупое, грубое. А я росла дворовой девчонкой, на заборах висела... Родителей ведь сначала в город Волжск под чужой фамилией поселили. Я только в десять лет свое настоящее имя узнала. Родителей рассекретили, и мамина сестра прислала первую посылку. Там и кукла была. А я их терпеть не могла, я и девочкой не хотела быть. Ревела, когда меня в юбку заталкивали. А когда грудь начала расти, я чуть не повесилась. – Айрин расправила плечи, большая бабья грудь шевельнулась от шеи до пояса.

Женя смотрела на нее с тонкой завистью: у человека была биография... Да и по Айрин видно было, что она знает о своей значительности.

– Девочка родилась красавицей – с первой минуты. Ничего новорожденного, никакой слизи, красноты, шершавости. Глаза синие, волосы черные, длинные. Это – от автослесаря. Черты лица – вылитая я. Мой нос, подбородок, овал лица...

Женя как будто в первый раз увидела Айрин: за яркой рыжестью не сразу было разобрать, что она красавица. Да, и овал лица, и нос, и подбородок... И даже зубы, у кого другого лошадиные, а у нее – английские: длинные, белые, чуть выпирают вперед, как раз столько, чтобы губы приподнимались как будто навстречу, ожидающе...

– Я на нее посмотрела и сразу увидела, что зовут ее Диана. И никак иначе. Она была маленькая, очень складная и с длинноногой женской фигурой. И с крутой попкой. Это была самая красивая девочка на свете. Нет, это не мое материнское воображение. Все над ней ахали. Автослесаря я выгнала на третий день, как из роддома выписалась. Он просто оскорблял мой глаз. Когда он первый раз взял ее на руки, мне сразу стало ясно: у Дианы должен быть другой отец. Дело не во мне. Я еще не была женщиной. С автослесарем не получилось, но я этого и не понимала. Он взял ее на руки, и я увидела, какой он жлоб. Это мне моя дочь продемонстрировала. Она была умна и спокойна. Я в жизни не встречала такой – не смейся! – женщины. Она отлично знала, как себя с кем вести, от кого чего ожидать. Можешь себе представить, она относилась к Сузи снисходительно. Не плакала, если я оставляла ее с бабкой. Понимала,

что бессмысленно. Ей было месяца четыре, когда я начала читать ей книжки. Когда ей нравилось – говорила “да-да-да”... Не нравилось – “не-не-не”. К полугоду она понимала всё, буквально всё, а к десяти месяцам начала говорить. Погулила месяц и сказала: “Мама, муха летит”. И правда – муха...

Я очень долго ее кормила. Молоко не уходило, а она любила грудь. Прижмется, пососет, потом рукой по груди погладит и говорит: “Спасибо”. А потом я заболела гриппом. Температура подскочила выше сорока – я вырубилась. Кормить не могу. Подруги набежали, Диану кормят кефиром, кашей, ей уже к годичку подходило. Она просится ко мне, а ее не пускают, чтоб не заразилась. Она кричала из маленькой комнаты: “Мама, я не понимаю!” Сузи тоже свалилась. И что за такая крепкая зараза выдалась, подруги мои все, одна за другой, тоже от меня подхватили. Не помню ничего.

Айрин загорела глаза руками, как будто от сильного света. Волосы почти закрыли ее лицо. Женя уже знала, что нечто ужасное сейчас произойдет, тогда произошло... Но все-таки немного надеялась...

– Потом встала, подхожу к Диане – она горит, – продолжала Айрин, и Женя заметила, как покраснели ноздри и бледные веки англичанки. – Вызвала врача. Ей сразу же стали колоть антибиотик. После двух уколов – у Дианы аллергическая реакция. Всю засыпало. Ну, моя дочь. Я ведь сама аллергик. Прописывают ей тот же самый седуксен, что и мне. Только в двадцать раз дозировка меньше. А мне – всё хуже. Температура сорок, временами как будто уплываю. Прихожу в себя – кефир Диане, кефир маме... Временами кто-то заходит, уходит. Скандалю с врачихой, которая требует немедленной госпитализации. Какие-то подруги мелькают. Соседка. Помню, автослесарь приперся. Пьяный. Я его прогнала.

Встаю, как в полусне, – Диану посажу на горшок, переодену, суну таблетку... Она, прелесть моя, от зеркала отворачивалась, говорила “не надо”... Ей сыпь на лице не нравилась.

Упаковки, Женя, были совершенно одинаковые, мой седуксен и ее. Я не знаю, сколько я ей дала седуксена. Тем более что жизнь-то шла не по часам. У меня – сорок, какие часы. Ни утра, ни вечера не разбирала. Но твердо помнила, что надо дать Диане лекарство... На дворе декабрь – тьма круглые сутки... Двадцать первого декабря, в самый зимний солнцеворот, встала я, подхожу к Диане, трогаю – холодная. Температура спала, думаю. А ночник горит. Я смотрю – личико белое-белое. Сыпи нет больше... Не стала будить, легла. Потом встаю опять, думаю, пора лекарство давать. И только тогда я поняла, что Диана моя прекрасная

мертвым-мертва...

Женя увидела эту картинку – как в кино: в длинной белой рубашке Айрин, склонившаяся над детской кроваткой, и как она вынимает из кроватки в белой же рубашке девочку. Только лица девочки Женя не увидела, потому что оно было загорожено этими рыжими сияющими волосами, которые и теперь живут, вьются, блестят... а Дианы уже нет...

Плакать Женя не могла, потому что в сердце у нее что-то спеклось горьким комком, и слезы больше не шли.

– Хоронили мою девочку без меня. – Айрин посмотрела Жене в глаза таким прямым и безжалостным взглядом, и Женя подумала: “Господи, как я могу думать о всякой чепухе, когда в жизни вот такое происходит...” – У меня сделалось воспаление мозговых оболочек, три месяца я провалялась по больницам, потом меня учили заново ходить, ложку в руках держать. Живуча я, как кошка. – Айрин засмеялась горьким смехом.

Да, голос у Айрин был необыкновенный – один раз услышишь и никогда не забудешь: хриплый, мягкий, и казалось, что это голос певицы, которая себя сдерживает, потому что если запоет, то все будут рыдать и плакать от такого голоса и рваться туда, куда этот сиренический звук повелит...

И Женю от этого предполагаемо-прекрасного пения прорвало, и она заплакала, и едкая горечь от этого рассказа стала выливаться из нее слезными струями. Айрин подсунула ей белый платок, кружевной, пахнувший духами, и Женя мгновенно измочила его.

– Сейчас ей шел бы шестнадцатый год. Я совершенно точно знаю, как бы она выглядела, как разговаривала, двигалась. Рост, фигура, голос – я всё это знаю совершенно точно. Я знаю, какие люди ей нравились бы, кого бы она избегала. Что она любит из еды. И чего терпеть не может.

Айрин сделала паузу, и Жене показалось, что она всматривается во тьму, как будто там, в углу, стоит девочка – тонкая, синеглазая и черноволосая, но совершенно невидимая...

– Больше всего на свете она любит рисовать, – всё не спуская глаз со сгустившейся в углу тьмы, продолжала Айрин. – Уже с трех лет было видно, что ей назначено быть художником. Картины ее были совершенно безумными. К семи годам они более всего напоминали Чюрлениса. Потом рисунок стал крепче, хотя мистичность и нежность сохранялись...

“Безумие, – догадалась Женя. – Настоящее безумие. Потеряла ребенка и сошла с ума”.

Но вслух не сказала. Айрин же засмеялась, встряхнула своей медной проволокой. Казалось, волосы ее зазвенели.

– Ну, если хочешь, безумие. Хотя есть рациональное объяснение любому безумию. Часть ее души осталась во мне. Иногда на меня находит что-то, и мне страшно хочется рисовать, и я рисую. То, что рисовала бы моя Диана. В Москве я покажу тебе целые папки Дианиных рисунков за все эти годы...

Портвейн давно закончился. Время перевалило за три, и они разошлись – к уже сказанному невозможно было добавить ни слова...

Наутро отправились на большую совместную прогулку. Дошли до почты, позвонили в Москву. Потом обедали на набережной, в чебуречной. Женя была уверена, что чебуречный притягательный запах коварно вовлечет их в какое-нибудь хрестоматийное желудочно-кишечное заболевание вроде дизентерии, но понадеялась, что Саша, верный своему пищевому минимализму, откажется от пахучих треугольных пирожков. Однако Саша сказал “да” и снова съел продукт не из своего священного списка... Это был уже второй случай...

Вечерние портвейные посиделки, по крайней мере в таком узком кругу, заканчивались: на завтра приезжали две подруги Айрин, одна из которых, Вера, была и Жене хорошо знакома – она-то и дала ей этот адрес на улице Приморской... И Жене заранее было немного жаль, что дружить вдвоем дальше уже не получится.

Последний вечер начался позднее обычного, потому что Сашка долго капризничал, не отпускал от себя Женю. Заснув, просыпался, ныл, снова засыпал, и Женя, прикорнув рядом с ним, задремала и, если бы Айрин не стукнула ей в окно уже в начале двенадцатого, так до утра бы и проспала в брюках и свитере...

И снова было у них две бутылки крымского портвейна, и законная тьма, даже и без фонаря на этот раз, потому что электричества в тот день не было, и две толстых белых свечи, привезенные из Москвы именно для такого случая, освещали террасу. Сузи и Доналд давно спали в комнате, а Айрин сидела на террасе в глубоком кресле, укутавшись в свою красно-зеленую клетку и разметаив карты перед собой.

– Это “Дорога на эшафот”, старинный французский пасьянс, чаще раза в год он не получается. А сейчас я сидела, ждала тебя – и вот, сложился... В этом знак расположения к дому, времени, этому месту... Отчасти и к тебе. Хотя у тебя совсем другие покровители, от другой стихии...

Женя, имеющая к мистике смутное влечение, но несколько стыдившаяся такого атавизма, осмелела и задала предлагаемый вопрос:

– Какая это моя стихия?

– Да от автобусной остановки видно – вода. Водная твоя стихия.

Стихов не пишешь? – деловито спросила Айрин.

– Когда-то писала. Но вообще-то у меня диплом по русской поэзии начала века был, – стыдливо призналась Женя.

– Я же вижу – Рыбы, натуры поэтические... Живут в воде.

Женя потрясенно молчала – по Зодиаку она действительно принадлежала к Рыбам.

– В двадцать лет, Женя, я была матерью двух умерших детей, – без предисловия продолжила Айрин с того самого места, где остановилась вчера. – Еще два года у меня ушло на то, чтобы научиться жить дальше. Была помощь. Не без этого, – она сделала рукой неопределенный жест, направленный более или менее к небесам. – А потом я встретила человека, который был мне предназначен. Он был композитор, русский аристократ из семьи, бежавшей в революцию во Францию и после войны вернувшейся. Он был старше меня на пятнадцать лет. И как ни странно, он никогда не был женат, хотя биография его была очень богатой по части женщин. Отец его до революции был товарищем министра, а одно время членом Госдумы... В некотором смысле, полная противоположность моим англо-голландским коммунистическим предкам. И тем не менее отец его, Василий Илларионович – фамилии не назову, слишком громкая в России фамилия, – был поразительно похож на моего отца и внешне, и внутренне... Коммунистов семья сильно не любила. Но меня они приняли, несмотря на мой коммунистический хвост. С другой стороны, им деваться-то было некуда: мы с Гошей влюбились друг в друга до беспамятства, сразу упали друг другу в объятия, а наутро он отвел меня в загс, считая, что дело решенное, и бесповоротно. И началась моя вторая жизнь, в которой ничего не было от прошлой, кроме моей мамы, которая, надо отдать ей должное, просто ничего не заметила. Не думай только, что это было после ее инсульта. До! Она действительно ничего не заметила, время от времени называла моего второго мужа именем первого, а мы с Гошей только смеялись... Он образование получал во Франции и в Англии, вернулись они в Россию в пятидесятых, пожили в ссылке... Ну, сама понимаешь, обыкновенная такая история. Мы познакомились в тот год, когда их семью прописали наконец в Москве и дали двухкомнатную квартиру в Бескудниково – как потомкам декабристов. Взамен дачи под Алуштой и дома на Мойке...

Смутная, недопроявленная мысль о том, по какому же таинственному закону так укладываются друг к другу редкие, особо задуманные люди, вроде дочери русского шпиона английского происхождения и потомка декабристов, родившегося в изгнании в Париже, пришла Жене в голову,

и она даже хотела Айрин об этом сказать, но постеснялась прервать ее медлительный и почти медитативный рассказ...

– Я сразу же забеременела, – Айрин улыбнулась не Жене, а в отдаленное пространство. – Георгий не знал, что к этому времени я уже потеряла двух детей. Я скрыла про детей... не хотела, чтобы он меня жалел... Это была самая счастливая беременность на свете. Живот рос со страшной силой, а Гоша ночами лежал на моем животе и слушал.

“Что ты слушаешь?” – спрашивала я.

“О чем они говорят”, – он был уверен, что родится двойня.

Под конец и врачи установили, что два сердцебиения прослушиваются. И я родила двух прекрасных мальчиков, один рыжий, другой – черноволосый. Оба по три с лишним килограмма. Хочешь верь, хочешь не верь: с первого часа они друг друга невзлюбили, да так, что и родителей поделили – рыжий Александр выбрал меня, черненький Яков – Гошу. Было страшно тяжело. Когда один засыпал, другой кричал. Когда я кормила одного, другой надрывался от воплей, хотя был уже покормлен. Потом они научились кусаться, плевать, драться... Один вставал на ноги, другой его немедленно валил. Их на минуту нельзя было оставить вдвоем. Но стоило их разлучить, как они начинали рваться друг к другу. Увидевши, кидались навстречу – целовались и тут же начинали драку. Какие-то особые, обостренные отношения были у моих двойняшек. Я говорила с детьми по-английски, Гоша – по-французски. Они, когда начали говорить, и языки поделили: Александр заговорил по-английски, Яшка – по-французски. Ну, это естественно. Между собой они говорили по-русски. Но не думай, что их этому специально учили. Они всё выбирали себе сами, и заставить, принудить их к чему-то было невозможно. Мы с Гошей, наблюдая за ними, ловили кайф: это было наше наследство – эти паршивые гены своеволия и упрямства.

Жили мы круглый год в Пушкино, снимали там зимнюю дачу, перевезли с собой и гренни Сузи. Она тогда была еще в относительном порядке. То есть романы еще читала... Ни проку, ни помощи, как ты понимаешь, от нее никогда никакой... Гошу взяли, наконец, преподавать в музыкальное училище. Класс композиции. Он был супер-овер-квалифайд для этой работы. Ему бы в консерваторию... Но западная его выучка всех отпугивала. Иногда для кино музыку писал. В основном же зарабатывал он переводами, я по-прежнему печатала, хотя он страшно негодовал, когда я брала работу. Была у него паршивая машина, “Москвич”, на которой он гонял в Москву, а вернувшись, каждый раз чинил... Это была умная машинка – всегда ломалась возле дома. Мы были страшно счастливы –

и валились с ног от усталости.

Весной, когда начинается цветение, я всегда болею. Аллергия. В ту весну цветение было особенно сильным, и я всё время пыхтела, задыхалась. Пока шли дожди, я кое-как, с таблетками, справлялась. А потом наступила жара, и на второй жаркий день у меня началось настоящее удушье. Отек Квинке называется. Ближайший телефон был на почте, пушкинская “скорая” в те времена была такая же редкая птица, как страус. И Гошка разбудил среди ночи мальчишек, наспех одел, погрузил их на заднее сиденье – мы боялись оставлять на Сузи, она с ними не справлялась. Разбуженные среди ночи, они были на редкость смирными и даже не дрались, а уселись на заднем сиденье в обнимку. Потом Гоша вытащил меня, посадил на переднее сиденье и повез в местную больницу. И гнал изо всех сил, потому что я еле свистела и цветом была как вареная свекла...

Айрин закрыла глаза, но не совсем плотно, маленькая светлая полоска, как из-под двери, пробивалась. Жене показалось, что Айрин потеряла сознание. Женя вскочила, потрясла ее за плечи. Та как будто очнулась. Засмеялась своим особенным, певческим смехом.

– Вот и всё, Женя. Я тебе всё и рассказала. Отек был такой сильный, что я уже ничего не видела, не чувствовала. Вылетевшего на нас самосвала я не видела и не почувствовала самого удара. Выжила я из всех одна. Когда меня положили на операционный стол, никакого отека Квинке у меня не было – он прошел в момент столкновения. Совершенно неправдоподобно... Но я осталась жива...

Айрин откинула с правой стороны головы волосы – глубокий гладкий шов начинался за ухом и шел вдоль черепа. Женя зачем-то провела по нему пальцем.

– Он совершенно нечувствителен, этот шов. Я – медицинский феномен. У меня чувствительность почти нулевая. Скажем, порежу палец – не замечаю. Только когда увижу, что кровь течет. Это опасно. Но и удобно отчасти.

Айрин протянула руку к лежавшей на стуле сумке, достала из нее длинную коробочку размером в три спичечных, достала из нее большую иглу и вогнала ее в белейшую кожу у основания большого пальца. Игла мягко углубилась в тело. Женя вскрикнула. Айрин засмеялась.

– Вот что со мной произошло. Я потеряла чувствительность. Когда мне сказали, спустя три недели после катастрофы, что у меня нет ни мужа, ни детей, это было вот так. – Айрин вытащила иглу, и появилась небольшая капля крови. Айрин ее слизнула. – И вкус у меня почти потерян. Различаю

соленое от сладкого, но не более того. Иногда мне кажется, что это только воспоминание от вкуса, с тех времен, когда я еще всё чувствовала...

Айрин разлила остатки и встала, шумно отодвинув кресло. Жилье у нее было самое удобное в Дориной усадьбе: кроме террасы, была еще и отдельная кухонька в сенях. Там у Айрин был припрятан небольшой винный запас: шесть бутылок, купленные к завтрашнему приезду подруг. Она долго шарила там в темноте, потом принесла бутылку хереса.

Все слезы из Жени вытекли еще вчера – новых за последние сутки как-то не образовалось. В горле стояла сухость, щипало и першило в носу.

– Английская ведьма Анна Корт оказалась права: Доналд – мой пятый ребенок. Как она и предсказала: с пятого начинаешь...

Сначала тьма разбавилась, потом сделалось серо, запели птицы. Когда история закончилась, совсем уже рассвело.

– Может, кофе сварить? – спросила Айрин.

– Нет, спасибо. Я посплю немного. – Женя ушла в свою каморку и легла лицом в подушку. Прежде чем уснула, успела еще подумать: “Как глупо я живу, можно сказать, что и не живу вообще. Подумаешь, ну разлюбила одного, полюбила другого... Тоже мне, драма жизни... Бедная Айрин – четверых детей потерять...” И она особенно горячо жалела Диану, синеглазую длинноногую Диану, которой сейчас было бы шестнадцать лет...

Ближе к вечеру приехала из Москвы целая команда: Вера со своим вторым мужем Валентином, который до того был женат первым браком на Нине, Нина и старший Нинкин сын – от Валентина. Кроме того, две младшие дочки Нины, уже от второго брака. С Верой было двое детей – младший сын был от Валентина, а дочка – неизвестно от кого, то есть рождена от не знакомого всем остальным первого ее мужа. В общем, это была дружная современная семья.

Сексуальная революция уже шла к закату, и вторые браки оказывались крепче первых, а третьи – совсем похожи на настоящие...

Дворик Доры Суреновны наполнился разновозрастными детьми, и смежные соседки посматривали через ограду справа и слева и завидовали Доре, как это ей удастся начать сезон на месяц всех раньше, а закончить – на два месяца позже... И происходило это уже много лет. Они не догадывались, что всё дело было в Айрин: куда ехала она, там вокруг нее тотчас образовывалась толпа, колхоз и фейерверк, а также первомайская демонстрация бюстгальтеров с вываливающимися молочными железами и бикини с пупками и ягодницами, возбуждающими крымских соседок до такой степени, что они хотели бы всем этим

бесстыжим блядам отказать в квартирах, но жадность не позволяла.

Сама Дора устраивала некое подобие пансиона, не “бед-энд-брекфаст”, а “койка-с-обедом”, вот какова была услуга. Муж Дорин работал шофером в санатории имени XVII партсъезда, водил автобус, ездил за отдыхающими в Симферополь, добывал и продукты. Дора кормила всех своих постояльцев и зарабатывала за сезон столько, что и от участкового, и от фининспектора откупалась без особого для себя разорения.

Первые три дня прошли в благоустройстве. Нина, мать троих детей, была страшно домовита и распространяла вокруг себя домашний уют и женскую организацию жизни. Когда все занавесочки были развешаны, вазочки расставлены, половички вытрясены, она составила расписание, согласно которому каждый день две мамы при детях, а две, закупив с утра продукты, в оставшееся время отдыхают...

Утром четвертого дня, согласно новому расписанию жизни, отдыхали Женя с Верой. План был у них следующий: они провожали до автобусной станции Валентина, который, выполнив функцию по доставке обеих семей, возвращался в Москву, потом покупали молоко, если повезет, а потом они собирались погулять по голой природе, без мячей, детей, визга и воплей... И всё шло по плану: проводили мужа, не купили молока по причине его незавоза и отправились по шоссе в сторону холмов, откуда пахло юной травой, сладкой землей и где стояли розово-лиловые облака тамарисков в полном цвету.

Они уже свернули с шоссе, и хотя шли по тропе вверх, идти было легко и вольно. Они даже и не особенно между собой разговаривали – так, перебрасывались необязательными словами...

Потом дошли до семейства акаций, сели в жидкую тень маломощной листвы и закурили.

– Ты давно Айрин знаешь? – спросила Женя, которая, хоть прошло уже немало дней, всё никак не могла оторваться от крупной судьбы рыжей англичанки, перед которой старомодное самоубийство Анны Карениной поблекло и стало вроде как бы причудой вздорной барыни: любит, не любит, плюнет, поцелует...

– В одном дворе выросли. Она была старше на класс. Мне с ней дружить не разрешали. Она была хулиганка у нас, – засмеялась Вера. – А меня к ней тянуло. Да к ней всех тянуло. У них в квартирке полдвора всегда торчало. И Сюзен Яковлевна до инсульта была прелесть какая тетка. Мы ее Барбариска звали – она вечно всех детей карамелью угощала...

– Кошмарная судьба какая... – вздохнула Женя.

– Ты про ее отца? Шпионство, что ли? Что ты имеешь в виду? – слегка удивилась Вера.

– Да нет, я про детей.

– Про каких детей, Жень? – еще более удивилась Вера.

– Диана и эти близнецы...

– Какая Диана? Ты про что?

– Про детей Айрин... Которых она потеряла, – предчувствуя ужасное, объяснила Женья.

– Ну-ка, поподробнее. Каких это детей она потеряла? – вскинула бровь Вера.

– Дэвид, первый ее ребенок, умер при родах, от обвития пуповины, потом Диана, ей годик был, и несколько лет спустя в автокатастрофе погиб ее муж-композитор и близнецы, Александр и Яков... – перечислила Женья.

– ...Твою мать... – потрясенно сказала Вера, – и когда же это с ней всё случилось?

– Ты что, не знала? – изумилась Женья. – Дэвида она родила в восемнадцать лет, Диану в девятнадцать, а близнецов года три, что ли, спустя...

Вера погасила старую сигарету и раскурила новую – сырая сигарета плохо разгоралась, и, пока Вера над ней пытала, Женья судорожно трясла новую пачку, из которой ничего не вытряхивалось.

Вера молчала, тянула в себя горький дым, а потом произнесла:

– Слушай, Жень, я должна тебя огорчить. Или обрадовать. Дело в том, что дом наш в Печатниковом расселили десять лет тому назад, а именно в шестьдесят восьмом году, и было тогда Айрин двадцать пять лет. И к тому времени у нее на счету была армия любовников, десятков, наверное, аборт, и никаких детей – клянусь! – у нее в помине не было. Как и мужей. Донька – ее первый ребенок, а замуж она никогда и не выходила, хотя любовники у нее были очень знаменитые, даже с Высоцким был у нее роман...

– А Диана? – тупо спросила Женья. – А Диана?

Вера пожала плечами:

– Мы в одном подъезде все годы жили. Ты что думаешь, я бы не заметила, что ли?

– А шрам на голове от автомобильной катастрофы? – Женья трясла Веру за плечи, а та вяло уворачивалась.

– Ну что шрам, что шрам? С катка шрам. У Котика Кротова были “ножи”, ну коньки такие, беговые, она упала, а он ей “ножом” прямо по голове проехал. Кровищи было... Он и правда чуть ее не убил.

Ей голову зашивали...

Сначала Женя заплакала. Потом начала хохотать как безумная. Потом снова принялась рыдать. Потом они докурили обе пачки сигарет, которые были с собой. Наконец Женя опомнилась – никогда еще она с Сашкой не расставалась на столь долгий срок... Они заторопились домой. Женя пересказала Вере всю историю Айрин, сочиненную. Вера рассказала ей встречную – подлинную. Совпадали обе истории в самом неправдоподобном месте – по части резидентского прошлого ирландско-британского коммуниста, приговоренного к смертной казни и обменянного на отечественного шпиона...

Когда они пришли к дому, Женя чувствовала себя выпотрошенной. Дети уже поужинали и чинно играли за большим столом в детское лото, где вместо цифр были репки, морковки и вареники. Сашка, вцепившись в лотошную карточку, махнул матери рукой, сказал: “Ура! Мой заяц!” – и накрыл своего зайца картинкой. Он был равный среди равных, а вовсе не отсталый, больной или особо нервный...

Остальные сидели у Айрин на террасе и пили херес. Сузи с блаженным лицом тянула маленькими глотками из стакана. Вера поднялась на терраску и уселась с остальными...

Женя ушла к себе. Ее звали с террасы, но она крикнула из комнаты, что болит голова. Легла на кровать. Голова как раз и не болела. Но надо было что-то сделать с собой. Произвести какую-то операцию, после которой можно было бы снова пить вино, болтать с приятельницами, общаться с другими, более образованными и умными подругами, оставшимися в Москве...

Дети закончили с лото. Женя вымыла Сашке ноги, уложила, погасила свет. Кто-то из подруг позвал ее усиленным до крика шепотом:

– Женя! Иди пирог есть!

– Сашка еще не заснул. Я попозже, – таким же театральным голосом ответила Женя.

Она лежала в темноте и исследовала свою душевную рану. Рана была двойная. Одна – от потраченного зря сострадания к несуществующим, гениально выдуманным и бесчеловечно убитым детям, особенно к Диане. Болело вроде ампутированной ноги – несуществующее. Фантомная боль. Хуже того – никогда и не существовавшее. И вторая – обида за себя самое, глупого кролика, над которым совершили бессмысленный опыт. Или смысл какой-то был, но недоступный пониманию...

Снова кто-то тихо постучал в окно. Ее звали. Но Женя не откликнулась – невозможно было представить себе выражения лица

Айрин, которая сразу же догадалась бы, что разоблачена... И ее голоса... И своего собственного стыда перед стыдом этого стыда... Женя пролежала, не засыпая, до того часа, пока не погас свет на террасе. Тогда она встала, зажгла маленькую лампочку на стене и покидала в чемодан всё вперемешку – чистое, грязное, игрушки, книжки. Только Сашкины резиновые сапоги сообразила завернуть в грязное полотенце.

Ранним утром Женя с Сашкой вышли из дому с чемоданом. Они пошли к автобусной станции, и Женя не знала, куда они дальше двинутся. Может, в Москву. Но там, на станции, стоял один-единственный старый, чуть ли не довоенный автобус, на котором было написано “Новый Свет”, и они сели в него и через два часа были совсем в другом месте.

Сняли комнату возле моря и прожили там еще три недели. Сашенька вел себя идеально: никаких истерических припадков, которые так беспокоили и Женю, и врачей. Он ходил босиком вдоль воды, забегая на мелководе и топая по воде голыми пятками. И ел, и спал. Похоже, он тоже перешел какой-то рубеж очередного созревания. Как и Женя.

В Новом Свете было чудо как хорошо. Еще цвели глицинии, и горы были совсем рядом, прямо за домом дыбился каменистый склон, по которому можно было за два часа добраться до аккуратно-округлой, японски устроенной вершины и смотреть оттуда на неглубокую бухту, на морские камни с древнегреческими именами, торчащие из воды от самого сотворения мира.

Но иногда вдруг прихватывало сердце: Айрин! Зачем она их всех убила? Особенно Диану...

Брат Юрочка

С вечера поднялся низовой ветерок, он задира бабам юбки и охлаждал ноги, а к утру пошел дождь. Молочница Тарасовна принесла трехлитровую банку утренней дойки молока и сказала Жене, что дождь теперь зарядил на сорок дней, потому что нынче Самсон. Женя не поверила, но расстроилась: а вдруг правда? Она с самого начала лета сидела в деревне с четырьмя – двумя своими, Сашкой и Гришкой, и двумя подброшенными, дружески-родственными, крестником Петькой и сыном подруги Тимошей. Четыре мальчика от восьми до двенадцати, небольшой отряд. С мальчиками Женя умела управляться, их природа была ясна, и предсказуемы были их игры, и ссоры, и драки.

За неделю до дождя, который и действительно оказался затяжным – сорок, не сорок, пока неизвестно, но затянуло всё небо и капало без перерыва, – дачная хозяйка привезла свою десятилетнюю дочку Надьку, которая должна была ехать в лагерь на юг, да лагерь сгорел...

Девочка удивила Женю своей розовой смуглой красотой, не то цыганской, не то индийской. Но скорее всего, южнорусской. Странно было, как от грубой мордатой медведицы произошёл такой благородный отпрыск. Одно только было общим у матери и дочери – мускулистая полнота, не болезненная, а как раз та, про которую в деревне говорят: гладкая...

Пока погода была ещё хорошей, Надино присутствие никак не изменило отлаженной жизни. На опушке Нефедовского леса у мальчишек шло строительство третьего шалаша, они с утра уходили в леса и по индейским законам, в полном соответствии с картинкой из Сетона-Томпсона, плели, рубили и вязали. Надя заикнулась было, не пойти ли ей с ними, но получила молчаливый и решительный отказ. Она не особенно огорчилась, хотя и поставила их на место:

– Юра, мой старший брат, в прошлом году на дереве шалаш построил. Но ему-то четырнадцать...

Хотя она и не была местной, но и дачницей здесь не считалась – дом был потомственный, принадлежал вымершей родне, которая носила ту же фамилию Малофеевых, что и Надькина мать, москвичка. Знала Надя всех местных, и взрослых, и детей, уходила с утра в обход, по домам, приходила к обеду, не опаздывая, потом, даже без Жениных указаний, перемывала всю грязную посуду, на удивление скоро и чисто, и снова уходила, теперь уже до ужина, по соседям.

На третий день оказалось, что, несмотря на выказанное презрение, Надька всё же интересуется мужских обитателей дома. Но она не то обиделась на них, не то увлеклась заброшенными за целый почти год прежними деревенскими подругами, но больше за ними никуда не увязывалась, только один раз пошла со всеми вместе на биостанцию, куда повела всех Женя – навестить своего университетского приятеля-чудака, который уже лет десять жил в глубине Нефедовского леса и наблюдал за птицами и прочими животными, которые предоставляли его любимым птицам либо корм, либо смерть. Он всему вел учет и счет, описывал природу и погоду скрупулезно и дотошно. При нем жили юные натуралисты, старшеклассники, тоже любители природы, они присматривали кто за дятлами, кто за муравьями, кто за дождевыми червями – у каждого был особый интерес, все вели дневники. Женя, собственно, и сняла эту дачу на лето, имея в виду, что сыновей пристроит к натуралистам, а сама будет лежать в гамаке, книжечки почитать и размышлять о своей неудачливой личной жизни.

Но ничего такого не произошло – Сашка с Гришкой живой природой в ее естественном виде не увлеклись, а развлекались по-деревенски: плавали в мелкой речушке, катались на велосипеде, ходили на дальний Трифонов пруд и удили там рыбу, интересуясь исключительно ее количеством и весом, а никак не видовой принадлежностью или гельминтами, обитающими в нежных потрохах. Когда же подвезли Петю и Тимошу, занялись масштабными мероприятиями вроде постройки шалашей...

По дороге на биостанцию Надя трещала не переставая, но Женя не особенно вслушивалась, что она там рассказывала мальчишкам. Лес девочке был знаком, она заставила всех свернуть с дороги метров на тридцать, показала старый блиндаж, с военных лет не совсем еще растворившийся в подлеске... Здесь шли бои, и местные деревни пожили под немцами два месяца, и еще много было тому живых свидетелей.

– А тетя Катя Труфанова от немца даже родила, – сообщила Надя и совсем было уж собралась рассказать всей деревне известные подробности, но Женя увела разговор в направлении, тоже близком к живой природе, но в аспекте ботаническом, – указала на старую березу, облепленную древесным грибом, велела грибы аккуратно срезать, потому что, сдастся, это и есть целебная чага. Девочка же проявила большую сообразительность, поняла, что разговор Женя прервала неспроста, и, пока ребята срезали перочинными ножами каменной твердости гриб, настойчивым шепотом досказала-таки Жене историю про тетю Катю,

стоявшего на квартире фрица и Костю Труфанова, родившегося от этого посто́я...

Женя слушала и дивилась, до чего же мальчики отличаются от девочек. Семья у Жени была с сильным мужским преобладанием, у мамы были братья, у нее самой – младший брат, и в последнем поколении тоже всё прибывали мальчики, а девочки ни у кого не рождались... И, бога ради, не надо... Была бы эта сладострастная маленькая сплетница ее дочкой, ох, хороший подзатыльник бы сейчас Женя ей отвесила...

– ...и он, как в армии отслужил, больше домой не вернулся. Тетя Катя говорит, и правильно сделал. Здесь дразнили его “фрицем” всю дорогу, а он хороший был и умней всех наших деревенских... А Юра, брат мой, вообще никогда никого не дразнит, потому что зачем сильному и умному других дразнить? Правда ведь? Кто дразнится, сам хуже всех...

Глаза Надькины при этом блестели темным и умным блеском, и неподдельное сочувствие было в голосе и в углах губ, и руками она на ходу поводила жестом не деревенским, а каким-то горделиво-испанским, и раздражение Женькино улеглось, она засмеялась:

– Ну конечно, кто дразнится, тот хуже всех...

Прелесть все-таки была девочка и ловко так шла по разбитой дороге, легко прыгая с одной стороны колеи на другую, слегка скользя сбитыми, но очень породистыми недетскими туфельками. Совсем еще дитя, даже перевязки на ручках младенческие, круглая телом, как целлулоидный пупс, а скачет балериной.

– Я еще святой источник показать могу, но это часа два за Киряково идти, – предложила Надя, и поперечная морщинка образовалась на переносице от глубокой мысли: что бы еще такое показать дачникам? И вспомнила:

– А на той стороне, через железную дорогу и через просеку, там скит был, мне показывали... И медвежья зимовка, здесь медведей... – И она правдиво осеклась: –...раньше здесь много медведей водилось... Я не видела, а Юра, брат мой, он видел. Но давно...

А потом Надя подметалась к мальчикам, и Женя всё время слышала ее звонкий голос с забавной интонацией открытия, восторга и женского превосходства. Вслушавшись, Женя поняла, что разговора никакого между ними нет: Надя рассказывает что в голову взбредет, а мальчишки как будто о своем, что хорошо бы на базе крючков одолжить и разузнать бы, где здешние зоологи рыбу удят... Но нет-нет и проскакивал в Надину сторону невзначай то Сашкин, то Тимошин вопрос:

– Надь, а где?

– Надь, а кто сказал?

И Женя догадалась, что в малолетней компании происходит то же самое, что повсюду на свете, как и в ее собственной жизни, – кто-то кого-то уже любит, не любит, плюнет, поцелует...

Недели не прошло – Женя обнаружила, что верховодит уже не старший и разумный Сашка, а смешливая болтушка Надя. Это открытие совпало с предсказанным дождем. Теперь на улицу вылезать не хотелось, промокший в лесу недостроенный шалаш утратил привлекательность, и дети засели дома, надеясь переждать дождь. С утра затеяли топку большой печи, которой до сих пор не пользовались – обходились маленькой плитой в кухне и газовым баллоном, когда электричества не подавали. Оказалось, что Надя умеет растапливать большую печь, с которой самой Жене в начале дачного сезона справиться не удалось. Но Надя прочистила какую-то трубу, то открывала, то прикрывала вьюшку, создавая тягу, которой всё не было. Наконец после нескольких попыток маленький берестяной костерок, который она сложила по всем правилам деревенского искусства, загорелся, от него занялась избушка из щепы, сложенная вокруг бересты, и так далее, до самого большого толстого полена, сидевшего в самом горле печи... Потом произошел длинный обед с киселем и печеньем на третье, по завершении которого Надька собрала посуду, отнесла ее в летнюю кухню и сказала Жене:

– Давай оставим, а? Я потом после ужина всё разом вымою...

Женя согласилась – у нее большого прилежания к мытью посуды в жирном тазу тоже не было, и она с удовольствием уединилась в маленькой комнате, где умещалась только ее раскладушка и тумбочка с книгами. Женя легла, немного подумала о том, как обрушилась опять ее нескладная личная жизнь, а потом отогнала эту надоевшую за десятилетие мысль и взяла в руки умную книгу, не совсем по зубам, но по каким-то непостижимым ощущениям нужную... Надела очки, вооружилась тонким карандашом для вопросительных знаков на полях – и немедленно заснула под чудную многослойную музыку, которая разыгрывается в деревенском доме во время дождя: шорох капель о листья, отдельные удары по стеклу, звуковые мягкие волны при малейшей перемене ветра, и чмокание капель о поверхность темной воды в бочке, и отдельный звон струи, стекающей по водостоку. И самый опасный звук – сначала звонкие, а потом глухие удары капель о дно таза, поставленного на чердаке под протекающей крышей...

Когда Женя проснулась, дети сидели за столом с картами в растопыренных пальцах. Младший, Гришка, сиял от счастья –

его приняли! Они играли в дурака “на историю” – это придумала Надька. Проигравший рассказывал историю – смешную, страшную, веселую, по заказу общества. Надька травила свою историю, затейливо и без тени правдоподобия выдуманную: она рассказывала, как прошлым летом была на киносъемках в Испании и как ей дали лошадь, которая прежде выступала в корриде, но заболела нервным расстройством, и ее перевели на киностудию... Далее шла история ее взаимоотношений с лошадью, конюхом из этой конюшни и его дочкой, которая оказалась молодой цирковой наездницей... И ее, Надю, эта самая Росита даже хотела взять с собой на гастроли, потому что Надька учится в лучшей русской школе верховой езды и чемпион Москвы то ли по конному спорту вообще, то ли по какому-то отдельному виду этого аристократического спорта...

Жене хотелось одернуть завравшуюся девочку, но, во-первых, Женя принципиально не воспитывала чужих детей, считая, что воспитывать детей должны родители, а не посторонние люди. Во-вторых, Надька врала всё же очень забавно и как-то неординарно, и потому Женя только спросила из своего угла:

– Надь, а в Испанию-то как ты попала, я не расслышала?

– Да я в испанской школе учусь, зимой приехали испанцы к нам в школу, отобрали трех девочек для учебной программы. Мы думали, так, ерунда, а оказалось, не ерунда, а действительно... Я и поехала.

Потом ужинали бутербродами и простоквашей, и Надька не забыла о своем обещании. Надела на себя огромный плащ своей матери, резиновые сапоги и пошла в летнюю кухню мыть посуду...

К утру дождь из сильного сделался некрупным, но безнадежным: так острые заболевания переходят в хронические, от которых долго нельзя избавиться. Этот хронический дождь, похоже, действительно зарядил на сакральные сорок дней, то есть на ближайшую вечность. Надо было научиться жить под дождем, и Женя, преодолевая сонливость, велела всем как следует, по погоде, одеться и идти на станцию за хлебом.

Надя, движимая не то альтруизмом, не то рационализмом, тут же предложила сходить самостоятельно: чего всем под дождем мокнуть? Но каждый из ребят немедленно воскликнул: “И я!” – и вопрос был решен – пошли кучей. Деньги Женя дала почему-то Надьке, а сумку – Сашке... Пришли к обеду, промокшие и взволнованные. Надька, пока стояла в очереди за хлебом, узнала от местных старух, что в соседней деревне совершено убийство, и всю дорогу они обсуждали это преступление, и теперь до Жени, накрывавшей на стол, доносились клочки нового Надькиного повествования – на этот раз о психологии преступника.

Она полагала, что если посадить во дворе того дома засаду, вроде как из тех натуралистов, которые за птичками следят и считают, сколько раз какая-нибудь синица червячков своим детям принесет, то непременно поймается преступник – потому что преступник всегда приходит на место преступления. Далее шла ее вставная новелла, как она три года тому назад таким образом поймала убийцу. Подробностей Женя из соседней комнаты не расслышала, но кое-что уловила. В рассказе фигурировал фоторобот, мужчина в темной куртке и барашковой шапке-ушанке, и медаль, которую она получила за помощь в поимке преступника.

“Поразительное дело, – размышляла Женя, – мальчишки ведь тоже врут. Однако всегда по делу: чтобы избежать наказания, чтобы скрыть поступок, заведомо запрещенный...” Честно же говоря, Надька была просто клад. Она всё время придумывала занятия для всей команды – то вытаскивала с чердака какие-то старые игры своего старшего брата Юры, однажды это была самодельная географическая карта здешних мест, и полтора дня все сидели и старательно ее перерисовывали, чтобы, как только дожди кончатся, обследовать края, столь заманчиво изображенные Юрой. Потом три дня они играли в Надькину игру под названием “Планета”: каждый придумывал себе планету, народонаселение, историю, и Женя только диву давалась, до чего же талантлива эта маленькая врушка. Когда Женя невзначай похвалила ее, она, улыбнувшись мультфильмовской улыбкой рисованных игрушек, радостно сказала:

– Это мой старший брат Юра придумал!

На четвертый, кажется, день космических игр начались войны: планета “Тимофея” объявила войну планете “Примус”, придуманной и принадлежащей Пете. Братья Саша и Гриша держали пока нейтралитет, но планета “Юрна”, произведенная от имени Надиного брата Юры и ее собственного, склонялась к сотрудничеству с “Примусом”, что ставило под сомнение благородный нейтралитет Жениных сыновей.

До Жени доносились из большой комнаты обрывки дискуссий о летательных аппаратах, ракетах, звездолетах и прочей чепухе, и она особенно не вслушивалась. Пока вдруг не расслышала Надькин голос, произнесший в наступившей вдруг тишине:

– Тарелка эта, НЛО называется, подлетела к нашему огороду и зависла в воздухе, очень низко, и три луча из живота выпустила, и они на земле соединились, и землю ну просто расплавили. Я сразу же закричала маме, мама выскочила, но тут они как раз лучи свои убрали и полетели вон за тот лес... Это позапрошлым летом было, а трава на том месте и до сих пор

не растет...

И тут Женя вдруг страшно разозлилась: вранье было хоть и безобидным, но все-таки отравя. Надо будет все-таки с ее матерью поговорить, просто патология какая-то – такая милая девчонка, но почему же она всё время врет? Может, ее надо психиатру показать?

Мамаша Надина, домовладелица, должна была приехать в субботу-воскресенье, и Женя решила, что непременно с ней поговорит...

В пятницу утром дождь вдруг приостановился, потом подул сильный ветер и дул до самого вечера, и к вечеру сдуло с неба все тучи, и оно обнажилось – сизо-стальное, чистое, с остатками угасающего заката. Молочница Тарасовна, обычно встречающая стадо у околицы, вела свою Ночку по деревенской улице, остановилась возле Жениного дома и сказала ей:

– Ну вот, пролилось всё, теперь маленько поведрело...

– А вы говорили, сорок дней, – напомнила злопамятно Женя.

– А кто же его считает... Нам не ко времени сейчас дожди-то... Никак... На завтра-то три? Или сколько?

И Женя сообразила, что завтра может приехать хозяйка, и просила, чтобы Тарасовна оставила ей пять литров...

Утром следующего дня Надька увлекла всю компанию встречать мать к автобусу, и уже в десять все стояли на остановке. Хозяйка, Анна Никитишна, красная, с распаренным потным лицом и двумя огромными сумками, приехала ближе к обеду. Сашка с Тимошей несли, взявши по ручке, одну кругло-набитую сумку, за вторую было взялись Петя с Гришей, но не сдюжили, и несли ее Анна Никитишна с дочкой, тоже поделив ручки...

Она была широкой натуры, бывшая местная жительница Анна Никитишна. Давно уже работала на хорошей должности в Москве, в УПДК, на ней лежали присмотр и обслуживание высших дипломатических чиновников по части уборки, стирки, стряпни. Штат у нее был – сотня баб, работа очень хлебная и очень ответственная: ошибок там не прощали. Но Никитишна была умна, дипломатична и наверху имела защиту. Женя этих подробностей не знала и потому была несказанно удивлена, когда дачная хозяйка стала распаковывать свои сумки и весь стол покрылся продуктами неземного питания, так что Гришка тут же и высказался:

– Космонавтская еда, да?

Да, и питье. В железных баночках, в маленьких бутылочках, и оранжевый порошок, из которого простым растворением водой

происходил апельсиновый сок с газом...

– Ребятам, ребятам твоим гостинцы... Ты меня так выручила, Жень. Сейчас бы Надька в Москве без делу сидела, а тут хоть на воздухе... Мы с Колей поговорили, значит, так решили: мы за август с тебя денег не берем. Раз ты Надьку при себе оставила, значит, и мы со своей стороны... Ты меня поняла? – подмигнула Анна Никитишна, и Женька в который раз подивилась тому, что Надька, красotka писаная, так сильно похожа на свою медведицу-мать, низколобую, мелкоглазую, с рубленным носом и длинным, от уха до уха, ртом...

– Поняла, Анна Никитишна. Спасибо за гостинцы, они такого и не видали... Только вот насчет денег... Лишнее, ей-богу... У меня видите какое лето, и так двое прибилося, и мне всё равно, одним меньше, одним больше. А Надька – не ребенок, а золото. Помогает... Совсем другое дело, чем мальчишки... Девочка у вас отличная... – Про Надькино вранье Женя в этот момент и не вспомнила, удивленная широтой и щедростью этой полупростой тетки.

Детей уложили поздно – и за ужином долго сидели, лакомились всякими невиданными из пакетиков штучками, сладкими и солеными, и орешками, и резиновыми конфетами, и жвачкой малиновой и апельсиновой... Потом мыли ноги, чистили зубы, укладывались на новых местах, потому что уступили большую главную кровать Анне Никитишне с Надькой, а Сашку отправили на прежнее Надькино место...

Наконец дети уgomонились, и Анна Никитишна вынесла из летней кухни бутылку водки, трехлитровую банку соленых огурцов своего посола и баночку рыжиков, всё это прижимая к груди и тяжело топая по размокшей дорожке. И они еще долго сидели на терраске, и Анна Никитишна рассказывала Жене про свою геройскую жизнь, как она всё сама, сама, и добилась и положения, и достатка... Могла бы и больше, но не хочет, потому что знает всему цену, и чего она достигла, то ей в самый раз, и большего ей не надобно...

Анна Никитишна выпила, за вычетом трех рюмок, бутылку водки, съела, за исключением одного небольшого огурца, трехлитровую банку солений – среди огурцов там обнаружили также маленькие патиссоны и зеленые помидоры, – и они разошлись, вполне довольные друг другом.

“Нормальная девчонка”, – одобрила про себя Женю Анна Никитишна.

“Экзотический продукт эта тетка”, – решила Женя.

Утром Анна Никитишна удивила Женю своей холодностью, а Женя не догадалась списать ее на легкое похмелье после вчерашнего. Хозяйка надела резиновые сапоги и отправилась в огород – спасать заглохшие

в сорняках остатки редиски. Надя последовала за матерью – она вообще от нее ни на шаг не отходила, всё тыкалась в нее, как теленок.

К вечеру ближе Анна Никитишна засобиравалась. Сумки набила огородной зеленью и ранней картошкой, которую принесла Тарасовна. Прихватила и прошлого года соленья из подвала.

– Пропал у нас этот год для хозяйства, – объяснила Анна Никитишна Жене, – по весне дали нам с Николаем две путевки в санаторий, так мы посадки и пропустили. Считаю, всё хозяйство в этом году у нас под паром.

Потом все пошли провожать Анну Никитишну к автобусу. Один, шестичасовой, не пришел, пришлось ждать следующего. Ребятам надоело сидеть на бревнах, и они побежали на берег. Женя осталась с хозяйкой вдвоем и сделала легкую разведку:

– А что, Надю в Испанию со школой возили?

– Да, – равнодушно ответила Анна Никитишна, – я другой раз Николаю говорю, ну что ты ее лупишь, она учится хорошо, в доме помогает, а он – нет, говорит, учить надо. Может, и прав – Надька-то в классе первая отличница. Набирали для испанского кино, и из всей школы трех только и выбрали. Полтора месяца продержали, и билеты на самолет, и питание, и гостиница, всё за их счет. Нам ни копейки не стоило. Еще и денег заплатили. Но Николай брат не велел, не бери, говорит, потом от ихних денег не отмоешься. Мы же в УПДК работаем, не на заводе... – Она поковыряла пальцем в задних зубах, пожевала, пощелкала. – Испанский, он неплохой язык, на нем и Куба, и Латинская Америка. Пригодится. Я так думаю, мы ее в иняз определим.

“Так, – подумала Женя. – С Испанией ясно”.

– А может, в юридический? С милицейской-то медалью? – закинула Женька еще одну удочку.

– Да какая медаль, Жень? Одно название! Почетный знак это. Она маленькая была, ей заморочили голову-то – медаль, медаль! Это она сама тебе рассказала? Во болтушка! У нас убийство в доме было, старушку топором зарубили. Фоторобот развесили, всех соседей собрали, инструктировали, если похожего увидят, чтоб сообщили. А у нас отделение милиции – во дворе. Ну моя и увидела – мужик в шапке мерлушковой, сразу побежала, его тут же и повязали. Оказалось, племянник старухин. Они и так на него думали, а тут он сам пришел, Надька-то его по фотороботу вычислила. Она очень приметливая... Да и удачливая – ей всё в руки идет.

– И сын ваш такой же?

– Какой сын? – удивилась Анна Никитишна. – Нет у нас никакого

сына.

– Как же? А Юра? Она всё про своего старшего брата Юру рассказывает... – еще более удивилась Женя.

Анна Никитишна налилась краской, свела брови, и сразу стало видно, что не зря ее в этом самом УПДК держат:

– Ну, паршивка! Так это она по двору разнесла, что у нее брат... Соседкам много не надо, слух пустили, что у Кольки моего где-то на стороне сын есть... Вот оно откуда пошло! Ну Женя, ну я ей задам!

И она закричала зычным голосом:

– Надька! Беги сюда!

И Надька услышала и сразу же побежала, и ребята за ней. Они неслись в горку, дорожка была скользкая, не просохшая после длинных дождей, и видно было, что Гришка упал и подшиб Петю, и они барахтались на мокрой траве, а Надька бежала со всех ног...

Но тут из-за поворота вывернулся автобус и хотел мимо остановки промахнуть, но Анна Никитишна замахала кулаком, дверца передняя открылась, и она впихнулась туда вместе со своими сумками и, обернувшись к Жене, крикнула:

– Мы в ту субботу с отцом приедем, он с ней разберется, с паршивкой... врать... врать моду взяла...

Прибежавшая Надька увидела отъезжавший автобус и заплакала – в первый раз за две недели увидела Женя девчачьи слезы: с мамой не попрощалась. Она не знала, что ее ждет впереди...

Женю разбирал смех. Она обняла Надьку:

– Ну не реви, Надюша. Видишь, как сегодня автобусы ходят, без расписания – тот совсем не пришел, а этот раньше времени...

Теперь Женю интересовал один-единственный вопрос, вернее, ответ: что там на задах огорода, есть ли эта самая проплешина, о которой говорила Надька:

– Идем, покажешь, где у вас на огороде земля от лучей выгорела...

– Конечно, покажу, – Надька взяла Женю за руку. Рука у нее была мягкая, пухлая, приятная на ощупь. Они вернулись к дому, не входя на террасу, прошли на зады, где огород сам собой переходил в поле, потому что забор зимой повалился, и Николай не успел его поднять из-за того санатория.

Сначала Женя подумала, что это просто канализационный люк с обыкновенной чугунной крышкой. Потом поняла, что эта площадка раза в два больше. А вглядевшись, заметила, что нет там никакого шва: в середине действительно вроде чугуна, даже и поблескивает, а потом

светлеет, с краю же этой спаленной земли прорастают травки, тонкие, бледные, по одной, а потом трава густеет и переходит в травяные заросли, которые давно пора бы скосить... Женя постучала ногой, обутой в резиновый сапог, – ну, может, не чугун, а асфальт... Потом села в серединке круга и попросила еще раз рассказать, как это было. И Надя с охотой пересказала свой рассказ и показала, откуда появилась летающая тарелка, где развернулась, как зависла и куда убралась...

– А лучи вот тут как раз и сошлись, где эта плешка...

Надька сияла своим чудесным лицом и радовалась и излучала святую истинную правду... Женя помолчала, помолчала, прижала к себе Надьку и, пригнувшись к ее уху, тихо, чтобы не слышали мальчишки, спросила:

– А про брата Юру наврала?

Надькины карие глаза остановились, как будто покрывшись пленкой. Рот чуть-чуть открылся, и она судорожно всунула между губами почти все кончики пальцев и начала их мелко-мелко грызть. И тут испугалась Женя:

– Надечка, ты что? Что с тобой?

Надя уткнулась и лицом, и всем своим мягким и плотным телом в Женин сухой бок.

Женя ее гладила по коричневой густоволосой голове, по толстой шелковой косе, по гладкой, под грубым плащом вздрагивающей спине.

– Ну девочка, ну Надечка, ну что ты?

Надя оторвалась от Жени, сверкнула черными ненавидящими глазами:

– Он есть! Он есть!

И горько заплакала. Женя стояла на чугунке, прожженной лучами летающей тарелки, и ничего не понимала.

Конец сюжета

Середина декабря. Конец года. Конец сил. Тьма и ветер. В жизни какая-то заминка – всё остановилось на плохом месте, как будто колесом в яме буксует. И в голове буксуют две стихотворных строки: “Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу...” Полнейшая сумеречность, и никакого просвета. Стыдно, Женя, стыдно... Спят в маленькой комнате два мальчика, Сашка с Гришкой. Сыновья. Вот стол – на нем работа. Сиди, пиши ручкой. Вот зеркало – в нем отражается тридцатипятилетняя женщина с большими глазами, наружными уголками чуть вниз, с большой грудью, тоже чуть вниз, и красивыми ногами с тонкими щиколотками, выгнавшая из дома не самого плохого на свете мужа, и притом уже не первого, а второго... Еще отражается в большом зеркале часть маленькой, но очень хорошей квартиры в одном из самых прекрасных мест в Москве, на улице Поварской, во дворе, полукруглое окно выходит в палисадник. Потом их, конечно, выселят, но тогда, в середине восьмидесятых, они еще жили как люди...

Семья Жени – тоже очень хорошая. Большая семья с тетями, дядями, двоюродными и троюродными братьями, сплошь высокообразованными, уважаемыми людьми: если врач, то хороший, если ученый, то многообещающий, если художник, то процветающий. Ну не как Глазунов, конечно. Но имеет заказы в издательствах, хороший книжный график, почти один из лучших. В своем цеху ценят. О нем пойдет речь далее.

Кроме двоюродных и троюродных, народилось уже новое поколение многочисленных племянников – Кати, Маши, Даши, Саши, Миши, Гриши. Среди них одна есть Ляля – тринадцати лет. Уже с грудью. Но прыщи еще не прошли. И нос длинный, и это уже навсегда. Правда, можно со временем сделать косметическую коррекцию. Но со временем. Ноги тоже длинные. Хорошие ноги. Но этого еще никто не замечает. А страсти бушуют уже сейчас. У девочки безумный роман с двоюродным дядей-художником. Пришла как-то длинноногая Ляля в родственный дом к троюродной сестре Даше и запала на ее папашу. Он сидит дома, в дальней комнате, рисует. Прелесть какие картинки – птицы в клетках, какие-то стихи... Художник-иллюстратор. Волосы черные, волнистые, длинные. До плеч. Курточка синяя, под ней рубашка в красно-синюю клетку. Шейный платок под рубашкой – в мелкий-мелкий цветочек, почти запятая, вот какой

цветочек. И даже не цветочек и не запятая, а скорее огуречик. Но маленький, малюсенький... Влюбилась.

Приходит девочка Ляля к взрослой родственнице тете Жене, которой в данное декабрьское время совершенно не до троюродной девочки. Но Женя приходится художнику сестрой. Не родной, двоюродной. И признается девочка Ляля в любви. И рассказывает всю историю: как пришла к Даше, а он сидит в дальней комнате птичек рисует, а на платочке огурцы. И как пришла потом, уже без Даши, и сидела в его комнате, он рисовал, а она тихо сидела. Молча.

По вторникам и четвергам у Милы, жены художника, утренний прием, с восьми. Понедельник, среда, пятница – вечерний. Она врач-гинеколог. Даша ходит в школу каждый день. Ездит на проспект Мира во французскую. Из дома выходит в двадцать пять минут восьмого. Во вторник и в четверг – но не каждую неделю, а одну неделю вторник, другую четверг – Ляля приходит в дальнюю комнату в половине девятого. Один раз она пропускает урок истории и урок английского, один – сдвоенную литературу. Да, тринадцать лет. А что делать? Ну что с этим поделать? Если безумная любовь... Он от нее умирает. Руки трясутся, когда раздевает... Это потрясающе. Первый мужчина в жизни. Уверена, что никогда не будет второго... Забеременеть? Нет, не боюсь. То есть я не особенно об этом думала. Но можно же принимать таблетки... А ты не можешь позвонить Миле, чтобы она выписала – как будто для тебя?..

Женя вне себя. Лялька – ровесница Саши. Те же тринадцать, но девчочковых. Оказывается, это совсем другой размер. У Сашки в голове астрономия. Он читает книги, в которых Женя не разбирает даже оглавления. А у этой маленькой идиотки любовь, и к тому же она выбрала ее, Женю, поверенной своих сердечных тайн. Хорошенькая тайна: сорокалетний порядочный человек путается с малолетней племянницей, подружкой дочери, в своем собственном доме, в то время, когда родная жена в трех кварталах от дома ведет прием в женской консультации на улице Молчановке и, строго говоря, может забежать домой на минутку, например, чаю попить... А Лялькины родители? Ее мать, двоюродная Женина сестра Стелла толстожопая, что она себе думает? Что дочка в школу пошла, размахивая потертым портфельчиком? И папаша ее, Константин Михайлович, математик трехнутый, он чего думает? А уж что по этому поводу могла бы думать покойная тетя Эмма, родная сестра Жениного родного папы, так об этом просто страшно подумать...

Лялька прогуливает утренние часы. Иногда, когда Сашка с Гришей в школе, она приходит к Жене пить кофе. То ли художник занят, то ли у нее

просто нет настроения за партой сидеть. Выгнать девчонку невозможно – а ну как пойдет и из окна выбросится? Женя ее покорно выслушивает. И приходит в отчаяние. Мало ей своих собственных проблем: выставила родного мужа, потому что влюбилась в совершенно недоступного господина... Артиста с большой буквы. Вообще-то он режиссер. Из прекрасного, почти заграничного города. Звонит каждый день и умоляет приехать. И тут еще Лялька...

Женя в отчаянии.

– Лялечка, дорогая, эти отношения надо немедленно прекратить. Ты сошла с ума!

– Женя, но почему? Я его безумно люблю. И он меня любит.

Женя этому верит – потому что Ляля в последнее время очень похорошела. У нее красивые глаза, большие, серые, в черных подкрашенных ресницах. Нос длинный, но тонкий, с благородной горбинкой. Кожа стала значительно лучше. А шея – просто изумительная, редкой красоты шея: тонкая и еще более утончающаяся кверху, и голова так красиво посажена на этот гибкий стебель... Тьфу!

– Лялечка, дорогая, но если ты о себе не думаешь, то хоть о нем подумай: ты понимаешь, что произойдет, если об этом узнают? Первым делом его посадят в тюрьму! Неужели тебе его не жалко? Лет на восемь – в тюрьму!

– Нет, Женя, нет. Никто его не посадит. Если Мила догадается, она его выгонит, это да. И обдерет его. На деньги. Она страшно жадная. Он много зарабатывает. Если он сядет, он не будет платить ей алиментов. Нет, нет, она не устроит скандала. Всё замнет, наоборот, – очень холодно и расчетливо разворачивает грядущую картину Ляля, и Женя понимает, что, как это ни чудовищно, но похоже на правду: Милка и вправду страшно алчная.

– Ну а твои родители, их что, не беспокоит? Подумай, что с ними будет, если они об этом узнают? – пытается зайти Женя с другой стороны.

– Пусть помолчат лучше. Мамочка моя спит с дядей Васей... – У Жени глаза на лоб полезли. – Ты что, не знаешь? Папин брат, мой родной дядя Вася. Мамочка от него без ума всю жизнь. Я вот только одного не знаю: она в него влюбилась до того, как за отца замуж вышла, или после... А что касается папы, это ему вообще должно быть всё равно, он вообще не мужчина. Ты меня понимаешь? Кроме формул, его ничего не интересует... В том числе и мы с Мишкой.

Боже милостивый, что делать с этим малолетним чудовищем? В конце концов, ей всего тринадцать лет. Она ребенок, нуждающийся в защите.

Но каков наш художник? Этот постный эстет! Замшевый пиджак! Шейный платочек! Вычищенные руки! Маникюрша в дом ходит. Он как-то при Жене говорил, что его работа требует безукоризненных рук, как у пианиста... Вообще-то, он скорее похож на гомосека. А выходит дело, педофил...

С другой стороны, Лялька не ребенок. У евреев в старые времена в двенадцать с половиной лет девочек выдавали замуж. Так что с точки зрения физиологии она взрослая. Мозги же у нее более чем взрослые – как она всё изложила про Милку, не каждая взрослая баба так расчислит.

Но что теперь делать ей, Жене? Она единственный взрослый человек, который во всю эту историю посвящен. Следовательно, ответственность лежит именно на ней. И посоветоваться не с кем. Не может же она к своим родителям с этой историей идти. У мамы инфаркт будет!

Ляля приходит к Жене почти каждую неделю, рассказывает о художнике, и всё, что она говорит, убеждает Женю в том, что эта кошмарная связь достаточно крепкая – если семейный мужчина идет на риск, принимая в доме еженедельно малолетнюю любовницу, он действительно потерял голову. Противозачаточные таблетки, довольно дорогие, между прочим, Женя купила без участия Милы, разумеется, отдала их Ляльке и велела пить каждый день, не пропуская... Несмотря на купленные таблетки, Женя испытывает огромное беспокойство ответственности. Она понимает, что надо что-то предпринимать, пока не разразился скандал, но не знает, с какого боку заходить. В конце концов решила, что единственное, что она может сделать в сложившихся обстоятельствах, – поговорить с художником, черт его подери.

А режиссер звонит, просит прилететь хотя бы на день. У него выпуск спектакля, он работает по двенадцать часов... Но если она полетит в этот чудесный, теплый и светлый город – всё, ей конец! А если не полетит?

Надо что-то делать с этой безумной Лялькиной историей. И дело даже не в том, что скандал неминуем. Но, в конце концов, взрослый человек калечит жизнь ребенка. Господи, какое счастье, что у нее мальчишки. Какие проблемы? Задачи по астрономии у Сашки... Гришку же надо только вытаскивать из книг, читает по ночам, с фонариком под одеялом... Иногда дерутся. Но в последнее время всё реже...

Наконец, решила позвонить Лялькиному возлюбленному. Позвонила днем, после двух, в день, когда у Милки вечерний прием. Он страшно обрадовался, сразу же пригласил в гости, благо недалеко идти. Женя сказала, что в гости – в следующий раз, а сейчас надо встретиться не дома, а где-нибудь в нейтральном месте.

Встретились возле кинотеатра “Художественный”, он предложил зайти в “Прагу”, в кафе.

– У тебя что-то стряслось, Женя? Вид взъерошенный какой-то? – дружелюбно спросил художник, и Женя вспомнила, что он всегда очень хорошо себя вел по отношению к родне. Помог однажды их совсем дальней родственнице, когда той надо было делать тяжелую операцию, а в другой раз оплатил какому-то родственному шалопаю адвоката, когда тот неудачливо угонял машину... Вот ведь как сложно устроен человек, сколько разного внутри уживается...

– Извини, разговор неприятный. Я по поводу твоей любовницы, – резко начала Женя, потому что боялась растерять запал негодования по поводу всей этой гадкой истории.

Он долго молчал. Крепко молчал. Мелкие желваки ходили под тонкой кожей. Оказалось, что не был он таким уж красивым, как представлялся прежде. А может, с годами полинял...

– Женя, я взрослый человек, ты мне не мама и не бабушка... Скажи, почему я должен тебе отчитываться?

– А потому, Аркадий, – взорвалась Женя, – что за все поступки мы в конце концов сами отвечаем. И если ты взрослый человек, то тоже должен отвечать за свои ситуации...

Он сделал большой глоток из маленькой кофейной чашки. Поставил пустую чашку на край стола.

– Скажи, Женя, тебя кто-нибудь прислал или у тебя приступ нравственной самодеятельности?

– Ну что ты несешь? Кто меня мог прислать? Твоя жена? Лялькины родители? Сама Лялька? Ну, конечно, это самодеятельность. Нравственная, как ты говоришь. Эта дура Лялька всё мне рассказала. Конечно, мне приятнее было бы этого не знать... Но поскольку я знаю, я боюсь. И за нее, и за тебя... Вот и всё.

Он вдруг обмяк и сменил тональность:

– Я, честно говоря, понятия не имел, что вы общаетесь. Интересно...

– Поверь, я бы предпочла не общаться с ней вообще, и тем более по такому поводу...

– Женя, объясни мне, чего ты от меня хочешь. История эта длится не первый год. И мы с тобой, извини, не такие близкие люди, чтобы обсуждать деликатные вопросы моей личной жизни.

И тут Женя поняла, что всё не так уж просто, и за этими словами стоит больше, чем она знает. И вид у Аркадия отчасти виноватый, а отчасти как будто страдающий...

– Я так поняла, что эта история недавняя. А ты говоришь – не первый год... – проклиная себя, что влезла в эти разбирательства, выдавила из себя Женья.

– Если ты следовательно, то плохой. Честно говоря, третий год это длится, – он пожал плечами. – Я только не понимаю, зачем Ляле понадобилось это с тобой обсуждать. Милка всё знает, и она готова на всё, лишь бы не разводиться...

Он двинул локтем, чашка слетела со стола, крикнулась об пол. Он, не вставая, нагнулся под стол, собрал осколки длинной рукой, сложил перед собой кучкой. Стал перебирать фарфоровые белые черепки расколовшейся чашки, как будто складывая для склейки... Потом поднял голову. Нет, он все-таки был красив. Брови такие распахнутые, глаза зеленоватые.

Третий год? То есть с десятилетней девочкой он спутался? И говорит об этом так обыденно... Все-таки мужчины – с другой планеты существа...

– Слушай, Аркадий, я действительно этого не понимаю... Ты так просто об этом говоришь? У меня это в голове не помещается – взрослый мужчина спит с десятилетней девочкой...

Он выпучил глаза:

– Жень, что ты несешь? Какая девочка?

– Ляльке тринадцать лет исполнилось полтора месяца тому назад! Кто же она – телка, тетка, баба?

– Мы о ком говорим, Женья?

– О Ляльке Рубашовой.

– Какая Рубашова? – искренне изумился Аркадий.

Он валял дурака перед ней. Или...

– Да Лялька. Дочка Стелки Коган и Кости Рубашова.

– Ах, Стелки! Сто лет ее не видел... Ну была у нее, кажется, дочка. Какое это имеет ко мне отношение? Ты можешь мне толком объяснить?

Всё. Конец сюжета. Он понял. Ужаснулся. Расхохотался. Выразил желание взглянуть на девчонку, раскатавшую с ним умозрительный роман, – он ее не помнил. Мало ли в дом заходит девчонок, Дашкиных подружек?

Потом, сбросив с души ужасный камень, засмеялась и Женья:

– Но ты понимаешь, дорогой мой, что с любовницей-то я тебя всё равно разоблачила?

– До некоторой степени. Дело в том, что любовница действительно имеет место. Лет ей не десять и не тринадцать, но проблемы, как ты понимаешь, существуют... И я страшно на тебя обозлился, когда ты...

Официант забрал фарфоровые осколки, позвал уборщицу протереть пол под столом.

Женя ждала визита Ляльки. Она выслушала очередные ее излияния. Дала ей выговориться. Потом сказала:

– Ляля, я очень рада, что ты всё это время приходила ко мне и делилась со мной своими переживаниями. Тебе, наверное, было очень важно разыграть передо мной всю эту историю, которой не было. У тебя всё еще будет: и любовь, и секс, и художник...

Договорить свою заготовленную речь Жене не удалось. Лялька уже была в прихожей. Она ни слова не сказала, схватила портфель и пропала на много лет...

Но и Жене было не до нее. Зима, застрявшая в темноте, сдвинулась с мертвой точки. Режиссер сдал свой спектакль и сам прилетел в Москву. Он был весел и грустен одновременно, всё время окружен многочисленными поклонниками – из московских, возвышенно тоскующих по Тифлису грузин и из прочих местных интеллигентов, влюбленных в Грузию и ее вольно-винный дух. Две недели Женя была счастлива, и сумрачный лес полдня ее шальной жизни посветлел, и март был, как апрель – теплый и светлый, как будто в отсветах далекого города на дикой реке Куре. Она успокоилась. Не потому, что была две недели счастлива, а потому, что поняла до глубины своей души, что праздник не должен длиться вечно, и этот праздничный человек случился в ее жизни, как огромный подарок, такой огромный, что поддержать немного его можно, но с собой не унести... Женя рассказала ему историю о девочке Ляле, он сначала посмеялся, а потом сказал, что здесь лежит гениальный сюжет... А потом он уехал, и Женя прилетала к нему в Грузию, а он еще не один раз – в Москву. А потом всё кончилось разом, как не бывало. И Женя жила себе дальше. Даже помирилась со вторым мужем, которого, как со временем выяснилось, оставить оказалось просто невозможно: он пристегнулся к ее жизни намертво, как дети...

Ляльку долго не встречала: ни на каких родственных днях рождения она не появлялась, а на похоронах было не до того...

Только через много лет они встретились в семейном застолье, и Лялька была взрослая, очень красивая молодая женщина, замужем за пианистом. С ней была маленькая дочка. Четырехлетняя девочка подошла к Жене и сказала, что она принцесса... Всё. Конец сюжета.

Явление природы

Всё так прелестно начиналось, а закончилось душевной травмой юной девицы по имени Маша, внешне незначительной, веснушчатой и в простеньких очочках, но с очень тонкой душевной организацией. Травму нанесла Анна Вениаминовна, седая стриженная дама очень преклонного возраста, и никаких дурных намерений у нее не было. Она была педагог, профессор, давно уже на пенсии, но пыла педагогического за многие десятилетия преподавания русской литературы, а особенно поэзии, не истратившая. Отчасти Анна Вениаминовна была и собирательница – не столько ветхих книг, современниц собственных авторов, сколько юных душ, стремящихся к этому кладезю Серебряного века... За долгие годы работы во второстепенном вузе у нее накопилась целая армия бывших учеников...

В один прекрасный день Анна Вениаминовна в светло-серой блузке из полиэстера, в твидовом пиджаке устаревшего фасона, в ветхих туфлях, привыкших за долгую жизнь к ежедневной чистке сапожной щеткой из натуральной щетины, сидела на садовой скамье в одном – адрес не указывается во избежание разоблачений – совершенно чудесном небольшом парке не в центре Москвы, но и не на окраине. Хороший, почти престижный район. В руках ее – обернутая в газету книга. Так давно уже не носят. Но она упорно обертывала книги в газетные листы, вырезая ножницами соответствующие треугольные фигуры, чтобы газетная обложка легла размер в размер, тютельница в тютельку...

Стояла хорошая погода середины апреля, и обе они, Анна Вениаминовна и Маша, случайно соседствуя на скамье, наслаждались видом пробуждающейся природы, которую шумно и деловито приспособляли под свои низменные – они же и возвышенные – нужды размножения сообразительные вороны: отламывали веточки крепкими клювами, вставляли их в старые гнезда, реставрируя прошлогодние, и строили новые...

Под конец часового совместного наблюдения этого редкого и забавного зрелища Анна Вениаминовна прочла строки стихотворения:

– “Широк и желт вечерний свет, нежна апрельская прохлада, ты опоздал на много лет, но все-таки тебе я рада...”

– Какие чудесные стихи! – воскликнула Маша. – Кто их написал? Знакомство завязалось.

– Ах, грехи молодости, – улыбнулась очаровательная пожилая дама. – Кто ж не писал стихов в юности?

Маша легко согласилась, хотя за ней этот грех не водился. Она проводила Анну Вениаминовну до дому, та пригласила зайти. Маша зашла. Маша происходила из простой инженерской семьи. В детстве у них дома стоял предмет “Хельга”, а в нем не тронутые человеческой рукой ровные тома из серии “Всемирная литература” и одиннадцать хрустальных бокалов – один разбил папа. И сувениры из стран, которые теперь называются странами содружества: грузинский черный кувшин с серебряным разводом, литовская кукла с льняной головой и украинская желто-коричневая свистулька в виде известного животного с розовым рылом, производителя любимой малоросской закуски.

А тут – все стены заставлены полками и книжными шкафами и книгами без переплетов – а, вот почему она их обертывает, иначе разлетятся по страницам! На полках и на стенах – сплошь фотографии смутно знакомых лиц, на некоторых дарственные надписи. Крохотный столик – овальный – не обеденный, не письменный, а сам по себе. На нем и пара невымытых чашек, и стопка книжек, и шкатулка для рукоделия... Настоящая старушка, рожденная еще до революции... И чайник не электрический, а алюминиевый – такого сейчас ни на одной помойке не найдешь, разве что в антикварном магазине...

Завязалась дружба. В то время, когда Машины одноклассницы – в тот год она заканчивала школу – влюблялись в студентов второго курса, в бодрых спортсменов, приезжавших тренироваться на соседствующий со школой стадион, и в модных певцов с разрисованными гитарами, она влюбилась в Анну Вениаминовну, которая обладала всем, чего не хватало Маше: Анна Вениаминовна была худа, белокожа и страшно интеллигентна, а Маша уродилась ширококостной, нездорово румяной и сильно себе не нравилась за простоту. И родители были просты, и прародители всякие до третьего колена, так что Маша, любя родителей, немного стеснялась отца Вити, который, будучи инженером на заводе, более всего на свете любил лежать под темно-синим “жигулем”, насвистывая дурацкий мотивчик... И мамы, тоже заводской инженерки Валентины, стеснялась Маша – ее ширины и прямоугольности, чрезмерно громкого голоса и простодушного хлебосольтва: “Кушайте, кушайте! Борщ кушайте! Сметанку вот положите! Хлебушка!” – с которым она приставала к Машиным одноклассникам, когда те заходили...

Анна Вениаминовна точно была из другого теста, не дрожжевого, а слоеного: сухонькая, светленькая, слегка осыпающаяся. Казалось бы,

ну о чем им было говорить, интеллигентной даме и грубоватой девушке из инженерской среды? Оказалось – обо всем. Начиная от фотографий людей со смутно знакомыми лицами и кончая современным романом модного молодежного писателя, о котором Анна Вениаминовна слышала, но не читала. Маша принесла модный роман, ожидая разноса, но старушка неожиданно прочла ей интересную лекцию, из которой Маша поняла, что модный писатель не с луны свалился, у него были предшественники, о которых она и не подозревала, и вообще всякая книга опирается на что-то, что было написано и сказано до того... Словом, эта мысль поразила Машу, а Анну Вениаминовну, с другой стороны, поразила мысль, как же плохо преподают литературу в теперешних школах. С момента этого взаимного открытия перед ними открылось неисчерпаемое поле для плодотворнейших бесед. Девочка, вполне хорошо успевавшая по математике, физике и химии, расположенная к поступлению в автодорожный институт, тут же, неподалеку, в десяти минутах ходьбы, только через дорогу, который и отец, кстати, заканчивал, совершенно сменила ориентацию: ее всё более влекла к себе литература, и, что совсем уж удивительно, ее крепкое сердце, прежде малочувствительное ко всяким словесно-интеллектуальным тонкостям, потянулось к поэзии...

И Анна Вениаминовна стала ее образовывать... Очень своеобразным и неэкономным образом: она никогда не давала Маше потрепанных книг из своей библиотеки, зато читала ей стихи часами, с комментариями, рассказами о биографиях поэтов, об их отношениях – привязанностях, ссорах и любовных романах. Старая профессорша отличалась фантастической памятью. Она помнила наизусть целые поэтические сборники, и поэтов известных, и средней известности, и почти растворившихся в тени великих имен. Как-то постепенно стало прорисовываться, что и сама Анна Вениаминовна – поэт. Правда, поэт, никогда не публиковавший своих стихов. Маша утончившимся сердцем научилась угадывать, когда профессорша начинает чтение своего собственного. И не обманывалась. В таких случаях Анна Вениаминовна, начиная “свое” чтение, слегка терла лоб, потом сцепляла пальцы, прикрывала глаза...

– А вот это, Маша... Иногда мне кажется, что время этой поэзии ушло... Но это неотторжимо от культуры. Это – внутри...

Травой жестокою, пахучей и седой
Порос бесплодный скат извилистой долины.
Белеет молочай. Пласты размытой глины

Искрятся грифелем, и сланцем, и слюдой...

– И это – ваши стихи? – робко спрашивала Маша.

Анна Вениаминовна уклончиво улыбалась:

– В вашем возрасте, Маша, были написаны... Восемнадцать лет, что за возраст...

Маша потихоньку записывала стихи самой Анны Вениаминовны. Память у нее тоже была неплохая. Анна Вениаминовна, при всей ясности своей седой редковолосой головы, стихи помнила гораздо лучше, чем всё остальное. Она уже вступила на тот необратимый путь, когда вспомнить, выпила ли она утреннее лекарство, выключила ли газ и спустила ли воду в уборной, делается всё труднее, а стихи лежат в кассетах памяти так крепко, что умирают последними, вместе с теми самыми белками, которые есть способ существования жизни...

Маша была, конечно, не единственной посетительницей дряхлой квартиры. Приходили ученики всех времен – и довольно пожилые, и средних лет, и двадцатилетние. Приходили не очень часто – одна только Маша жила в соседнем доме и забегала почти каждый день.

Удивительное дело, за свои семнадцать лет Маша ни разу не встретила никого похожего на Анну Вениаминовну, а тут вдруг оказалось, что их множество – интеллигентных, одетых невзрачно и бедно, начитанных, образованных, остроумных! Об этом последнем качестве она и не догадывалась, оно никакого отношения не имело ни к анекдотам, ни к шуткам. И от проявленного остроумия никто не хохотал до упаду, а эдак тонко улыбались.

– Мужчина – это прекрасно, но зачем это держать дома? – с этой самой улыбкой задавала ехидный вопрос Анна Вениаминовна своей бывшей аспирантке Жене, тоже достаточно пожилой женщине, по поводу перипетий ее сложной жизни, и та немедленно ей отвечала:

– Анна Вениаминовна, я не хожу к соседке за утюгом, кофемолкой или миксером, завела свои собственные. Почему же я должна брать в долг мужчину?

– Женечка! Как вы можете сравнивать мужчину с утюгом? Утюг гладит, когда вам это нужно, а мужчина – когда это нужно ему! – парировала Анна Вениаминовна.

И Маша млела от их разговоров – может, и не таких уж смешных, но дело всё было в том, что ответы-вопросы – пум-пум-пум – с молниеносной быстротой сыпались, и Маша даже не всегда успевала

уследить за смыслом этого скоростного обмена. Она не знала, что этот легкий диалог, как и стихи, – фрагмент длинной культуры, выращиваемой не год, не два, а чередой поколений, посещающих приемы, рауты, благотворительные концерты и, прости господи, университеты...

И цитаты, как потом она стала догадываться, занимали огромное место в этих разговорах. Как будто, кроме обычного русского, они владели еще каким-то языком, упрятым внутри общеупотребимого. Маша так и не научилась распознавать, откуда, из каких книг они берутся, но по интонации разговаривающих научилась по крайней мере чувствовать присутствие ссылки, цитаты, намека...

Когда кто-нибудь приходил, Маша садилась в угол и слушала. Участвовать в этих разговорах она совсем не умела, но выходила на кухню поставить чайник и приносила чашки на овальный стол, а когда гости уходили, мыла эти хрупкие чашки, боясь кокнуть. Она была почти бессловесной фигурой, к ней никто и не обращался, разве что бывшая аспирантка Женя, самая из всех симпатичная, задавала ей время от времени какие-то странные вопросы – читала ли она Батюшкова, например... А его и в школе-то не проходили...

Самым любимым временем стали вечерние часы, когда Маша, уже после десяти, приходила к Анне Вениаминовне – на третий месяц знакомства ей были доверены ключи от квартиры, – садилась на раскладной странный стул, из которого можно было образовать лесенку, а хозяйка сидела в своем строгом, не располагающем к шалостям кресле с прямой спинкой и жесткими подлокотниками, съедала смехотворный ужин – креманку кефира – и после таинственной паузы начинала читать Маше стихи, и обычно Анна Вениаминовна начинала так:

– А вот это стихотворение Сергея Митрофановича Городецкого очень любил Валерий Яковлевич Брюсов. Это из первого его сборника. Кажется, седьмого года...

Анна Вениаминовна читала великолепно, не по-актерски, с выражением, а по-профессорски, с пониманием:

Не воздух, а золото,
Жидкое золото
Пролило в мир.
Скован без молота –
Жидкого золота
Не движется мир.

– А свои почитайте, – просила Маша, и профессорша прикрывала бумажистые, как у черепахи, веки и произносила медленно, величаво звучные слова, и Маша усиленно старалась их запомнить...

Поступить в гуманитарный институт родители не разрешили, да и у самой Маши не было уверенности, что сдаст. Всё лето она занималась усердно математикой и физикой, почти каждый вечер ходила к Анне Вениаминовне, и та тоже к ней привязалась, беспокоилась, когда начались экзамены. Но всё прошло благополучно, Машу приняли, и родители были довольны. Обещали подарить ей путевку за границу, почему-то речь шла о Венгрии. Там какие-то знакомые были у матери с советских времен. Но Маша ехать отказалась – Анна Вениаминовна плохо себя чувствовала, стали отекать ее тонкие, белые, как молочное мороженое, ноги – это из-за жары, которая ударила под конец лета...

Маша не поехала в Венгрию. В середине августа, после тяжелого сердечного приступа, Анну Вениаминовну уложили в больницу, и Маша успела съездить туда три раза, а когда приехала в четвертый раз, Анны Вениаминовны в палате не обнаружила, и постель ее стояла без белья, и тумбочка разоренная – Маше сказали, что бабушка ее ночью умерла...

Маша собрала из тумбочки какую-то женскую и лекарственную мелочь – и не подумала, зачем она это делает, кому теперь нужен початый кусок детского мыла, простой одеколон, бумажные салфетки и валокордин... С благоговением взяла и три обернутых в газету стихотворных сборничка – сверху лежал ветхий сборник Блока “За гранью прошлых дней”, издательства Гржебина, двадцатого года... Над серенькой штрихованной строкой с именем поэта было написано карандашом бегучим и спотыкающимся почерком Анны Вениаминовны: “С Богом новый карандаш тобой подаренный...” И можно было легко представить себе, что это сам Блок подарил ей этот самый карандаш. Хотя по времени не получалось, она была рождения двенадцатого года, и в двадцатом ей было всего восемь лет...

Весь день просидела Маша в квартире Анны Вениаминовны. Звонили, спрашивали, приезжали. К вечеру собралось человек десять: племянник с женой, заведующая кафедрой, где Анна Вениаминовна когда-то служила, знакомые и незнакомые женщины и двое бородатых мужчин. Заведующая кафедрой вела себя как главное лицо, но распоряжалась всем порядком Женя, потому что она дала деньги на похороны. Большие деньги, триста долларов. Всё закрутилось без Маши, и сладилось само собой, но ключ от квартиры у нее никто не спросил, она его и не отдавала. Потом прошли похороны, с отпеванием в церкви – тут как раз набежало несказанно много

народу, человек двести, – и девятый день отмечали в квартире Анны Вениаминовны.

Пожилой племянник, который собирался переезжать в унаследованную им квартиру, держался в стороне: его не знали друзья и ученики Анны Вениаминовны, и он их не знал. Маша догадалась с грустью, что не было у Анны Вениаминовны никакой семейной жизни, кроме преподавания литературы. Еще Маша вдруг увидела, что печальное и пыльное жилье после смерти Анны Вениаминовны вдруг стало совершенно нищенским. Наверное, оттого, что занавеси, всегда задраенные, кто-то открыл, и в косом августовском свете стала видна ничем не прикрытая бедность. И стол был бедным, и племянник...

А ведь, пока Анна Вениаминовна была жива, эта ветхая квартира была роскошной, – недоумевала Маша.

Еще целый месяц, до самого въезда племянника, Маша иногда приходила в квартиру, садилась на свой стул-лесенку доставала с полки наугад какую-нибудь из обернутых газетой книг и читала. Надо сказать, что за время их знакомства, в масштабах человеческой жизни совсем короткого, Маша научилась читать стихи. Понимать их еще не научилась, но читать и слушать – да... Вся эта библиотека шла на кафедру – это было распоряжение профессорши. Но у Маши была тетрадь – стихи самой Анны Вениаминовны, сохраненные и записанные Машей со слуха... Она тоже знала их наизусть.

Маша уже ходила на занятия в автодорожный институт, но всё никак не могла прийти в себя. Встреча с Анной Вениаминовной, как теперь догадывалась Маша, стала главной точкой отсчета ее, Машиной, биографии, и после ее смерти никогда уже не будет у нее такого удивительного старшего друга... Вечером сорокового дня она пришла в квартиру Анны Вениаминовны и решила, что сегодня отдаст наконец ключи. Народу было человек двадцать. Племянник соорудил из двух досок лавки, и народ кое-как расселся. И все говорили про Анну Вениаминовну очень хорошо, так что Маша несколько раз немного всплакнула. Она выпила много вина и побагровела своим и без того красным лицом. Она всё ждала, кто же наконец скажет, каким замечательным поэтом была сама Анна Вениаминовна, но никто этого не говорил. И тогда она, пересиливая свою застенчивость и скованность, исключительно во имя восстановления посмертной справедливости, достала влажными руками из нового студенческого рюкзака свою рукодельную тетрадку и, покраснев так, что и без того красное лицо приобрело даже синеватый оттенок, сказала:

– Вот здесь у меня целая тетрадь стихов, написанных самой Анной Вениаминовной. Она их никогда не публиковала. А когда я спросила почему, она сказала только одно: “А-а, это всё незначительное”. Но, по моему, стихи очень значительные. Отличные даже, хоть она их и никогда не публиковала.

И Маша стала читать, начиная с первого, где жесткая трава, пахучая и седая, а потом про золотого птицелова в загробной роще, а потом еще и еще... Она не поднимала глаз, но когда читала самое замечательное из всех – стихотворение, которое начиналось словами: “Имя твое – птица в руке, имя твое – льдинка на языке...”, она почувствовала что-то неладное... Остановилась и огляделась. Кто-то беззвучно смеялся. Кто-то в недоумении перешептывался с соседом. И вообще была самая настоящая неловкость, и пауза была такой длинной. Тогда самая из всех симпатичная Женя встала с бокалом вина:

– У меня есть тост. Здесь сегодня не так много народу собралось, но мы знаем, как Анна Вениаминовна умела притягивать к себе людей. Я хочу выпить за всех тех, кого она одарила богатством своей души, за самых старых ее друзей и за самых молодых... И чтобы мы никогда не забывали того важного, что она нам всем дала...

Все задвигались, стали слегка спорить, чокаться или не чокаться, и кое-кто еще переговаривался с недоумением или даже с раздражением, и Маша чувствовала, что заминка неприятная не прошла, но Женя всё говорила и говорила, пока не поменялась тема разговора и не перешли на воспоминания давних лет...

Племянник Анны Вениаминовны плохо себя чувствовал, он извинился и ушел, договорившись с Машей, что она вымоет посуду после гостей, оставит ключи на столе и захлопнет дверь.

Гости разошлись, только Женя и Маша остались прибрать посуду. Сначала они вынесли все рюмки и чашки в кухню и сложили на кухонном столе. Потом Женя села, закурила сигарету. Маша тоже покуривала, но не при взрослых. Но тут она тоже закурила. Ей хотелось что-то спросить у Жени, но всё не могла сообразить, как задать вопрос. Женя задала вопрос сама:

– Машенька, а почему вы решили, что это стихи Анны Вениаминовны?

– Она сама это говорила, – ответила Маша, уже понимая, что сейчас всё прояснится.

– Вы в этом уверены?

– Ну конечно, – Маша принесла свою сумку, достала было тетрадь,

а потом вдруг сообразила, что стихи-то все записаны ее рукой, и теперь Женя ей может не поверить, что стихи действительно сочинила Анна Вениаминовна.

– Я только записала их. Она мне много раз их читала. Это всё в молодости она писала... – начала оправдываться Маша, уже прижимая тетрадь к груди. Но Женя протянула руку, и Маша отдала ей синюю тетрадь, на которой написано было черным толстым фломастером: “Стихи Анны Вениаминовны”.

Женя молча просматривала тетрадь и слегка улыбалась, как будто давним приятным воспоминаниям.

– Но ведь хорошие же стихи... – в отчаянии прошептала Маша. – Ведь не плохие же стихи...

Женя отложила тетрадь, закрыла ее и сказала:

– “Вот эта синяя тетрадь с моими детскими стихами...”

– Да в чем дело-то? – не выдержала Маша и опять покраснела до того сложного красно-синего цвета, которым никто, кроме нее, не умел краснеть.

– Видите ли, Машенька, – начала Женя, – первое стихотворение в этой тетради написано Максимилианом Волошиным, последнее – Мариной Цветаевой. И остальные тоже принадлежат разным более или менее известным поэтам. Так что это какое-то недоразумение. И Анна Вениаминовна не могла этого не знать. Вы что-то неправильно поняли из того, что она вам говорила...

– Честное слово, нет, – вспыхнула Маша. – Я всё правильно поняла. Она мне сама говорила... давала понять... что ее это стихи.

И только тут Маша поняла, какой же она идиоткой выглядела перед всем этим образованнейшим народом, когда сунулась с чтением стихов... Она кинулась в ванную комнату и зарыдала. Женя пыталась ее утешить, но Маша заперлась на задвижку и долго не выходила.

Женя вымыла всю посуду, потом постучала в дверь ванной комнаты, и Маша вышла с распухшим, как у утопленника, лицом, и Женя обняла ее за плечи:

– Не надо так огорчаться. Я и сама не понимаю, зачем она это сделала. Знаешь, Анна Вениаминовна была очень непростой человек, с большими амбициями и в каком-то смысле несостоявшийся... Понимаешь?

– Да я не об этом плачу... Она была первым интеллигентным человеком, которого я в жизни встретила... Она мне открыла такой мир... и кинула... просто кинула...

Никогда, никогда Маша не бросит свой институт и не поменяет

автодорожной профессии на гуманитарную. И никогда бедная Маша не поймет, почему эта высокообразованная дама так жестоко над ней подшутила. Не поймет этого и заведующая кафедрой, и племянник, и все другие гости сорокового дня. Они все останутся в полной уверенности, что эта инженерская девочка с грубым лицом и полными ногами – совершеннейшая идиотка, которая превратно поняла Анну Вениаминовну и приписала ей такое, что и в голову не могло бы прийти интеллигентной профессорше...

Женя шла к метро через тот самый парк, где когда-то познакомилась пострадавшая девочка Маша с выдающейся дамой, пятьдесят лет преподававшей русскую поэзию, и пыталась понять, почему она это сделала. Может быть, Анне Вениаминовне захотелось хоть единожды в жизни ощутить то, что переживает и великий поэт, и самый ничтожный графоман, когда читает свои стихи перед публикой и ощущает ответные эмоции в податливых и простодушных сердцах? И этого никто теперь не узнает.

Счастливый случай

В самом начале девяностых годов прошлого столетия, конец которого был отмечен с непристойной и трудно объяснимой помпой, многие люди интеллигентского сословия переживали большие трудности, связанные с крахом трех больших китов, или слонов, или “трех источников – трех составных частей” кое-как организованной жизни. Догматика дала такую трещину, что сама Божественная Троица закачалась. И многие люди начали тонуть. Кое-кто и потонул, зато некоторые научились плавать, а были и такие, кто в пошатнувшемся мире сориентировался и пошел в большое плавание.

Женя предала академическую науку, плюнула на монографию, на незащищенную докторскую диссертацию и перешла на телевидение. Сначала она успешно работала в учебной программе, через год оказалось, что учебные программы по иностранным языкам она печет как блины, и она начала писать уже для другой редакции сценарии документальных фильмов – не хуже других. А может, и получше. Завелись знакомые на всех этажах. А когда она сделала прекрасный документальный фильм про грузинского режиссера, с которым была хорошо знакома в молодые годы, то получила совсем уж блестящее предложение. Деликатного свойства. И не по официальному каналу, а так, через знакомых. Строго говоря, чтобы такую работу получить, надо было еще и приплатить. Но сценаристы, которые и приплатили бы, языков тех не знали. А для этой работы нужен был непременно один из трех европейских – немецкий, французский или, на худой конец, английский. Немецкий у Жени был превосходный, да и английский какой-никакой.

Заказ был из Швейцарии, и режиссер, собиравшийся снимать фильм этого деликатного свойства, был натурально швейцарец. Для написания сценария ему нужна была сценаристка, владеющая каким-нибудь доступным ему языком, умеющая легко вступать в контакты и непременно русская. Деликатность дела в том заключалась, что фильм задуман был о русских проститутках в Швейцарии.

Этот самый швейцарский режиссер по имени Мишель в силу непробиваемой швейцарской наивности написал официальное письмо на телевидение, где начальство сначала заволновалось, потом забегало, потом посоветовалось – и отказало. Наивному швейцарцу объяснили более опытные товарищи, что так дела не делаются, и он нашел через посольство

каких-то культурных знакомых, те, в свою очередь, прочесали по своим знакомым, и всё сошлось на Жене. Он прилетел в Москву вместе со своим продюсером, пригласил Женю в “Метрополь”, где остановился, и там, за длинным ланчем, они всё и обсудили на швейцарском языке, который в данном случае был немецким...

Надо сказать, что Женя мало чего знала о жизни проституток российских и еще менее – о представительницах этой опасной профессии за рубежом. Мишель же оказался подлинным поэтом, воспевающим блядей, шлюх и проституток всех стран и народов. Впечатление создавалось, что всех их он с самого юного возраста возлюбил как клиент. Да он этого и не скрывал.

– С женщинами другого круга у меня никогда ничего хорошего не получается, – пожаловался Мишель.

– Да ты не пробовал, – подал реплику молчаливый продюсер с блестящей розовой лысиной, аккуратно выкроенной посреди густых бурых волос.

– Пробовал, Луи, пробовал, и ты это прекрасно знаешь! – отмахнулся Мишель. Он был так увлечен темой, что разговор всё не поворачивался на собственно рабочие проблемы, которые Женя должна была решать.

– Русские девушки – самые лучшие! – объявил он Жене. – Эта славянская мягкость, тихая женственность. Пепельные волосы – таких нет ни у скандинавок – они просто бесцветны, – ни у блондинистых англосаксонок. Беда в том, что никто из русских языка хорошо не знает, а чтобы документальный фильм получился, надо их заставить говорить. Судьба, нюансы, всё такое... А мне они рассказывают свои истории как-то шаблонно. Но какие девочки! Каждая – бриллиант! Ты понимаешь, что мне от тебя надо?

Он щелкал пальцами, прицеловывал воздух губами, даже ушами немного двигал. Вообще же он был необыкновенно симпатичен, да и неподдельный рабочий энтузиазм сильно его украшал.

Жене и раньше приходилось работать с иностранцами, и сложился некоторый стереотип официального англичанина, любезного француза и простоватого немца. Этот швейцарец был довольно французистым, синеглазым, со смугло-розовым цветом лица горнолыжника. И похож был на Алена Делона. От него исходила веселая и немного бестолковая энергия.

– Пока не понимаю, – мягко заметила Женя, – но вообще-то я понятливая.

– Я покажу тебе свои фильмы, и ты поймешь, что мне надо. Луи, договорись на Мосфильме насчет зала и покажи Жене нашу продукцию.

Он уже снял, как выяснилось, несколько фильмов о проститутках. Первый – о девочках африканского происхождения, потом о китайках, которые древнейшую профессию совмещали с акробатикой, а недавно прожил полгода в Японии, где его постигла профессиональная неудача – фильм о гейшах удался, но под конец разразился большой скандал, и японцы конфисковали пленку.

– Объясняю, что мне нужно: историю каждой девушки. Реальную историю. Мне они этого не говорят. У меня с ними свои отношения, и всего они мне не расскажут. У девочек свои принципы. Мне нужно: первое – реальная история, а второе – надо раскрутить их, есть ли у них сутенер. Это мне очень важно. На чем всё построено – только на деньгах или на привязанности какой-то. И – личная жизнь. Это самое для меня интересное – личная жизнь проститутки...

Итак, Женя подрядилась исследовать личную жизнь русской проститутки в ее отхожем промысле. Решено было это исследование приурочить к началу мая, празднику трудящихся, когда для всех праздник, а для проституток самая трудовая вахта. Это у нас. А у них? Еще Женя брала неделю в счет отпуска. Визу швейцарскую обещали сделать за два дня.

Дома Женя объявила о своей поездке только в тот день, когда пришли билеты. Муж только крикнул, узнавши о цели заграничной командировки. Зато сыновья веселились от души: предостерегали от опасностей, давали полезные советы на все случаи жизни, остряли довольно смело. Женя радовалась, что отношения ее с детьми так мало походили на ее собственные отношения с родителями, при которых даже слово “проститутка” произнести было невозможно.

Самолет опоздал с вылетом на час, и поэтому Женя начала беспокоиться еще в дороге: а ну как ее не дождутся? Встречающий продюсер Луи тоже опоздал – на полтора часа. Именно потому, что опоздал самолет, как он объяснил Жене. Он страшно торопился: ему надо было немедленно возвращаться обратно в аэропорт, где теперь он должен был встречать свою жену-танцовщицу из Индии после полугодового обучения на курсах индийских танцев. Но ее самолет тоже опаздывал, и опаздывал даже против объявленного опоздания. По расписанию должен был приземлиться на два часа раньше Жениного... Всё это рождало в Жене недоумение: оплот европейской надежности и консерватизма покачнулся – расписание не соблюдалось, а жены приличных господ танцевали индийские танцы...

Было уже довольно поздно, и, как Женя ни крутила головой, из окна

машины она ничего не рассмотрела. Первое, что она увидела, был гном размером с небольшую собаку, стоявший в позе привратника возле массивной двери, которая от соседства с гномом казалась совсем великанской. Луи позвонил. Ждали несколько минут. Наконец печеная старая дама с новыми зубами в старых губах открыла тяжелую дверь – входите.

– Цюрих – сумасшедший город. Здесь в подземельях столько золота, что им все здешние дороги замостить можно. А чашка чая стоит пять долларов. Поэтому мы обычно снимаем нашим сотрудникам комнату в этом пансионе. Ты это оценишь уже завтра... – сказал Луи и впихнул чемодан через порог. – Мишель появится позже, он сегодня прилетает из Парижа и вечером собирался с тобой работать...

Женя даже не успела его переспросить: как, сегодня ночью?

Номер оказался маленький, чистенький, с большой кроватью, у изголовья которой стояла чудовищная лампа опять-таки с гномом. Второго гнома она нашла в туалете – там он притулился на полочке перед зеркалом, удваивая тем самым свою прелесть.

Женя умылась, повесила в шкаф три костюма – один, самый лучший, был заимствован у приятельницы. В номере еще обнаружилась крошечная кухонька, скорее закуток с плитой и раковиной. Женя поставила чайник. Было почти одиннадцать, никакого Мишеля не было, и она решила выпить чаю и немедленно лечь спать. Тут зазвонил телефон. Она сняла трубку. Это был Мишель:

– Женя, спускайся. Сейчас поужинаем и поедем работать.

Он встретил ее внизу, кинулся целовать, как старый друг после длинной разлуки. От него пахло не то духами, не то цветами. “Богатством”, – догадалась Женя. Его оживление и радость были искренними. Усадил Женю в низкую машину и повез. Он изменился в чем-то существенном с их последнего свидания в Москве, но Женя никак не могла уловить, в чем именно. В маленьком ресторане все официанты здоровались с Мишелем как со старым знакомым, а когда они сели за столик, подошел хозяин, и они поцеловались. Хозяин говорил по-французски. Женя догадалась, что толковали они о какой-то еде. Когда хозяин ушел, Мишель сказал:

– Хозяин парижанин. Живет в Цюрихе больше тридцати лет. И очень скучает... Ненавижу Швейцарию. Это место, где вообще нет любви. Никакой и никогда. Страна глухих и немых. Сама увидишь. – И глаза его блеснули черным зеркальным блеском.

“Вот оно что! Глаза-то у него в Москве были голубые. А стали

черные... Но так не бывает. Или я сошла с ума? Но ведь точно, точно были голубые... Ладно, я сейчас не сама живу, а смотрю кино”, – решила Женя.

Женя съела салат из лесных грибов и утиной печенки. В нем было еще много чего неузнаваемого. Вкус – неопиcуемый. Мишель заказал несколько блюд, но ни к одному из них не притронулся. Заставил Женю заказать десерт, сказал, что здесь делают нечто волшебное. Оно оказалось и впрямь волшебное, но совершенно непонятно что...

– Тебе надо будет переодеться, – Мишель приподнял лацкан ее пиджака. Костюм был итальянский, по Жениным понятиям, очень приличный, благородного каштанового цвета. – Ты взяла вечерние платья?

Женя покачала головой:

– Ты же меня не предупредил...

Никаких таких вечерних платьев Женя и не держала. В московской жизни – к чему?

Мишель ласково обнял ее:

– Ты прелесть, Женя. Как же я вас, русских, люблю... Мы подберем тебе что-нибудь...

И они снова сели в машину, куда-то поехали. Женя ничего не спрашивала: будь что будет.

Мишель привез ее в большую квартиру, уставленную африканскими скульптурами и железяками странного вида.

– Как тебе? Я в Черногории открыл этого художника. Деревенский кузнец. Совершенно сумасшедший. Ходит в одной и той же одежде, пока не порвется. А кует свои чудеса только по ночам. На старой мельнице. Балканская жуть, да?

Сон продолжался, и нельзя сказать, что он был особенно приятным: интересно, но тревожно. Мишель провел Женю в глубину квартиры, открыл дверь в комнату без окон, с длинной зеркальной стеной, отодвинул часть стены – там на плечиках висели платья, как в магазине.

“Гардеробная”, – догадалась Женя.

– Эсперанса, моя жена, уже полгода в клинике. Это ее одежда. Мы у нее возьмем. – Он перебрал ласковым движением висящие тряпки, вытянул что-то синее. – У нее восьмой размер, а у тебя, наверное, двенадцатый. Но Эсперанса очень любила всякие балахоны... Вот, – он снял синее с вешалки, – от Балансияга. Попробуй.

Женя сняла пиджак, юбку, это было нормально, он вел себя как профессионал, смотрел на Женю заинтересованно, но по-дружески. Она нырнула в синий балахон, считая, что пятнадцать лет разницы в возрасте допускают эту степень свободы...

– Отлично, – одобрил Мишель и посмотрел на часы. – Поехали...

И снова Женя ничего не спросила: ни про жену, ни про клинику он в Москве и словом не обмолвился – только о проститутках... Она и не знала, что он женат. И еще Женя подумала: “Неужели это я сегодня утром варила овсянку на своей Бутырской улице?”

– Здесь недалеко.

Они ехали минут десять. Потом остановились. Мишель потер переносицу:

– Я не помню, говорил ли я тебе... Понимаешь, в Швейцарии проституция официально запрещена. Имеются ночные клубы, кабаре, бары, где работают девушки. Есть заведения специализированные – стриптиз-клубы. Большинство проституток, которые приезжают сюда на работу, приезжают с артистическими визами, как артистки кабаре. Стриптиз. Понятно? Такие клубы обычно работают до трех. Девушка может снять себе клиента “на потом”. Это ее личное дело и налогом не облагается – если не донесут. У русских положение самое тяжелое – большинство девочек зависят от русской мафии. То есть мафия отбирает почти всё, что девочки зарабатывают. И вырваться от них практически невозможно. Мне хочется как-то им помочь. Ситуация опасная, для них было бы гораздо лучше, если бы проституцию легализовали... Чем более общество информировано, тем легче с этим работать. Ну, сама разберешься. Здесь у меня есть знакомая русская, Тамар. Если она после выступления свободна, поговоришь с ней...

Мишеля знали всюду – охранник на входе махнул ему рукой и что-то сказал ему очень тихо. Мишель ответил, оба засмеялись. Жене показалось, что шутка была на ее счет. “Конечно, я здесь вроде тульского самовара – привезли...”

Вошли в низкое полутемное помещение, уставленное столиками круговую – в центре нечто вроде манежа, с лесенкой, увитой гирляндами, спускающимися с потолка. Музыка играла какая-то полувосточная, странная. Народу немного, половина столиков пустовала. За некоторыми сидели девицы – без клиентов. Вроде как общались между собой. Одна, азиатка, кивнула Мишелю, другая, чернокожая, подошла к столику. Мишель спросил насчет русской Тамар. Та кивнула.

Тамар, как выяснилось, была занята с клиентом. Свое выступление она только что отработала, и теперь гость заведения пригласил ее выпить. Они сидели за дальним столиком. Женя издали рассматривала русскую девицу – она оседлала стул боком, как амазонка лошадь. Тонкие блестящие ноги сверкали как лаком облитые. То ли колготки особые, то ли кремом

намазаны, не поняла Женя.

Мишель заказал вино, но карточку официанту не вернул – показал Жене:

– Видишь цены?

Но Женя плохо ориентировалась в иностранной валюте, и тогда Мишель объяснил: большая часть дохода заведения происходит именно от торговли напитками, которые здесь продают по цене раз в десять выше обычной. Бутылка посредственного шампанского – около трехсот долларов. В этом клубе за вход не платят, но подносят выпивку. И первым же бокалом вина клиент оплачивает вход. Девочки в этом заведении работают по двум категориям: выступающие с номером и статистики.

– Вот! – указал Мишель на манеж, где заструился свет. – Сейчас номер будет. Я этот номер и сам не видел. Здесь раньше трапеции не было.

Вышли под музыку две высокие девицы, одна в красном купальнике и в прозрачном длинном плаще, вторая в таком же черном.

– Обе трансвеститы. Тебе повезло. Это лучший стриптиз. Я слышал про них – они из Аргентины.

– То есть они мужики? – изумилась отставшая от жизни Женя.

– Были мужики, – объяснил Мишель. – А теперь они, безусловно, женщины. И они так наслаждаются своей женской природой, как натуральные женщины не могут... Сама увидишь.

Трансвеститы стали раскачивать лесенку и раскачивались вместе с ней сами, а потом сплелись в какую-то сложную фигуру руками и ногами, прицепились к лесенке, и плащи их развевались, и волосы совершали плавные движения в ритм медлительной качке. Постепенно они стали взбираться вверх, ухитряясь сохранять сложное переплетение рук и ног.

Потом сверху упали их прозрачные плащи. Там, наверху, они расцепились и стали друг друга страстно раздевать – лифчики, пояса, трусики, под которыми оказалась пышная татуировка в самой интимной области. А потом, уже совсем голыми, они стали сползать по лестнице, играя грудями, животами и ягодицами. Женя смотрела на них во все глаза, пытаясь найти хоть какие-то следы их бывшего пола. Пожалуй, только кисти у одной были слишком крупными для девушки.

– Мишель, а как это ты сразу догадался, что они трансвеститы? Есть какие-то особые признаки? – тихо спросила Женя, и Мишель с жаром принялся объяснять:

– Несколько очень явных признаков. Обрати внимание, размер ноги и размер руки – это нельзя переделать. Потом – рельеф мышц плеча, это трудно удаляется. Но самое главное – талия. У мужчин грудная клетка

цилиндрическая, не сужается к талии, а у женщин – коническая. И это один из самых верных признаков. Посмотри еще на шею – иногда заметен кадык, это тоже хирургически не убирается. Я сюжет про трансвеститов делал. А подкачать грудь, ягодицы – для хирургов вообще не проблема. Гели специальные, наполнители. Гормоны, конечно. Потом расскажу. Вон Тамар.

К ним шла, улыбаясь бессмысленной улыбкой, хрупкая девица на неверных ногах. Мишель встал, они поцеловались, он представил Женю:

– Моя приятельница из Москвы. Я ей про тебя рассказывал, она хотела с тобой познакомиться. Женя ее зовут.

Женя смотрела на Тамар во все глаза. Внешность у девицы была трогательная – рот детский, глаза – круглые, волосы подобраны в пучок на макушке, и розовые ушки смешно парусили возле маленькой головки. Лет ей было давно не восемнадцать, но выражение лица – ребячливое.

– Из самой Москвы? Ну надо же! А я там отроду не бывала. В Хельсинки была, в Стокгольме, в Париже тоже. А в Москве не была. Я с Харькова. Знаете? – акцент был украинский, очень яркий.

– Ты выпьешь, Тамар? – спросил Мишель.

– Не, пить не буду. Но ты, Мишель, закажи, пусть стоит, ладно? – и обратилась к Жене: – А вы сюда надолго? Работать или как?

– Я в гости, дней на десять. Посмотреть, как вы тут живете, – улыбнулась Женя и вроде бы подмигнула. Во всяком случае, сделала какое-то движение глазами, Мишелю незаметное, – между нами, женщинами.

Движение оказало волшебное действие – Тамар застрекотала по-русски:

– А чего не остаешься-то? Ты ж с языком, еще не старая. Если разрешение на работу получить, можно и заработать. У нас одна с Харькова в прислугах здесь работает, так две семьи дома содержит, сын там уже и машину купил. Швейцарцы хорошо платят. Нашим, конечно, меньше, но всё равно неплохо получается. Если не отстегивать. Ты с этим давно знакома? Поговори с ним, попроси. Он чудной парень, всем помогает. Правда, Мишель? – И добавила уже по-немецки: – Я говорю, ты хороший мальчик, правда? – И она провела тонким пальчиком по его загорелой шее. Он поцеловал ей руку.

Странное ощущение бесконечно длящегося сна не покидало Женю: было интересно, но уже хотелось проснуться.

– А ты давно здесь? – спросила Женя.

– Полтора года. До этого в Финляндии работала. Но я здесь до осени. Осенью уйду. У меня жених есть, швейцарец, он банкир, так что я только

до конца контракта отработаю, и шабаш. – Тамар улыбнулась победной улыбкой, тряхнула головой, пучок ее распался, она выпила бокал шампанского и сделала небрежный жест в сторону Мишеля: – Еще закажи...

Мишель встал:

– Я пойду в баре закажу.

Он оставил их вдвоем – для свободы общения.

– Смотри, как тебе повезло, жениха нашла... – одобрила Женя. – Симпатичный?

– Я же говорю, швейцарец. Да все они симпатичные. Все богатые, жадные, чистоту любят. Тупые – в жизни не понимают, но бабки зарабатывают. Мне-то повезло – мой не из простой семьи, у него еще дед в банке работал. И не жадный. – Она выставила вперед расслабленную руку, на среднем пальце сверкнуло колечко. – Видишь? Подарил!

– А дома-то знают, что ты замуж здесь выходишь? – забросила Женя удочку в сторону украинского прошлого.

– Дома... тоже скажешь! Где он, этот дом... Я из дому десять лет как ушла. Мне четырнадцать лет не было.

– В четырнадцать лет? С родителями конфликты?

– Конфликты! – фыркнула девица. – Мать у меня была – золото. А папа капитан вообще, в белой форме ходил, фуражка с крабом...

Она приостановилась, какая-то мысль зашевелилась в маленькой голове:

– Мы в Севастополе тогда жили. Взрыв был на судне, отец погиб. Я маленькая еще была. Мама красавица, через год замуж вышла. А отчим, сама понимаешь, отчим. Подонок. Лупил меня почем зря. К кровати привязывал. Мать-то в смену работала. При ней он вроде ничего, а как она уйдет, так он набрасывается. Зверюга был. Садист. Я матери не жаловалась, я ее жалела. А подросла, он стал ко мне приставать. Как напьется, так и пристаёт. Изнасиловал меня, и я из дому убежала. А ты говоришь – что дома?

– Бедная девочка... Ты и хлебнула... – посочувствовала Женя.

Тамар звали Зиной, и она действительно хлебнула. Она была даже не из Харькова, а из заводского города Рубежное Харьковской области, с химзавода, и мама была не золото, а рабочая с производства, пьющая мать-одиночка, и папа в белом кителе был чистым плодом воображения, как и отчим, изнасиловавший в детстве, – но всё это Женя узнала через два дня, когда гуляла с Тамар по набережной Лиммата.

– Да. Много чего было. У тети жила, в Брянске, – работала, училась.

Повстречала парня. Богатый, красивый. Любовь была. Решили пожениться. Уже заявление подали. Он купил мне платье белое, брюлики, всё, что надо. Свадьбу заказали на сто человек. Одних цветов на тысячу баксов привезли... И в день свадьбы, утром, его расстреляли, прямо в машине, вместе с шофером и телохранителем...

Тамар стряхнула маленькую слезинку с угла глаза. Поправила волосы, опять стали видны круглые мышинные ушки. Руки у нее были короткопалые, с длинными наклеенными ногтями. Она была не так уж молода, но детскость ее была еще трогательней от замазанных гримом морщинок вокруг глаз... У Жени прямо дух перехватило от жалости: ей под тридцать, а всё еще играет в сказку...

– У меня подруга здесь в Цюрихе есть, Люда из Москвы, она раньше тоже в нашем бизнесе работала, не в нашем клубе, а в “Венеции”. Так она уже два года как замуж вышла. Муж банкир, она с ним разъезжает. У них два дома в Цюрихе, дом в Милане. Люда, конечно, класс, у нее четыре языка, она всё знает – говорит хоть о музыке, хоть о картинах. В прошлом году она домой ездила. А вот это – никто себе позволить не может.

– А что, очень дорого? – задала Женя совершенно нелепый вопрос, и Тамар захохотала.

– Да при чем тут “дорого”? Дорого – это само собой. Опасно! А ну как обратно не впустят? Мы здесь все живем еле-еле. Две тысячи – за квартиру. Одежда наша жутко дорогая, каждые трусы – стольник, бра – вообще от трехсот. Крем-шампунь купишь – всё, на жрачку вообще не остается. – Она спохватилась, растопырила пальчики. – Ну у меня, конечно, порядок. Даже и до Франца, моего жениха, у меня были клиенты... Я за сто франков не ходила, тысяча баксов ночь. Но вообще здесь оч-чень непросто жить...

– А вернуться не думала? – опять сморозила глупость Женя, и Тамар засмеялась громко, так что сидящая рядом парочка оглянулась.

– Ты что, больная? Что я там буду делать? На вокзал пойду? У меня здесь профессия, бизнес, я в кабаре работаю! Да там тыщу лет пройдет, пока до культурной жизни дойдут. А может, вообще никогда...

Им давно уже поставили на стол шампанское. Тамар, не совсем и заметив, автоматически выпила.

“Начинающая алкоголичка”, – догадалась Женя.

Мишель сидел в баре с марокканкой, которая в самом начале вызвала им Тамар. Марокканка была настоящая красавица. Женя переглянулась с Мишелем. Тамар поймала взгляд:

– И кого тут только нет – черножопые и косоглазые. Мы с подругой

в самом начале снимали с двумя черными. Ну такая деревня, слов нет. Мясо сырое ели! Одна потом померла. А вторая съехала. И мы наших девочек подселили. – Она спохватилась: – Это давно было, теперь-то я свою квартиру нанимаю...

Охранник от дверей делал знак Тамар. Она встрепенулась.

– Да ты заходи. Возьми у Мишеля мой телефон, хочешь, днем погуляем. Я тебе Цюрих покажу...

Охранник махнул ей еще раз, и она пошла к выходу. Там ждал ее человек в темном плаще...

Следующий день был пропащий – у Жени болела голова, и никакие ее любимые таблетки не помогали. Она провалялась до двух. Потом позвонил Луи, сказал, что скоро заедет. Женя, совсем уж собравшаяся выйти в город, прождала два часа, пока он объявился. Он привез ей конверт с деньгами – на расходы.

В одиннадцать вечера снова отправились по маршруту: ресторан – стриптиз-бар – кабаре. Мишель опять потащил Женю в какой-то дорогой ресторан, рассуждая в дороге о тонких различиях между богатством французским, швейцарским и немецким. Швейцарское представлялось ему самым тупым. Вообще патриотом он не был, ругал свою страну почти беспрерывно, и Женя про себя удивлялась, чего же он, свободный художник, не уедет в другое место, но пока не спрашивала...

Лада из бара “Экс-эль” была главным объектом Жениного изучения в первой половине вечера. Полнотелая, с большой, слегка усталой грудью, она была похожа на медсестру, воспитательницу и парикмахершу. А также на подавальщицу в рабочей столовой, продавщицу в хорошем продовольственном магазине и приемщицу в химчистке. И одновременно – на всех советских послевоенных звезд от Серовой до Целиковской. Пергидрольные волосы, красная блестящая помада и широта души...

– Здравствуй, Лада. Я из Москвы. Мне Мишель про тебя рассказывал. Говорит, ты про здешнюю жизнь лучше всех знаешь. Всё здесь сечешь, – начала знакомство Женя.

– Да мы здесь все сечем, – улыбнулась Лада и сразу же убрала улыбку. – А если чего не рассечешь, то тебе п...ц. Поняла, да?

– Ты давно здесь? – вопрос плохой, но обязательный.

– Здесь я три года, до этого я в Западном Берлине работала.

– А где лучше?

– Здесь лучше – и сравнивать нечего. И в материальном отношении, и по-всякому... Пьяный немец – тяжелый клиент. А здесь, считай, совсем и не пьют. Здесь гораздо приличней народ. А приезжие, сброд всякий,

они всюду одинаковые. Но в Цюрихе всякой швали меньше. Здесь место дорогое, шваль всякая сюда не идет. Я довольна здесь, – с достоинством провинциальной учительницы ответила Лада.

– А домой не собираешься? – поинтересовалась Женя.

– Раньше были такие мысли. Но теперь всё по-другому решается. Я замуж собираюсь, – улыбка внутренняя, тихая.

– Да что ты? За швейцарца? – обрадовалась Женя.

– За банкира. Состоятельный человек, не мальчишка, и, главное, он из хорошей здешней семьи, у него все банкиры до третьего колена. Прадед даже... – это Женя уже слышала...

– Много старше?

– Сорок два ему. Но женат не был. Мне тридцать четыре. Пора свою жизнь устраивать, – улыбается красными намаженными... Помада блестит ровной поверхностью, без единой трещинки – особая какая-то косметика. – Я ребенка хочу родить. Хейнц детей любит.

– А как ты вообще за границу попала? – задает Женя ударный вопрос.

– Длинная история, – загадочно улыбается Лада. Она улыбается после каждого слова. Она всё время улыбается. Это у нее вроде нервного тика. – Друг моего покойного жениха мне помог. Я из дому рано ушла, в четырнадцать лет. Работала, училась. Встретила человека – как в романе. Богатый, красивый, музыкант. В ансамбле выступал, по всей стране ездил. И накануне свадьбы – представь! – его убили. Может, ты в газетах читала, очень известная история была. И шофера его застрелили. Когда мне сказали, я полностью вырубилась, два месяца в больнице пролежала. Самоубийством кончала. Но друг его мне помог, он взял меня в свою группу на подтанцовку, и я поехала с ними в гастроли. И сделала ноги. – И снова она улыбнулась своей идиотской, изображающей загадочность улыбкой.

– Бедняга, сколько же тебе пришлось всего пережить, – посочувствовала Женя. – И родителей, наверное, сколько лет не видела...

– Да что родители? У меня отец был капитан дальнего плавания. Если в гости ко мне зайдешь, я тут недалеко, я тебе фотографию покажу – красавец, форма белая, парадная... Погиб молодым, при взрыве. А мама беспомощная, избалованная, сама понимаешь, жена капитана дальнего плавания, вышла замуж за его помощника, а он, скотина, меня лупил, издевался всячески. А когда подросла, он меня изнасиловал. Я из дома убежала... Сейчас и вспоминать не хочется, сколько всего было... Но, видишь, обошлось. А мама после того, как я убежала, умерла... Так что у меня в Вологде – ничего. Пустое место.

Мишель то подходит, то отходит, выпивку оплачивает. Все довольны. Женя вторую пачку сигарет распечатывает. Опять завтра будет голова болеть...

– Вот с Хейнцем поженимся, откроем дело... Небольшой клуб я бы открыла, только в хорошем районе. “Русский клуб” назову. А что? Здесь район – не очень... Я бы сама девушек из России привезла. Сейчас и с визами лучше. – Вдруг она оживилась. – Есть здесь у нас одна девушка из Москвы, Люда, я с ней знакома, но так, не особенно близко. С ней моя подруга дружит. Она уже два года как ушла из стриптиз-клуба, сейчас замужем за банкиром, в большом порядке.

На золотой цепочке, утопая между грудями, висит какой-то шарик. Лада вытаскивает его, поворачивает.

– Хейнц часы подарил. У меня через двадцать минут номер. Посмотришь, обалдеешь. У меня номер постановочный, не просто так... Я отработаю, вернусь... – Улыбка крупным планом.

Стриптиз голый, то есть без предметов, стриптиз с предметом, стриптиз парный, мужской, женский, наконец, стриптиз-сеанс, когда хорошему клиенту персонально демонстрируют всё от начала до конца – за особую плату...

Лада выступает со стулом. Стул – ее сексуальный партнер. Она его оглаживает, облизывает. Язык огромный, красный, увешан серебряными сережками или бубенчиками... Кажется, это стул снимает с нее перчатки, подвязки, трусики. В пупке – искусственный изумруд в сорок каратов. Лада отдается возлюбленному стулу с пылом артистической страсти.

Аплодисменты. Ладу приглашают выпить. Ладу приглашают потанцевать. Лада сегодня в ударе – об этом говорит Жене Мишель:

– Она сегодня отлично работала. Надо было сегодня снимать... Она опытная актриса, перед камерой не стесняется.

Ага, выходит, другие стесняются. Это интересно. Перед полным залом мужиков – не стесняются...

После выступления проходит часа полтора, прежде чем Лада возвращается к Жене:

– Ну, как тебе?

– Лада, класс! Лучший стриптиз за всю жизнь, – всего стриптизов Женя видела два – вчера и сегодня. И вчерашний был не хуже.

Снова сидят за столиком, перемалывают всё то же. Про папу-капитана, про насильника-отчима, про жениха... Странно, одна и та же история – второй раз.

А зовут Ладу Ольгой. Она из Иванова, закончила ПТУ. Работала

прядильщицей. Зарплату по полгода не выплачивали. Уехала на заработки в Питер. В проститутки. Хорошо зарабатывала. За вечер – сколько на фабрике за полмесяца. Это два дня спустя, сидя в кафе, где Ленин кушал стрudel, расколется девочка. А пока – про здешнюю жизнь.

– Вы наших девочек не слушайте. На нашу зарплату здесь не проживешь – хватает только за квартиру заплатить и на одежду. Здесь костюмы очень дорогие...

Костюмы – трусики с блестками и бюстгальтер в стекляшках или что-нибудь кожаное... И бубенчик в языке, и изумруд... “Профодежда”, – улыбается про себя Женя.

– А кормись – как хочешь, – и жалуется и хвастает одновременно Лада. – Вот у меня, к примеру, есть своя клиентура – тысяча баксов в ночь. А так ведь все наши девочки, – лицо презрительно кривится, – за двести франков ходят. К тому же я здесь работаю только до осени. Осенью мы с Хейнцем поженимся, и я открываю дело. Он банкир, он меня поддержит... У меня здесь подруга есть, Люда из Москвы. Тоже у нас работала, так вот она замуж вышла и открыла свое дело... – по второму кругу заходит Лада.

Ну конечно, у них алкоголизм – профессиональное заболевание. “Надо будет попросить Мишеля познакомить с этой Людой”, – решает про себя Женя.

Оказывается, Мишель Люду прекрасно знает. Она сейчас в отъезде. Непременно познакомит, как только та появится...

Женя продолжала свою ежевечернюю вахту. День второй, третий, четвертый: Аэлита из Риги, Эмма из Саратова, Алиса из Волхова и Алина из Таллина... Сидит в барах ночами, выпивает с девушками понемногу, болтает о том о сем. С вечера алка-зельцер, утром алка-зельцер. Записывает вчерашние разговоры. Встречается с девочками, гуляет – то есть сидит с ними в приличных кафе, угощает их на Мишелевы деньги – телевидение оплачивает счета – пирожными и разговаривает, разговаривает. Им нравится о себе рассказывать. А Женин навык ученого заставляет ее анализировать их бесхитростные лживые рассказы, и она выстраивает типовую конструкцию...

Мишель появлялся только по вечерам. Он все-таки хотя и очень милый, но странный. Вдруг притащил ей из гардероба своей жены Эсперансы целую кучу платьев, бросил Жене на постель:

– Это проклятое барахло никому не нужно! Здесь целое состояние прокручено! Бедная мартышка...

И заплакал. Женя опять ни о чем не спросила. В другой раз пришел

с Женей в бар, на работу, сидел мрачный, потом куда-то делся на три часа и пришел к самому закрытию – всё лицо в каких-то сажевых разводах... И глаза опять сияют голубизной... Никогда Женя такого не видела – чтобы цвет глаз два раза в неделю менялся... Провожал домой и всю дорогу радовался, как щенок.

“Неврастеник – такие резкие перепады настроения”, – подумала Женя.

Подошли к двери пансиона, он говорит:

– Если хочешь, я у тебя останусь. Ну?

Женя засмеялась:

– Мишель, ты мне почти в сыновья годишься...

– Это не имеет никакого значения... Скажи “да”, и я останусь...

– Нет. Иди спать... Ты устал...

– Ну нет... Я пойду спать к Тамар... Или к Аэлите...

Наконец, рабочая встреча: продюсер Луи с портфелем, Мишель в ореоле умопомрачительных духов, Женя с десятком листков, исписанных мелким почерком.

– У меня есть семь персонажей, – начала Женя, – семь подлинных историй, за достоверность которых я не ручаюсь, но, скажем, семь приблизительно подлинных историй. И есть одна сверхистория. Это и есть тот ключ, которого тебе, Мишель, не хватало. Дело в том, что первоначально все девушки рассказывают одну и ту же вымышленную историю, в которой фигурирует хорошая мать, хороший отец – в пяти случаях девочки изображают отца в виде капитана в белом кителе. Далее – смерть отца, злой отчим, изнасилование в отрочестве – обычно именно отчимом, побег из дому, встреча с возлюбленным, несостоявшаяся из-за неожиданной смерти жениха свадьба...

Мишель пытается задать вопрос, но Женя останавливает его жестом: погоди, сначала я изложу... Он от нетерпения просто подскакивает на стуле...

– После смерти жениха возникает друг жениха, который помогает уехать за границу. Он оказывается негодяем, толкает девушку на путь профессиональной проституции. Но теперь как раз она встретила замечательного человека – в среднем этот новый жених банкир, но иногда владелец собственного бизнеса, – и они скоро поженятся...

Вероятно, все они прочитали одну и ту же книжку или посмотрели какой-то фильм, который произвел на них впечатление. Ты, Мишель, совершенно прав, мы имеем дело с очень инфантильным человеческим типом, в котором действительно много трогательного... И последнее, что я могу сказать: все или почти все девочки упоминали о Люде из Москвы.

Она какая-то местная героиня. И мифологический персонаж. Надо с ней встретиться, мне кажется, она и есть ключевая фигура будущего сценария.

Мишель вскочил и набросился на Женю с поцелуями:

– Гениально! К черту документальное кино! Этот капитан в белом кителе, насильник-отчим... А девочка, такая русская Лолита, бежавшая из дому... – Мишель стоял посреди комнаты, распахнув руки, и слезы текли из его черных в этот день глаз. – Она стоит на обочине дороги, голосует, а мимо идут траки, груженные траки из Германии, и никто не останавливается, и идет дождь... И расстрелянный накануне свадьбы жених... русская мафия... Гениально! На Оскара! С Натали Портман в главной роли! О-о! – застонал Мишель и схватился за сердце. Потом вскочил и снова набросился на Женю с поцелуями:

– Это будет как Достоевский! Даже лучше! А с Людой мы увидимся сегодня вечером. Она вчера приехала и мне звонила... Хотя она нам совершенно не нужна... Я уже не хочу никакого документального кино! Будем делать игровое! К черту эту документальную дребедень...

Луи сидел совершенно безучастно. Когда Мишель закончил свой бурный монолог, он развел толстыми ручками и, надув губы, сказал:

– Мишель, ты как хочешь... Но я в этом проекте не участвую. Я нанимался на документальное кино для швейцарского телевидения. А этот проект... На него надо искать денег полгода или год... И вкладывать тебе свои я на этот раз не позволю...

Мишель засмеялся:

– Луи, ты просто как ребенок! Женя напишет сценарий так, что три четверти его мы снимаем в России. Покупаем там услуги. Там же всё даром! Мы наймем русского оператора – у них есть несколько гениальных операторов! И композитора! И художника! А техника, пленка – наши. Три копейки будет стоить фильм! Ты же знаешь!

– Нет, нет. Абсурдная идея, – уперся Луи.

– Хорошо! Не веришь, не надо! Женя пишет сценарий, и будем разговаривать, когда сценарий будет готов. А сценарий я оплачу из своего кармана. Вот так!

Далее всё покатилося с кинематографической скоростью. Встреча с Людой была назначена в том кабаре, где она когда-то работала. С хозяйкой, немолодой немкой, бежавшей из Восточного Берлина еще в шестидесятых, Женя уже была знакома. Ее звали Ингеборг, и она уже сделала свою большую карьеру – из простой труженицы панели выросла до хозяйки заведения. Она была хорошая баба, девочки ее любили. Людой она гордилась как лучшим своим произведением.

Ждали Люду долго – она появилась с часовым опозданием: высокая блондинка с зубастым ртом и проваленной переносицей. Хорошенькая, как юная смерть. Элегантная, как модель от-кутюр. При ней муж, розовый колобок ей по грудь. С лицом приветливым и веселым. Расцеловались очень сердечно. Мишель поцеловал Люде руку, и Женя, уже усвоившая повадки режиссера, поняла, что это подчеркнутое почтение как раз и выдает их былые более близкие отношения...

Люда заговорила, и это был высший шик – одновременно на четырех языках: с Женей по-русски, с Мишелем по-французски, с Ингеборг по-немецки, а со своим мужем, уроженцем Локарно, по-итальянски.

– Люда, вы просто лингвист! – восхитилась Женя. – Вы так прекрасно говорите на иностранных языках...

– Да какой я лингвист, кончала я иняз имени Мориса Тореза, там лингвистов не готовят, так, долметчеры... толмачи... – улыбнулась Люда зубастым ртом, и Женя еще более поразились: внешность хотя и стильная, но безукоризненно блядская, а словарный запас – столичной женщины хорошего круга. По-видимому, так оно и есть.

История Люды оказалась отличной от всех прочих: девочка из приличной семьи, дедушка-профессор, квартира на Кропоткинской улице. Почтенные родители. Никакого изнасилования в детстве. Напротив, музыкальная школа и кружок в Доме ученых, художественная гимнастика... Институт с отличием. Счастливый поначалу брак с однокурсником, выезд на работу за границу. Очень тяжелая травма: муж оказался с гомосексуальными наклонностями и ушел от нее к юноше. В результате у Люды произошел нервный срыв – потеряла работу. Устроиться трудно, пошла в стриптиз. Здесь, в Цюрихе, жизнь очень дорогая, зарплаты едва хватало на квартиру. Ночью работала в стриптиз-клубе, днем – делала переводы. Кое-как вытягивала. А потом встретила Альдо. Здесь, в этом самом клубе, с ним и познакомилась. Он банкир, состоятельный человек, так что она свою жизнь устроила удачно...

“А пьет она очень прилично”, – заметила Женя. Пришла, несвежая была. А пока разговор разговаривали, Люда выпила четыре бокала шампанского.

В какой-то момент Женя вышла в туалет. Здесь Женю ожидала маленькая неожиданность: служащая в туалете, “пипи-дам”, тоже оказалась из России. Видимо, из тех, кто на большой сцене не прижился, а уезжать не хочется... Женя сделала свое дело и по инерции заговорила с женщиной. Оказалось именно так, как Женя и предположила: из Краснодара, работала в Германии, теперь здесь...

Женя стояла у зеркала, смотрела на себя и сама себе говорила: куда же тебя, дорогая, занесло?

В этот момент, изящно покачиваясь и слегка вращаясь около каждой дверной ручки, вошла Люда... Она была совершенно пьяна. Ринулась в кабинку, поблевала, пописала. Вышла. “Пипи-дам” ей тут же сунула в руку стакан. Люда прополоскала свой зубастый рот, прыснула в него дезодорантом. Села на козетку. Увидела Женю – любезность вдруг сошла с лица, как косметика... Закурила, скривилась и обратилась вдруг к Жене на языке уличной девки:

– А чего ты, мля, здесь делаешь? Кто за тебя платит? Чего тебе вообще надо?

Как это бывает с пьяными, у нее, видимо, произошел слом, и Женя отвечала ей ласково:

– Да я сценарий пишу, Людок, про русских девушек в Цюрихе. А ты здесь – главная героиня: все про тебя говорят – Люда из Москвы...

– А ты как, ручкой пишешь или на диктофон? – спросила Люда с новой интонацией.

– Ну, есть у меня диктофон... – призналась Женя, – но с тобой мне просто интересно поговорить. Так, по-человечески...

И тут Люда превратилась вдруг в совершенную фурию. Попыталась встать, но плюхнулась на козетку:

– Ах ты, сука казенная, заложить всех хочешь? Дома по пятам ходили, и здесь достали... Да я тебе пасть порву... – И она сделала плечиками такое движение, как фильмный актер, который урку играет...

И тут на Женю накатила какой-то истерический хохот.

– Людок, сестричка моя! – завопила она сквозь смех. – За кого ты меня-то принимаешь? Ты что, сбрендила? Может, ты думаешь, я в своей жизни говна не кушала?

Женя обняла Люду за плечи, и та уронила голову ей на плечо и начала рыдать. Сквозь рыдания прорывался знакомый текст, но выраженный ярче, чем это делали ее менее одаренные коллеги.

– А ты за три рубля не сосала у трех вокзалов? А на хор тебя не ставили? А в подъезде ты не давала? Да, я Люда из Москвы! Королева, ебена мать! Только я не Люда и не из Москвы! Я Зоя из Тулы! И профессоров у нас в родне не было. Прислугой в профессорском доме у евреев – да, работала! Внучку их на кружок в Дом ученых водила... А у меня – шахтеры все. Папаша, отчим. И мама моя до сих пор на шахте работает. Диспетчером. И пьяница отчим, сейчас сидит, хотя, наверное, помер уже. Изнасиловал меня, когда мне одиннадцать лет было... Да я

школу с золотой медалью!.. И в институт я поступила! Но как меня в “Национале” милиция загребла, так и вып...или из института... Хорошо, не посадили, всем отделением отхарили и отпустили... Да я бы, может, сама бы профессором стала, если бы не приходилось мне с первого курса п... зарабатывать. Мне языки даются – как не фи́га делать... Я ухом всё ловлю, без учебника... – Она высунула длинный розовый язык, покрутила высокоорганизованным орудием профессионала.

Дальше рассказ шел по полной программе: жених, смерть накануне свадьбы, злой гений...

Текли пьяные слезы, жидкие сопли... Она икала, размазывала водостойкую тушь по впалым щекам.

– Людочка, не плачь, – гладила ее Женя по плечу. – Ты всё равно здесь самая удачливая. Тебе все девчонки завидуют. У тебя и бизнес, и Альдо-муж...

– Писатель ты гребаный, – еще горше заплакала она. – Ну что же ты ни хера не понимаешь, инженер человеческих душ! Ну да, женился он! Я на него пашу как папа Карло, я сегодня под тремя клиентами полежала. Четыреста франков – all included... Один был араб лет шестидесяти, двустволка и гадина. Второй – немец из Баварии, жадный до умопомрачения. Я себе воды минеральной в стакан налила, а он спрашивает: кто платит за эту воду... А третий, – она захохотала, – лапочка! Молодой япошка, ну совсем без хера. Но какой вежливый... А про тысячу баксов – забудь. Мечта всех здешних идиотов. Такие деньги, может, только Наоми Кемпбелл дают...

Женя выволокла Люду из туалета. Розовый Альдо посмотрел на Люду недобрым глазом – и Женя поверила всему, что Люда только что о себе рассказала...

А еще через день Женя уехала. С Мишелем у нее был заключен договор на написание сценария. Такая сучья жизнь. Такая убогая ложь. А правда – еще более убогая. Но Мишелю хотелось сказки. Городского романса. Мелодрамы для бедных. Воплощения мечты всех девочек мира – простодушных, алчных, глупеньких, добрых, жестоких, обманутых...

Женя получила тысячу баксов аванса. Ту самую сумму, которую все они мечтали получить за ночь...

Вернулась домой. Дома было всё по правде, очень трудно и напряженно. Женя ходила на работу и писала сценарий. В Москве эта история выглядела всё нелепей и ненужней.

А через полтора месяца позвонил Луи, сказал, что Мишель умер от передозировки героина. И случилось это на следующий день после

похорон его жены Эсперансы, которая умерла в клинике от СПИДа. Луи плакал. И Женя тоже плакала. Наконец-то весь этот бред закончился, и всё получило свои объяснения, в том числе и цвет глаз: голубой, когда зрачок сжимается в иголочку, и черный, когда он расширяется и занимает всю радужку, – в зависимости от дозы...

Проклятые эти кабачки не выходили из головы несколько дней. Наконец, купила пять бледных, глянцевиных, ровненьких... Поздно вечером пожарила, а утром наскоро приготовила соус и попросила Гришку завести продукты питания Лиле. Кроме кабачков, образовался салат свекольный и творожная заправка. Зубов у Лилки практически не было. Мозгов тоже было немного. И красоты. Собственно, состояла она из большого жидкого тела и тихой доброты... Тихой доброта ее стала после болезни, а пока была Лилка здорова, доброта ее шумела, ахала, восклицала и несколько даже навязчиво предлагала собой воспользоваться. И пользовались все кому ни лень. Смешно: девичья фамилия Лили была Аптекман, а профессия – фармацевт. Провизор по-старому. Тридцать лет просидела она в первом окне, улыбалась всем неразборчиво и старалась всем всё дать, достать, разыскать... А потом грохнул инсульт, и уже три года ковыляла она по дому, опираясь на хорошую заграничную палку с подлокотником и волоча за собой отстающую левую ногу. И рука левая тоже была теперь скорее для виду – дела не делала...

Лилю Аптекман Женя с детства терпеть не могла. Жили в одном дворе на старой улице, трижды за их жизнь поменявшей название. Родители были знакомы. Говорили даже, что Женин дедушка в возрасте лет восьмидесяти сватался к Лилкиной бабушке, молодой старушке лет шестидесяти пяти. Но Женя в это не очень верила: что мог найти интеллигентный дедушка, достойный врач-отоларинголог, любитель Шуберта и Шумана, читающий на латыни речи Цицерона, в Лилиной бабушке, всегда улыбающейся шелковой тумбочке с усами и напевной речью украинского местечка? Женю в те времена из себя выводила Лилина шумная невоспитанность, обжорство и непомерное любопытство. А Лиле всегда хотелось с Женей дружить – только Женя ее к себе и близко не подпускала.

Разъехались, расстались на долгие годы, и нисколько друг о друге не вспоминали. Может, и не вспомнили бы до смерти, если б десять лет тому назад Женя не рыскала по всей Москве в поисках редкого и дефицитного лекарства для умирающей матери, и какая-то дальняя подруга обещала достать нужное лекарство через другую дальнюю

подругу, аптекаршу. Но и тогда Женя не догадалась, что аптекарша окажется Лилей Аптекман. Однако неразоблаченная до времени аптекарша сама неожиданно позвонила, уточнила дозировку, кого-то попросила, где-то заказала, сначала что-то срывалось, а недели через две после первого разговора позвонила сама и радостным голосом сообщила, что достала... Жениной матери тогда уже начали вводить какой-то другой, более тяжелый препарат, и было ей совсем плохо – Женя сидела целыми днями в больнице. И незнакомая аптекарша притащилась с лекарством сама – сказала, что ей по пути, живет в двух остановках...

Женя открыла дверь незнакомой толстенной тетке в красивых очках, и та сразу же заголосила:

– Женечка! Ну ведь сразу мне показалось, что голос знакомый! Дорогая ты моя! Так это для тети Тани, выходит дело, винкристин-то я доставала! О господи! Женечка! Да ты ни чуточки, ни капли не изменилась! И талия! Талия-то какая! Не узнаешь меня? Неужели я так изменилась? Я Лиля Аптекман из восемнадцатой квартиры...

Женя в ошалелом недоумении смотрела на толстуху с густо накрашенными под очками глазами, пытаюсь раскрутить нить сходства с кем-то... с чем-то... Толстуха, всё продолжая радостно голосить, стянула с рук непарные варежки, поставила на пол две сумки, а из третьей стала доставать картонные упаковки с лекарствами, разглядывая надпись на каждой...

– Лиля Аптекман! Сколько же лет? – довольно вяло отреагировала Женя.

И всё-всё вспомнила – толстую девочку, жующую то пирожок, то ватрушку, и ее старшую сестру-красавицу, и отца, здорового краснолицего хозяйственника, которого возила служебная машина, а потом однажды увезла надолго, лет на пять... И даже вспомнила, как вернулся освободившийся Лилькин отец понурым старичком. А потом уж сидел на лавочке с прочими доминошниками и выпивал с ними. И всплыла даже случайная картинка, как Лиля, уже вполне взрослая грудастая девица, ведет своего подвыпившего отца домой и плачет горькими слезами... И больше уж ничего не помнила, потому что Аптекманы куда-то съехали...

– Раздевайся, что же ты в дверях стоишь, Лилечка? – И Женя переставила пузатые сумки с пола на табуретку, и стала стаскивать с Лили мохнатое потертое пальто, тяжелое, как могильная плита. А Лиля всё продолжала причитать:

– Зайду, конечно, зайду. У меня как раз свобода необыкновенная – обычно я домой как угорелая несусь, а сейчас каникулы, дочек в зимний

лагерь ВТО отправила, а Фридман мой в командировке... Ой, какая радость, Женечка, что я тебя нашла! Сейчас расскажешь мне всё-всё. Ты же всегда была такая необыкновенная! Ты всегда самая умная была, а я дура-дурой... и обижалась, что ты со мной дружить не хочешь. А ведь ты была лучшей моей подругой: много-много лет, да всё детство, считай, я с тобой перед сном разговаривала. Теперь могу сказать – исповедалась...

Лиля говорила быстро, громко и с выражением – как третьеклассница читает наизусть стишок.

– Есть хочешь? А то чай поставлю? – спросила устало Женя. Час был одиннадцатый, а дел еще было невпроворот.

– Нет, есть не буду... Разве чуточку... А чаю попью, конечно...

И Женя обреченно пошла на кухню, а Лиля за ней, шумно шлепая мужскими домашними тапочками.

– Нет, ты только подумай, надо же такому случиться. Я звонила и в центральную, в кремлевскую, все свои связи задействовала, всем говорю – родственнице нужно. А ведь так и есть – ты мне как родня. Тетю Таню как жалко-то! Знаешь, эта химия, она очень эффективная, только сама по себе больно злая.

Женя кивнула. Она уже знала, что мать умирает сейчас не от рака, а именно от химии, которая сжирала злокачественные клетки, и опухоль вроде как рассасывалась, но жизнь утекала еще быстрее...

– А я всё в ваше окно заглядывала: ты сидишь за пианино, играешь, а на пианино два подсвечника стоят. И еще картина висит – пейзаж леса, красивая такая картина, в раме золотой... Я ведь и прадедушку твоего помню, в черной шляпе ходил, полны карманы конфет мятных... В сапожную мастерскую, бывало, идет, полная сетка старой обуви, остановится посреди двора, и конфеты детям раздает...

Женю как прожгло: эти воспоминания принадлежали только ей, никто на свете, кроме мамы, которая почти совсем ушла, не мог помнить этот снимок летнего дня, где в центре двора, высвеченный прожекторами памяти, стоял прадед, родившийся в восемьсот шестьдесят первом, в год отмены крепостного права, и умерший в девятьсот пятьдесят шестом... в черной шляпе, с белой стриженной бородой, из-под которой виднелся толстый узел полосатого серо-голубого галстука... И авоська со старой обувью, и конфеты в карманах – всё было правдой, но правдой личной, Жениной. Но вот, оказывается, есть на свете еще один человек, который может подтвердить и засвидетельствовать, что та жизнь, раздавленная хамским асфальтом Нового Арбата, не ей одной приснилась...

– Лилечка, неужели помнишь?

– Конечно, всё помню до последней копейки... И домработницу вашу Настю, и кошку Мурку, и диванчик с пледом в столовой... и бабушка ваша – какая дама была, Ада Максимилиановна, в костюме ходила в клеточку “куриная лапка”... иностранка настоящая...

Лиля зашмыгала носом.

– Полячка, – прошептала Женя, – да, и костюм в клеточку...

Тут Лиля сняла очки, достала темный мужской платок и стала промокать потекшую тушь. Делала она это ловко, умело, пальчиками подправляла слипшиеся ресницы. Потом достала косметичку, вытащила из нее маленькую картонную коробочку с отечественной грубой тушью, жирный карандаш для глаз и круглое сумочное зеркальце и, закусив губу, начала подмалевывать расплывшуюся красоту... Закончила, уложила свое дамское бедное хозяйство на место, сунула в сумку и, сложив перед собой смирно, по-школьному, небольшие для общего ее размера руки, начала повествование...

– Я очень счастливая, Жень. Муж хороший, дочери красавицы.

Форма высказывания никак не соответствовала содержанию – уж больно грустной была интонация. Лиля вздохнула и добавила:

– Более всего я была счастлива как мать моего старшего сына. Он умер, когда ему было десять лет.

Тут Женю прожгло во второй раз.

– Он был... Ангел он был. Таких людей не бывает. Пришла я с работы, а он лежит на диване – мертвый. Аневризма у него была, а никто и не знал, – пояснила Лиля. – Здоровый мальчик, хоть бы что, и не болел никогда, а вот так – пришел из школы – и умер. Я бы повесилась, если б не девочки. Им тогда полтора года всего было...

Смутное подозрение мелькнуло у Жени – однажды она уже слышала историю об умерших детях...

– А с ними... всё в порядке?

– Слава богу! Я же говорю тебе, красотки уродилась.

Она надела очки, взглянула на Женю крепко накрашенным глазом, снова порылась в сумочке и предъявила фотографии из фотоателье: две сладкие юные пупочки с расчесанными гривками, с капризными губками, сидели, манерно вытянув навстречу друг другу безупречные шеи...

– Но я о другом хочу тебе рассказать, Женечка. Я выжила с Божьей помощью.

А Сереженька привел меня к Господу. Через полгода после его смерти я крестилась. Родня моя – папы уж не было, – но мама, тетушки все,

сестры, разговаривать со мной перестали. Но потом всё наладилось. И стало мне хорошо. То есть плохо-то плохо, но Сережа через Господа нашего со мной остался, и я присутствие его очень чувствую. И знаю, что, как всем нам, христианам, обещано, что не в этой жизни, в другой, он встретит меня в ангельском облиии... Только вот с чем не могла справиться – всё плакала. Обед варю, или в окне сижу, с людьми разговариваю, или просто в троллейбусе, и даже не замечаю, что слезы текут. Люди-то замечают. Я подумала, подумала, и стала глаза красить. Тушь-то щипучая, как слезы течь начинают, я сразу спохватываюсь. Двенадцать лет прошло, а всё текут-то слезы... Я уж привыкла краситься, как утром встаю, первым делом...

И опять пробило Женю, и в носу защипало.

Теплые глаза Лилины были накрашены как у площадной бляди, а лицо такое светлое, как будто она и сама уже находилась в ангельском облиии, полагаящемся ее умершему Сереже...

Лиля говорила, говорила, а когда посмотрели на часы – без малого час ночи.

– Ой, какая же я болтливая! – сокрушилась Лиля. – Совсем тебя заговорила! Но ведь как хорошо поговорили, Женечка. Троллейбус уже, наверное, и не ходит.

Женя предложила остаться. Лиля легко согласилась. Доела, вкусно жуя и подсасывая воздух, остатки творожной запеканки. Выпила еще чаю. А в два часа, когда Женя постелила ей на кушетке в проходной комнате, Лиля, уже снимая с себя толстую кофту цвета пожарной машины, сказала Жене:

– Женечка, а тетя Таня крещеная?

– Бабушка с дедушкой были лютеране. А мама – не знаю.

– Как это? – изумилась Лиля.

– Старики наши поженились до революции, и оба приняли лютеранство. Дед происходил из еврейской семьи, бабушка католичка, и иначе они не могли бы пожениться... А мама моя неверующая. Я даже не знаю, крещеная ли. Если крещена, то лютеранка...

– Да что ты? – изумилась Лиля. – Надо же, лютеранка... Но это всё равно, ведь лютеране тоже христиане. Давай я к тете Тане священника приведу.

Женя смотрела на волнистый сугроб Лилиного тела, уютно расположившегося под одеялом, на отмытое от краски немолодое лицо в морщинках и родинках – половина ее благодарной улыбки утонула в промявшейся подушке.

Какая же она хорошая женщина, – подумала Женя.

Лиля приподнялась с подушки, взяла Женю за руку:

– А священника привести надо, Женечка. Обязательно надо. Потом себе не простишь...

Да, да, очень хорошая, – думала Женя. – И в детстве была хорошая, только совсем уж бессмысленная. А теперь ее глупая энергия нашла свое русло. Странно, что христианское...

Татьяна Эдуардовна умерла в ту же ночь, так что ни лекарство, ни священник не понадобились.

Лиля на похоронах горько плакала, промокая текущую с ресниц тушь. Горевала, что опоздала, не привела к Татьяне Эдуардовне священника, да и сама не простилась. А Женя плакать не могла. Держала свою холодную руку на еще более холодном материнском лбу и составляла в уме длиннейший список того, чего в своей жизни она для матери не сделала... Она была большой мастер составления списков дел...

Лиля прилепилась к Жениному дому. Женя не выбирала ее в подруги: Лиля по своему человеческому назначению была родственницей. Всем родственницей. И Женя сдалась. Раздражалась, отбиваясь от Лилькиных духовных и медицинских забот, от неустанной домодеальной пропаганды спасительного христианства, временами рывкала, но не могла не умиляться неутомимой Лилькиной готовности всем помочь, и немедленно. Она всё глубже вникала в странную Лилину жизнь: та была человеком служения – опекала, облизывала и нянчила не только своего надутого неумного мужа и капризных вертлявых дочек. Так же беззаветно она служила своим подругам, друзьям и просто покупателям, совавшим свои рецепты в ее первое окно, сумками таскала лекарства знакомым и незнакомым и заливалась глубокой краской обиды и негодования, когда благодетельствованные ею люди совали ей коробки с шоколадом или духи... Жила, едва сводя концы с концами, замотанная, избеганная, со жгучей тушью на глазах, растворяющейся от самовольных слез... И бегала так годы и годы: что-то кому-то везла, навещала каких-то старушек, вечно всюду опаздывала – даже на свои воскресные церковные службы, куда всё зазывала стойкую Женю...

А потом ее сбил инсульт. И сразу всё посыпалось: уехав в командировку, забыл вернуться муж, засмотревшись на какую-то молодуху... девчонки, сраженные этими событиями, никак не могли взять в толк, за что жизнь подложила им такую свинью. Мама теперь не выжимала им по утрам свежих соков, не стирала, не гладила, не приносила в дом продуктов, не готовила еды, и вообще ничего

не делала, а, напротив, от них ожидала всего того, к чему были они не приучены. Они увиливали от необходимости делать всю эту презренную работу, сваливали ее друг на друга и постоянно ссорились.

Лиля долго восстанавливалась. Она вела героическую жизнь – часами мяла и дергала парализованную левую, делала какие-то нелепые китайские упражнения, до изнеможения терла вялое тело волосяной щеткой, катала шарики руками и ногами, и как-то постепенно она встала, заново научилась ходить, одеваться, кое-как управляясь одной рукой.

Женя, прежде избегавшая Лилиного дома, теперь часто заходила к ней – то приносила какое-нибудь простое угощение, то подбрасывала денег. К удивлению своему, Женя обнаружила, что множество людей, по большей части из церковного окружения, постоянно приходят к Лиле, сидят с ней, выводят погулять, помогают по хозяйству... На дочек рассчитывать особенно не приходилось – они страстно предавались молодой жизни, в которой было множество разных предложений, как в газете “Из рук в руки”. Иногда, по вдохновению, они совершали хозяйственный подвиг: убирали квартиру или варили обед, и каждый раз ожидали не то похвалы, не то ордена... Лиля всякий раз благодарила, тихо радовалась и сообщала Жене:

– Ирочка сварила постный борщ! Такой вкусный!

– Да что ты говоришь? Неужели сварила? – свирепела Женя.

А Лиля кротко улыбалась и оправдывалась:

– Женечка, не сердись, я ведь сама во всем виновата. После Сережиной смерти я же была как безумная. И баловала их безумно... Что теперь с них спрашивать?

Лиля говорила теперь негромким голосом, медленно. Превенная ее энергия уходила теперь целиком на то, чтобы дошаркать до уборной, натянуть одной рукой штаны, кое-как умыться, почистить зубы. Выдавить из тюбика пасту на щетку одной рукой тоже надо было приспособиться. Женя едва не плакала от сострадания, а та, улыбаясь кривоватой улыбкой, объясняла:

– Я слишком много бегала, Женечка. Вот Господь и велел мне посидеть и подумать о своем поведении. Я и думаю теперь.

И была она тихая-претихая, и старая, и седая, и глаз она больше не красила – утратила мастерство, – и слезы иногда подтекали из поблекших глаз, но это не имело никакого значения... Женя, уходя, бросала на себя взгляд в зеркало – она была еще хоть куда, больше сорока пяти не давали, – и бежала вниз по лестнице, некогда было ждать лифта, дел было невпроворот – длинный список...

Книжка была не записная, а деловая – черная, без всякой игривости, и формата достаточно большого, немного до А4 не дотягивала. Кто этого не понимает, тому и объяснять не стоит. Столбцов в книжке было три – под литерой “И” – издательские, “Д” – домашние и “ПР” – прочие.

С первым столбцом всё обстояло относительно благополучно – Женя полгода как обзавелась помощником Сережей, молодой парень, моложе Гришки. Здорово много ему платила, но, как оказалось, не зря: постепенно он принял на себя все типографские дела и частично дистрибьюторские. Продохнула...

По части “Д” обстояло хуже: старая машина барахлила всю последнюю неделю и ясно было, что пора ее либо отправить к механику, либо вовсе продать... Окончательно сломалась стиральная машина, надо было вызвать мастера и потерять целый день. А может, проще купить новую, а эту отправить на помойку. В списке было еще несколько трудных пунктов. Женя подумала, подумала и решила, что пора настала сделать то, без чего ей удавалось прожить всю жизнь: нанять домработницу. И она вписала во второй столбец еще один пункт – “ДР”. Тогда, если большую часть дел “Д” перекинуть на “ДР”, можно было бы выполнить 18 пунктов раздела “ПР”. Там, в “ПР”, записаны были застарелые и не вполне обязательные дела: что кому она обещала и не сделала, или собиралась сделать, но не успела, или не обещала, но считала своим долгом... Зброшены были две престарелые тетушки, и отцу старого друга, девяностолетнему оперному певцу собиралась отвезти столик, и травы лежали для тетушки Марии Николаевны уже неделю, и годовщина маминой смерти, надо на кладбище заехать, и разыскать диковинного врача вертебро-невролога для Кати, и купить подарок для внучки Сонечки, и послать, чтобы дошел в срок, ко дню рождения, и Сашка просил... а Гришке надо... и выбрать день, целый день с утра до вечера, чтобы съездить с Кириллом на дачу, потому что муж по мере старения становился всё обидчивее, и давно уже собирался обидеться, что она не едет с ним на дачу, и ему приходится тащиться на электричке, а потом с рюкзаком яблок возвращаться по темноте в город...

Женя подумала, покусала колпачок шариковой ручки и набрала номер подруги Аллы, которая давно убеждала ее, чтоб она наняла в домработницы одну из тех кавказских беженок, с которыми Алла работала...

Алла обрадовалась и пообещала прислать хоть завтра и хоть десять...

И тут же начала рассказывать о бакинской горемыке, которая уже десять лет скитается по России и не может найти себе места, потому что сама армянка, а муж ее покойный был азербайджанец, и фамилия у нее Гусейнова, и теперь армяне не оказывают ей никакого содействия за фамилию, а азербайджанцы – за национальность... Но Женя давно уже знала, что благотворительностью занимаются исключительно странные люди, а нестранные работают в нормальных организациях, и потому перетерпела длинный рассказ об одной, и еще о другой, и о третьей...

В конце двадцатиминутного разговора, – прижимая трубку к уху, Женя как раз закончила мытье вечерней посуды, – Алла обещала прислать чудесную чеченскую женщину, которая будет и убираться, и продукты купит, а уж приготовит так, как Жене и не снилось... Звучало заманчиво. Только положила трубку, как раздался звонок. Женя мельком взглянула на часы – без четверти двенадцать.

– Шалом! – радостно и энергично приветствовала трубка. – Это Хава!

Хава была бывшая Галина Иванова, года три тому назад обратившаяся в иудаизм и горячо пропагандирующая Тору как единственно верное учение в кругу всех тех, кто соглашался ее слушать. На Женю она поначалу возлагала большие надежды по части обращения, но натолкнулась на каменную стену атеизма и бездуховности, о которую разбилась горячая волна свежеиудейского энтузиазма.

Пять минут, – поставила Женя регламент самой себе.

– Как поживаешь? – спросила Хава.

Русское “Как поживаешь?” отличается, как известно, от английского тем, что предполагает развернутый ответ. Но Женя ответила по-английски:

– Хорошо. А ты?

– Ой, – вздохнула Хава. – Ты меня не выручишь?

– Возможно. А какого размера бедствие? – Женя время от времени давала ей в невозвратный долг, и обрадовалась, что разговор сразу вошел в практическую плоскость. Галя, с тех пор как уверовала во Всевышнего, ушла с работы и целиком посвятила себя служению. К тому же изучение иврита в неполные пятьдесят тоже дело не пустяковое. И духовное развитие пошло полным ходом, хотя с деньгами стало хуже. Женя в помощи не отказывала – такая была история их отношений – однако вопрос “На что тебе?” всегда задавала...

И на этот раз задала. И получила подробный ответ. Нужны были Хаве тридцать два доллара на приобретение двух книг по Священному Писанию.

Женя хмыкнула – ну-ну...

– Дать я тебе тридцать два доллара могу, Галя. Дело только в том, как ты их заберешь. Я еду на книжную ярмарку, до отъезда у меня неделя, и я очень занята. Либо приезжай до девяти утра домой, либо лови меня. Телефоны мои у тебя есть?

Разговор, кажется, удачно завершился, не вступив в опасную религиозную область. Но порадовалась Женя рано.

– Женя, – строго сказала собеседница, – я много раз тебя просила, не называй меня Галей. Я Хава. Видишь ли, ты должна понимать, что имя имеет мистический смысл. Всякий раз, называя меня именем, которое я уже не ношу, ты меня как бы возвращаешь в мое прошлое, от которого я отказалась. Имя Хава это имя нашей праматери, первой женщины, и корень этого имени связан со словом “хаим”, что значит жизнь...

– Хорошо, Хава, я поняла. Извини, у меня долготелная привычка называть тебя другим именем...

Они были замужем за одним человеком – сначала Женя, а потом Галя Иванова. Их сыновья были единокровными братьями, носили одну и ту же фамилию, да и внешне были похожи. Женя от первого мужа ушла, а Галя через пять лет его похоронила. И стояли тогда они у гроба рядом, обе в черном: виноватая во всем Женя и не виноватая ни в чем Галя. И два мальчика – девяти и трех... Только в ту пору Галя не была еще Хавой, а была обыкновенной девушкой со Среднерусской возвышенности, с холмистых и ручьистых мест, православная, с серебряным крестиком на цепочке, спокойная, как просторные места, где прошло ее детство, и красивая, как Царевна-лягушка после того, как лягушачья шкура сгорела в печи...

Покойный муж оставил Гале в наследство трехлетнего сына и больную свекровь. И Женю – для оказания помощи. Два десятилетия с лишком Женя присутствовала в ее жизни, любя и ненавидя странное это создание – красавицу с крутыми поворотами, один другого нелепей. В последний год короткой Костиной жизни Галя спасала его по методе какого-то русского врачующего шарлатана, не давала ни антибиотиков, ни обезболивающих, а только травы и земли – порошки, приготовленные из праха от святых мест, известных одному этому хреновому чудотворцу. Незадолго до Костиной смерти Галя уверовала в другого – тибетского травника, который был нисколько не тибетцем, а хитрым казаком из Приамурья. Потом Галя припала на йогов.

В каждое очередное приключение она вовлекала сына, который с годами наливался сопротивлением, а потом и вовсе отказался от материнских духовных поисков. Во всяком случае, дальше йоги он

за ней не проследовал. А Галя принялась за какие-то более редкие восточные практики.

Во всех начинаниях Галя поначалу успешно продвигалась и росла, а потом обнаруживался новый адепт более истинного учения, и от кришнаитов она уходила к буддистам, гостила то у пятидесятников, то у сайентологов, пока не оказалась у иудеев. Обнаружилось это комическое обстоятельство благодаря настенному календарю, экономно охватывающему всё следующее десятилетие. Он был большого формата, отпечатан на прекрасной твердой бумаге и представлял виды Палестины. Календарь этот Галя принесла Жене в виде подарка к Новому году, который начинался у евреев осенью, и не в определенный день, скажем, сентября, а как придется – каждый год по-новому... Виды – Синая, Мертвого моря и Галилейских, в последние годы заново выращенных садов – были прекрасны, и Женя тут же передарила календарь Лилечке, которая, невзирая на благоприобретенное христианство, оставалась еврейкой и никогда не забывала гордо подчеркивать – ежели кто забывал – что и Дева Мария, и сам Иисус, не говоря уже об Иоанне Крестителе и всех до единого апостолах, были самими что ни на есть евреями. В пределах православной церкви, куда ее завела вера, напоминание это звучало неполиткорректно и некоторых очень огорчало...

С Лилей тем не менее всё было понятно. А вот последнему повороту Галиных духовных поисков Женя удивилась, хотя на удивление давно уже не было ни места, ни времени. Непонятно было, зачем эта престарелая красавица из деревни Малая Покровка могла евреям понадобиться? В религиозное бескорыстие Женя не верила. Поначалу Женя предположила, что соблазнил Галю какой-нибудь бородатый еврейский вдовец, и она всё ждала, что вот-вот Галя проговорится, сообщит о намечающемся очередном замужестве (она была на этот счет очень уж проста: чуть что – и замуж), и Женя уже прикидывала, какое же по порядковому номеру неудачное замужество произойдет на этот раз – пятое или шестое. Но ничего такого не происходило: Галя долго ходила на какие-то занятия, читала Тору, тоже не самостоятельно, а в каких-то семинарах, и в конце концов, придя к Жене занять очередные деньги, отказалась от еды-питья, потому что Женя была некошерная, а сама Галя была уже не Галя, а Хава. Но Женя в тот день была такая усталая, что не сдержалась и спросила едко:

– Скажи, Хава, а деньги у меня, некошерной, брать можно?

Она сразу же пожалела о своей злобности, но Галя наморщила свой античный, без единой морщины лоб, подумала, положила на стол только

что спрятанные в кошелек деньги и сказала душераздирающе серьезно:

– Я не знаю. Надо у учителя спросить.

И Женя потом долго уговаривала ее взять деньги. Знала, что ей на жизнь не хватает.

Сыновья добродушно посмеивались над Женей, особенно взрослый Сашка, муж делал время от времени проницательные замечания, называя Женю то Тимуровской командой на самофинансировании, то матерью Терезой Москвы и ближнего Подмосковья, а в недобрую минуту съязвил, что Женина помощь человечеству происходит из высокомерного превосходства умных и красивых над глупыми уродами...

И тогда Женя неожиданно взвилась:

– Да! Именно! И что мне прикажешь делать со всеми вами, глупыми уродами? Плюнуть на вас?

3

Последний предотъездный день начался с телефонного звонка. Кавказский голос, распевный и медленный, спросил Женю.

– Это я, Виолетта, я к вам сегодня еду уборку делать.

Женя спросонья покашляла, собираясь с мыслями. Хотела сказать, что сегодня ей не с руки, что завтра она уезжает, а придет через десять дней, тогда и сговорятся... А потом подумала: пусть! Пусть приходит эта самая Виолетта раза два в неделю, убирается, варит еду, ублажает мужиков... Всякий раз, уезжая по делам, Женя испытывала тонкое чувство вины перед семьей и самим домом...

– Хорошо, приезжайте.

– Я скоро буду, часа через три, а то мне еще детей собрать...

Женя взглянула на часы – было без четверти восемь. Билет надо было забрать в Люфтганзе в четыре, а до этого почистить пару авгиевых конюшен. Химчистка, почта и домоуправление проскочили как раз до одиннадцати. А ровно в одиннадцать раздался звонок в дверь. Женя открыла: перед ней стоял букет мелких хризантем, позади улыбалась толстая женщина в украшенном аппликациями пальто и в розовой, сияющей тяжким люрексом шали. Девочка лет десяти стояла по правую руку, мальчик среднешкольного возраста – по левую. У мальчика в руках был грузовик, по величине близкий к натуральному, а у девочки – спецкорзина, в приоткрытую сверху дверку которой выглядывала огромная кошачья башка...

– Старшие в школе, а младшего, Ахметика, я от себя не отпускаю. Эльвирочка кашляет, пока в школу не ходит. Она всё равно лучше всех учится.

Пока Женя, приняв горчично-желтые цветы, осмысливала новую ситуацию, Виолетта разделась сама, стащила с Ахметика кожаную курточку, аккуратно сняла обувь и расставила ее по ранжиру – от маленьких к большим, выровняв по носочкам. Надела всем на ноги вязанные полутапочки, и все они двинулись в столовую и сели за стол. Кот сидел на коленях у девочки со строгим выражением серого лица.

Впоследствии выяснилось, что Виолетта была чистое золото. Старшая дочка ее, восемнадцатилетняя, погибла в пожаре при бомбежке Грозного. Ахметик с грузовиком успел полежать в больнице – при переходе через коридор семью обстреляли, ребенка ранило в руку, отца – в ногу... Кот оглох при взрыве, и Эльвирочка с тех пор его на руках таскает... Хорошая девочка, инвалида жалеет...

Виолетта раскрыла молнию на сумке, вытащила из нее пакет и стала раскладывать по столу бумаги и фотографии.

– Это мой диплом, почти с отличием. Характеристика с места работы. Это папа мой, фотография после той войны, молодой еще. Да, вот паспорт. Это свидетельство о рождении Ахметика, Эльвирочки, Искандера и Рустамчика. Это наша свадебная фотография. Муж был главный инженер. Завода только того уже нет. Это брат старший с семьей. Две девочки и три сына у него. Вот. Это последняя фотография довоенная, старшей моей дочке здесь как сейчас Эльвирочке, десять с половиной лет... А это вырезки из нашей республиканской газеты: когда мужу пятьдесят лет исполнялось, перед первой войной, его “Знаком почета” наградили...

Стол был уже весь покрыт фотографиями и бумагами, и сердце у Жени ломило, как зуб после наркоза.

– Алла Александровна мне сказала, что вы ее подруга, и я так обрадовалась. Она столько для нас делает, как родным. Я тут с лестницы упала, сотрясение мозга случилось, она меня в больницу устроила, врачи такие хорошие. А голова до сих пор кружится...

Женя перебирала фотографии – обломки жизни, ломаный пазл, который никогда больше не соберется в старую картину...

– Виолетта, но если у вас сотрясение мозга, то это я к вам должна ходить полы мыть, а не вы ко мне...

Виолетта засмеялась шутке – сверкнули золотые зубы.

– Алла Александровна тоже говорит, что мне рано еще за уборку приниматься. Но я до того в “Ням-ням” работала, пирожки продавала.

Никогда их не берите, фальсификация. И место мое заняла одна татарка из Баку. Она теперь нипочем не уйдет. Ларек теплый, а впереди зима. Наши по большей части на рынке работают: женщины торгуют, мужчины грузчиками, а кому повезет, шоферами. У меня один брат в Ростове, второй в Турцию уехал. Сестра в Грозном осталась, с родителями, там еще хуже, чем здесь. Хотя дома... Я не думала, что так жизнь повернется, я ведь инженер по технике безопасности, в управлении работала... А убираться я хорошо убираюсь – дом у меня блестел, чистота, красота, и всё было – Розенлев, Мадонна, ковров было восемнадцать, даже Русская красавица была... Как жили! А теперь все в одной комнате, и то спасибо Алле Александровне, нам комитет бежецкий снимает... Она и Аслана сторожем в офис устроила к своему сыну... Он хромает теперь, в грузчики не годится ему. И лет уже за шестьдесят.

Она всё говорила и говорила. Дети сидели за столом смирно, как приклеенные. Ахметик прижимал к груди новый грузовик. Эльвирочка держала на коленях кота, который дисциплинированно спал.

Женя крутила в уме и так, и эдак. Большая семья. Сколько бы она ни платила Виолетте, ораву эту не прокормить. Если взять ее уборщицей в издательство – никак не больше двух тысяч... К кому-нибудь на дачу пристроить? Да никто такую большую семью не возьмет...

– Значит, так, – сказала Женя. И тут зазвонил телефон.

Хава обрадовалась, что застала Женю дома:

– Всю неделю тебе звоню, а тебя нет и нет. Я к тебе еду! Прямо сейчас!

– Давай! И прямо сейчас! – отозвалась Женя.

– Значит, так, – повторила она.

И снова зазвонил телефон. На этот раз – Лилечка. Они не были знакомы между собой, но всё время как-то параллелили.

– Женечка, – повествовательно начала Лиля, – Я хотела тебя еще раз поблагодарить. Я открываю холодильник, и мне просто тепло делается: стоят твои баночки, и всё такое вкусное, на мою беззубость. Ты мне как мама прямо.

– Говори лучше – как бабушка, – буркнула Женя.

Лиля засмеялась слабенько, в полнакала:

– Хорошо. Бабушка моя вообще-то лучше мамы готовила. Я хочу поблагодарить тебя и... ангела-хранителя тебе на дорогу... – про ангела она проговорила неуверенно, знала Женину антиклерикальную насмешливость. Но Женя ангела перетерпела, и Лиля закончила совсем православно: – Буду за тебя молиться как за плавающую и путешествующую.

– Давай. Я тогда купальник захвачу... Я тебе позвоню попозже... – и положила трубку. – Значит так, Виолетта, я завтра уезжаю на десять дней, и будем считать, что вы уже на работе. Но приступите после моего возвращения. А пока что, – Женя пошарила на полочке, где сахарница стояла, а рядом с сахарницей сухарница, а в ней много всяких бумажек, в том числе и денежные, – возьмите как аванс.

Бледно-зеленая бумажка легла на ворох черно-белых и газетно-серых...

– Хвала Аллаху! – Виолетта слегка воздела сложенные красные руки. – Всякие люди бывают... Но каких людей нам Аллах посылает! Я отработаю...

Потом они сняли свои вязанные полутапочки, надели ботиночки, кот послушно влез в корзинку, а Женя ощутила зубную боль по всему телу...

Чемодан она еще вчера достала с антресолей. Трусы и всякая мелочь были сложены стопочкой, косметичка с причиндалами, еще одна, старая, с лекарствами... Тонкий халат, два свитера... Хава всё не шла за своими тридцатью двумя долларами, и Женя пребывала в мудреном состоянии, когда одновременно она была полна до краев жалостью и состраданием к краснорукой чеченке, с достоинством переживающей свое социальное падение, и царапалось всегдашнее раздражение, почти уравновешенное привычной мыслью о том, что в любое общение с любыми людьми входит еще и необходимость перетерпеть их глупость и необязательность... А также глубоко запечатанное почти в каждом человеке лучше или хуже скрываемое безумие...

Раз ты не умеешь сказать раз и навсегда “пойдите все к черту”, то сиди и жди, пока эта неторопливая задница сюда доплывет, – утешала себя Женя. Дело шло уже к трем, надо было ехать за билетом, потом в издательство, потом забрать подарок для старой подруги, живущей в Берлине... потом кто-то вечером должен был принести не то письмо, не то какие-то документы во Франкфурт.

Когда Хава наконец пришла, потерявшая терпение Женя уже стояла у дверей в куртке. Она сунула руку в карман, где лежали приготовленные деньги – от усталого раздражения никаких слов уже не осталось.

Хава стояла в дверях – в черном длинном пальто, в какой-то черной чалмашке на маленькой голове, и всё это черное было ей к лицу. К белоснежному лицу нестареющей красавицы.

– Ну ты, блядь, богиня, одно слово! – зло и восхищенно обронила Женя, протягивая ей конверт. – Я тебя второй час жду, у меня руки

от спешки трясутся...

Хава тщательно уложила конверт в сумочку и теперь медленно расстегивала зеркально-черные пуговицы, и глаза ее отливали тем же зеркальным блеском, но ярко-синим.

– Спасибо, что дождалась. Зачем ты сквернословишь, Женечка? Ну хорошо, я-то знаю твою добрую душу, но другие могут подумать...

– Слушай, а чего ты раздеваешься, ты что, не видишь, я уже выхожу? Я опаздываю...

– Я на минуту в туалет, – объяснила Хава и величаво пошла вглубь квартиры. Под черным пальто было черное платье, и чулки тоже были черными.

Потом она вышла из уборной, что-то шевеля губами.

– Нет, – сказала Хава как будто сама себе, – нет, я не могу тебе этого не сказать. Это действительно очень важно. Присядь на минутку.

Женя просто обомлела от изумления.

– Галя, а ты не охренела часом? Я же говорю тебе – опаздываю...

– Ты понимаешь, Женечка, сегодня большой праздник, Иом-Киппур. Ты понимаешь? День покаяния. Это как Великий пост, но сосредоточенный в один день. В этот день не пьют, не едят. Только молятся. Это День Божий. День покоя.

Женя зашнуровывала правый ботинок. Шнурок плохо пролезал под металлический крючок.

– Да, покоя... – механически повторила Женя. – Ты одевайся, Хава, ты меня и так на час задержала.

Хава сняла с вешалки свое торжественное пальто и замерла:

– Женечка! Нельзя жить в такой суете, как ты живешь. Вообще нельзя, а особенно – сегодня.

Женя рванула шнурок, он порвался. Обрывок тонкой кожаной тесемки она отшвырнула в сторону. Сбросила ботинок, сунула ноги в мокасины. Поднялась – в глазах потемнело: то ли от резкой смены положения, то ли от вспыхнувшей злости.

Хава набросила на себя пальто, посмотрела в зеркало – никакой суеты не было в лице, один покой и умиротворение.

Женя запирала дверь, Хава вызвала лифт. Она стояла рядом и улыбалась таинственной улыбкой человека, который знает то, чего ни знает никто. Щелкнул подошедший лифт. Хава вошла. Женя побежала вниз по лестнице, звонко стуча кожаными подошвами.

Пока Женя вынимала из почтового ящика большой, криво засунутый и порванный сбоку конверт, Хава плавно спустилась на пол-этажа.

Они вместе вышли из подъезда.

– Счастливо! – бросила на ходу Женя.

– А ты не в метро?

– Нет, у меня там машина... – Женя неопределенно махнула рукой.

Машина действительно стояла в проулке, и Женя боялась, что Хава увяжется с ней, и надо будет еще полчаса в машине слушать ее нравоучения. И действительно Хава, прибавив шагу, шла за Женей в направлении, противоположном метро.

– Женечка, я вижу, что ты спешишь. Но то, что я тебе скажу, это очень важно: Талмуд говорит, что от суеты не бывает ничего хорошего...

– Это несомненно, – кивнула Женя. – Но сейчас мне в другую сторону.

Она села в машину и хлопнула дверью.

Хава приоткрыла дверцу и пристально, со значением, проговорила:

– Талмуд говорит, что надо служить Господу, а не людям! Господу!

Включила подсос, машина сразу завелась – ласточка! – и Женя рванула, выстрелив в Хаву выхлопным газом.

Хава с красивой грустной улыбкой смотрела ей вслед.

4

Непоздним вечером Женя сладострастно вычеркивала отработанные пункты. Всё в конце концов успела. Особенно приятно было, что подарок для берлинской подруги удался: молодая портниха, колясочная инвалидка, к которой она успела-таки заехать, сшила на руках чудесную курточку из разноцветных лоскутов, и довольны были обе – и Женя, и получившая довольно приличные деньги портниха. Остались какие-то необязательные анализы, которые Женя вполне успеет сделать после возвращения... И чемодан сложен, и ужин семейный уже был позади – Кирилл перед телевизором читал чью-то диссертацию и фыркал время от времени то ли на диктора, то ли на диссертанта. Гришка сидел у компьютера.

Природа, не терпящая пустоты, подтолкнула Женю к плите. Хотя продукты и были закуплены, но готовить мужики не любили, и Женя принялась застряпню.

“И засуну в морозильник”, – решила она.

Всё было на этот раз отлично организовано: весь издательский груз собран и упакован, все документы оформлены. Помощник – молодец мальчишка! – привезет коробку прямо в Шереметьево, к самолету.

Еда была еще теплая, и в морозильник ставить было ее рано.

Пожалуй, еще успею принять ванну... Она включила воду, и толстая струя ударила об эмалированное дно. Гриша отключился от Интернета и сразу же зазвонил телефон.

“Надо сделать этот чертов шнур”, – вспомнила Женя. Звонила Лиля. Она всхлипывала.

– Лилечка! Что случилось? – встревожилась Женя. Это в прежнее время Лиля умела бурно хохотать и горько плакать – после болезни она только тихо улыбалась.

– Можно я тебе пожалуюсь? Только я пожалуюсь, а ты сразу же забудешь, потому что я сама понимаю, что глупость, но очень обидно...

Женя не знала, что там произошло, но кто мог обидеть – вопроса не возникало...

– Ну, что там они?

Лиля посапывала, шмыгала носом.

– Съели... Представляешь, открываю холодильник, а баночек твоих – ни одной. Большой арбуз засунут, пополам разрезанный. Я к ним в комнату иду, а у них гости. Молодые люди, Ирочкин этот противный, и Маришин теперешний, программист... Ирка вышла, спрашивает, что тебе надо, а я говорю, где мои кабачки, а она говорит – гости съели. А я говорю, с чего это гости, а она говорит – праздник... Я удивилась, спрашиваю, какой это праздник, а она смеется так... противно смеется... Отвела меня в мою комнату, тычет пальцем в твой календарь и говорит: видишь, праздник? Иом-Киппур! Ничего не оставили – ни кабачков, ни свеклы... Знаешь как обидно...

– Да ладно тебе, Лилька! Глупо на них обижаться. Они же маленькие – вырастут, поумнеют... Ты сама их избаловала, сама так воспитала, так что терпи... И потом, у тебя инструмент есть – помолись, Лилечка. Ты же умеешь... – а в висках у Жени стучало от ярости. Почти так же, как днем, когда Галя-Хава учила ее жить. Даже сильнее.

– Не унывай, Лилька! Лучше скажи, что тебе из Германии привезти?..

Положила трубку. Отложила часть теплой еще еды в пластмассовые коробки. Сложила в сумку. Оделась и крикнула Кириллу:

– Кирюш, я на часик отъеду! К Лильке!

– Женя! Ты говоришь, как новые русские: что значит “отъеду”?

Но она уже не слышала, неслась по лестнице, пытаясь унять злость. О, с каким наслаждением она сейчас бы им врезала обеим, по их смазливый мизерным мордашкам...

Открыла Ириша. Обрадовалась. Из детской раздавались умеренные визги, накурено было как в кабаке.

– А мама говорила, вы уехали, – взмахнула мощными ресницами Ириша.

– Завтра уезжаю. Я тут маме кое-что привезла. У нее вроде всё кончилось.

– Ириша! – позвала Ириша сестру, и Женя поняла, что опять она их перепутала. Странное у них было сходство: когда они были вместе, сразу было видно, кто – кто, а порознь – никак не угадаешь.

Появилась настоящая Ириша. Она была подвыпившая, хохотала, показывая яркие зубы, сделанные природой не хуже искусственных:

– Ой, умираю! Мамуська настучала!

Женя, сгорая на костре ненависти, мрачно вытаскивала свои теплые коробочки.

– Теть Жень, да вы что? Я же пошутила! Ничего мы не брали из вашей еды! Просто из холодильника вынули, чтоб арбуз охладить! Я баночки ваши на подоконник поставила! А мама просто невыносимая стала – ей надо во всё заглянуть, во всё нос сунуть, всё подсмотреть, что у нас происходит.

Вторая, Мариша, подтвердила:

– Мы же взрослые. У нас своя жизнь. А она всё нас воспитывает и воспитывает...

Приоткрылась Лилина дверь: она высунула в щель голову, как черепаха высовывается из панциря, готовая немедленно убраться восвояси:

– Ой, Женечка! Ты приехала! Прости меня, идиотку! Девочки праздник справляют. Простите меня, девочки! Я ведь не знала, что Иом-Киппур...

Женя стояла со своими кабачками дура душой. Но зато стало вдруг дико смешно. Она захохотала звонким девчачьим смехом:

– Да ну вас всех к чертям!

Лилечка быстренько перекрестила воздух – она боялась таких упоминаний.

– Глупые вы девочки! Да в Иом-Киппур – строгий пост, без еды, без воды! – объяснила Женя, как будто она знала про этот еврейский Иом-Киппур всю жизнь, а не сегодня утром услышала...

Лилечка шла к ней, придерживаясь за стенку, потому что красивую палку оставила возле кровати:

– Женечка! Спасибо, что приехала! Ну, Господь с тобой!

...Кирилл уже спал, когда Женя пробралась в спальню. Настроение у нее было прекрасное. Она всё более чем успела. Девочки были, конечно,

сучки, но могли быть и хуже. Женя взглянула на будильник – было без четверти двенадцать. Поставила на половину шестого – рейс был ранний. И тут раздался телефонный звонок Это была Хава.

– Женечка, ты прости, если я тебя обидела. Но я не могу тебе этого не сказать, это очень важно. Талмуд говорит, что когда человек делает для других, чтобы им было хорошо, а самому ему плохо, то это неправильно... Человеку должно быть хорошо... Ты неправильно живешь... Человеку должно быть хорошо!

Она говорила серьезно и от души. А Женя улыбалась, представляла себе ее резное лицо, пожалуй, одно из самых красивых женских лиц... А сложена как... Дура прямоугольная!

– Хава! А с чего ты взяла, что мне плохо? Мне хорошо. Мне отлично! Слушай, а чего Талмуд говорит насчет того, когда ты мне деньги отдашь?

Хава молчала: они были знакомы целую жизнь. И были десятки, и четвертаки, и сотни, которые она брала в долг, и не отдавала, и теперь она прикидывала, что же имеет в виду Женя.

– Что ты имеешь в виду?

– Тридцать два доллара на книги по Священному Писанию, – быстро ответила Женя. – А что же еще?

– А, – облегченно вздохнула Хава. – Как только ты вернешься, я сразу и отдам.

– Ну и отлично! Спокойной ночи! – Женя повесила трубку.

Кирилл подвинулся к стене, освободив ей побольше места, протянул сонную руку, пробормотал:

– Бедняжка...

А Женя улыбалась – ей было хорошо: еще один день покоя закончился.

А вот завтрашний обещал быть напряженным.

Водитель Леша, которого Женя ценила за неславянскую точность, приехал на своей старой “пятерке” вовремя, поднялся и забрал чемодан. Женя была готова, но хотела набело попрощаться с Кириллом, дать последние инструкции.

– Может, провожу до аэропорта? – спросил Кирилл из вежливости.

Женя мотнула головой.

– Ну, пока-пока, ни пуха ни пера, скатертью дорога, – муж поцеловал Женю куда пришлось, в висок, и она ощутила его мужской запах:

не одеколонный, а природный – сухой травы и опилок. Чистый хороший запах.

– Ведите себя хорошо, – Женя клюнула его в колючий подбородок. – Не буду Гришку будить, пусть спит.

Кирилл провожал до лифта, придерживая на животе халат, пояс от которого куда-то запропастился.

Чемодан Леша уже уложил в багажник. И поехали по пустой утренней Москве: ранний рейс хорош был тем, что пробок в такое время не было. Асфальт был влажный, в росе.

Да, мы в городе забываем, что бывает роса, предрассветный ветерок, и косой предзакатный свет, – обрадовалась Женя свежей мысли и даже пожалела о всех этих упущениях жизни, и решительно пошла в своих мыслях дальше. – Верно Кирилл говорит, хорошо бы за город перебраться. Только непонятно, как... Ясно, что не в новорусский коттедж, да и денег таких нет. А старая дача, с обаянием и без канализации – тоже не хочется... Там медленный рассвет, и роса...

И тут же как будто услышала Гришкин голос: – Мам, опять грузишь...

Конечно, грузит. Но ведь себя!

Дорога, по Кириллову слову, стелилась скатертью – светофоры впереди, их завидя, переключались на зеленый. Женя посмотрела на часы – с запасом. И еще раз улыбнулась: всё было по плану, дела все сделаны, вычеркнуты, и скоро она переведет стрелки на два часа вперед, и десять дней будет жить в другом, заграничном времени, где всё течет медленней, и к тому же с этим двухчасовым ворованным запасом...

И ровно по этому месту, по плавному переходу мыслей от загородной жизни к заграничной свободе пришелся удар. С кинематографической скоростью из боковой улицы Правды вылетел красный “ауди”, собиравшийся, видимо, пересечь Ленинградку, и влупился в правый бок “жигулей”. Но Женя, сидевшая вполборота к водителю, заметить этого не успела. Машины, крутясь в воздухе, разлетелись от удара в разные стороны. Женя не видела ни смятой красной машины, ни железных развалин, из которых вынимали тело педантичного Леша, никогда не опаздывавшего, ни “скорой помощи”, которая увезла ее в институт Склифосовского.

Трое суток она не приходила в сознание. За это время ей сделали восьмичасовую операцию, кое-как сложили разбитые тазовые кости, два раза у нее останавливалось сердце, и оба раза его запускать тощий анестезиолог Коварский... Впоследствии Женя хотела задать ему вопрос: почему он это делает, когда знает наверняка, что запущенный к жизни

человек никогда не поднимется, а будет влачить жалкое существование... И ответить бы ей он толком не смог.

Когда после трех суток комы она пришла в себя, долго не могла понять, что произошло. Она даже не вполне понимала, с кем именно это самое произошло. Нет, нет, она помнила свое имя, фамилию, адрес – все эти вопросы ей задали, как только она открыла глаза. Но тела своего она не чувствовала: не то что боли, а даже своих рук-ног. И потому, ответив на анкетные вопросы, заданные из медицинских соображений, она успела спросить, жива ли она... Но ответа не услышала, потому что снова уплыла... Но теперь ей как будто уже виделись какие-то вялые сны, бессмысленные картинки, от которых оставалось чувство пустоты, как от мелькания телевизионных программ...

Через десять дней из реанимационного отделения ее перевели в палату. Кирилл ждал ее в палате, хотя час был неприятный. Он знал, что дела обстоят очень плохо, готовился к плохому, но оказалось всё хуже, чем мог он себе представить. Женю он не узнал. Наголо выбритая, с наклейкой на лбу, с худым темным лицом, она нисколько не напоминала себя прежнюю. Небольшая травма головы с сотрясением мозга были лишь незначительным приложением к длинному перечню травм, включая и позвоночную. Ему уже сказали, что жену ждет неподвижность. Но не предупредили, что вместо Жени будет теперь другой человек: мрачный, молчаливый, почти отсутствующий... Она отвечала на вопросы кивком, но сама не задавала ни одного. Ни про издательские дела, ни про старшего сына Сашку, который второй год жил за границей, ни про своих подруг... Он пытался рассказывать ей, кто звонит, что происходит за пределами больницы. Но ее не интересовало даже то, как они с Гришкой без нее живут, кто покупает еду и готовит... И это Кирилла просто убивало.

Они были женаты больше двадцати лет. И брак их был сложным – дважды расходились, причем Женя успела даже ненадолго выйти замуж за постороннего, из какого-то сибирского угла мужика, объявившего себя чуть ли не охотником, а оказался кагэбэшником среднего звена... Кирилл, с трудом переварив Женино приключение, потом ушел к своей аспирантке, но и там не сложилось. И уже десять лет, как они окончательно и бесповоротно соединились, не потому что им было друг с другом легко, а по причинам совсем другого рода: каждый из них знал другого как самого себя, – именно насколько можно знать самого себя – до малейших поворотов мысли, когда любой разговор необязателен, и только обозначает привычку произносить слова. Доверяли другому более, чем себе. Слабости

знали наизусть и сумели их полюбить. Тщеславная Женька, упрямый Кирилл... Удачливая Женька, к которой всё прыгает в руки, и неудачливый Кирилл, который добивается своего тогда, когда уже и самому ничего не нужно...

И теперь Кирилл, сидя возле жены, всем упрямством своего характера пытался понять, что же с ней происходит. Он был ученым человеком, с некоторым специальным сдвигом мышления, отчего весь мир рассматривался с точки зрения кристаллографии, его основной дисциплины. От собственно кристаллов он давно уже отпочковал свою оригинальную структурологию, которая и была, по его глубокому убеждению, основной и чуть ли не единственной наукой сегодняшнего мира, из которой вытекало всё прочее, что существовало – математика, музыка, все органические и неорганические структуры, и даже само человеческое мышление организовано было кристаллически... Он догадался об этом еще в девятом классе средней школы, но только двадцать лет спустя, уже защитив диссертацию и получив, кроме диплома доктора наук, странную репутацию не то гения, не то большого оригинала, а, может, просто сумасшедшего, совершил настоящее открытие – обнаружил болезни кристаллических структур. Он описал их, классифицировал. Долгим целеустремленным взором смотрел на осциллограммы, спектрограммы и данные электронноскопии, писал формулы и манипулировал собственными ментальными структурами, приходя ко всё более глубокому убеждению, что зафиксировал феномен старения материи, и старение это происходит за счет локальных заболеваний отдельных кристаллических структур. И что с болезнью этой можно побороться, если найти такие сшиватели, которые бы фиксировали пораженные, тяготеющие к деструкции области...

Вот с такими идеями жил Кирилл, и Женя представлялась ему таким больным кристаллом, и не грубые переломы тазовых костей и бедра, не травма самого позвоночника представляли эти поломанные структуры, а именно личность Женина была повреждена. Он смотрел в ее остановившееся лицо – почти без мимики, слушал ее односложное “да-нет”, и старался проникнуть внутрь, и проникал, и ужасался полной разрухе, которую наблюдал внутри: вся тысяча ее открытых валентностей, которыми она была обращена наружу, опала, как иглы лиственницы, и ее бесперебойное электричество иссякло, и еще до того, как Женя сама это произнесла, он знал, что ее единственным желанием сейчас было умереть, и что она, умеющая добиваться всего задуманного, будет искать теперь способ, как умереть... Такая жизнь ей была не нужна. И дело было даже

не в болях, которые ей глушили уколами и капельницами, и не в гипсовом коконе, сжимавшем ненавистное теперь тело, ни в катетерах и клизмах, ни в чем в отдельности... Это была не жизнь, а злая карикатура, волшебное зеркало, в котором всё хорошее, простое, естественное и нормальное, что прежде было, заменилось издевательским уродством. Еда, необходимая и приятная для жизни, препятствовала теперь желанной смерти, человеческое общение, до которого Женя всегда была и жадна и щедра, потеряло вкус, поскольку дать она никому ничего не могла, а брать не считала возможным – и она отворачивала лицо и закрывала глаза, когда в палату входили посетители... Не надо. Пожалуйста, не надо.

Улыбнулась Женя всего один раз – когда приехал из Африки Саша. Он повел себя не по-мужски. Увидел мать, встал на колени перед ее кроватью, уперся лбом в матрас и заплакал. Тогда и Женя заплакала в первый раз.

Прошел месяц, и пошел второй. Она всё лежала под капельницей, почти не ела, всё пила воду “Святой источник”, теряла вес и усыхала. И не говорила. А Кирилл, забросив всё на свете, сидел рядом, держал ее за руку и думал... Великой идеи в голову ему не приходило, но он нашел какого-то хирурга-травматолога, старого азербайджанца Ильясова, тоже с идеями, который Женю долго смотрел, а еще более внимательно исследовал многочисленные снимки, которые накопились за это время, и предложил спустя некоторое время, когда сложенные кости, скрепленные железными гвоздями, срастутся, сделать некоторую даже не операцию, а ревизию, потому что, по его соображениям, где-то стоит гематома, с которой стоит поработать...

Спустя три месяца надели корсет и выписали. Ходить не могла. Одна нога кое-как теплилась, вторую не чувствовала. Но обе выглядели ужасно – белесо-синюшные, в сухой шелушащейся коже, худые. В дом привезли инвалидное кресло. Женя в нем сидела. То, что сидела, а не лежала, – это и был прогресс.

И еще был балкон. Он был в Гришкиной комнате, и накрепко закрыт до весны. Не меньше трех месяцев должно было пройти, прежде чем Женю вывезут на коляске на балкон, и она к тому времени должна набраться сил, чтобы суметь поднять ненавистное тело, эту висячую пададь, и перекинуть через барьер.

Кирилл про всё знал, даже и про балкон. И Женя догадывалась, что он знает. Но оба об этом молчали. Кирилл с ней разговаривал, но она то ли не слышала, то ли делала вид, что не слышит. Впрочем, иногда говорила “да-нет”...

Два раза в неделю приезжала чеченка Виолетта, тихо, не гремя ни щетками, ни тряпками, убирала квартиру. Привозила обыкновенно в дом большие печеные в чудо-печи пироги. В комнату к Жене Кирилл ее не допускал – Женя никого видеть не хотела.

Два раза в неделю Кирилл уезжал читать лекции в университете, раз в неделю – в институт. Приходили аспиранты, сидели и курили у него в комнате. Всё прочее время он проводил возле жены. Утром мыл ее, завтракал с ней, обедал, вечером перекладывал с кресла на кровать и ложился рядом... В кабинете, как было последние годы, он больше на ночь не оставался...

Заходил Гриша, иногда приносил свои листы, покрытые мелкими точечками и запятыми – это были его картины, с которыми он проводил свою жизнь. Он был такой особенный мальчик – кроме точек китайской туши, прихотливо разбросанных по бумаге, его ничего не интересовало. Но Женю теперь это не трогало...

К телефону Женя не подходила. Как только домой вернулась, сразу сказала “нет” – ни с кем не хочет разговаривать, никого не хочет видеть. Все постепенно и перестали звонить, одна только Лиля Аптекман звонила каждый вечер, но Женю уже и не просила позвать к телефону, а только просила передать каждый день что-то новое: что погода сегодня хорошая, или праздник какой-нибудь церковный, или что к ней пришли гости и принесли чудесный торт “Прага”, очень похож на настоящий... Кирилл привык к этим звонкам и всё ждал, когда же она повторится, но та всякий день проявляла изобретательность...

Однажды, уже в конце февраля, Лиля жалобным голосом сообщила, что у нее день рождения, и ей бы так хотелось, чтобы Женя ее поздравила. Женя взяла трубку и бесцветным голосом сказала:

– Поздравляю тебя с днем рождения...

И услышала в трубке бурное сопение, и горестный плач, а сквозь сопли и стоны – Лилин голос:

– Женечка! Почему ты меня бросила? Разговаривать не хочешь? Мне так плохо без тебя. Ну хоть поговори со мной немного...

Женя холодно удивилась: Лиля не спросила, как она себя чувствует, и это было даже интересно...

– Я позвоню тебе, Лиля. Не сегодня.

Женя не позвонила Лиле ни завтра, ни послезавтра. Лиля выждала два дня, и позвонила сама, и попросила Кирилла, чтобы он дал Жене трубку. Он спросил у жены, будет ли она разговаривать. Жена молча взяла трубку.

– Женечка, у меня столько всего произошло. Можно я тебе расскажу? Никому, кроме тебя, не могу этого рассказать. Знаешь, такой кошмар, ты даже представить себе не можешь...

И Лиля пустилась в горестный рассказ о своих дочках, которые такое натворили, такое... Оказалось, что одна из ее мартышек беременна, собирается рожать, а вторая тем временем завела отдельный роман с этим противным программистом, от которого Иришка беременна, и теперь дома ад кромешный, потому что девочки чуть ли не дерутся... А откровенно говоря, в самом деле дерутся... И что теперь будет, трудно себе представить, хотя, кажется, хуже уже и быть не может...

– Лиль, я могу тебе только посочувствовать... – вздохнула Женя. Подумала немного, и добавила: – Нет, если честно говорить, я даже посочувствовать тебе не могу. Нечем...

– Ты что? – завопила Лиля. – С ума сошла? Ты – самая умная, самая добрая, и говоришь мне такое? Ну хорошо, не надо мне сочувствовать, я сама всего заслужила! Но хоть посоветуй, что делать?

– Не знаю, Лилечка. Я теперь ничего не знаю. Меня вроде бы и нет. – Женя улыбнулась трубке, но трубка не умела передать этой улыбки, и на другом конце завывала, заплакала Лилечка:

– Если тебя нет, значит, тогда никого нет? Ты что же, выходит, мне всё врала, да? Ты врала, что я должна встать, и руку разработать, и заново всему учиться? Это ты мне понарошку говорила? А я старалась, может, только ради одной твоей похвалы! Ты есть! Ты есть! А если тебя нет, ты предательница и лгунья! Женечка, ну скажи мне что-нибудь...

Обе они плакали – одна от ярости и горя, вторая от бессилия...

В дверях стоял Кирилл и ругал себя, зачем дал трубку, ведь говорила же Женя, что не хочет ни с кем разговаривать. А теперь вот плачет. И вдруг его осенило: а может, хорошо, что плачет?

Женя отключила трубку. Положила на колени. И задала первый вопрос с того момента, как пришла в себя после операции:

– Скажи, Кир, а деньги у нас есть?

Кирилл этого вопроса никак не ожидал. Он сел на кровать рядом с ее креслом...

– Есть деньги, Жень. Полно. Твой заместитель привозит каждое первое число. Всё время хотел с тобой встретиться, поговорить. Но ты... В общем, история для меня загадочная: он говорит, что пока он издательство будет

тянуть, без денег тебя не оставит. А там как получится... Да и мне еще кое-чего платят... – ухмыльнулся он, потому что его условная зарплата соответствовала условному уважению, которое государство испытывало к ученым, занимающимся фундаментальными науками...

– Ни фиги себе, – покачала головой Женя. – Как интересно...

Это был первый разговор за пять месяцев. О деньгах...

– А может, он порядочный человек? – высказал остроумное предположение Кирилл.

– Может. Но вообще-то явление довольно редкое... Сережка молодой очень, он про это и знать не должен...

– Может, из хорошей семьи?

– Не факт, – отозвалась Женя.

И задумалась. Этот Лилькин звонок, и удивительное поведение Сережи мешали ей пребывать в холодном оцепенении подледной рыбы, которая держит в онемелом теле лишь одно желание – дожить до весны и бултыхнуться... крепко так бултыхнуться с седьмого этажа, чтобы всё это, вместе с памперсами – delete, delete, delete...

Кирилл же, уже стоя в дверях, праздновал это событие и размышлял о своем – о бедной кристаллической решетке, потерявшей стабильность, о краевых эффектах, о деградации и активации зон возбуждения, дающих рост кристаллу... Он был когда-то в нее сильно влюблен, потом долго любил, потом породнился, потом оравнодушнел, отдалился, привык, позже обнаружил, что сросся с ней в какую-то общую неразделимую структуру, вроде взаимопроникающих кристаллов и теперь, когда она захотела умереть, он восстал всем своим упрямством, и именно благодаря этому ослиному качеству честно научился всему, что презирал: раскрыл поваренную книгу, прочитал, как готовить борщ и гречневую кашу, как жарить котлеты и варить компот, а потом вынул инструкции и разобрался, как работает стиральная машина, куда загружать белье, а куда порошок, и только с покупкой продуктов не получалось, потому что не было такого учебника. Но это взял на себя Гришка, и тоже оказался на высоте: притаскивал в рюкзаке из чего готовить, и оба они, и муж, и сын, немного гордились своей толковостью и бесстрашием, и немного горевали, что не делали этого прежде, когда Женя, веселая и слегка злая, носилась как угорелая, шутя, ругаясь, гася окурки в разноцветные пепельницы, всюду понатыканные. А теперь чистые пепельницы стояли по всем углам, а она больше не курила... И не носилась... И чтобы продолжалась их общая жизнь, он вынужден был взять на себя “не свое”, и Виолетта-помощница только убиралась в квартире, и деньги брать

стеснялась, каждый раз Кирилл ей чуть не насильно втискивал, а всё прочее – за всё Кирилл теперь отвечал, даже квитанции за оплату электричества научился заполнять... И то что отвернувшаяся от жизни Женя этого как будто и не замечала, его нисколько не огорчало, потому что выполнял он все эти новые для него движения не ради благодарности, а из смутного чувства, что пока его упрямства хватит, Женя будет жить. А пока она жива, то, может, и починится эта проклятая поломка... И в виду он имел в меньшей степени ее поврежденный позвоночник, а гораздо более – структуру... структуру... так он это называл. Слово “душа” было для него так же невозможно к употреблению – как слово “пролонгировать” или “окешить”...

– Неплохо бы Лильке подкинуть... Возможно? – спросила Женя после длинной паузы, когда Кирилл далеко улетел в своих кристаллографических рассуждениях.

– Скажи, сколько, и Гришка отвезет, – отозвался Кирилл.

– Стольничек сможешь?

– Легко, – кивнул Кирилл.

Как странно он ответил. Это Гришка так говорит. Гришкино словцо перехватил, – подумала Женя.

Кирилл всё еще сидел у нее на кровати, сгорбившись, в неудобной позе. Какие-то жилы незнакомые проступили на шее, лишняя кожа под подбородком. Похудел он, вот что. И постарел. Бедный... как управляется. Господи, да ведь это он всё сам... Этого и быть не может... Это ведь и не он уже...

А Лилька теперь каждый день разговаривала по телефону с Женей, рассказывала о всех перипетиях своей сложной семейной жизни, и снова благодарила за помощь, и это длилось больше недели, пока Женя не сообразила, что Лилька умышленно не спрашивает ее о здоровье, что не в глупом эгоизме больного человека здесь дело, а в какой-то стратегии. И она задумалась. Хотя думать ей было трудно. Она так привыкла к спасительному умственному оцепенению, благодаря которому можно было вынести себя за скобки и перестать страдать от унижительной неподвижности и ненависти к своему полуживому телу... Так вот... в чем стратегия? Почему сердобольная Лилька ни разу не спросила ее – а как ты? Как ты там лежишь в своем памперсе с немymi ногами? Почему-то это казалось важным.

“Спрошу”, – решила Женя, уже засыпая...

Назавтра была пятница – единственный день, когда Кирилл уходил на лекцию к девяти утра. По пятницам он поднимал Женю рано, в половине седьмого.

Отнес, как всегда, в ванную. В отличие от всех лежащих больных, толстеющих, Женя худела. Но поднимать Кириллу Женю, несмотря на ее малый вес, было трудновато, а нести – ничего. Он был из породы крестьянской, сильной, и с детства мешки с картошкой таскал... Молодая сила уже покинула его. Но не так уж она и была нужна, скорее сноровка...

Усадил Женю сначала на унитаз, потом в ванну, а сам стал бриться, чтоб времени не терять. Потом в ванную прикатил кресло, на него положил большую простыню – всё было продумано, приспособлено. Женя вытиралась сама. Потом помог надеть майку, отнес на кровать, смазал кремом спину, пах – смотрел внимательно: пролежней не было, он хорошо следил. Заклеил памперс. Потом позавтракали вместе – Женя чаю попила, две ложки каши съела. Унес посуду. Женя попросила принести ей трубку. Он принес и уехал – до обеда.

Лильке Женя позвонила в одиннадцать. Долго вспоминала телефон... как много вещей успело высыпаться из головы за это время. Прежде все телефоны держались в голове как отпечатанные...

Лилька сразу сняла трубку – и обрадовалась:

– Женечка! Ты мне за всё время первый раз сама звонишь! Как же я рада!

Голос звонкий, счастливый.

– Лиль, скажи, а почему ты ни разу не спросила, ну... как я... лежу...

– Мне надо к тебе приехать, Жень. Всё объяснить. Ты разреши, я приеду...

– Как ты приедешь-то? На метле, что ли, прилетишь?

– Жень, я без палки хожу... По дому, конечно. Я ведь теперь и на улицу сама выхожу. Ну, не в транспорт, конечно. Такси бы взяла... Мне тебе надо одну вещь сказать. Но не по телефону. Не могу по телефону...

– Приезжай, – сказала Женя. И испугалась. Так испугалась, что сердце забилося. – Только, может, не сегодня, – начала строить оградительное сооружение. – Сейчас Кирилла дома нет, кто тебе дверь откроет?

– А Гришка? А Гришка не откроет? – кричала Лилька в трубку, и слышно было, что она приедет, пешком пойдет, поползет на пузе...

– Он спит, твой Гришка. Лилька, ну давай завтра приедешь, а?

– И речи ни боже мой, вот штаны только надену, и сразу...

Приехала через два часа. Гришка открыл. Она долго шебуршила в прихожей. Наконец, вошла. Огромная, толстая. У живота хорошей рукой букет держит – голландский, в розовом целлофане, как на мещанскую свадьбу. А левой рукой – придерживает.

– Только не голоси, только не голоси, – попросила Женя.

– И не собираюсь, – сжав трясущиеся губы, ответила Лиля. И тут же рухнула на колени, ткнувшись головой в кровать, и затряслась плечами.

“Дура, дура я, зачем разрешила приехать”... – подумала Женя.

Лилька кончила трясти кровать, подняла мокрое лицо из смятого букета и сказала решительно:

– Извини, Жень. Я к этому разговору полгода готовилась. У меня просто навязчивая идея была: я всё в уме к тебе обращалась. В общем, выслушай меня. Это твое несчастье не просто так случилось. Это я виновата.

– Ну, ну, – усмехнулась Женя. – Давай, валяй дальше...

– Я серьезно. Всю жизнь, Женя, я тебе завидовала. Любила, конечно, очень, но завидовала еще сильнее. А это знаешь какая энергия – зависти. Ну говорят же – сглаз. Это, может, ерунда. Но что-то в этом есть. Когда так сильно завидуешь, что-то нарушается в мире, – она шевельнула левой, больной, приподняла ее на уровень плеча. – И потом мне приснился сон. Два раза. Один раз до пятнадцатого октября, а второй – через месяц.

Какое пятнадцатое октября? Да... конечно. Билеты во Франкфурт были на пятнадцатое октября...

– Вот представь, я иду по дороге. Такая – не особенно какая дорога, серенькая, кусточки по сторонам. А на мне мешок тяжести несусветной. Даже как будто он и небольшой, но меня просто плющит от него, плющит... Я снять его хочу – и не могу, одной рукой не снимается. И народ вроде какой-то рядом идет, тоже все с поклажей. Я прошу помочь, а они меня как не видят. Как будто я прозрачная, ей-богу. И вдруг вижу – ты. Идешь безо всего, в синем платье, и туфли на каблуках, твои, синие. Шикарные... Увидела меня, сразу ко мне бросилась, что-то говоришь, не помню что, но утешительное. И я тебя даже попросить не успела, ты сразу так легко с меня этот мешок снимаешь и на плечо себе накидываешь как нечего делать. Вроде бы как он у тебя в руках – нетяжелый. И я думаю в себе – почему так: на мне он был как каменный, а тебе вроде легко. Вот и весь сон. Я сначала ничего не поняла. Потом случилось это с тобой. Ну, я тебе даже рассказывать не стану, как мы всё

это пережили – и я, и девочки. Да. Они тебя очень любят, Жень. И мой Фридман, между прочим, тоже. Он теперь обратно домой просится, но это я тебе потом расскажу. Ну вот... Ты уже в себя пришла после операции. У меня в Склифе врачах знакомая, я ей много чего доставала, так она мне каждый день звонила, всё рассказывала, как и что... В общем, ровно через десять дней после твоей операции опять этот сон: снова я иду по той же самой дороге, снова на меня никто внимания не обращает, и ты опять ко мне подходишь. Но одета как-то не так: вроде какая-то рабочая одежда, то ли халат черный, может, фартук... И на ногах ботинки какие-то жуткие, совсем на тебя не похоже... Но ты, как ни в чем не бывало, подходишь ко мне, опять-таки мой мешок снимаешь, и мы идем дальше... Веришь, нет?

Но Лиле вовсе не надо было никакого уверения. Она торопилась досказать свою историю до конца... Женя слушала со слабой улыбкой: все-таки, прелесть, дура какая Лилечка Аптекман!

– Ну вот. Понимаешь, у верующих людей есть ведь второй план, ты понимаешь? Он важнее первого. Гораздо важней. И вот я стала думать, что же означает этот сон? – лицо у Лили сделалось важным и загадочным. – Я переложила на тебя свой крест, вот что произошло. И я-то ничего, а ты сломалась. Это в тебя не красный “ауди” въехал, это я в тебя въехала со своими заботами, и с завистью. Да, с завистью. И ты понимаешь, вот буквально: ты лежишь, а мне всё лучше делается...

Лиля снова начала плакать.

– Слушай, это какая-то абракадабра, то, что ты говоришь. Не плачь, бога ради. Пьяный игрок вылез из казино, за ночь спустил несметные деньги, рванул, и подушки безопасности его не спасли... а ты мне про какой-то сон. – Женя погладила Лилю по голове. – Пойди, скажи Гришке, чтоб цветы в вазу поставил.

Лиля тяжело поднялась с колен, опираясь здоровой рукой о кровать.

– Вот этого я больше всего и боялась, – грустно сказала она. – Ты такая умная, а простых вещей не понимаешь...

Лиля просидела до прихода Кирилла – винилась, каялась. Еще несколько раз пересказала сон, потом – проникновенно – сказала Жене:

– Вот понимаешь, сказано было: возьми свой крест и следуй за мной... Не просто так – возьми крест, и не возьми чужой крест. Свой возьми... А я-то всё свой на других перекалывала: всем жаловалась, ото всех принимала помощь и сочувствие. Больше всего – на тебя. Вот, он-то тебе спину и переломил. Вот что получилось. И я теперь так молюсь, чтоб всё

поправилось. Чтоб ты на ноги встала.

– Да ладно тебе, Лиль. Я твою книжку тоже читала, там много чего сказано. Там сказано также: носите бремена друг друга. Или я что-то не так поняла? – ударила Женя Лилиным оружием.

Лиля замахала руками – одной быстро и широко, вторая заметно отставала, но участвовала в жестикуляции...

Пришел Кирилл, накормил обедом. Ели в кухне, все вместе.

– Как ты, Женька, готовишь вкусно, – похвалила Лиля.

– Я? Это Кирилл, – ответила Женя.

Кирилл улыбнулся – ему теперь немного надо было: одной похвалы...

Так просидела Лиля до самого вечера, а когда ушла, Женя рассказала Кириллу о Лилиной версии. Кирилл подумал немного, наложил на свои структурные соображения и покачал головой: нет, не думаю. Так не работает.

В одиннадцать позвонил азербайджанский доктор Ильясов. Тот самый, что приезжал к Жене в Склиф и обещал сделать ей операцию, когда все переломы срастутся. Еще раз он приезжал к ним домой, вскоре после Жениной выписки, но Женя плохо запомнила этот его приезд.

Он пришел на следующий день. Поразил Женю темным сухим лицом и зеркально-черными глазами. Видно, он и сам был чем-то болен. Он долго мямл Женину спину, водил по ней, больно и неожиданно тыкал пальцами, и, когда Женя вскрикнула, он тихо рассмеялся и попросил у Кирилла иголку. Зажег спичку, сунул в игрушечное пламя конец иглы и еще долго чертил и покалывал Женину спину, ноги...

Потом воткнул иглу в Кириллову записную книжку, которая лежала на столике, заторопился вдруг и сказал, уже направляясь к двери:

– Во вторник на будущей неделе к девяти утра приезжайте в клинику. Оперировать буду скорее всего в среду. Наркоз будет местный. Готовьтесь к тому, что придется потерпеть. И шестьсот долларов привезете. Остальное – по результату.

– Есть надежда, что будет ходить? – спросил Кирилл уже в коридоре.

Ильясов посмотрел на Кирилла как-то подозрительно, с сомнением: стоит ли с ним объясняться? Потом вынул из кармана блокнот и тут же, в прихожей, на ходу стал рисовать Кириллу позвонок, потом присоединил к нему второй – рисовал красиво, с какими-то острыми изгибами, – только не верилось, что эти сложные веретена действительно там, внутри... В маленькие нарисованные отверстия доктор Ильясов ткнул черной ручкой и вывел из них плавные линии – пару спинальных нервов... Потом нарисовал лепешечку, заштриховал ее тонко и ткнул кончиком ручки:

– Вот. Я думаю, там собралась спинномозговая жидкость, отвердела и давит на нервы. Впечатление такое, что они не атрофированы полностью... Попробуем это вычистить. И будет видно...

Виолетта выглянула из кухни с тряпкой в руках, поклонилась доктору. Он кивнул – непонятно было, знакомы они, что ли...

Когда Ильясов ушел, Виолетта подошла к Кириллу и сказала:

– Кирилл Васильевич, я доктора этого Ильясова знаю. наших детей в клинику берет, я две семьи знаю таких, одни наши, из Грозного, у них парень десять лет, ноги оторвало. Он протезы сделал. Денег не берет, свои дает... Он святой наш.

– Да ну? – удивился Кирилл. Святые ему в жизни не попадались.

8

Всё время операции было очень больно, но Женя терпела, только постанывала. Длилось всё это бесконечно долго, и она думала только об одном: как вывезут ее весной на балкон, и каким наслаждением будет минута, когда она перевалит через перила балкона. Потом она услышала голос Ильясова:

– Женя, ты слышишь меня? Вот сейчас покричи немного, а? Сильно больно – сильно кричи. Поменьше больно – кричи поменьше. Ну, а?

И Женя закричала что было силы. И кричала, пока вдруг не рвануло так, что голос застыл.

Ах, хорошо! – услышала она голос Ильясова и потеряла наконец сознание.

Боли длились еще три дня, спину ломало так, как будто раскаленный прут вставлен был в позвоночник. А Ильясов приходил каждое утро, осматривал ее и приговаривал: – Хорошо! Хорошо!

Кирилл обычно уже сидел в палате. Потом выходил вслед за Ильясовым и спрашивал:

– Что хорошего-то, доктор?

Он подмигивал – будет ходить, будет...

На второй неделе стал ходить массажист, тоже человек восточный, но похожий скорее на индуса... Женя всё лежала на животе, на спину ее не перекладывали, а индус, оказался, впрочем, таджиком по имени Байрам. Странное все-таки место, подумал про себя Кирилл, но Жене ничего не сказал. Байрам долго мял ее ноги и прикладывал к ним какие-то горячие свечи.

Через неделю перевернули на спину, садиться не велели. Еще через неделю Ильясов, подсунув руки под мышки, поднял ее. Женя стояла, ноги ее держали.

Она постояла минуту, он поднял ее, уложил.

– Садиться тебе нельзя, поняла? Три месяца садиться нельзя. Ходить можно, а садиться нельзя...

На следующий день велел, чтобы Кирилл принес еще три тысячи. С Байрамом сам расплатишься. Сколько скажет, столько и дай. Для святого – многовато, подумал Кирилл. Деньги были – Сашка прислал из своей Африки.

Байрам ходил каждый день. Работал по два часа, и глаз нельзя было отвести от его плавных движений. Женя стонала. Было больно. Потом, в конце недели Байрам сказал Кириллу, чтобы тот принес восемьсот долларов. Святые были дорогостоящие...

Женя повеселела. Сестра принесла ей ходунки – каждый день Женя стояла на своих ногах всё дольше и дольше. Потом ложилась, мокрая от напряжения, и Кирилл долго перебирал руками пальцы ее ног – пока они не разогревались от его тепла...

Через месяц Женя выкатилась из палаты в коридор – не в кресле, которым ей до сих пор не разрешали пользоваться, а в ходунках, шаг за шагом. Первое, что она увидела в коридоре, была драка двух мальчишек: один, без ног, сидел в коляске и ловко лупил длинными руками второго, который крепко держался на двух костылях, у него не было одной левой руки от локтя и правой ноги по колено. У того, что сидел в коляске, было явное преимущество...

– Противопехотные мины, – догадалась Женя.

– Эй, сейчас Ильясова позову, он вам обоим наkostenяет! – крикнула медсестра с поста. Колясочник ловко развернулся и поехал прочь...

Женя задохнулась. Но развернуться сама не смогла.

– Кирилл, помоги вернуться в палату, – попросила она, и Кирилл осторожно развернул ее ходунки.

В конце мая Хава Иванова приехала из Иерусалима. Она прожила там семь месяцев, училась в каком-то еврейском университете.

Пришла в гости. Красивая и постаревшая. На голове намотана была какая-то серебристая чалма, длинное светлое платье элегантно болталось

вокруг похудевшего тела.

Стояли на балконе. Женя упиралась локтями в бортик ходунков. Она могла и самостоятельно сделать несколько шагов, но в ходунках все-таки чувствовала себя увереннее.

Хава была необыкновенно молчалива, так что Женя сама задала ей вопрос:

– Ну, и что ты там изучала?

– Язык и Тору, – сдержанно ответила Хава.

– Ну и как? Научили?

– Трудно, – ответила Хава. – Чем больше ответов, тем больше вопросов.

Деревья кончались на уровне пятого этажа, с балкона видны были только мелко-кудрявые макушки двух ясеней, и земля под ними едва просвечивала. Бросаться вниз Жене больше не хотелось...

– Я, Женя, решила с учебой покончить. Кажется, я вообще не с того места начала. Хочется всё бросить и начать жить заново...

– Это я могу понять, – согласилась Женя.

Потом они выпили чаю. Потом Хава усадила Женю в кресло, налила в таз теплой воды, поставила в него Женины тощие ноги. Остригла ногти, потерла пятки пемзой. Нашла старую бритву и побрила редкие длинные волосы на голених. Вытерла, намазала кремом. Всё молча.

Потом, не поднимая головы, сказала очень спокойно:

– Столько пены внутри. Но немного освобождаюсь: всю жизнь страдала, что Костя тебя любил... Он ведь тебя так и не разлюбил...

– Какие глупости... Это всё было в позапрошлой жизни. Мы же теперь заново живем... Что там Тора по этому поводу говорит?

– Благодарю Тебя, Царь живой и сущий, за то, что по милости Своей Ты возвратил мне душу мою... Это утренняя молитва, Женя. На иврите очень красиво. – И Хава проговорила гортанную длинную фразу.

“Надо сказать Сереже, чтобы принес эти две рукописи. А то принял сам к печати, а редактуру сделать толковую не сможет, – подумала Женя. – И Сашку надо попросить, чтоб купил Кириллу новые штаны. Синие и черные. Две пары. И ответить на письмо... И записать, наконец, дела в книжку...”

Человек со связями

Человек со связями

Эту тему сначала надо почуять, как охотник чует свою добычу. Потом, определив место, где добыча может скрываться, обозначить границы, в которых пойдет охота... и оградить участок флажками, чтобы добыча не ускользнула.

Возможно, что добычей окажется метафора. Грандиозная метафора в стиле Джонатана Свифта: гигантский спящий Гулливер, привязанный тысячей нитей к платформе, которая движется неизвестно куда. Вот об этих нитях тянет подумать и поговорить. Кстати, они в родстве с теми, которые ткут мифологические сестры, устраивая узоры из рождений, смертей и иных пересечений судеб.

Общая ткань бесконечна: одни нити прерываются, вплетаются другие, но в их подвижном континууме каждая нить неведомым образом связана с остальными. Устройство этого безумного ковра таково, что каждую его точку можно рассматривать отдельно, и движение ее определяется всеми прочими, и каждая точка обладает полнотой собственного бытия – или по крайней мере дает такую иллюзию внимательному наблюдателю, который, временно отрываясь от себя самого, пытается разглядеть картину с высоты птичьего, скажем, полета.

Что же это за нити? Что за связи? Заранее можно сказать, что отчетливого, однозначно удовлетворительного ответа не будет. Нам дана лишь возможность восхищаться, изумляться, ужасаться и радоваться, когда удастся проследить хоть какие-то фрагменты этой подвижной ткани.

Приближение первое: человек как явление природы. Единственное, кажется, существо, способное осознавать свою принадлежность природе и изучать себя самого в разных обстоятельствах. Одновременно объект изучения и инструмент, это изучение производящий, – именно в этом уникальность человека в доступном наблюдению мироздании. Производное земли, человек связан не только с землей, но и с небом разнообразными нитями. Для многих живущих на земле небо – место пребывания Высшей Силы, для других – астрологическая карта с фигурами Зодиака и иными созвездиями, определяющими индивидуальные судьбы людей, третьих интересует влажность, направление ветра и содержание озона в двадцати километрах над поверхностью собственной шляпы, четвертые, задржав голову, смотрят в синеву и ловят кайф от ее

воображаемого покоя.

То же и с землей: ее обожествляли, чтили мощную силу ее плодородия, вскапывали и поливали, ее терзали, любили, ненавидели, начиняли порохом и собственной кровью, зарывали в нее сокровища и прятали в ней следы преступлений. На ней рождались и в нее ложились, и она принимала в себя остатки мягких тканей и костей.

Из земли вырастают растения. И снова возникает целый веер отношений человека и зеленых детей земли – от обожествления до уничтожения... И какие тонкие связи здесь образовались: человек ухаживает за деревом, любит его, съедает его плод, сажает его семя в землю, сжигает древесину, обогревая свое временное тело... Практикующий цигун стоит в позе дерева и пребывает деревом, извлекая из этого состояния невысказуемое знание. Вырубающий лес прокладывает на его свежей могиле двенадцатиполосный хайвей. А зеленый лист продолжает делать то, что не умеет делать никто больше в этом мире, – преобразует солнечную энергию в живую органическую массу. Это и есть первичная божья глина. Без растений не могли бы существовать животные.

Биг бенг (Большой взрыв) или акт творения? Теория эволюции или теория катастроф? Копошится не видимая глазом инфузория-туфелька, активно схватывающая добычу временным ртом, но еще не разучившаяся освобождать кислород из углекислого газа с помощью хилого солнечного луча, пробившегося через поверхность мутной воды. Это хлипкий мостик, по которому карабкается эволюция. Следующая ступень – окаменевшая кость, пробитый череп обезьяночеловека, подлог мистификатора или ухмылка природы?

Ставши человеком, это существо не перестает быть животным. Какая сложная здесь система связей возникает: несомненное животное, и по сей день животное, по всем признакам совершеннейшее животное – активное движение, активное питание, инстинкты, общие для рыбы, змеи, кролика и человека. Инстинкты питания, размножения, заботы о потомстве. Впрочем, последнее не у всех. Не всякая рыбка заботится о своих детях, некоторые лишь брызнут спермой в подходящих обстоятельствах. Но это и у людей бывает...

Какие связи, какая история и предыстория... Тотем и табу. Ты – от медведя, я – от марабу. А этот – от Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина. Или от Чарльза Дарвина и Зигмунда Фрейда.

Не надо смеяться. Мы связаны с животными неразрывно и во веки веков. Они проживут без нас, а мы без них – нет. Они наша мясная пища, наши котлеты, колбасы и бульоны, крабовые салаты и рыбные супы...

Но мы любим еще, когда кошка мурлычет и трется о колено, а собака кладет голову на другое колено и преданно смотрит в глаза... И не забудьте про вервольфа... и про черную пантеру древней Африки, вызванную шаманскими заклинаниями. И еще не забудьте того, чего не знаете, чему не находите объяснений: ритуал погребения у слонов, изгнание провинившегося муравья из стаи, взаимная нежность крокодилов, убийство сыновей от прежнего брака матерыми львами, смертельные бои оленей и смерть от неразделенной любви у совсем безмозглой канарейки...

Какие трогательные сказки рассказывает нам индуизм о путях перерождений! Не пей из лужи, братик, козленочком станешь, – говорит и русская сказка. А доктор Штайнер рассказывал ученикам – и учил их наблюдать благодатное пламя ауры вокруг коровы, жующей свою жвачку: священный акт природы, процесс усвоения солнечной энергии, накопленной растениями, телом животного... Только ленивый не высмеивал антропософов. А ведь они увидели заново то, о чем забыла образованная Европа. Их взгляд – благоговение перед чудом жизни.

И конечно, нельзя упустить из виду магнетические связи человека с низшими природными силами: ведьмы в трагедии Шекспира “Макбет” призывают их заклинаниями и манипуляциями с останками животных и растений...

А способность человека вступать во взаимоотношения, перекидывать нить общения за пределы мира реальности? Речь здесь идет не только о ритуалах и мистериях, начиная хоть от Элевсинских, но и о сократовом “даймоне”, и о беседах Божьей Матери с Серафимом Саровским. Хотите верьте, хотите нет. Но иконы Благовещения сами по себе являют факт, присутствующий вне зависимости от того, верим ли мы в посещение архангелом Гавриилом юной дочери Иоакима и Анны. Я в той деревне была, видела церковь Благовещения, под ней, в археологическом раскопе – миква. В двух шагах – арабская закусочная, мы там ели. Хозяйку зовут Мармат, у нее восемь детей, она приветлива и мила. Поговорили. Нас угостили кофе. Расцеловались. Разошлись в разные стороны. Навсегда. А узелок зачем-то завязался!

Одно только перечисление разнообразнейших связей, которыми связано всё живущее, набрасывает эскиз картины огромной сложности и разнообразия. Но есть и специальные, исключительно межчеловеческие отношения, и первая важнейшая группа – вертикальное родство: у каждого есть родители и дети. Во всяком случае, отсутствие таковых является скорее исключением. Имеется также значительное количество кровных родственников с убывающей степенью родства. У каждого человека, кроме

родственников кровных, есть еще большое количество свойственников. Свойство тоже в некотором отношении приравнивается к родству. Кроме того, есть отношения соседствующих людей, отношения профессиональные, партийные, разного рода социальные: “хозяин – работник”, “врач – пациент”, “учитель – ученик” и многое другое. Религиозная сфера дает еще один огромный спектр отношений – от запрета на трапезу с иноверцем до крестовых походов и погромов.

Есть еще область совсем уж таинственная – область сновидений и близких к ним явлений. Сны вещие, предсказывающие будущее. Сны-загадки, вызывающие беспокойство, и даже сны, несущие конкретную информацию. Великий химик Менделеев, открыватель и создатель знаменитой таблицы Менделеева, изменивший представление о химической природе вещества, утверждал, что таблица приснилась ему во сне. Связь с глубинами подсознания или с высотами иного мира?

Известна такая категория снов, которые прокладывают связи между реальной жизнью и бытием иного рода, пространствами нематериального мира. Мы не знаем, откуда добывали свои сведения создатели сакральной литературы – от египетской, тибетской и других “Книг мертвых” до Майстера Экхарда и Блеза Паскаля... Но эти таинственные связи – вне зависимости от того, относимся мы к ним скептически или с почтением – описаны в подробностях и деталях.

Всё вышеизложенное – длинное предисловие к короткому заявлению, что литература и есть художественное осмысление этих связей человека и мира. На рабочем уровне, так сказать. Именно этим делом занимается писатель, даже в тех случаях, когда делает вид, что собирается просто развлечь почтеннейшую публику.

Подобно мольеровскому Журдену, сделавшему открытие, что всю жизнь он говорит прозой, скромное открытие о кружевной природе человеческого бытия, о тайне, заключенной не только в узелках, но и в пробелах между ними, я сделала в студенческие годы. В то время я была студентом-генетиком и переживала великое открытие века, которое кое-как добралось до затравленной советской властью биологической науки. Я имею в виду двойную спираль ДНК Уотсона и Крика.

Эта модель, как тогда казалось, всё объясняла в наследственности, а заодно и кое-что в мироздании. Спираль раскручивалась, потом в раскрученном виде соединялась с другой, тоже располовиненной, аденин кидался в объятия к тимину, а гуанин к цитидину, и происходила комбинация наследственного материала, в результате чего возникала и я, и моя кошка. Но кроме этих двух нобелевских лауреатов был еще третий,

ночной, встреча с которым меня потрясла никак не меньше. Это был Борис Пастернак, вернее, его роман “Доктор Живаго”, уже известный по слухам, кем-то из особо приближенных к писателю уже прочитанный, уже скандальный, изданный в Италии на русском языке и ходивший по рукам. Этот роман, уже в первом к нему прикосновении, открыл для меня это кружево жизни. Впоследствии я много раз его перечитывала и находила в нем всё новые и новые драгоценности.

Одна из лучших сцен романа – и самых загадочных – смерть Юрия Андреевича Живаго. Он едет в трамвае, замечает из окна постоянно ломающегося вагона пожилую даму в лиловом, которая то обгоняет трамвай, то снова оказывается позади. Ему приходят на ум школьные задачки на “...исчисление срока и порядка пущенных в разные часы и идущих с разной скоростью поездов... Он подумал о нескольких развивающихся рядом существованиях, движущихся с разной скоростью одно возле другого, и о том, что когда чья-нибудь судьба обгоняет в жизни судьбу другого, и кто кого переживает. Нечто вроде принципа относительности на житейском ристалище представилось ему...”

Сердечный приступ начинается у героя, он задыхается в душном вагоне, пытается открыть накрепко закрытое окно. “Ощутит небывалую, непоправимую боль внутри...”, рванул к выходу, выскочил из трамвая и упал мертвым... к ногам дамы в лиловом, мадемуазель Флери, с которой пути его мимолетно пересеклись на Урале, за двенадцать лет до этого дня. Она, не узнав в умершем доктора Живаго, прошла, помахивая свертком с документами в швейцарское посольство, где получила наконец долгожданное разрешение на возвращение домой.

Зачем нужна была автору эта встреча-невстреча? Юрий Живаго прекрасно бы умер, не попав на глаза пожилой швейцарке, когда-то с ним знакомой. Да и вообще: зачем, при всей многофигурности романа, при десятках значительных, интересных героев, понадобился ему этот лиловый призрак, совершенно ничего не меняющий в ландшафте романа?

Можно строить различные объяснения этому столь значительному и бессмысленному эпизоду, но лично для меня он послужил отправной точкой для размышлений о соотношении жизни и литературы, о том, что именно производит литература с судьбой, когда рассматривает ее с художественно-философской стороны. Несомненно, литература выявляет и очищает связи, завязанные внутри жизни, вычленяет наиболее важные, отсекает второстепенные, то есть производит отбор субъективный, авторский. Автор как бы предъявляет свою интерпретацию происходящего. И талант – убеждает. Меня в те мои молодые годы Пастернак убедил,

что мир сплетен из тончайших нитей, что каждый из живущих обладает тысячью валентностей, которые замыкаются на окружающем мире и между собой. Прочитанная книга аккумулирует такие связи: все прочитавшие ее особым образом связаны между собой отношениями к героям книги, размышлениями о судьбах и обстоятельствах их жизни. Такими же аккумуляторами связей оказываются и великие музыкальные произведения, и картины, и скульптуры. Однако язык литературы здесь – самый внятный.

Конечно же, я была идеальной слушательницей-читательницей Бориса Пастернака. Даже мое первое знакомство с ним было очень знаменательным и забавным. В тринадцатилетнем возрасте в книжном шкафу моей подруги позади всех книг я нашла две, спрятанные от детей. Одна из них была “Декамерон” Боккаччо, и мы ее внимательно исследовали. А вторая – сборник Бориса Пастернака. Я его открыла и захлебнулась. “Сестра моя жизнь” просто обожгла. К тому времени мне были известны имена Ахматовой, Северянина, Цветаевой, даже Анненского я знала, а Пастернака – нет. И он стал моим собственным, личным открытием. И до сих пор я иногда начинаю скучать по его музыке, открываю его томик. Через его стихи я поняла, что поэзия концентрирует все связи, рождает новые ассоциации, тренирует глаз, слух, сознание, переносит из повседневной жизни в мир возможного, но малодоступного.

Немного позже я обнаружила в том же шкафу “Детство Люверс” и очень над этим детством страдала: волнение, горечь непонимания. Именно тогда, уже при чтении стихотворений Пастернака, открылась мне тайна рифмы – не звуковой, а многофункциональной. “И воздух синь, как узелок с бельем у выписавшегося из больницы...” – синева весеннего неба так осязаемо переглядывалась с синими кальсонами в узелке, синим трико, машущим пустыми ногами с веревки, натянутой посреди двора, – навстречу небу...

Именно Пастернак снял с моих глаз пленку, и я стала видеть благодаря ему то, о чем прежде и не догадывалась: о связи всего со всем, о невысказуемой красоте этой связи. Я увидела, что мир наполнен сюжетами, как хороший гранат зернышками. И каждое зерно связано с соседним. Но метафора с нитями – убедительней. Просто касаешься любой близлежащей нити, и она ведет тебя в глубину узора, через напряжение страсти, боли, страдания, любви.

Ни рассказ, ни роман, ни поэма никогда не являются доказательством или серией доказательств какой-то мысли или гипотезы. Мастерство писателя заключается в том, чтобы возможно полно показать эти волшебные связи, полувоображаемые, полуподсмотренные. Речь идет,

конечно, не только о Пастернаке. Но именно ему я пожизненно благодарна за то, что он, как апостол Петр, открывает своим ключом дверь, за которой хранится лучшее, что создал человек, вода пером по бумаге.

Место входа у каждого человека свое собственное: но я ни разу не встретила человека, который самостоятельно, без учителя – книжного или реального, – смог бы найти этот вход. Да не все и находят.

Из этого неопределенного закона связей всего со всем вытекает одно не вполне очевидное следствие: богатство отдельной человеческой жизни зависит от того, сколько нитей может удержать человек. Вся человеческая культура – не что иное, как гигантская ткань, сплетенная из мириад нитей, в которой удерживается ровно столько, сколько ты лично можешь удержать.

Общая сумма культуры, которая увеличивается непрестанно, нуждается в человеческом сознании, работающем на предельной мощности, изготовившем инструменты для увеличения собственной точности, прочности, надежности и быстродействия. И какой же непоправимый урон наносят себе лично, культуре и самой жизни люди, исключаящие из своего умственного обихода науку и искусство, ограничивающие свое существование лишь связями с источниками питания, тепла и партнерами для продолжения рода.

Неоязычество внутри

Гораздо более крепко, чем узами любви, люди связаны между собой общей виной. Общая, групповая вина уменьшает долю личной до неуловимо малой величины. Потому что дробь получается очень убедительная: в числителе – единица, а в знаменателе – несколько тысяч, миллионов. Чем бо́льшая армия совершает преступление, тем – как будто! – меньше ответственности на каждом отдельном человеке. И мы, люди, живущие в мире огромных чисел, утешаемся этой лживой бухгалтерией, в то время как счет идет по другому правилу: ты и твоя совесть. И никаких дробей. И никаких оправданий, сводящихся к тому, что в толпе стояло много народу... Преступление часто бывает массовым; покаяние по своей природе – персонально.

Успехи всех вместе взятых наук – биологии, психологии, информатики, компьютерного дела в его самом широком понимании – привели к тому, что само понятие личности, целостного “Я” расщепилось, размылось и даже вообще поставлено под сомнение. Что есть его носитель – последовательность генов, трудноопределимая совесть, неуловимая душа или божественная искра, вживленная или данная взаимы куску живого мяса и нисколько ему не принадлежащая?

Если вынести за скобки ту часть “Я”, которая присуща и животному миру, то есть сумму инстинктов самосохранения и продолжения рода, что такое собственно человеческая составляющая в человеке? Способность к самосознанию? Религиозное чувство (до недавних пор я так думала, а недавно посмотрела фильм о жизни слонов и поколебалась: мне показалось, что у них тоже есть проблеск религиозного отношения к смерти, по крайней мере)? Может быть, альтруизм (если мы не будем рассматривать защиту своих детенышей как альтруистическое действие)? Или вышеупомянутая трудноопределимая совесть, которая является инструментом измерения нравственности?

Однако если нравственность мы выделим как качество, отличающее человека от животного, то очень большая часть человечества окажется вне систематики. При этом весьма существенно, что нравственный кодекс не един: десять заповедей не распространяются на всё человечество... Существуют иные программы добродетелей и пороков... Здесь мы легко приближаемся к “естественной религии” Вольтера, утверждавшего, что существует естественный фундамент нравственности и этики.

По этой дорожке мы подходим к очень важной теме взаимоотношения тех, кто называет себя христианами, с теми, кого они считают язычниками.

Итак, мы с вами принадлежим к миру, который признает, хотя бы теоретически, что именно десять заповедей являются основой нравственности. Справедливости ради следует вспомнить, что даже в самые безбожные времена в СССР десять заповедей не отменяли – они были законсервированы в несколько измененном виде в “Моральном кодексе строителей коммунизма”. Эти нравственные максимы не отвергались ни фашистским, ни коммунистическим режимами, но тем не менее небывалый в мире военный конфликт XX века произошел между странами, формально принадлежащими к христианскому миру. Миллионы людей, главным образом европейцев, в большинстве своем христиан, были вовлечены в этот конфликт. Оставим в стороне такие стародавние эпизоды истории, как крестовые походы или контрреформацию...

Приходится признать, что либо вера во Христа как основание христианства не является гарантом нравственного поведения, либо ее, веры, вовсе и не было. А что представляет собой христианство, если вынуть из него эту составляющую? “Медь звенящую и кимвал бряцающий”, давно об этом сказано. То есть ритуал, обряд, этнографию. Ровно то же самое, что имеет каждое из тех разнообразных верований, которые определяют общим словом “язычество” и которым приписывается много дурного, иногда заслуженно, часто незаслуженно, но почти всегда не вникая в то, что представляет собой чуждое христианству верование.

Противопоставляя эти два явления, мы не всегда оцениваем, в какой степени современное христианство несет в себе язычество и в какой мере христианство в своей практике дает повод для развития неоязычества. Какие еще нити напряжения, кроме взаимного отрицания, связывают эти две противопоставляемые идеологии?

В мире гуманитарной науки, как и в мире искусства, редко кому удастся строго сформулировать и разрешить конкретную задачу. Но даже в обозначении проблемы есть своя ценность. Здесь речь идет не о разрешении задачи: сколько в нашем мире вопросов без ответов, задач без решения и проблем, которые вообще неразрешимы в рамках наших возможностей! Во многих случаях сам очерк проблемы, даже без надежды найти ее разрешение, бывает полезен.

Одна из таких тем – взаимоотношения христианства и язычества и, еще более остро поставив вопрос, христианства и неоязычества.

Мир, к которому мы принадлежим, называет себя христианской

цивилизацией. Может быть, точнее – постхристианской. В течение двухтысячелетней истории пространство это, сначала крошечное, локальное и провинциальное, расширялось географически и менялось содержательно. Мир, предшествующий христианскому, был римским. Можно сказать, греко-римским. Христианская цивилизация возникла не на пустом пространстве, многие ценности предшествующих поколений были впитаны, переработаны, адаптированы. Многие пороки унаследованы. Римская цивилизация была чрезвычайно толерантна во многих отношениях, именно тогда была проработана тема государства, права, закона, общественных институтов, и многие открытия, касающиеся политической и государственной структуры (в том числе и демократия, о которой так много говорится в последние десятилетия), сделаны были именно в этот предшествующий христианству период.

Рим интегрировал религиозные воззрения народов, входящих в огромную империю. Народы вступали в империю, а их божества пополняли римский пантеон, в котором находили себе место и божества египетские, и малоазиатские.

На Ближнем Востоке произошел острый конфликт – маленький народ, исповедующий единобожие, высокомерно отказался от такого удобного принципа: мы примем вашего бога в общую компанию божеств, а вы потеснитесь и примите в ваш храм наших... Войны тех лет в Палестине носили характер не столько антиримский (быть римским гражданином было удобно, выгодно, почетно), сколько религиозно-защитительный. Иудеи потерпели формальное поражение и ушли на долгое время в религиозное подполье, спасая упорное единобожие. История известна.

Христиане унаследовали от иудеев эту непримиримость к чужим богам. Они не были толерантны, платили ценой своей крови, мы знаем много мученических смертей за веру в Единого Бога. Они презирали толчею языческого пантеона. В каком-то смысле не им объявили войну, а они ее объявили. И победили: Римская империя, сменив имя, столицу, границы, язык, с IV века, при императоре Константине, объявила себя христианской. В какой степени это официальное заявление соответствовало реальности – вопрос дискуссионный.

Наступило время многовекового существования язычества в недрах христианства. С того времени, как малая группа иудеев, считающих себя учениками Христа, перестала быть обособленной группой внутри иудаизма, оторвалась от иудейского корня, определилась как церковь христиан и начала свою проповедь в мире, раскрылись двери

для иноплеменников, огонь христианства разгорелся по всему миру, язычество хлынуло внутрь христианства, проникло на самую сокровенную глубину, и сегодня требуются большие интеллектуальные усилия, чтобы обозначить границу не наружную, а внутреннюю: где кончается одно, начинается другое, где они сливаются воедино и вообще не могут быть разделены. Но именно с этого момента начиная, христианство стало универсальным – в римском смысле слова.

“Несть еллина и иудея”, – утвердил апостол. Нет рода, семьи, то есть предпочтения крови, нет местного божества, и царь – не бог. Один только Христос, который всем Бог, всем Отечество.

Отсюда, между прочим, рождается логика антипатриотическая: принципы божественные, то есть любви и справедливости, выше интересов групповых, то есть национальных, государственных, кастовых, семейных... Простите за упоминание столь очевидной вещи.

Если бы христианство было последовательным, мы бы не знали ни одной из тех войн, которые сокрушали человечество с Рождества Христова до сегодняшнего дня.

Если квалифицированный историк или экономист, фыркнув, скажет, что никаких религиозных войн никогда и не было: испокон веку войны вели за территории, власть, влияние, – боюсь, что мне придется согласиться под давлением аргументов. Но все-таки трудно сегодня оценить, где причинено было больше ущерба: в войнах межхристианских или в войнах против язычников – индейцев всех толков, островитян, австралийцев, африканцев. Об индусах тоже можно упомянуть. В этом чуждом христианскому пространстве оказывается огромная часть человечества: Индия, Япония, Китай, в большой степени Африка.

Христиане привыкли к язычеству относиться весьма отрицательно. Естественно. Если за две тысячи лет даже в самой христианской среде не выработалось механизма толерантности друг к другу, если само разнообразие христианских церквей разных толков – симптом отсутствия единомыслия – служило источником раздоров и религиозных войн, что же говорить об отношениях с миром внешним, определяемым как “языческий”?

Пока шла (и идет!) тихая религиозная война между православными и католиками, между православными и униатами, баптистами, евангелистами, новое поколение в поисках пути обращает свои взгляды на Восток, в сторону буддизма, даосизма, индуизма. И причина довольно очевидна: практика христианской жизни сильно расходится с теорией.

Всё это свидетельствует о глубоком кризисе христианства. Как всегда, очень трудно говорить, где здесь причина и где следствие, – вне всякого сомнения, это как раз тот случай, когда причинно-следственная связь начинает буксовать; но так или иначе христианство, приобретая общественное значение, утрачивает внутреннюю силу и привлекательность, и одна из причин этому – повсеместная подмена христианского универсализма христианством национальным.

Христианство, отрицающее идею земного Отечества и взыскующее небесного, всё чаще заменяется домашним, этнографическим христианством. В истории в течение многих веков происходила адаптация местных верований, зачастую к ликам святых причислялись мифологические и культурные герои, праздники, связанные с космическим циклом, вставляли в церковный круг наряду с двенадцатыми, и это не представляло опасности для церкви до тех пор, пока существовала критическая масса, и этой критической массой оставалось учение Христа.

Нагорная проповедь, сердцевина этого учения, оттесняется на задний план. Я не рискую даже сказать, чем именно она заменяется. Анализировать, сколько именно “язычества” укоренилось в повседневной жизни церкви, – не моя задача. Однако, именно принимая во внимание пронизанность христианского сознания языческими чертами, церковь оказывается бессильной в этой борьбе с язычеством. Если таковая рассматривается в качестве задачи...

Факт довольно очевидный: церковь делается всё менее привлекательной для молодежи. И не то тревожит меня, что наши дети склоняются в сторону буддизма или даосизма: в той стороне они не встретят ни агрессии, ни ненависти.

Но иногда поиск религиозной истины уводит людей в иные пространства, и далеко не всегда эти пространства нейтральны. Сегодняшний расцвет неоязыческого движения, охватившего многие регионы бывшего СССР, – очень явный симптом.

Снова в ход идут расовые теории: украинские националисты уже почти доказали, что Заратустра и Ницше имеют украинское происхождение, и даже нашли украинского питекантропа. Золотой век человечества, праздновавшийся украино-арийцами во времена скотоводческие и раннеземледельческие, как они полагают, исказили иудеи и христиане. В республике Марий Эл воссоздается культ священных рощ, жертвоприношения лошадей, быков и домашней птицы, в Татарии и Удмуртии возрождаются жертвоприношения баранов. Баранов мне,

признаюсь, не очень жалко – их съедят и так, и так.

Я принадлежу к поколению младших шестидесятников, из чего следует, что молодость моя проходила в хаотическом чтении и поиске пути, а выработка мировоззрения напоминала игру в пазлы, при которой в качестве строительного материала отбирались кирпичики, которые нравились, и отбрасывались те, которые не нравились.

Мы все дружно ненавидели марксизм, но не брали на себя труд прочитать Маркса. Не знаю, любила ли бы я его больше, если б прочитала, но многие чрезвычайно важные вещи мы получили из рук в руки, в устной передаче, в частной беседе, в формате “отрывного календаря”, как говорила Надежда Яковлевна Мандельштам.

При таких условиях и речи не могло быть о выработке какого-то целостного мировоззрения. Следы этого “кухонного образования” многие из нас пронесли до зрелого возраста. К счастью, не все. Замечу в скобках, что сегодня я уже больше не тоскую о “целостности” мировоззрения. Успела примириться с бедностью собственных возможностей.

В шестидесятые годы произошла встреча с христианством, и несколько десятилетий я прожила в счастливом ощущении, что в моих руках универсальный ключ, с помощью которого открываются все замки. Обстоятельства были исключительно благоприятными – я попала в сферу притяжения нескольких выдающихся людей, исповадовавших христианство. Среди этих людей старшего поколения – лучшие люди, которых мне довелось встретить в жизни.

Но были и другие прекрасные люди, которые христианства не исповедовали, были иудеями, атеистами, скептиками, агностиками, чье поведение по отношению к близким было безукоризненным.

И сегодня мне уже не кажется, что именно и только христиане обладают полнотой истины. Ненависть и невежество в нашей среде свидетельствуют против нас. Мир, полный насилия, создан нами и другими детьми Авраамовыми.

Покаяние – безусловно, очень сильная и очистительная вещь, но оно никак не может возникнуть прежде осознания. И в эту работу по осознанию мира и самих себя вносит свою лепту и сегодняшняя литература, даже если она представляет собой горькое и труднопереносимое лекарство.

Грудь. Живот (2010–2012)

Капли действительно всё время стучат. Эту каплю мы не слышим за житейской суетой – радостной, тяжелой, разнообразной. Но вдруг – не мелодичный перезвон капли, а отчетливый сигнал: Жизнь коротка! Смерть больше жизни! Она уже тут, рядом! И никаких лукавых набоковских передергиваний. Это напоминание я получила в начале 2010 года. История эта была так захватывающе интересна, так сильна, и теперь, когда она уже позади (на время, на время!), я хочу ею поделиться со всеми, кому это может быть интересно. Отчасти я уже это сделала – в марте 2012-го по телевидению прошел фильм Кати Гордеевой о раке, и я давала интервью для этого фильма. Есть записи, дневники, какие-то отрывки текста, которые я писала во время этой медицинской истории.

Когда диагноз “рак” был поставлен, а сама я была поставлена перед необходимостью начинать долгое лечение, я оглянулась вокруг себя и обнаружила, что я вовсе не одинока: несколько моих подруг уже прошли онкологическую или иную тяжелую болезнь раньше меня, другие болели одновременно со мной, и одна из моих подруг получила свой диагноз в тот момент, когда я уже начала лечение, и я уже могла помочь ей советом. Вера Миллионщикова и Галя Чаликова уже никогда не прочитают этой книжки. Ушли вместе со своим потрясающим опытом.

Есть важные вещи, которые совершенно не обязательно открывать заново. Попробую поделиться своими черновиками с теми, кому предстоит этот экзамен сдавать после нас.

Прелюдия

Осенью 2009 года пришел к мужу галерейщик, куратор, организатор выставки и говорит:

- Андрей! Есть проект. Выставка будет называться “Половина”.
- Чего половина? – спрашивает Андрей.
- Ну, вообще, идея половины чего бы то ни было.

Андрей пожал плечами. Меня при этом разговоре не было, дело было в мастерской. Потом прихожу, Андрей рассказывает об этом разговоре.

- Ах, – говорю я, – как же не люблю я эти кураторские затеи.

И пошла на свою половину, между прочим.

А на своей половине подумала: а интересно, как можно пластически обозначить половину?

Я очень люблю решать чужие задачи. Вытянула ящик комода, вынула красивый французский лифчик, взяла ножницы и разрежала его пополам. Половину отнесла в мастерскую:

– Не правда ли, Андрей, это именно половина?

Андрей натянул на подрамник холст и тонкими булавками укрепил на нем половину лифчика. Форма, надо сказать, идеальная, даром что старый.

Но я не знала тогда, что происходит. Еще несколько месяцев прошло, прежде чем картина себя полностью проявила, и я смогла восхититься этой насмешливой метафоричностью.

Выставка прошла в галерее “Ковчег” в декабре, я на ней и не была. Кажется, я тогда уже уехала в Италию в деревню заканчивать книгу.

Анамнез

Я происхожу, по материнской линии, из семьи изобильно полногрудых женщин. Женская грудь вскормила почти каждого человека, но нашу семью в особенности. Когда дед плодотворно отдыхал в сталинских лагерях, бабушка освоила дополнительную профессию – научилась шить бюстгальтеры, исключительно в ночное время. Днем она работала бухгалтером. Легкая словесная игра... Держать книги, держать бюст. Полногрудая бабушка держала на самом деле семью. Она была образец благородства и достоинства. То обстоятельство, что она обладала статью Коровы – надеюсь, никому не придет в голову, что я имею в виду грязную колхозную буренку, – и несла впереди себя королевскую грудь, мне, безгрудой по юному возрасту, очень нравилось.

Годам к двенадцати, когда я вошла в состояние половозрелое, оказалось, что я не унаследовала от женщин-матерей моего рода их достойной восхищения полногрудости. Бабушка справила мне собственноручно первый лифчик – бюстгальтером этот предмет называть как-то неловко!

Она смотрела на мою девичью грудь с удивлением и некоторой завистью. Мы, мелкогрудые, не знаем тягот ношения этого многокилограммового неснимаемого груза, не знаем глубоких промятых дорог под широкими бретелями санитарно-гигиенической снасти,

шершавых или мокнущих пятен раздражения под распаренным летним выменем.

Вернемся к моей груди. Ее я получила как генетическое наследство от моей бабушки по отцовской линии. Она была чудесно сложена – в молодые годы была балериной авангардного толка, последовательницей Айседоры Дункан. От нее, кроме груди, я получила кое-что, но не так много: руки, ноги, дурной почерк и неопределенный артистизм.

Как полагается людям моего зодиакального знака – Рыбы, я всю жизнь жажду страстно противоположных вещей: одна часть моей натуры зовет меня к строгому научному исследованию, другая – к художественному. Моя первая профессия – генетика, вторая – письмо букв по бумаге. Божественное начало победило, но ученый в глубине души брезгливо морщится.

Как полагается людям, рожденным по тибетскому календарю в знаке Козы, я хороша только при условии, что у меня хорошее пастбище. Иными словами, плохо переношу неудобства. И плачу любую цену, чтобы их избежать.

Пришедший в свой час климакс принес мне большое неудобство: начались приливы. Днем и ночью меня обливали волны жара, слабости, пота, и терпеть эту напасть я не была согласна ни под каким видом. Моя американская подруга, лаборант в лаборатории, где вот уже больше двадцати лет занимаются всякими трудными случаями репродукции человека, немедленно предложила мне гормональное лекарство, которое снимает неприятные явления климакса. Это был в той или иной форме эстроген, женский половой гормон. На второй день после начала приема приливы закончились, и я о них забыла.

Вспоминала, когда спустя десять лет, а потом еще спустя пять пыталась закончить прием гормона. Но приливы немедленно возвращались, и я снова принимала любимые таблетки. Прошу обратить внимание: я по образованию биолог, и слухи о том, что прием гормонов плохо влияет на людей с предрасположенностью к раку, были вполне мне известны. Но уж больно не люблю я неудобства!

Раковая предрасположенность в наличии имелась. Почти все мои родственники старшего поколения умерли именно от рака: мать, отец, бабушка, прабабушка, прадед... От разных видов рака, в разном возрасте: мама в 53 года, прадед в 93. Таким образом, я не была в неведении относительно моей перспективы. Как цивилизованный человек, я посещала с известной периодичностью докторов, производила соответствующие проверки. В нашем богохранимом отечестве до 60 лет делают женщинам

УЗИ, а после 60-ти – маммографию.

Я довольно аккуратно посещала эти проверки, несмотря на то что в нашей стране укоренено небрежное отношение к себе, страх перед врачами, фаталистическое отношение к жизни и смерти, лень и особое российское качество “пофигизм”. Эта картина была бы неполна, если бы я не добавила, что московские врачи, делавшие проверки, не замечали моей опухоли по меньшей мере три года. Но это я узнала уже после операции.

Status praesens

Эти латинские слова в переводе означают “состояние больного в данный момент”. В начале зимы 2010-го я приехала в Лигурию, к моей приятельнице Тане, которая уже лет двадцать пять живет в Италии. Я второй год заканчивала книгу, которая всячески сопротивлялась. Было ощущение, что работа моя вильнула хвостом и уплыла, и я в большой растерянности и отвращении к себе сидела на террасе и смотрела на море, на розовый генуэзский порт. Иногда, в особо ясную погоду, видна была Корсика. Апеннинские горы начинались прямо за спиной, вид был очень утешительный. Испытывать мелочную спешку, царапанье внутри и заниматься самоанализом на этом фоне было просто неприлично. Потом хлынули ливни, я плюнула на работу, тем более что Интернет не включался, и принялась за совершенно постороннее, не по делу, чтение. Из множества русских книг в Танином доме я вытащила дневники Достоевского, отношения с которым испортились у меня уже давно, потом перешла к самому плохому сборнику Набокова “Тень русской ветки”, потом в руки попало еще что-то малоутешительное. Наконец ливни прошли, всё прояснилось, и я спустилась в ботанический сад, в пяти минутах ходьбы, на откосе огромного оврага. В саду было совершенно безлюдно, он был по-зимнему запущенный, но зима, как выяснилось, как раз и закончилась вместе с ливнями, и разом брызнули ранние подснежники, открылась мимоза на взгорках, трава, не успевшая как следует завянуть, воспряла. Воспряла и я – плюнула на работу, купила билет во Флоренцию и поехала справлять свой 67-й день рождения. Во Флоренции, я знала, меня ждал подарок от подруги – билет в галерею Уффици. Но и сама дорога во Флоренцию, с остановкой в Милане, оказалась подарком: из зацветающей Лигурии, через Апеннины, еще запорошенные снегом, в Пьемонт снова нырнула в туман, мимо Павии, мимо рисовых полей, всё в сияющей дымке, в воздухе парообразная влага,

в ней игра солнечных лучей, растворенная в воздухе радуга... Прекрасная, невыносимо прекрасная Италия.

Остановка в Милане, встречает Ляля Костюкович. Замечательная пробежка по Милану. *San Eustorgio*, саркофаг волхвов, барельеф звезды – чудесный. Мощи волхвов давно уже в Кельне, Барбаросса увел. Потом вернули малую долю, но не проверишь, что там они засунули!

Я люблю волхвов, у меня их целая коллекция в книжках: от глуповато-восторженных деревенских колдунов до печальных мудрецов, пришедших проститься со всем древним миром, со всей своей мудростью, потому что знают, что пришло нечто большее, чем мудрость... Там капелла Портинари – святой Петр Веронский, с топором в голове: он катаров убивал, катары его и порешили в свое время. В капелле купол – немыслимый, райская полянка – всё радужное, живое и совершенно божественное.

Еще прошлись по Миланскому университету, где с XVI века была чумная больница. Сад бань – там мыли больных в сохранившихся по сей день римских термах.

Добрались до Флоренции. День рождения провели в Уффици. Бог с ним, с Боттичелли, там много всего, да есть и получше – Пьеро делла Франческа, Симоне Мартини – “Благовещение” с комодиком... Вечер провели у итальянской славистки Люции – дом старинный, замороженная спальня, бывшее богатство и полная сдержанность, в гостях потомца Пушкина с ортопедическим снарядом на сломанном позвоночнике.

Вернулась в Лигурию – как домой. Погода испортилась, весна приостановилась. Хозяева уехали. Я в доме одна. Чувствую себя отвратительно... Сплю очень плохо. Как всегда, когда работа не идет. И сны длинные, длинней ночи. Приснился таинственный сон: дом большой, с переходами, путаный, многолюдье, какой-то прием бестолковый, все незнакомые, но с разговорами, что-то нестерпимо длинное, такое, что хочется забыть еще до просыпания. Какая-то еда-питье, показывают повторами, уже вроде это было, и опять настойчиво повторяют. И вдруг – подносят мне большую белую фарфоровую тарелку, скорее даже блюдо. Новенький фарфор отликает свежим тонким блеском, а на тарелке в середине горкой уложены шкурки от сгоревшей картошки в форме девичьей груди. Совсем сгоревший куличик. Гадость какая-то.

Нужно пораскинуть умом. Весь день мастер сверлит стены, а я борюсь с “Шатром”. Всё время помню про сон. Когда сосредотачиваешься, смысл сообщения может и проясниться. Этот был явственный сон-сообщение, и сообщение совершенно недвусмысленное: быстро беги на проверку.

Смущала белая нарядная тарелка – она подразумевала подарок. Хорош подарок! Что же касается самочувствия – нормальное самочувствие. Я не привыкла о нем думать, разве что когда голова сильно разболится.

Cito!

Вернулась в Москву. После итальянского медленного времени срываюсь в галоп. Еле успеваю поворачиваться. Всё пытаюсь пойти на проверку. Звонила раз десять в поликлинику Министерства обороны, в пешеходном расстоянии от дома, никак не могла записаться – врач симпатичная, она то в отпуске, то в другой смене. Уже несколько лет я хожу к ней на проверки. Место, конечно, непрофильное, но уж больно неохота ехать в институт рентгенологии – и далеко, и память недобрая! Наконец добралась до этой врачихи. Она посмотрела сначала на грудь, потом УЗИ, маммографию – и мордой сильно покривела: давно?

– Давно, – говорю. Я ведь знаю: втянутый сосок – зловещий признак. Но ведь и в прошлый раз, месяцев восемь тому назад, когда я у нее же была, то же самое было. Она тогда промолчала – и я промолчала. Анализы ничего не показали. Да неохота было всю эту бодягу затевать... Зато теперь анализы показали. Врачиха взвыла – срочно к онкологу. Cito-cito!

Март на дворе. Что значит “срочно”? Ведь я в начале мая всё равно еду в Израиль на книжную ярмарку, там пусть меня и посмотрят. И лечат пусть там. В институт радиологии и рентгенологии не хочу – там мама работала двадцать лет, умирала там, от ретикулосаркомы. И в онкоцентр на Каширке не хочу. Две подруги там умерли, и место это особое: там всё сделано так, чтобы человеку было еще хуже, чем оно есть. Ходят слухи: взятки, вымогательство. Я готова деньги платить, но не кривым способом. Хочу в кассу.

Звоню подруге Лике в Иерусалим, она находит в Хадассе, самом большом госпитале Иерусалима, хирурга. Говорит, очень хороший. Прекрасно. Я еду. Не завтра, через месяц. Всё равно надо ехать на книжную ярмарку. Вроде бы заодно! Я еще живу в прежней жизни, когда планы подчиняются целесообразности, чтоб всё сопрягалось и удобно совпадало одно с другим. Я еще не поняла, что это за стук, кто стоит за дверью...

Тут на меня насаждает подруга Ляля: там, на Каширке, есть какой-то родственник, он там иммунитетом заведует – он меня покажет тамошним онкологам. К этому времени уже март кончается. Я не хочу. Категорически не хочу в институт Блохина. Но я покладиста и сговорчива. Еду.

Приезжаю – родственник симпатичный, усатый, усы пышные, как у какого-то животного, не вспомню какого. Двоюродный иммунолог ведет меня к своему знакомому хирургу – тот хваткий, холодный, тискает мою грудь, говорит, что сделает мне сейчас биопсию. Немедленно. Достает иглу толщиной чуть не в палец и колет. Больно. Но дело не в этом. Через два часа посмотрели стекла, лаборантка дает мне мятую бумажку размером с трамвайный билет, на которой написано РАК. Надо отдать должное, это была чистая правда. Потом израильтяне подтвердили. Единственная отечественная деталь – после слова “рак” стоят цифры. Что, я спрашиваю, эти цифры означают? Это, – говорит лаборантка, сделавшая свое заключение за более чем скромные две тысячи рублей, – шифр клетки. Так какая же клетка – я спрашиваю. Она жмурит свои глупые глаза и сообщает: а это секрет. Это только врачам могу сказать...

Мудаккая сила! Поеду в Израиль. Через полтора месяца. Я не психопатка – вот так срываться, нестись по врачам! Мне до того надо съездить в Петербург. Там выступление. И еду. Две ночи в поезде. Удивительно хорош новый поезд. Ортопедический матрас, раковина, еще и ужин чуть не в койку принесли!

Я всему удивляюсь, как будто заново живу и ничего промежуточного не было: вспоминаю поездку в Пушкинские Горы, в студенческой компании, в тамбуре. И гостиницу в Михайловском с невиданной канализацией в виде широкой черной прикрытой стульчаком обосранной трубы. Ах, как жизнь стремительно движется, и всё в лучшую сторону!

И вообще – вокруг меня просто чудо. Все наперебой готовы со мной возиться и за мной ухаживать: муж, дети, друзья-подруги! Все готовы меня везти, пасти, охранять. Какой чудный дружеский круг – я счастлива. И вообще счастлива. Как много людей меня любит! И как их всех люблю я! Но я никогда не видела в своей жизни такой демонстрации любви – всё это мне! И еще – я знаю – молятся! Те, кто умеет.

Марина Ливанова меня провожала в Домодедово на своем студенте Саше. Что она мне принесла на дорожку: плеер с дисками, наушники удобные, жидкость от загара, конвертик с бумагой флорентийской (на такой бумаге только любовные письма писать!), большое яблоко. И что-то еще, уже не помню. Как она умеет всё красиво делать. Театр жизни! При этом – мне благодарна, что я доставила ей такое удовольствие. О Боже!

Тем временем Вера Миллионщикова в реанимации, приходит в себя после передозировки химии. Врачебная ошибка. У нас страна бесплатная – лечение бесплатное, и ответственность бесплатная. Никто ни за что...

Прилетела в Израиль. Лика повела меня к врачу в Хадассу. Доктор Замир – не то жаворонок, не то соловей на иврите – крупная птица. По виду скорее канадский гусь. Пощупал: я не уверен, что здесь есть рак. У этих одаренных врачей пальцы – чувствилища. Иной орган, чем у обычных (но тем тоже слава, лишь бы не убивали). Послал на обследования. Маммографию сестричка делала трижды. Молодая, неопытная. Потом к доктору, не помню, как его, – из Южной Африки, в кипе, белая щетина – борода, пахнет как от прадедушки (вспомнила через 65 лет!) – старостью, ветхостью, опрятностью. Еще старыми книгами немного. Опять пощупал, но биопсию делать не стал. Говорит – ничего не вижу (руками! руками!), кроме гематомы – это привет от доктора на Каширке! Опять: не уверен, что рак. Но послал московские стекла своему приятелю в Хайфу, к специалисту, который не разучился стекла смотреть. Больше в Израиле не осталось врачей, которые владеют этой допотопной методикой. На стеклах препараты никто теперь не делает. Это именно то, что я освоила в Институте педиатрии сорок лет тому назад, – гистологические срезы...

На слово “РАК” – удивление: у них такого диагноза нет. Есть клетки определенные, по имени и фамилии. Те самые секретные цифры, конечно. Ощущение довольно странное: всё это происходит, вне всякого сомнения, со мной. Сообщение я приняла как должное, как будто я давно знала, что именно так и произойдет. Но одновременно вижу всё извне, наблюдаю за собой – что говорит, как себя ведет эта пожилая женщина, которая совершенно не принимает возраст в расчет, хорошо себя чувствует, удачлива, окружена толпой близких и любимых родственников, друзей, поклонников. Это даже не самообладание: рак мне показывает, как прекрасна жизнь вокруг меня. Во! Усилитель вкуса, как в кулинарии!

Я со стороны наблюдаю эту изумительную картинку – красота буйной весны, города, врачей, моих потрясающих друзей. Какая там Стена Плача! Вокруг меня Великая Китайская стена! И я посреди всего этого – совершенно счастливая. Диагноз не снят, но отодвинутся. Рак не болит! Умирать всё равно скоро, но не завтра. И видна, как никогда, “прекрасность жизни”. Это Евгений Попов! Вот автор единственного слова, но какого!

Назавтра поездка в Хайфу. Еще один незаслуженно прекрасный день. Повез меня Саша Окунь. Рассказ о поездке в Мюнхен. Он смотрел там выставку Рубенса, от скуки делавшего в Испании копии в Эскуриале.

Многое в дороге переговорили – одно наслаждение... Мне интересно, потому как я человек слабо начитанный, а Саша про искусство лучше всех знает. Изнутри предмета. Сердечнейшее общение. И художник он очень крупный, но совсем не в духе Андрея, другого происхождения, от других корней. Имеет какое-то отношение к Люциану Фройдю, только с великим чувством юмора и жизненной силой. Там философия, литература, большая глубина.

Потом госпиталь Рамбам в Хайфе. Доктор – рыже-седой русскоговорящий парень лет 45. Профи. Одно удовольствие смотреть, как он микроскоп крутит. Рак на московских стеклах подтвердил – карцинома. Это оно! Сделал две пункции, довольно больно, на новых стеклах ничего не обнаружил, гематома еще не рассосалась.

Вернулись в Иерусалим, и завертелась подготовка: компьютерная томография, неприятная вещь – два литра противной жидкости, а потом еще в вену влили краску. Теперь главное – чтобы не нашли никаких метастазов. Между тем начинается книжная ярмарка, интервью, встречи, беготня. Устала – с ног валюсь.

Всё разворачивается очень быстро: новая биопсия показала карциному такой разновидности, которая на химию вяло реагирует и, кажется, более агрессивна, чем аденокарцинома. Рак молочной железы. Лабиальный, то есть протоковый – почему и диагностика сложная. Томография не готова, а там я ожидаю новых неприятностей. Как-то серьезней стало. Хирург послал к онкологу в Эй-Карем. Всё свободное время работаю.

Кажется, Господь услышал мои слова, что долголетия я боюсь. Но книжку закончить всё равно надо.

Последние дни апреля. Сны идут с большой силой. То – чашечки грязные с мутными стеклами. Нашла, отмыла: оказались драгоценности – подвески, серьги бриллиантовые и цветные – красные, зеленые, синие. Тут подходит пожилая дама, говорит: это мои! Пожалуйста, – говорю ей и легко отдаю.

Еще странная округлая железка, деталь или конструкция неизвестного назначения, в пол-ладони. Приятная на ощупь. Держу в руке, показываю.

Сегодня опять сон – но забыла. Сны очень сильные, каждый день, осмысленные. Но главный был все-таки тот куличик на фарфоровом блюде!

2 мая открыли фестиваль. После врача-онколога. Всё успела, никуда не опоздала. Назавтра консультация предоперационная. Беседа: снимаем левую грудь. Далее – по обстоятельствам: найдут в экспресс-анализе в лимфатических узлах клетку, значит, все лимфоузлы удалят; нет – обходимся без химии.

Поскольку клетка гормон-зависимая, то если будет химия, то какая-то “новая”, ориентированная на рецепторы – блокируют их. Больного надо просвещать, мне нравится знать.

План такой: операция, далее перерыв. После двух-трех недель заживления – химиотерапия, в зависимости от того, что там найдут. Будет, видимо, надо.

Замир сказал, что он обеспокоен моим спокойствием: впервые такое видит, обычно в этом кресле плачут. Далее – поехала на такси в “Мишкенот Шаананим”. (Приют беззаботных – это точно для меня!) Выучила слово. Не забыть бы! Это возле мельницы Монтефиори. Там всех ярмарочных писателей заселили. Цруя Шалев и жена Пола Остера выступали. Дамский разговор, изящный и слегка тошнотворный. Цруя очень хороша – и лицом, и телом, и душой, и одеждой.

Потом появился Курков. Милый, доброжелательный, с англичанкой-женой; у них трое сыновей.

В 9 легла в постель уже в номере гостиницы. Встану рано и буду смотреть с галереи на старый город... может, даже и погуляю. К двум в госпиталь – ядерно-магнитный резонанс. В 7:30 – встреча с Меиром Шалевом. Очень плотно получается – ярмарка пополам с обследованием.

А 6 мая вечер – “Юмор и смерть”. Не прелесть ли в моем положении? За круглым столом три автора: Андрей Курков, Мих. Гробман и я. Гробман крайне непоследовательный. Представлен был как деятель и теоретик второго авангарда. Сначала плел околесицу, что новое убивает старое. Наивный старомодный бред. Потом прочитал свое стихотворение – чудовищно расистское, антиарабское. Было стыдно. Еще: всякий, кто сегодня заявляет, что любит Булгакова и не помню кого еще, тот идиот. Мы тонко сшиблись. Он настаивает на примате идеологии в литературе... На новом, так сказать, витке! Уже было.

Зато всё свободное время я провожу в “Зеленом шатре”. Первый раз в жизни название возникло раньше самого романа. Там всякие дела происходят: Лиза появляется снова. Она в расцвете карьеры. У нее дуэт с Рихтером. Гастроли. Конкурсы. Брежневская тоска. Мы попали в такое место, куда и музыка не достигает. Смерть Михи – глубокая депрессия.

Лиза выходит замуж за дирижера. За немца, баварца, кажется. Пьер присылает за Саней гонца – невесту-американку. Рыдала на плече: не нужна мне шуба, не нужны мне деньги. Отчасти история Геннадия Шмакова.

Да, вот что забыла – поездку с Окунем в монастырь “Иоанна в пустыне”, там трогательная детская икона Елизаветы. Кирпичная очень старая и бедная церковка. Греческая. Они и впрямь бедны. Монахов не видели, но видели пещеру Иоанна и источники; место такое, что в нем что-то без сомнения происходило. Не пустое.

На обратном пути поели в индийской забегаловке – там было закрыто, но нам достались остатки от туристической группы, которую они кормили. Две мамы с грудными детьми. Пока нам кофе варили, я дитенка держала, очень восхитительный.

Окунь тоже сейчас дрейфует по больницам, у него легкие, у жены – мочевого пузыря, матери Сашиной 96 лет, это тоже вроде смертельного диагноза. Все болят, не я одна. Зато Вере Миллионщиковой лучше.

Ночью почти не просыпалась. Приливы отливают. Скоро снимут левую грудь. Боюсь, что подмышкой что-то происходит неприятное... меня беспокоит – некоторые ощущения в левой груди и в левой подмышке. Ощущение, что оно растет. Надеюсь, за оставшиеся дни далеко не вырастет. До операции три дня. Дальше буду жить без левой груди. Как минимум. И неизвестно сколько. Забота – закончить книжку.

Продолжают щупать подмышки. ЭКГ, анализ крови. Теперь всё решит экспресс-диагноз. Настроение очень хорошее. Завтра ставят в груди метку – для хирурга. Сражаюсь с “Шатром”.

Сделали снимок – это не диагностика, а локализация желез для удобства хирурга. Делал арабский врач или медбрат, очень хорошо. Лике всё продолжает очень нравиться. И с Ликой очень хорошо. Сажу в университетском парке, в зелени и цветах, на укромной лавочке в тени и прохладе, жду Лику. За бортом +38 °С. Здесь не чувствуется. Сегодня день города – в этот день освободили Иерусалим в 1967 году. Арабы не очень празднуют, понятное дело.

13 мая. Сегодня отняли левую грудь. Технически – потрясающе. Вообще не было больно. Сегодня вечер, лежу, читаю, слушаю музыку. Анестезия гениальная плюс два укола в спину, в корешки нервов, иннервирующих грудь: их заблокировали! Боли нет. Слева висит пузырек с вакуумным дренажем. 75 мл крови. Справа – штучка-канюля

для переливания. Ввели антибиотик на всякий случай.

Весь день Ли́ка. В 7 утра приехала и до 8 вечера сидела. Ангел. И Любочка подскочила. Немыслимый, невероятный комфорт в данных обстоятельствах. И главное – в лимфоузлах при экспресс-анализе карциному не нашли. Подмышку не трогали!

Через неделю будет подтверждение гистологическое, и тогда решат, как будут вести лечение.

Соседка по палате – воспитательница детского сада с севера, пенсионерка. Она должна была оперироваться не здесь, а в Хайфе. Но ей хотелось к Замиру, и она теоретически должна заплатить 18 тыс. шекелей за операцию (15 из них заплатила страховка, она – 3, то есть меньше 1000\$). Вообще всё – бесплатное. Это социальная медицина. Соседка получила тот же новейший укол. Ей не больно.

Я – коммерческая, но особая. Доктор Леша Кандель – мой знакомый, Володя Бродский, главный анестезиолог, – его друг. Все русские врачи ходят книги подписывать! Я – ВИП! Всем прочим – ровно то же, но бесплатно.

Бедная Россия, 145 млн человек, которых режут без наркоза, валяют в грязи, заражают в больницах черт-те чем. Бедная Алла Белякова – у нее нашли рак кишечника, на Каширке отказали – слишком поздно! Взяли в Троицк, она счастлива. Рак этот ужасный, а сын, несчастный аутист, бедный Андрюша, что с ним-то будет? Надо узнать, что можно здесь сделать. Опять на Лику наваливать?

Грудь нет абсолютно, даже выемка. Грудь мою похоронили в специальном могильнике на кладбище Гиват Шауль. Леша Кандель туда захоранивает удаленные еврейские суставы из своего ортопедического отделения. Почему-то мусульман и христиан совершенно не интересует, где лежат их удаленные органы и части тела, – вот что он сказал.

Итак, левая грудь – в земле Израйля. Начало положено!

Я у Ли́ки дома. В квартире сильнейший ветер, что-то в кухне шуршит, падает. Я вхожу, закрываю окно и вижу на полу картинку, которая была прикреплена к холодильнику, – художница израильская Мирьям Гамбурд, выставка 2001 года в Париже. Сисястые жирные тетки дразнят Амазонку. Она стоит в центре композиции, с одной грудью, которую придерживает рукой, а вторая – отрезана. Левая. Мы обомлели. Картинка давно уже висит, до сегодняшнего дня не замечали!

Всех событий очень содержательных, но из мистического ряда, не перечить. Меня защищает мой мир: мои друзья, друзья друзей,

родственники их, врачи – всё идет мне навстречу. И первая из них всех – Ли́ка.

...Да всё равно прекрасно всё сходится. Много радости на этом месте. Надо сделать экс-вото, маленькую серебряную грудь, и повесить в церкви на икону Пантелеймона или кого другого. Хотя грудь и не спасли. Господи, так ведь сделано уже: Андреева “Половина” – и есть экс-вото!

Бедная моя грудь, я с ней долго прощалась. Она, конечно, не бог весть как себя повела, но я-то больше перед ней виновата – 17 лет гормонов.

Да, зачем я всё это пишу? Дело в том, что мне надо установить новые отношения с моим телом, в первую очередь с грудью. К исходу седьмого десятка я, испытывавшая чувство вины по самым разным поводам, остро ощутила себя виноватой перед своим телом. Странно, что, всю жизнь относясь к невинному моему телу с равнодушием, даже с жестокостью, я так поздно это поняла!

Вся эта история – совершенно невероятная. Кажется, выскочу. Но если и нет – столько на этом месте прекрасного.

Вчера сообщили, что у Гали Чаликовой 4 стадия рака яичников, с метастазами, и 10 литров жидкости в животе. Я Гале позвонила и просила подумать о Хадассе. За последние месяцы – третья катастрофа: Алла Белякова, Вера Федермессер и вот Галя. Про себя не говорю – просто комариный укус. Душа разрывается от всего этого. Читаю “Беседы со Шнитке”. Гениальные. И есть потрясающие места: “После инсульта я много не понимаю, но стал больше знать”. Это – об интуитивном знании. Пожалуй, могу себе позволить немного поплакать на этом месте. Здесь город такой, что есть куда пойти поплакать, а можно и не ходить.

Через десять дней сообщили, что нужна вторая операция, так как нашли клетку в одной из пяти желез, там, где экспресс-анализ ничего не показал. На 3 июня назначена вторая операция, под мышкой. По времени она длится чуть меньше, но в принципе всё то же: наркоз, тот же дренаж, то же заживление. Может, более болезненное. А потом – варианты: обязательно будет 5 лет гормона, может быть облучение локально, и худший вариант – 8 серий химиотерапии с интервалом в 2 недели, аккуратно 4 месяца. Не умею не строить планы, но сейчас худшим кажется закончить лечение в октябре. Хотя есть еще много совсем плохих вариантов. Моя стадия – третья по-нашему. Метастазы под мышкой.

Сегодня Троица. Завтра день Святого Духа! Сейчас 4 часа утра, муэдзин кричит что-то невнятное радиоголосом, призывая на молитву.

Охотно присоединяюсь к нему.

Жду утра – надеюсь сегодня попасть к Замиру. Уже могла бы сделать перерыв на Москву, до начала химиотерапии.

Книгу всё пишу-пишу, а она не кончается. Измучена и устала. Мне трудно и очень хорошо. Наполнена до предела. Открыла в *YouTube* Гидона Кремера (и еще два музыканта) – комические упражнения на тему классической музыки. Как Набоков о Чернышевском – мальчик играет с кадилом отца, естественная игра поповского сына. Так и эти – забавляются священными вещами. Они им свои.

Неделя в Москве. Очень тяжело. Многолюдно, многодельно, необязательно.

Посещение Веры Миллионщиковой. У нее ремиссия. С нее сходит кожа, растут новые ногти, волосы пробиваются. Она у себя в хосписе! По праву умирающего!

Иерусалим. Прилетела накануне. Эмоций – ноль. Завтра, 3 июня – вторая операция.

Операция уже вчера. Легко. Рука не болит, если не двигать. Болит, когда делаю резкие и отводящие движения. Завтра выпишывают. Жара. Сильный свет. Ясность необыкновенная. А что ясно – не могу выразить.

Эйн Карем

Четвертый месяц живу в одном из самых волшебных мест на свете – в деревне Эйн Карем, которая до 1948 года была арабской, а потом, в один день, после того как арабы ушли в Иорданию в день объявления независимости Израиля, стала еврейской, как две тысячи лет тому назад. Здесь родился Иоанн Креститель. Здесь встретились две самые знаменитые еврейки, мать Иисуса Мариам и мать Иоханаана Элишева. Мария и Елизавета. Здесь есть источник, у которого они встретились, есть колодец, возле которого они тоже встретились. Показывают пещеру, где вроде был дом, в котором родился Иоанн Креститель. Здесь всё двойится: и мест, где встретились родственницы, несколько, и монастырь не один – Святого Иоанна На Горах, Сестер Сиона, Сестер Розария и Горненский, православный. От моего любимого, Сестер Сиона – лучший вид в сторону Иерусалима. Последний раз была здесь вчера – в день Преображения Господня. Службы не было, календарь не совпадает

с католиками. Но в Горненский идти было тяжело, в горку. И день вчера был какой-то рекордный по жаре – 43 °С.

Я пришла в пустую капеллу. Потом вышла в сад – плоды здесь не освящали. Деревья плодовые стояли прекрасные, вовсе в этом не нуждаясь, – лимоны почти все зеленые, грушевое дерево, всё засыпанное грушевыми лампами, и много гранатовых деревьев. Они самые красивые – почти все уже набрали свой багрово-лиловый цвет, но были и зеленые. Потрясающе – некоторые еще не перестали быть зелеными, но и не стали багровыми. Золотом отливают на солнце.

Крещеный еврей Альфонс Ратисбон из Франции основал этот монастырь сто пятьдесят лет тому назад.

Деревня Эйн Карем – в долине. Наверху стоит огромный госпиталь Хадасса. Я там лечусь. Моя левая грудь похоронена в специальном могильнике на кладбище Гиват Шауль в Иерусалиме, вместе с ампутированными частями тел других пациентов больницы Хадасса. Вся остальная часть меня еще жива, отлично себя чувствует и рассчитывает еще некоторое время погулять по миру, порадоваться и подумать, как волшеббно интересно устроена жизнь.

У меня еще есть время подумать о происшедшем со мной. Теперь делают химиотерапию. Потом еще будет облучение. Врачи дают хороший прогноз. Посчитали, что у меня много шансов выскочить из этой истории живой. Но я-то знаю, что никому из этой истории живым не выбраться. В голову пришла замечательно простая и ясная мысль: болезнь – дело жизни, а не смерти. И дело только в том, какой походкой мы выйдем из того последнего дома, в котором окажемся.

Здесь еще возникает большая тема – страдания. Я об этом всё время думаю, еще до конца не додумала. Но направление мысли таково, что ни один православный священник не одобрит: страдание то, чего не должно быть. А то, что из страдания может родиться доблесть терпения и мужества, – побочный продукт. Потом к этому вернуться.

Я снимаю сейчас маленький арабский дом в одну комнату. Он построен на крыше другого арабского дома, большого и невероятно красивого. Это один из самых красивых домов, который я в жизни видела. Как, должно быть, горюют о нем те арабы, которые покинули его в одночасье.

Израиль склоняет к размышлениям. Сюжет этой страны – неразрешимость. Минное поле людей и идей. Минное поле истории. Десятки истребленных народов, сотни ушедших языков и племен. Колыбель любви, место добровольной смерти.

Это земля Откровения. Я это знаю. Но откровения случаются и в других местах. Где угодно. История начинается в любой точке...

Книга моя всё не кончается. Я не помню, чтобы я ее писала. Я ее всё время заканчиваю. Но после третьей химии работать я уже не могла. Не могла читать. Не могла спать. Стояла сильная жара. Но в Москве, да и по всей России, жара была еще тяжелее. Сын Петя с семьей оставался в городе. Уехать не смогли: то не было билетов, то сил, то места, куда ехать. В доме двое маленьких детей. Из квартиры почти не высывались. Поставили кондиционер. Стоял такой смог, что соседнего дома видно не было. Меня это сильно удручало – я бы хотела, чтобы они приехали в Израиль, но паспортов иностранных у них тоже не было. Перерывы между вливаниями химии трехнедельные, я было собралась лететь домой, налаживать детскую жизнь, но все меня отговаривали. Так я и провела еще полтора месяца в Эйн Кареме. Самые тяжелые недели я со своей крыши почти не спускалась. Навещали друзья, привозили еду, на которую даже и смотреть не могла. Всё потеряло вкус: ощущение, что жуешь вату. Тут произошло чудо. Последние месяцы я очень много слушала музыку – отчасти по профессиональной необходимости. Герой моей книги музыкант, и мне важно было прожить эту часть его внутренней жизни, и я много прочитала всяких книг, имеющих отношение к музыке. Но теперь химия меня придавила так, что только лежала какдохлая рыба. Ничего не могла. Только слушать музыку. И стала слушать практически круглосуточно.

Я всегда знала границу своих возможностей: заброшенная лет в десять музыкальная школа и радость освобождения от нотного насилия на много лет определили мои взаимоотношения с инструментом: пианино обходила стороной – как орудие детской пытки. Лучшее, что осталось от тех лет, – чудесная музыкальная разноголосица, когда идешь по коридору школы, и из каждой двери своя музыкальная фраза, и вместе они сливаются в дивный шум, в котором всё сразу, и каждый раз новое. И еще мне нравилось сочинять – такие маленькие пьески задавала учительница, и это было самое интересное. Словом, прошло лет десять, прежде чем я заново услышала музыку. Не Бетховена и не Шуберта я расслышала тогда – Скрябина и Стравинского, Прокофьева и Шостаковича. Ходила на концерты в Скрябинский музей, Малера там слушала: это было здорово и страшно модно. Словом, музыка была некоторой культурной составляющей жизни в ряду многого другого. Но я всегда знала за собой, что хожу только по опушке прекрасного леса, а в глубину его не попадаю.

Здесь, в Эйн Кареме, что-то произошло со мной новое: открылись

новые возможности восприятия. Может, химический яд, которым я вся была пропитана, растворил попутно пленку, которая не пропускала ко мне музыку. Словом, произошел прорыв. В ночной жаре, на раскаленной крыше я слушала и слушала. Саша Окунь снабжал меня прекрасными дисками, а лучшего проводника в этом лесу найти невозможно. Лика привезла проигрыватель, там, в Израиле, у него был отличный звук, но при переезде в Москву потом оказалось – неважный... Или это снова закрылись мои уши? Кажется, нет. “Искусство фуги” в исполнении Фейнберга – лучше рихтеровского, на мой вкус, прослушала не знаю сколько раз, и столько же раз сонаты Бетховена, и Шуберта, и Гайдна, и много-много... Отрава вымывалась из меня музыкой. А когда я пришла в себя, поехала в Москву. А потом вернулась, чтобы получить еще и облучение.

В эти недели, лысая, слабая и веселая, я снова взялась за книжку.

Хадасса

Я переехала в другую квартиру, в том же Эйн Кареме. Теперь у меня отдельный домик рядом с греческой церковью, через забор стоит домик сторожа и священника. Кажется, в одном лице. Службу я могу наблюдать со своей террасы – окна церкви распахнуты. Хозяин – верующий еврей родом из Измира, жена его приехала когда-то из Австралии, работает в той же самой Хадассе, нянечкой с самыми маленькими детьми, да и своих целая куча. Родители они любящие, нестрогие, а дети – почтительные и веселые. Послушные. Пригласили меня как-то на шабат – полный стол народу, мальчики-подростки, дочери, их подружки, какая-то одинокая соседка, я, жилища. Хозяин – сефард, поэтому никакой ностальгической еды европейских евреев – селедки, картошки, соленых огурцов. Ближневосточная еда. Хлеб, вино. Совсем другой, непривычный стиль. И всё те же молитвы: благословения хлеба и вина...

Ходила в Хадассу как на работу – пять раз в неделю на пушку, где меня облучали. Деревня под горкой, и тропинка вверх вела меня в больницу, в онкологическое отделение. Видно издали – вертолетная площадка на крыше. Во время войны сюда доставляют раненых – за два часа из любой точки страны. Страна-то маленькая, а войны и теракты случаются очень часто. Больница огромная – сколько этажей вверх, столько и вниз. В самом нижнем этаже запертое хирургическое отделение, полностью подготовленное к работе – на случай войны. Солдат своих страна бережет, уважает. Это разговор отдельный, и сравнивать положение военных

российских и здешних – горечь и слезы. Нам у израильтян есть чему учиться и в организации здравоохранения, и во взаимоотношениях армии, государства и общества.

Но я отвлеклась от темы – Хадасса. Теперь я знаю ее в подробностях, знаю врачей и медсестер, длинные переходы и коридоры, сплошь увешанные табличками с именами жертвователей. “Этот стул, прибор, кабинет, отделение... подарены таким-то и таким-то”. В память покойной бабушки, дедушки, мамы, сестры... На первом этаже – синагога с витражами Шагала. Витражи – подарок художника.

Это государственная больница, самая большая в стране. Сюда идут огромные пожертвования от евреев местных и из всех стран мира. Древняя традиция – церковная десятина. Только несут теперь больше не в храм, а отдают на благотворительность. Особая статья – на научные исследования. Денег в бюджете не хватает. Значительная часть научной работы ведется на пожертвования.

Больница полна волонтерами. Ходят еврейки в париках, с тележками, предлагают попить, крендельки какие-то, гуляют с колясочными больными. Лечатся здесь все граждане – и евреи, и арабы. И врачи – тоже еврейские (половина из России) и арабские. После операции видела препотешную картину: по коридору друг другу навстречу идут два патриарха, один еврейский, в черной бархатной кипе, в хасидском халате, за ним жена в парике и куча детей – от вполне половозрелых до мелкоты, второй красавец шейх, в белой шапочке, в белых одеждах, величественный, за ним жена в богато расшитом платье, и тоже с выводком деток. Оба после онкологической операции. Поравнялись, кивнули друг другу не глядя и разошлись.

Хадасса – территория если не мира, то перемирия. Что-то вроде водопоя. Там, где речь идет о жизни и смерти, стихают страсти, замолкает идеология, территориальные споры теряют смысл: на кладбище человек занимает очень мало места.

В больнице врачи борются за жизнь, и цена любой жизни здесь одинакова. Больной не должен страдать – эта установка нормальной медицины. По десять раз на дню, при всякой процедуре спрашивают: тебе не больно? Один раз я автоматически ответила: ничего, ничего, потерплю...

– Как? Зачем терпеть? Это вредно! Боль надо обязательно снимать...

Этому учат здесь в медицинском институте: обезболивание необходимо. У меня советский опыт: дантисты совсем недавно стали обезболивать пациентов. Всё мое детство и всю юность сверлили, рвали корни по-живому, а также делали перевязки, снимали швы... К сожалению,

я слишком хорошо информирована о том, как сложно в Москве получить наркотики даже для онкологических больных в терминальной стадии. Про российскую провинцию вообще не говорю. А зараженные стафилококком роддома? Старые здания, которые уже нельзя прожечь кварцем, потому что нет таких ламп, которые могли бы дезинфицировать руины.

Эти мысли обычно посещали меня на обратном пути после облучения. Конечно, лучевые ожоги делают и здесь. Но защищают всё, что можно защитить: для каждого больного, в соответствии с его анатомией, изготавливают специальный свинцовый блок, чтобы не повредить облучением сердце, легкие.

Жестокая болезнь – как ни старайся, всё равно далеко не всегда вылечивают. И в лучших клиниках Америки, Германии и Израиля умирают люди. Но у нас на родине это гораздо тяжелее.

И я не знаю, что надо делать, чтобы наша Каширка стала похожа на Хадассу.

Схожу вниз по тропинке – мимо общежитий медицинского персонала, мимо стоянки, вниз, каждый камень знаком, каждое дерево, справа стена францисканского монастыря, мимо, вниз, к источнику, дорога раздваивается: вверх – к Горненскому монастырю, вниз – к автобусной станции, слева детский сад. Поворот к музею Библейской истории, который всегда закрыт, и вот мой дом. Одна стена из древних камней, другая из гипсокартона, третья из кирпича; слеппен, как дом сапожника Тыквы. Окна все разные, дверь не запирается. Жара всё прибывает. Книжка моя не дописана. Осталось совсем немного.

Быть никем

Новорожденный, младенческий, отроческий глаз воспринимает окружающий мир с такой жадностью и восторгом, каких не знает зрелый возраст. Яркость и новизна цвета, всякая трещина на гладком, изъят поверхности или дырка в ткани прочно запечатлеваются в детском сознании. Вещей в раннем детстве было гораздо больше, чем людей. Вещи несли на себе печать принадлежности: бабушкина шляпа с вуалеткой, рубчатые пуговицы на мамином полосатом платье, папины запонки с эмалевым бело-зеленым клювиком, дедушкин подстаканник с лошадиной головой... Они все были притяжательные, как местоимения, все состояли в услужении, в подчинении, как будто не имели собственного бытия, но несли на себе отпечаток личности владельца. Или это казалось?

Пройдет много лет, прежде чем я пойму, что бытие вещей более устойчиво и надежно, чем существование человека. Люди давно ушли, а их вещи еще живы, и когда “притяжательность” покинет их, они станут голыми и бесприютными, изгоями среди чужих вещей с принадлежностью, в соседстве с безразличными к ним людьми.

Привычные, глазом обласканные вещи сильно смягчают детское одиночество: об этом знают постельные мишки, мартышки и зайчики, засыпающие на детских подушках. Моя “лендлизовская” собачка стерегла мой сон, потом служила моему младшему брату, моим сыновьям, а теперь, потерявшая после химчистки свою и без того скромную красу, досталась во владение моей внучки.

Один из последних мистиков XX века, заключенный в камере Владимирской тюрьмы Даниил Андреев, погруженный в надмирные видения, извлек из своего эзотерического опыта ответ на вопрос, волнующий средневековых теологов: души, существующие в мире, созданы единовременно при сотворении мира или производятся в мастерских Господа Бога по мере необходимости? Ответ Даниила Андреева глубоко растрогал меня: большая часть душ сотворена единовременно, но есть очень тонкий ручеек вновь созданных, пополняющий этот мировой запас, – когда ребенок отдает свою любовь неодушевленной игрушке, то любовь эта не рассеивается в пространстве, а организуется в монаду, и после того как игрушка изнашивается, уничтожится физически, сгусток детской любви претворяется в новую душу... Такой возвышенной и благородной мысли свет не видывал. Словом, моей собачке

совсем немного осталось, чтобы растрепаться до последней нитки и преобразоваться в новую, невинную и доверчивую душу.

Итак, с вещами закончили. С плюшевыми собачками тоже. Переходим к человеку, который уже вышел из возраста, когда любимая игрушка дает утешение и защиту, и вступает в тот возраст, когда обнаруживает, что он страшно, бесконечно и безнадежно одинок.

Я была общительным и тщеславным ребенком: не прочь поиграть в лапту и в круговой волейбол, привлечь к себе внимание, в любой детской компании покомандовать, организовать какую-то игру, домашний спектакль или массовую каверзу. Но в заполненной жизни минутами я попадала в лакуны, наполненные глубоким затаенным одиночеством. Его до конца не растворяли разнообразные подружки: дворовые, школьные и внешкольные, а также унаследованные от родителей дети их друзей. Кто бы мог предположить, что я страдаю от одиночества? Оно было столь глубоко зарыто во многих слоях личности, что порой я и сама о нем накрепко забывала. Но не навсегда. Оно жило во мне как притаившаяся заноза, как неизлечимая болезнь, оно требовало сокрытия. Это затаившееся одиночество жаждало разрешения.

В русском языке не вышло слова, равного по смыслу английскому *belonging*. Имеющееся сообщество – дворовое игровое, школьное – взявшиеся за руки девочки в коричневых форменных платьях – не утоляло жажды. Лапте я все-таки предпочитала чтение, а попарное хождение по школьному двору наводило скуку. Наметился первый конфликт: жажда общности и отвращение к дисциплине. Душа искала родства, а телу велено было маршировать. Неразрешимость: осознаваемое постепенно одиночество и непристойность коллективного действия. А в школе – коричневая парность, красноречивость, чувство постоянной неловкости от пафоса и лжи: как повяжешь галстук, береги его, Маяковский лесенкой, с пионерской песенкой, бодро, бодро! Вперед! Вперед!

От коммунизма тошнило. Спасала тяга к знанию. В пятом классе – краткий философский словарь, от Анаксагора и далее. История западноевропейской философии. Мусолю. Трудно. Совершенно непонятно. Зато когда десятилетиями позже к этому возвращаюсь, возникает эффект “припоминания”. Да, еще можно уйти в сторону – детская спортивная школа, там смысл очевиден: секунды, сантиметры... И всё по-честному. Настолько по-честному, что мне там делать нечего: побеждает сильнейший. Какая жалость – от музыки меня спас туберкулез, рисование не увлекает. Еще не знала, что всякое художество – побег из неволи. Но это знает, может знать только талант, а таланта нисколько.

Смыслы, смыслы стали занимать. Начинается большое чтение. Про жизнь. Откуда взялась? Из лужи! От электрического разряда! Революция! Эволюция! Дарвин! Генетика! Волшебство науки. Всё складывается отлично. Лучше быть не может. Про тоску временно забыла: биофак. Ну, условности квадратной советской жизни, собственно, треугольной: партком, местком, администрация. Профсоюзное собрание, субботник, осенняя повинность “картошки”. Избегаю, игнорирую, презираю. Игра на плоскости. Колобок катится, в руки не дается, чудовище за ним гонится – не догонит. Но иногда догоняет. Хватает, бросает в темницу. Но главное: чудовище еще и смердит, отравляет жизнь, оглушает ее. Воздуха не хватает. Низкий потолок. Давит на темечко. Немного начинаю задыхаться.

Где горный воздух? Неужели в учебниках философии?

Иудаизм проскочил мимо меня. Мой верующий прадед, последние годы жизни писавший свои комментарии к Библии на языке, который так и остался для меня иностранным, не смог, да скорее всего, не успел ввести меня в круг его интересов. Да я была слишком мала. Впрочем, именно от него я узнала первые библейские сюжеты. К нему приходили его старые друзья-талмудисты, и вряд ли я смогла бы услышать от них предложение, которое увлекло бы меня: их потертые пиджаки, усыпанные старческой перхотью, антикварные ботиночки, корявый русский язык, их полная отделенность, отрешенность от сегодняшней жизни скорее отталкивали. Их духовные и интеллектуальные драгоценности лишь отчасти стали доступны мне в гораздо более зрелые годы. В переводах! Этих ветхих мудрецов я полностью “прохлопала”. Между нами стоял непреодолимый культурный барьер: как общаться с людьми, которые не читали ни Пушкина, ни Толстого, ни Достоевского?

Первым протянул руку доктор Штайнер. По прошествии лет могу свидетельствовать: вертикаль восстанавливается из любой точки. Доктор Штайнер ввел меня некоторым образом в проблематику, разрыхлил почву. Симпатичные московские антропософы, уже слегка оправившиеся после репрессий тридцатых годов, перепечатывали старые косноязычные переводы доктора, делали и новые, мало от прежних отличающиеся. Я с интересом пережевывала композицию из индуизма, христианства и воззрений мадам Блаватской, пока не наткнулась на большой альбом про Гетеанум. Художественное воплощение антропософских идей, полная пластическая бездарность недолго просуществовавшего храма раз и навсегда отвратили меня от антропософии. В те годы я была еще более категорична, чем теперь.

И тут, в силу необходимой случайности, в моей жизни появились первые христиане. И какие! Лучшие из лучших. Судьба меня ими просто соблазнила. Несколько человек из того времени, самые тогда молодые, живы и поныне, и поныне это лучшие из людей, которых я в жизни встречала. Я не могу назвать имена, чтобы не вызывать их смущение. Но они рядом и по сей день демонстрируют фактом своего существования, что христианство, принципиально “религия невозможного”, иногда, очень редко, выживает в своих лучших детях.

Старшие ушли, оставив на мне зарубки, вмятины и глубокие невидимые следы. Личная моя история связана была поначалу с реэмигрантами, вернувшимися из Франции в Россию. Они залатали тот культурный, а, скорее онтологический разрыв во времени, в сознании, восполнили нравственные пробелы, созданные аморальной властью. Поименно: Мария Михайловна Муравьева, урожденная Родзянко, Елена Яковлевна Ведерникова, урожденная Браславская, Таисия Царегородцева, священник Андрей Сергеенко, вернувшиеся на родину в пятидесятых годах. Жизнь каждого из этих людей украсила бы собрание “ЖЗЛ”.

Одним фактом своего присутствия они меняли атмосферу тех лет, вносили в нее очень новое и очень древнее наполнение, создавали вокруг себя острова веры, человечности, сострадания. Для меня начался очень плодотворный период “утоления жажды”. Обнаружились и другие источники, на местной почве. Жизнь моя вписалась в новую координатную сетку, и это было счастье. Я жила десятилетия в благодатном ощущении, что христианство отвечает на любые вопросы, открывает все двери, освещает все темные углы.

Церковь как институт меня пугала и тревожила – слишком много было в ней и непонятого, и неприемлемого. Моя практика началась в церкви, которую можно назвать катакомбной. Это была домовая церковь отца Андрея Сергеенко, у которого собиралось десятка два человек, а сама служба совершалась в проходной комнате дома на окраине города Александрова, где он прожил до самой смерти. Это была община, напоминавшая по духу первохристианскую; с тех пор осталось во мне живое чувство, что именно там, в бедном доме полуссыльного священника, преподававшего в Троице-Сергиевой лавре историю церкви, нравственное и догматическое богословие, выживало гонимое христианство.

Мы подходили в условленное время от станции к дому отца Андрея, стараясь соблюдать нечто вроде конспирации: шли по одному, по двое, обходными улицами. В темноте отыскивали деревянный ветхий дом, все как Иосиф Аримафейский – тайно, ночью... В этом была своего рода

романтика. Общение наше – и бытовое, и литургическое – было столь полным и глубоким, что рассеивалось глубинное одиночество. Это было открытие нового коллективизма, общины разных, но единомыслящих – без всякого насилия, на одном общем желании служить друг другу в лучах обретенного Света. Мы были настроены на одну волну, и предлагаемое нам христианство было радостным и деятельным.

Литургия в проходной комнате плавно перетекала в последующий ужин в столовой, и смутно витал дух субботы – с ее благословениями, вином и хлебом. Жизнь наполнялась новым смыслом: Христос посреди нас!

Культура и вера не только прекрасно уживались в мире отца Андрея, но даже работали друг для друга. Позднее, уже после его смерти, когда мне пришлось столкнуться с пастырями православной церкви, я поняла, какая это несказанная редкость в наших широтах – гармония веры и культуры...

Тогда же я столкнулась с разнообразными традициями, формами и изводами православия и поняла, что в этом огромном океане существует множество течений, и некоторые совершенно для меня неприемлемые. К этому времени я уже твердо знала, что христианство не может быть богатым – потому что тогда оно перестает быть учением Христа, и не может оно быть антисемитским, потому что сам Христос был не только иудеем по вере, но евреем по крови. Такие простые вещи, очевидные, не требующие, казалось бы, никаких специальных пояснений, однако... практика церковной жизни этими, казалось бы, аксиомами полностью пренебрегала.

Умер отец Андрей. И по сей день – сорок лет прошло! – прихожане той домово́й церкви сохранили верность его памяти. Многие легко вошли в официальную православную церковь, по меньшей мере двое из тогдашних посетителей города Александрова стали священниками. Мой же вход в церковь был трудным. Жесткость формы меня отталкивала. Церковная жизнь того времени казалась мне переполненной обрядоверием, поклонением всякой церковной утвари, включая галоши священника, а смысл, как я его понимала, то и дело входил в противоречие с практикой церковной жизни.

Отец Александр Мень помогал связывать порванные нити, восстанавливать связи с тем христианством, которое проповедано было на берегах Киннерета, а не в роскошь совращенных храмах Византии. Улыбаясь примиряющей улыбкой, замечал, что если б не огромное церковное богатство, не было бы ни готической архитектуры, ни итальянского Возрождения, что именно церковные богатства во все века

питали культуру. Но ничто меня не убеждало: только церковь святого Франциска, Серафима Саровского и “нестяжателей” имеет право на существование, всё прочее – мамоне... А отец Александр, веселый бессребреник, белозубо улыбался: да ты экстремистка! Дорога в церковь оказалась теперь короче: до Пушкина ехать было ближе, чем до Александрова.

Однако здание моей православной веры давало первые трещины. И возникло чувство страха. Оказалось, что войти легче, чем выйти. Там, внутри, “Всякое дыхание да хвалит Господа”, там стоит лучшая из очередей за маленьким куском хлеба и впитавшегося в него вина, и у всех лица ангельские, и каждый, кто пришел, горюет о своих несовершенствах и завтра поутру начинает новую жизнь, христианскую, без злобы и раздражения, а только одна любовь, любовь... И Господь простирает надо всеми свою благодатную руку, и Покров Марии защищает нас и наших детей от “всякого зла противна”, и уходят наши отцы и старшие друзья не в безымянный холод, а “в месте светле, в месте злачне, в месте покойне, отнюдуже отбеже болезнь, печаль и воздыхание”.

Но как много того, что мешает мне. Муштра христианства, рабство догмату, церковный официоз. Очень жестко прочерченные границы, дальше которых даже мыслью нельзя заходить. Здание-то стройное, но мне в нем сложно, душно, насильственно...

Как покинуть эту стройность жизни, эти щедрые обещания, это сладостное единение? Да не в сомнениях дело, нет у меня никаких сомнений в том, что христианское предложение – прекрасное, но нет уверенности в том, что других путей вовсе нет, и единственный – этот самый. И все праведники мира, некрещенные младенцы, и дохристианские мудрецы, и внеконфессиональные праведники прозябнут в католическом чистилище или, еще того хуже, в православном аду... а кто будет восседать в белых одеждах среди порхающих ангелов – не сказано. Кажется, там будут приличные господа в приличных часах и с приличной собственностью? И куда мы денем Будду и Лао Дзы?

Началось чтение, большое и вполне критическое. Множество запретов, унаследованных от иудаизма, библейских и талмудических времен и возникших в христианском мире. И не только запреты на мясо-молоко, не в них дело. Беспокоит другое: кроме запретов поведенческих, есть предписание думать определенным образом, есть множество вопросов, сама постановка которых рассматривается как ересь. И откуда, откуда столько ненависти в религии любви? Как принять первородный грех – каждый раз об этом думаю, когда держу на руках новорожденного

младенца: он ни в чем не виноват! Откуда у Всеблагого родится мысль испытать Авраама повелением принести в жертву, убить сына? Развивать тему жертвы не смею. Не готова пока. Есть вещи проще: почему надо возненавидеть родителей? А это не отцы церкви придумали, это в Евангелии написано! И почему надо так люто ненавидеть тело, ведь и его создал Господь, вместе с железами внутренней секреции и прочей прекрасной и целесообразной требухой? Неужели любовь к Богу должна проходить через такие немилосердные испытания? Что делать с религией любви, если к ней подмешано столько ненависти и неприятия? Я уж не говорю о псалмах, пронизанных ненавистью и идеями мщения...

Я знаю, как отвечают на эти вопросы православные учителя, древние и современные, читала: это хитроумная софистика, и только самые честные, самые лучшие из них говорят: я не знаю. Или: это тайна. Или: ответа на этот вопрос нет.

Это беспокойство интеллектуальное, и оно есть мое личное дело. Я не хочу об этом говорить, чтобы не вводить в искушение тех, кто этих вопросов не задает.

Проходит еще десятилетие, и церковь гонимая превращается на наших глазах в церковь победительную. Закрытые храмы открыты, число новых растет гораздо быстрее, чем число детских садов и домов инвалидов.

То, что вызывало не вполне определенное беспокойство в восьмидесятых, в последние годы вызывает полное неприятие.

Приличные господа в облачении, о которых каждый день молится огромный, плохо одетый и плохо пахнущий церковный люд, как мне с вами смириться? Моя приятельница случайно проходила через банкетный зал, накрытый в Даниловском монастыре, – что-то праздновали святые монахи. Прошла, отвернув лицо, как проходят мимо обнаженного человека: смотреть неловко на их роскошные столы. Да и шла она в детский приют, церковный, тут же устроенный, со своим благотворительным взносом на нужны детей. Финансирование там недостаточное.

Заборы вокруг дворцов и вилл иерархов высоки, и нет охоты заглядывать внутрь. Стыдно. Божьего суда все эти священники не боятся, и это их дело. Но ведь явится завтра новый Боккаччо, напишет новый “Декамерон”, и со смеху народ покатится. Не страшно?

Церковь превращается в огромную позолоченную декорацию... А если Христос, которого уж две тысячи лет безнадежно ждут, вдруг придет? Ведь он зашел однажды в Храм на Сионской горе, выгнал торгующих из Храма, и нет больше того Храма, одна Западная стена осталась. Не страшно?

Словом, у меня лично возникли некоторые проблемы – очень много

новых препятствий стало на пути в храм. Голова у рыбы пованивает, но, к счастью, в области хвоста и сегодня есть тощие и нищие, не обремененные приличной, соответствующей сану собственностью, священники, которые служат во имя Христа пастве, а не начальству, которые не оскорбляют глаза и уши смиренных прихожан.

Замечу, что в семидесятые-восемидесятые годы прошлого века церковная жизнь не достигла того невиданного уровня коррупции и бесстыдства, как в начале ХХI. Давно известно, что церковь гонимая крепнет, церковь властвующая растлевается. Христианство – религия бессребреников и юродов, тощих и сирых, а не раскормленных и самодовольных, к тому же презирующих всё остальное человечество, которое не называет себя христианским. Да, в отличие от иудаизма, который есть религия возможного, христианство – религия невозможного. Чем и притягательно. А то, что мы наблюдаем сегодня, вызывает большое отторжение и лично меня толкает к тому экзистенциальному одиночеству, которое помню со времен юности. А может быть, это лично мое испытание?

Что же было легче: войти туда или выйти? Входить – дорога в гору, требующая усилий и напряжения, но легко, потому что ветер был попутный, и не одна я шла по этой дороге, нас было немало тогда. А теперь – сильный поток вымывает, ведет в другие места, не коллективного пользования и уже не в компании любимых людей. Опять идешь в одиночку. За спиной остается всё то, что я полюбила: и песнопения Великой Субботы, и Пасхальные стихиры, и глубина, и высота, и открытое на мгновение небо, и чувство глубокого равенства всех со всеми, и легкость собственного умаления, безболезненного уничтожения, растворения “я”, и видение всех окружающих людей в их на мгновение преображенном виде...

Какой плавный поворот, и какая снисходительная улыбка жизни в истории становления себя самого! От детского отчаяния непринадлежности ни к чему, глубокого чувства одиночества и несмешиваемости себя с миром, неумения и невозможности вступить с ним во взаимодействие, одинокого поиска опоры, через восторг растворенности, диссоциации на молекулы, соединения с единомышленниками, сообщниками во Христе – к осознанному нежеланию присутствовать в партийном коллективе, который всё более напоминает сегодняшняя церковь. И снова, как в юности, я испытываю чувство одиночества, но теперь оно меня перестало тревожить. Муравейно-социальный порыв изжился сам собой. Уходит постепенно церковь из моей

жизни. Уроки христианства до некоторой степени усвоены. Есть вопросы, ответы на которые не получены. Возможно, их разрешение лежит за пределами человеческой жизни. Расстояние от заклипания “Я, юный пионер... торжественно обещаю...” до “Верую во единого Бога Отца Вседержителя...” оказалось гораздо меньшим, чем это представлялось когда-то. Уместно вспомнить древнюю иудейскую молитву “Кол нидре”, которую иудеи читают раз в год, в Судный день, – об освобождении от всех обетов, присяг и клятв, которые человек дает, но исполнить их не в состоянии.

Жизнь заканчивается. Умирает человек в одиночестве, не в коллективе.

Я точно не юный пионер, хотя клялась... Я не уверена, что в графе “вероисповедание” могла бы поставить без колебания слово “христианка”. Определенно – не атеистка.

Но все-таки хотелось бы, чтобы мои друзья простились со мной так, как это принято у христиан. Хотя я и не совсем уверена, что состою в этой огромной армии. Про христианство я знаю, что оно может быть прекрасным. А может и не быть.